

ПОВЕСТИ О ВОЙНЕ

АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ
ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ
ВАСИЛЬ БЫКОВ
БОРИС ВАСИЛЬЕВ
ЮРИЙ ГЕРШ
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВСКИЙ
БОРИС РАЖИЦКИЙ



ПОВЕСТИ
О ВОЙНЕ



БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЗЬЯ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Леонид Грачев
Анатолий Жигулин
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Леонард Лавлинский
Георгий Ломидзе
Михаил Луконин
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камил Яшен**

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ПОВЕСТИ О ВОЙНЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1973

Р 2
П 42

Художник И. СМЕРНОВ

П $\frac{70302-021}{074(02)-75}$ 72-75 подписное © Издательство «Известия» 1975 г.



Александр Михайлович АДАМОВИЧ родился в 1927 году в деревне Конюхи Слуцкого района Минской области. Ему было 14 лет, когда в жизнь ворвалась война. Партизанская юность, впечатления военных лет определили основную тему творчества писателя.

Закончив в 1950 году Белорусский государственный университет, затем аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию, Алесь Адамович много работает в области критики, выступает в печати со статьями о белорусской прозе. За книгу «Белорусский роман. Становление жанра» (1961) ему присвоена степень доктора филологических наук. А. Адамович и сейчас, написав уже два романа и несколько повестей, успешно продолжает работать в области литературоведения:

известны его книги «Масштабность прозы» (издано в Минске в 1972 г.) и «Горизонты белорусской прозы» (Москва, 1974).

В 1960 году в журнале «Дружба народов» печатается первый роман Адамовича «Война под крышами», в 1963 году — второй роман дилогии: «Сыновья уходят в бой». Дилогия во многом автобиографична. События романа показаны через восприятие участника войны — подростка Толика, который оценивает, осмысливает не только свои поступки, но и поведение окружающих. За всю партизанскую жизнь он не совершил ни одного эффектного подвига, но мужественно выдерживает трудности и честно, как и многие другие, кто боролся с фашизмом, погибает в бою за свою землю.

В 1968 году в составе киногруппы А. Адамович ездил по Белоруссии, видел, слышал, записывал людей, чудом спасшихся из приговоренных фашистами к смерти белорусских деревень. 209 разрушенных городов и поселков, 9200 уничтоженных деревень — из них более 600 вместе с жите-

лями; погиб каждый четвертый житель республики — они огромны, потери белорусской земли в войне с фашизмом... «Хатынская повесть» (напечатана в журнале «Дружба народов» в 1972 году) — повесть-предостережение, повесть-напоминание о возможных трагедиях в будущем, если человечество не усвоит уроков прошлого. Композиционно повесть непроста: в ней чередуется настоящее и прошлое, перекрещивается психологизм и документальность. В 1974 г. «Хатынская по-

весть» отмечена премией Министерства обороны СССР.

Пепел Хатыней должен стучать в сердца ныне живущих, как стучит он в сердце писателя. Он не может проститься с этой темой: создан документальный фильм «Хатынь, 5 км»; в журналах «Октябрь» и «Неман» опубликованы главы из книги трех белорусских авторов: А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника «Я из огненной деревни» — рассказы выживших свидетелей расправы фашистских карателей над мирным населением...



Владимир Осипович БОГОМОЛОВ, автор получивших известность повестей и расска-

зов, родился в 1926 году в Подмоскowie. Участник Великой Отечественной войны; награжден боевыми орденами и медалями.

Впечатления военных лет легли в основу двух небольших повестей В. Богомолова «Иван» и «Зося». Оба эти произведения выдержали десятки изданий, экранизированы и переведены на многие языки мира.

На русском языке сборники повестей и рассказов В. Богомолова издавались в 1965, 1970 и 1975 годах. Кроме «Ивана» и «Зоси», в них вошли рассказы «Первая любовь», «Сердца моего боль», «Кладбище под Белостоком», «Кру-

гом люди», «Второй сорт» и «Сосед по палате».

В 1974 году опубликован созданный на фактическом материале военный роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...».



Василий Владимирович БЫКОВ — автор известных повестей, лауреат Государственной премии за 1974 год, родился в 1924 году на севере Белоруссии в крестьянской семье. С начала войны — после окончания Саратовского пехотного училища — принимал участие в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах, дважды был ранен.

После демобилизации, в

1955 году, Василь Быков работал в гродненской областной газете.

С 1956 года в журналах и газетах выходят повести и рассказы В. Быкова «Ход конем» — 1956, «На озере» — 1958, «Журавлиный крик» — 1960, «След на земле» — 1960, «Четвертая неудача» — 1961, «Недочитанная книга» — 1961, «Третья ракета» — 1962. Русские читатели знакомы со всеми его произведениями; кроме уже упомянутых, в журналах публиковались «Фронтовая страница» — 1963, «Альпийская баллада» — 1964, «Западня» — 1964, «Мертвым не больно» — 1966, «Атака с ходу» — 1968, «Круглянский мост» — 1969, «Сотников» — 1970, «Обелиск» — 1972, «Дожить до рассвета» — 1972, «Волчья стая» — 1974.

Быков пишет страстно, экс-

прессивно. Обычный для Быкова конфликт — нравственный спор двух различных точек зрения на жизнь, человека, войну. Честность, бесхитрость, самоотдача — и приспособленчество всех мастей. На столкновении этих двух начал завязываются все повести В. Быкова, близкие по теме, по материалу, но каждая из них воспринимается как что-то заново открытое.

Сам Быков говорит: «Повесть так, что я свои идеи, часто общечеловеческого мо-

рального плана, решаю на материале войны. Вероятно, потому, что прошедшая война всеобъемлюща и там всему есть место». Автор увлекает читателей повести «Сотников» в непростой психологический процесс, который совершается в Рыбаке. Принцип: «Война все спишет. Все средства хороши» — приводит к трусости, даже предательству. Только понятие высокой морали, нравственного долга дают право и обязанность распорядиться чужой жизнью на войне.



Борис Львович ВАСИЛЬЕВ — прозаик, драматург, сценарист, родился в 1924 году в Смоленске.

В литературу он пришел в 1954 году и с этого времени читатели, кинозрители и любители театра не расстаются с его героями.

Участник Великой Отечественной войны, Васильев выступил с первым произведением о ней спустя четверть века после победы. Повесть «А зори здесь тихие...» опубликована в журнале «Юность» в 1969 году и получила широкое признание. Успех повести был оправдан, она органична во всем, начиная с героев, кончая

стилевой манерой автора. События в повести развиваются в течение нескольких суток, когда старшина Васков и пять девушек-зенитчиц принимают неравный бой с фашистами. Начинается подвиг инициативы, активности, происходит испытание на бесстрашие, на верность гражданскому и воинскому долгу, который и определяет смысл жизни Васкова и его бойцов. Защищая тот клочок земли, который им было доверено защищать, люди защищали и все отечество.

В 1970 году почти одновременно выходят две повести Б. Васильева — «Иванов катер» и «Самый последний день». Персонажи «Иванова катера» — речники-волгари, скромные труженики. Вместе с ними автор отвергает сухой рационализм, отстаивая народное представление о справедливости и доброте.

Битва со злом может принимать самые разные формы. Гибнет главный герой повести «Самый последний день», гибнет на своем посту, спасая запутавшуюся, попавшую под влияние бандита девушку. Младший лейтенант Ковалев выполнил свой милицейский и

человеческий долг. А Егор Полужкин, герой повести «Не стреляйте в белых лебедей» (1973), гибнет ради красоты и добра. И в гибели этой утверждение: очень трудно противостоять добру, даже если оно такое, тихое, нескладное, незащищенное.

По сценариям Б. Васильева создано несколько фильмов: «Очередной рейс» — 1958, «Длинный день» — 1960, «След в океане» — 1963, «Королевская регата» — 1964, «На пути в Берлин» — 1968, «Офицеры» — 1971, экранизированы повести «Самый последний день» — 1973 и «А зори здесь тихие...» — 1974 (за этот фильм автор удостоен премии ЦК ВЛКСМ).

В 1974 году опубликован роман Васильева «В списках не значился». Ситуация, изображенная писателем, требует исключительного напряжения нравственных сил. Автор верен герою, предпочитающему смерть отступлению от долга. Николай Плужников — не просто центральный персонаж, но герой, человек чести, непобежденный советский воин.



Юрий Семенович ГЕРШ родился в 1919 году в станице Апшеронской Краснодарского края. В 1922 году семья переезжает в Москву, где он, закончив школу, поступает на исторический факультет Московского государственного университета. Осенью 1941 года, с 4-го курса университета, Ю. Герш добровольцем уходит на фронт, участвует в боях у

ст. Лозовая, под Сталинградом, на Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Дошел в чине старшего лейтенанта до Берлина в одной из гвардейских дивизий армии генерала Чуйкова.

Ю. Герш награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.

В 1946 году, заочно закончив исторический факультет Московского университета, Ю. Герш печатается в журналах «Советский Союз», «Смена», «Новый мир», «Дружба народов».

Повесть «Язык» была опубликована в журнале «Дружба народов» в 1970 году.



Белорусский писатель Алексей Николаевич КУЛАКОВСКИЙ родился в 1913 году в деревне Кулаки Старобинского района Минской области.

На родине писателя сейчас вырос Солигорский калийный комбинат, а его родной район переименован в Солигорский. И не случайно Алексей Кулаковский стал первооткрывателем «солигорской» темы, автором интересных повестей и рассказов о строителях и шахтерах гигантского комбината.

Бывший фронтовик, участник Великой Отечественной войны (он командовал взводом, затем ротой, был трижды ранен), Алексей Кулаковский много внимания уделяет показу борьбы советских людей с фашистскими захватчиками. Особенно большую известность завоевали его романы «Рас-

стаемся не надолго» — 1955 и «Встречи на расстанях» — 1962, а также повесть «К восходу солнца» — 1957.

Творчество А. Кулаковского — это своеобразная художественная летопись нашего народа на определенных исторических этапах. Уже в первой книге рассказов «Сад» (1947) у автора отчетливо чувствовалось стремление осмыслить жизнь, трудовые будни в их органической связи с важными вопросами современности.

Повесть «Невестка» (1956) — о людях послевоенной деревни нашей критикой отнесена к лучшим достижениям белорусской прозы. В ней писатель сумел раскрыть самую основу человеческой психологии.

В новом романе «Тропы хоженные и нехоженные» он изображает уже не только военную, но и довоенную жизнь деревни.

Углубленный интерес к быту, к внутренней жизни человека, умение выбрать характерную деталь, точное и емкое слово стали отличительными чертами прозы А. Н. Кулаковского.



Борис Леонидович РАХМАНИН (родился в 1934 году) — поэт, драматург, прозаик. Подборки его стихов печатаются во многих журналах и газетах в «Юности», «Огоньке», «Москве», «Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире», «Литературной газете», «Советском воине»; в 1963 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник его стихов «Добрый человек».

В театрах идет пьеса Б. Рахманина «Забывтый орден». В ней автор исследует характеры двух друзей, прошедших вместе дороги войны, встретившихся спустя много лет и вновь узнающих друг друга.

По сценарию Б. Рахманина на киностудии им. Горького снят фильм о военном детстве — «Такой большой мальчик», тепло встреченный критикой.

В журналах и газетах появляются и прозаические произведения Рахманина. В 1973 году журнал «Дружба народов» опубликовал его небольшую повесть «Часы без стрелок». Автор использовал условный прием фантастики для постановки реальной нравственной проблемы — проблемы долга живого перед живыми, перед потомками.

Герой повести — солдат Алеша Карпов, прежде чем навсегда уйти от нас, побывал в современном, будущем для него мирном Ленинграде и поспешил назад, в прошлое, чтобы выполнить свой воинский долг и погибнуть ради открывшегося ему на мгновение будущего.

Автор еще раз напоминает о великой ценности народно-го подвига в Отечественной войне.



АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ

ХАТЫНСКАЯ ПОВЕСТЬ



● —————

«В Белоруссии уничтожено более 9 200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы».

(Из документов второй мировой войны.)

«Я ВЫСКОЧИЛ ИЗ МАШИНЫ И НАЧАЛ ПРОБИРАТЬСЯ между микрофонами.

— *Лейтенант Колли! Вы действительно убили всех этих женщин и детей?*

— *Лейтенант Колли! Как себя чувствует человек, который убивает женщин и детей?*

— *Лейтенант Колли! Вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей?*

— *Лейтенант Колли! Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей...»*

(Из «Исповеди» американского лейтенанта Уильяма Колли, одного из убийц вьетнамской деревни Сонгми.)

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей».

(Обращение Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева к людям Земли из Космоса 22 июня 1971 года.)

...— **Т**ут уже целый взвод! — громко произносит человек в темных очках с белой металлической палкой в руке. Мальчик в голубом плащике, вскочивший в шумный автобус впереди него, высматривает свободное место.

Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину; глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное книзу, некрасиво заостренное, зато лоб очень широкий и, как у ребенка, выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого.

— Папа, там место,— говорит мальчик в прозрачном плащике и касается сразу вздрогнувшей ему навстречу руки.

Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась — как дно. Голоса, веселый крик слишком торопливые.

— Гайшун! Сюда, браток!

— К нам, Флера. Сюда давай!

Человек с врезанной тихой улыбкой слепого кого-то дожидается. Металлическая палка сухо, пустотело звякнула: слепой задел стойку.

На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме.

— Это куда автобус?

— В Хатынь.

— Куда?

— В Хатынь.

— А! — неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок.

В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье с сумкой и плащом болоньей на загоревшей руке. Поднялась на ступеньку, смуглое лицо ее улыбается рядом с коротко остриженной, совершенно белой головой слепого.

— Глаша, к нам!

— Сюда садись, в третий взвод!

— Надоели вы ей и в лесу! Верно, Глаша?

Женщина, произнеся негромкое «здравствуйте», коснулась локтя слепого, и он пошел через автобус. И сразу стала заметна связывающая их неторопливость, напряженная плавность, какая бывает у двоих, несущих одно полное ведро.

— Сюда, папка, тут место,— громко позвал мальчишка, который уже устроился спиной к кабице, по-детски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя.

Очень молодежавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи.

— Флера, с моей посиди. А я с Глашей.

— Костя,— укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся очень беленькая, приветливо улыбнувшись слепому,— не мешай человеку пройти. Какой же ты!..

Человек в темных очках привычно нес руку впереди, а с нею здоровались, трогая худые пальцы, они чуть-чуть вздрагивали.

— Живем, Флера?

— Это кто? Ты, Стомма?

— Узнал? Я, братка, я это.

— А это чья голова?

— Рыжего. Помнишь такого? Поддай голос, Рыжий.

— Покажись,— рука слепого вернулась назад,— покажись! И правда Рыжий!

— Здравствуйте, Гайшун.— Пассажир приподнялся, неловко, как детскую, пожал руку слепого.

Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа, она тоже улыбается, но ни на кого не смотрит, тогда как черные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос.

Руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами. Ремешок от фотоаппарата раздвигает его мягкое плечо, и весь он какой-то выпирающий, овальный в своем новеньком синем костюме.

— Не узнаешь Столетова?

— И ты тут? — удивился слепой.

— А где мне быть? — Столетов обиделся.

Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который, как переросток за партой, сидит вполоборота, загораживая проход.

— Здравствуйте,— негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил: — Здравствуйте, Флера.

От его голоса на какое-то мгновение снова открылась — как близкое дно — тишина.

Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшуна за плечи и быстро провела его вперед. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем.

Мальчишка позвал:

— Тут лучше, папка.

— Вот и сиди! — оборвала его мать.

У кабины — лицом ко всем — удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру. Но он тоже не сел там.

...Косач! Это его голос. Уверенно тихий: человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи.

А какой сделалась Глашина рука — точно из-под машины меня выхватила!

Какой он теперь, Косач? Во всяком случае, не слепец, как ее муж.

Мотор и дребезжащее под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые веселые голоса долетают, случайно сцепляясь и переплетаясь. («В прошлом году... да уже внуки есть... бомба разорвется, облако взорвется... ну, Костя, какой же ты! Дай людям поговорить... я говорю, что косачевцы везде... нет, я ему скажу, нашему Летописцу, этому... Эй, Столетов!.. экзамен сдает в Иняз...»).

Нереально, невозможно близкие голоса из далекого-далекого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня, солоноватые, обжигающие...

Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю-начштаба, Стомму, Рыжего, Столетова...

Костя, наш начштаба — все такой же мальчишеский голос, — вламывается сразу во все разговоры: хохочет, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова («Деда не забыли?.. Столетов, сними нас для истории. У тебя это здорово получается... Дед, ты у кого такую шляпу раздобыл?.. Мэнш!.. Не мешай, жонка!..»).

Да, он такой, наш Костя-начштаба, с ним и среди чистого поля будет тесно: каждого толкнет, обнимет и тут же осмеет. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему... Было. Но его любят (любили): дело свое понимал, воевать умел. Не хуже Косача.

Косач тут, рядом. За спиной у меня. «Здравствуйте!..» — поздоровался сначала и с Глашей, но что-то прочел на лице Глаши и тут же отделил: «Здравствуйте, Флера!» Вон какая сделалась Глашина рука! Испуганная и твердая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись, я и не вижу, а знаю.

Такой же он громадный, сильный? Голос, во всяком случае, тот же. Мне всегда хотелось понять: замечает

он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой, казалось, произвольную?

— Я ему прямо сказать могу! — голос откуда-то сзади. — Мы его, примачка, из-за печки вытащили, в партизаны силой приволокли, а теперь...

О ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже подзаводят человека, это у нас всегда умели.

— Секретарша не пустит.

— А ты по телефону ему. Верно, Зуенок? Или телеграммой.

Конечно же, это он, Зуенок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуенок всегда помнил, и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришел в партизаны. И кто какого уважения заслуживает. Всю семью Зуенка немцы выбили еще в сорок первом, когда он ушел в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот, который мы едем открывать. Я впервые еду: когда мог, глаза были, встречи такие еще не практиковались. А Зуенку так даже доставалось за попытки собрать нас: «Какие-такие встречи? Кому это нужно?»

— До ночи ползти будем с такой ездой! Я на своем хоззвводовском быстрее поспеваю.

— О, дед наш к самолетам привык!

Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге в партизанские края наши, — тоже инициатива Зуенка. Для меня это особенно важно — побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то что там сейчас, а что было. Что оно такое, наши Хатыни, я знаю. Это я знаю...

А хоззвводовский дед все беспокоится, поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли. Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест: сипит, дует, крикает за каждым словом. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как-то сумел, собрал Зуенок всех нас, и городских и с района, в этот автобус.

— Ничего, — отзывается кто-то (кажется, Рыжий), — больше нас ждали.

У Рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевое, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом да обещал: «Вот как двину левой!»

— А какой хоть памятник, а, Зуенок? — спрашивают с заднего сиденья.

— Курган, школьники насыпали.

— А какой бы ты хотел себе? — кричит Костя-начштаба.

— Я что-то не подумал про это, когда ходили — помните? — по горящему болоту. Как на веревке ходили по кругу.

Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием.

— Ребяткам все одно теперь (Дед).

— Все да не все! (Стомма).

— Под таким, как в прошлом году, я не лег бы.

— Зуенок, учти пожелания! (Костя-начштаба).

— Нет, а помните Чертово Колено, как ходили по кругу по дымному болоту? Рассказываешь — не верят люди!

Кто это горелое болото, Чертово Колено, вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково-хитрым покашливанием. Ведмедь, он? Ну, конечно же! Какой он теперь, без пулеметных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично: ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, запихивай в магазин, в патронник. Уже для той, для первой мировой войны придумана была удобная обойма: поставил в паз, надавил большим пальцем — и сразу пять патронов в винтовке. Но Ведмедь покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девочек, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных и украшенных оружием и ремнями разведчиков и адьютантов, а чтобы хоть покормили. Тетка сразу видела: человек воюет! А может, и тогда кино сидело в чахлой груди Ведмедя? Как-то пошли мы в кинотеатр, начался фильм, и вдруг смешок по залу: «Лев... Ведмедь...» Глаша тихонько воскликнула: «Ой, Флера, наш Ведмедь Лева директор этой картины!»

В кино я обычно с Сережей хожу: мы заходим в помещение к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением, зачем незрячему кино.

Сначала Сережа шепотом объясняет, что там на экране, пока я не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм, как радио. Не-

которые фильмы будто для меня сделаны — все объяснено вслух, громко.

Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном и — только дыхание сотен людей, как перед вскриком во сне, вот тогда включается, загорается мой экран. Под внезапные крики, выстрелы, с их экрана я вижу свое. То, чего никто не видит...

...— А вы, дядя, тоже партизан? — пристаёт Сережа к Столетову, который перешел к кабине и теперь, я слышу, сидит напротив меня.

— Тут все партизаны, мальчик.— Вопрос Столетову не понравился.— А ты пионер?

— Конечно,— Сережа тоже возмутился.

— Не вывози дядю своими ботинками,— предупреждает Сережу Глаша. С того мгновения, как она увидела в автобусе Косача, все в ней, я по голосу слышу, словно затвердело.

— Вы тоже косачевец? — добивается Сережа. Он если пристанет!..

— Э, не-е! — обрадовался вопросу Столетов.— Я из отряда имени Сталина.

Столетов теперь сидит лицом к Косачу, они видят друг друга. Или Столетов по обыкновению вверх косит? Глаза его странно косят — к небу, к потолку.

— И папка твой никакой не косачевец, а имени Сталина.

Это одно и то же: по бумагам мы — отряд имени Сталина, а в деревнях, наверное, и сейчас помнят косачевцев.

Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов даже среди таких разных, как партизаны, людей.

Сначала, когда привели в наш Замошьевский лагерь нашкодившего инструктора онемечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о «Гитлере-освободителе», это был рыхлый бледный человек с глазами, раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде (доказал, что снабдил десантников пишущей машинкой и еще чем-то канцелярским), и тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласные, как оказалось, с натурой столетовской.

На смену косящему испугу хлынул в Столетова, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдет неслышно, заворо-

женным шагом, станет перед Рыжим, Зуенком или Ведмедем и смотрит влюбленно косящими к небу глазами. Точно головы их где-то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит!

— Ты чего? — удивится партизан с непривычки.

— Я?.. Ничего я... Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню.

— А что, принеси! Принеси, братка.

Вернулись однажды с какой-то операции, а Столетова не видно, нет ни в нашей землянке, ни поблизости. В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось, Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее, летописец. Убедил кого-то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, все готово.

Больше Столетов перед Ведмедем не вздыхал, косящие глаза его перенеслись на других, нас они как-то уже не вбирали.

Странные и в самом деле глаза у этого человека. Будто мерку снимает: приставит тебя к чему-то невидимому, потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник, спинку, но в глазах его приговор, даже обида — э, не, не дотягиваешь! До истории, что ли? Еще раз потянет тебя кверху черными горящими (порой кажется — сумасшедшими) глазами, а в них улыбка. Тонкая-тонкая! Нас, мол, не обманешь... И уже окончательно вскинет глаза к небу, оставив тебя, как перед умчавшимся лифтом. Всякая фраза его вздергивается на дыбы восторженно-уличающим: «Э, не-е!» Скажи ему, что сейчас двенадцать, он тут же уличит: «Э, не-е! Без двух минут!»

Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из косачевского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись, не помог Столетову и опекун бригадный. Дошло до Косача (в деревнях пожаловались), что «какой-то косо́й ваш» дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого-то к стенке примеривал.

— Мы тут воюем, — оправдывался Столетов, — а какой-нибудь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал.

— Воюем? — переспросил Косач. — Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на «губу» его!

«Историю» Столетов сочинил, да только совсем не ту...

Соединились с армией. Одних — на фронт, других — хозяйство поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работав в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано (особенно про Косача, да и про других тоже), что, когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам водили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали, и порой очень горячо и открыто, о многом, о чем лишь после пятьдесят третьего заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что-то слышал. Но он, кажется, перемышлячил: одна смертельная доза мышьяка — смертельна, а десять зараз, случается, лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол-отряда с фронта! Кому-то неглупому попало дело. Столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за «Гитлера-освободителя». Долго о нашем Летописце не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться: очерки по радио, статьи. Ожил! Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники (те, которым он передал пишущую машинку). Скоро и на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюбленность в косящих к небу глазах Летописца. Первое время, думаю, не церемонясь, напоминали ему про «историю бригады», но похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны.

— Э, не-е,— тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса,— не-е, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие-нибудь... («косачевцы» все же не произнес).

Уже песни поют, две или три одновременно.

Сережа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка — глянул однажды и внезапно понял! — закричал, заплакал, точно в это мгновение со мной все и приключилось: «Кто тебя, папка, ты не бойся, скажи! Немцы, да, фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побежал в свой угол, схватил красную заводную мельницу и стал ее, громко плача, ломать, бросил об пол. Глаша и я убеж-

дали его: игрушку делали другие немцы, совсем другие...

С того времени дня не проходило, чтобы Сережа не заговорил о моих «глазках». Мы с ними мечтали, как меня вылечат и я его, конопатого и черноглазого, увижу. Сережа неуверенно смеялся, когда я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю.

Первая операция — за три года до этого — была безрезультатной. Я решился снова на вторую ради Сережи. Они с Глашей приходили ко мне в клинику, много говорили, Сережа возбужденно смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку и я увижу его, все увижу снова. А потом меня увозили домой все с той же темнотой. Глаша тихонько плакала и гладила мою руку. Сережа сидел возле таксиста, впереди, и я его не слышал.

Больше о моих «глазках» Сережа никогда не заговаривает. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески-изучающе он смотрит на мое лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели, но я не согласился — тоже из-за Сережи.

Сегодня Сережа очень оживлен, весел: он едет в партизаны, кроме того, вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка, наоборот, можно слушать, спрашивать.

Мотор заглушает голоса в автобусе, мы едем лесом, но, когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений. И все стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время — четверть века минуло, как я их видел.

Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире еще существовала такая вещь, как зеркало, а в зеркале — бледный узколицый человек с воспаленными веками, с побелевшими висками и глубокими дугами у рта, всегда удерживающими виноватую улыбку.

Глаша пошла за такого замуж, но она, наверное, в каком-то другом зеркале меня видела, не столь безжалостном. В ее памяти я связан с ее девичеством. С очень многим связан. Вот и с Косачом тоже. Однако

как она его ненавидит! Или боится. Себя боится. Нет, это я боюсь. Трусливый и завистливый слепец! И неблагодарный.

Пока я еще был, как все (лишь время от времени начинали вдруг болеть, краснели глаза), жизнь с Глашей у нас не очень ладилась: то, что нас сблизило, то и разделяло, мучило. Наше совместное партизанство, Косач... Не говорили мы, не вспоминали вслух, но это присутствовало. А когда со мной случилось самое страшное (в течение полугода), Глашу как подменили — ее голос, ее руки, касания. И она сама захотела, чтобы родился Сережа.

И снова рядом Косач! Он у нас за спиной, всю дорогу за спиной. Глаша ни на миг не забывает этого, я чувствую. Вон как она напряженно молчит! Я сам настоял, чтобы ехать на эту встречу, когда Зуенок нам написал. Глаша не хотела, а мы с Сережей настаивали. Я — в отместку за все прежнее. Себе в отместку. Благодарность слепца...

В автобусе громкий веселый спор. Мне всегда легче, если люди вот так увлечены, и тогда не они меня, я наблюдаю.

— При нем и этот не рыпался, сидел в приемной, как миленький (Зуенок).

— Во-во, один перед другими! (Дед). У нас в селе был один...

— Суворов говорил... Вы знаете, что говорил Суворов? Не будите себе на горе: спит — и слава богу! Про Китай так...

(И он тут, наш комроты! Наш Илья Ильич. Цыганская, молодая, как смоль, борода, обязательная книжка в кармане или в сумке. Где он находил те книги, одному богу известно: в деревнях последние Библии уже докуривали!)

— А я вам доложу, если еще не знаете (Костя-начштаба). Его давно в живых нет. Для этого и кучу малу — культурную революцию придумали. Чтобы глаза не продрали. Каждые семь лет — вали всех в кучу малу. Не верите — спросите Столетова!

— Это же Китай! — снова подхватил Илья Ильич. — Император, что Великую стену строил, объявил, что будет жить вечно. А потом взял да и помер. Целый год не хоронили, раз он так объявил. Посадили за ширму на трон, а чиновники, министры приходили и

слушали, как он за ширмой молчит, угадывали его приказы. А запаха условились не слышать.

— Во! — воскликнул Костя-начштаба.— Не то, что наш Столетов!

— А что! — Столетов отозвался, будто и в самом деле имеет к этому касательство.— Я не оправдываю, но так тоже нельзя: раз и все яйца об пол! Э, не-е, так тоже не делают. Правду говорит Зуенок: при нем...

— Споем! — кричит уже Костя-начштаба и тут же начинает: — «А какая встреча будет у вокзала в дни, когда победой кончится война!..»

Косач молчит, один он не втянут в шумный спор. Интересно, что он сказал бы и как, что он все эти немолчаливые годы думал.

Сразу после войны он работал в райисполкоме, потом его сделали директором торфозавода, потом — совхоза. Где сейчас, не знаю. И Глаша не знает. Плен, в котором он побывал, а возможно, и папка Столетова на нем все-таки висели. Да и он сам человек достаточно сложный, с неожиданностями. На партизанской встрече я впервые, но уже вижу (по разговорам, репликам, по его тяжелому молчанию), что к нему не очень бросаются. Ну, а он тем более. Общительным, компанейским он никогда не был, это не Костя-начштаба. Видимо, имеет значение и то, что в памяти нашей Косач связан со многим, что не располагает к веселой болтовне, запрятано на самом доньшке памяти. Война есть война, но возле Кости-начштаба — это вполне партизанская, с шумом, анекдотами, с памятью о всяких казусах война, возле же Косача вспоминается что-то другое, более резкое, заостренное... В Косаче нет этого нашего, косачевского, партизанского шика, лирики партизанской, которая в других с годами все разрастается. Он вот и на встречу едет, как чужой. Со стороны кто-нибудь так и решил бы, что он единственный тут не косачевец!

Слышал я или читал, что людей, знавших друг друга в обстоятельствах особенно мучительных, унижительных, потом не очень тянет к встречам. Изредка — да, но не более того. Трудно, невозможно жить с постоянно вскрытой коробкой, где все это запрятано. Такие люди вряд ли дружат семьями. Я сам знал двух человек, переживших Освенцим в одном бараке. В коридоре пединститута, в курилке они встречались, иногда с подчеркнутой беззаботностью сверяли лагерные но-

мера на руках («Я на 120 тысяч человек старше тебя...»), но из их разговоров можно было понять, что они даже не знают друг про друга, кто на какой улице живет.

Да что толковать, я вот и Сереже не все стал бы рассказывать (даже когда в студента вырастет), хотя, кажется, прятать, стыдиться нам нечего. На своих студентах я и убедился, что есть вещи, которые невозможно сообщить другим, кто не испытал чего-либо подобного.

Услышали мои третьекурсники от кого-то про случай, когда командир во время блокады, среди немецких засад, чтобы не истребили отряд, будто бы пожертвовал ребенком, который все кричал на руках у матери. Пересказали мне возмущенно. Но и вопросительно: как я тут извернусь с моей «универсальной наукой психологией»? По их убеждению, после такого случая отряд обязательно распался бы: люди, предав, потеряв саму цель борьбы, возненавидели бы друг друга и самих себя, собственную жизнь, купленную такой ценой. Возмущаясь вместе с ними самой возможностью подобного случая, я все-таки не согласился, что кончилось бы именно так. Напомнил про «защитный механизм» психики, без которого война вообще невысказима, непременосима была бы для человека...

Я не видел лиц моих студентов, но впервые почувствовал — в интонации одних, в молчании других — не просто несогласие, а враждебность. Будто им сама слепота моя, мои черные очки неприятны, отвратительны. Нет, они не соглашались ни на какую «защитную реакцию», ставя себя на место того отряда!

И слава богу! Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все-таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналось вот так же. И благословенна река, начинающаяся чистой, светлой криничкой; даже если бы криничка знала, что низовья реки загрязнены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить. Но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту изначальная криничка, подземные ключи...

Да, а ведь моя первая партизанская любовь — вовсе не Глаша. И Глашу-то я полюбил отраженно от Косача. Косач! Мальчишеская, смешная, но с какими мечтания-

ми, фантазиями, обидами и радостями — иначе это и не назовешь, как любовью.

Еще до того, как пришел в отряд, наслышался я: «Косачевцы, ого, не всякого возьмут к себе!», «Вооружены, как десантники!», «У Косача одни кадровики, воевать умеют!», «Косачевцы бой ведут», «Косачевцы... косачевцы...»

Мечталось стать не просто партизаном (их немало проходило через нашу деревню), но обязательно косачевцем.

Оружие, без которого к ним и не просись, я добыл. А способ подсказал мне Федька Воробьиная Смерть — рябой, как воробьиное яйцо, сын колхозного бухгалтера. Ему было всего лишь четырнадцать, на два года моложе меня, и чтобы свести на нет мое постоянное в этом преимущество, Федька все время выискивал, чем бы похвастаться. На этот раз он достал из дупла две гранаты-лимонки и показал мне, стоявшему под деревом:

— Что, видел, кум, солнце?

Меня это так поразило, что он не выдержал и решил меня доконать. Повел к болоту, из-под елового пня-выворотня вытащил завернутое в кусок брезента то, о чем я давно мечтал: ржавую, с подгнившим прикладом, но самую настоящую винтовку! Теперь и дураку было ясно, что мое превосходство над ним в два года — недоумение и наглость.

— Ладно, — сказал Федька, подобрев, — у них такого добра много.

Я не понял.

— У покойничков, — пояснил Федька. — А что?

Я невольно посмотрел на свои сразу растопырившиеся пальцы, которые вдруг сделались липкие. Вот отчего дерево на винтовке такое черное, точно обгоревшее!

Назавтра мы отправились к могилкам. Их много было в сосняке на песчаных горах. Тут зарывали в сорок первом. Где убит, там и похоронен, каждый в своем окопчике. (Бои у нас на Полесье гремели долго: уже Смоленск немцы забрали, а тут, в лесах, в болотах, их сдерживали бронепоезда и конница усатого Оки Городовикова, как в гражданскую.)

Желтые песчаные бугорки окопчиков-могил осели, их затянуло вереском, как маскировочной сеткой. Федька сел под куст, закурил.

Я стал перед ним с лопатами, готовый попросить: «Лучше не надо!»

— Ну? — спросил он хмуро.

Я не понял.

— Нанял ты меня? Арбайтен!

Я, наверное, покраснел.

— Дай! — он вырвал из рук лопату. — У покойника зубы не болят!

Желтый влажный песок, яркий, как свежая кровь, постепенно окружает нас, а мы все погружаемся в землю. Я вдруг выскочил наверх: показалось, что земля уходит, скользко поползла под босыми пятками.

— За водичкой побежал? — презрительно кричит Федька.

— Тесно... вдвоем, — поясняю, давась липкой слюной.

Что-то черное выбросил Федька на желтый песок, как горелая бумага.

— Немецкий... пуговицы немецкие... Нет тут ни черта!

— Почему? — принуждаю себя интересоваться, хотя мне одного теперь хочется: уйти, убежать. Такое чувство, будто потерял что-то навсегда.

Как хозяйка картошку в ведре, Федька сечет лопатой в яме, отыскивая металлический звук.

— Я же говорю! В ихних не бывает, проверено. Своих они закапывали без оружия.

Деревянный какой-то звук громом отдается в моей черепной коробке. Федька взглянул на мое лицо.

— Помощничек! А ну засыпай! Нанял?

Отошел в сторону и лег с закрытыми глазами, а я стал сыпать уже подсохший песок в яму.

Лишь в третьей яме лопата — не его, моя — звякнула. И тут я забыл про все.

Винтовка лежит на свежем песке, а мы стоим над ней. Металл от ржавчины желтый, как весенний куроптень, а дерево до угольной черноты напитано запахом и сыростью смерти.

— Бачишь, кум, солнце! — кричу я.

С этой винтовкой я и попросился к косачевцам. (Брезентовый ремень пришлось сменить.)

Начал не с мамы, зная, как ей трудно такое решать, а прямо с дела. Два раза ходили (и Федька с нами) телеграфные столбы спиливать. Знакомым ребятам-косачевцам за то, что брали нас с собой, заплатили патрона-

ми, и это было у Федьки припрятано. Но Федьку снова мучила зависть:

— Хорошо тебе, у тебя батьки нету.

Но у меня была мама. Собрался с духом, призвал всю свою закоренелую безбоязненность двоечника и сообщил маме, что сын ее — партизан.

Сестрички мои, семилетние близнята, рассматривали внезапно объявившегося в их семье партизана с восторженным и жалеющим ожиданием: сейчас он будет плакать. Мама наша на ремень и даже на палку скорая. Потом сама плачет, но раньше поревешь ты.

На этот раз первая заплакала она. Тихо, беспомощно, глянув почему-то на плоские, как блюдечки, мордочки близняг, окинув взглядом стены, углы хаты, точно тут же надо убежать, все бросать.

Ушла на кухню, не проронив ни слова. Что-то делала там возле печки и плакала, а мы шепотом разговаривали.

— А тебе коня дадут?

— Сам добуду. У косачевцев сами все добывают.

— И нас покатаешь? Огород наш засеешь? А то мамке тяжело будет.

— Приеду и сделаю. Теперь вы — партизанская семья.

— Мамка плачет.

— Она всегда... Когда и папа на финскую уходил... Вы не помните, малые были.

Близнецы наши красавицами не считались, даже мама говорила с жалеющей улыбкой (когда обе рядышком, трудно не улыбаться):

— Господи, растут вековухи, мало одной, так надо, чтобы две!

Я любил их плоские губастые личики, хоть часто и орал на них, как злой мужик, когда они пытались увязаться за нашей ребячьей компанией. Но в своем дворе мы были друзьями. Кого хочешь тронет это — сдвоенная покорная улыбка на добрых мордашках, сдвоенное уважение к старшему брату!

И вот теперь, когда мама заплакала и так посмотрела на них, на стены, я почувствовал себя виновным. Впервые подумалось всерьез, чем все может кончиться. Теперь и не партизанской семье уцелеть, выжить нужно большое счастье, везение. А на партизанские у немцев охота круглый год.

— Давай, пришью тебе батьков воротник. Залезь на чердак, принеси,— сказала мама, вернувшись от плиты к нам, сразу затихшим: — Все равно черт какой найдет да заберет. Или спалят.

Я бросился в сени, взлетел по лестнице. В тряпье возле лежака раскопал рукав от старой фуфайки, сильно пахнувший табаком. В рукаве наша единственная фамильная ценность: каракулевый воротник, завернутый (от моли) в табачные листья.

Мама пришивает поблескивающий черными завитушками воротник к моему рыжему школьному пальто а мы сидим возле нее, связанные тишиной, ожиданием. Мама зябко повела своими прямыми худыми плечами, я побежал и принес из шкафа старый теплый платок. Когда платок у нее на плечах, фигура мамы не такая резкая и вся она становится добрее, печальнее, задумчивее. Вот такая — под платком, в прохладном сумраке — она рассказывала нам про городское житье, про свою молодость, про отца. (Я — городской, а сестренки родились в деревне. Отец сам попросился работать в МТС, директорствовал до самой финской войны. А потом случилось что-то непонятное, ошеломившее — он оказался в плену. Было два письма откуда-то с севера уже перед новой войной.)

Мамин платок да каракулевый воротник, купленный отцом себе на пальто, — все, что оставалось от нашей «директорской» жизни. Городские вещи мы начали продавать еще до войны.

Кончила мама работу, оглядела мое пальто с роскошным воротником и даже улыбнулась:

— Как раз тебе пригодился.

Мы, обрадованные ее улыбкой, бросились примерять пальто: близнецы держали его, как шубу барину, а я на них покрикивал. Каракуль пропах табаком, точно его уже носили. Наверное, и маме то же самое почудилось:

— Папкиным табаком будешь пахнуть.

Я нарочито весело и громко втянул воздух, понюхал — испугался, что она снова заплачет. Сестрички тоже сунулись, а я велел им раньше вытереть носы, и они послушно вытерли.

Первые дни и недели в партизанском лагере были для меня сплошным праздником узнавания. Дисциплина в отряде была почти армейская, этим косачевцы

гордились перед соседями. Но все равно это были партизаны — все у них с выдумкой, с веселой руганью, с патефоном, при котором одна на все настроения пластинка: «Брось сердиться, Маша». Эта «Маша» по-разному звучала, когда все хорошо было и когда убитых привозили, и партизаны ходили по лагерю примолкшие, мрачные.

Очень любили мы посмотреть на себя со стороны — косачевцы! Однажды пойманный полицией стал рассказывать, как он прятался в погребе и оттуда слышал нашу атаку, что кричали, какие слова. Специально ходили послушать полиция, а он, поняв, что попал в точку, уже всю сочинял самые заковыристые ругательства в свой адрес.

Воевать весело — это считалось обязательным. Только новички про бой рассказывали серьезно, подробно, бывалые же косачевцы — как про забавные, почти нелепые приключения. Иной примчится, едва ноги унес, глаза — с яблоко каждый, а уже придумывает, ищет в случившемся смешное, точно с немцами в какую-то злую, но веселую игру играл. Не получилось, врезал немец — тоже смешно!

И только когда убитых привезут, лучше не подходи, если тебя в том деле по какой-то причине не было. Окрысятся, как на чужака. А вечером тихо поют песни или задумчиво слушают, как довоенный баритон уверяет Машу, что «жизнь прекрасна наша в солнечные дни».

Косача в отряде уважали, пожалуй, побаивались. Но и побаивались тоже очень по-партизански: мол, так и надо с нами, не ходи, такой-сякой, босой, умей вывернуться даже из-под Косача, если ты косачевец!

И все-таки чего-то в нем не понимали, это было заметно даже мне. Да, жесткий, слишком даже, но зато и смелый и зато косачевец знает, что раненого его не бросят, как случается у других, а уж из засады сорваться, бежать без команды — такого у нас не бывает. Храбрый не побежит потому, что он храбрый, а трус потому, что он трус и знает, что судьбу его решать будет Косач.

Но эта его непонятная, ироничная ко всему — и плохому и хорошему — улыбка! Она всех и все обидно равняла: кажется, Косач видит, помнит тебя только в тот момент, когда ты у него перед глазами. И всякий раз как бы впервые замечает.

Впрочем, других это, возможно, мало озадачивало. Но я, я-то был влюблен!

Вот я стою на посту возле штабной землянки. Лагерь медленно засыпает, расседланные лошади под навесом звучно перебирают сухой клевер. Кто-то идет к штабу, гремя подмерзшими к вечеру прошлогодними листьями. В холодном сумраке узнаю крупную, в коротком кожушке и ушанке фигуру Косача. Как положено, окликаю:

— Кто идет? — грозно, радуясь, что он слышит меня, мой партизанский окрик, но и стесняясь немного. Ведь я узнал его и он знает, что я узнал его, вроде поиграть предлагаю. — Пароль! — требую уже потише.

А он идет на меня из темноты, молча, не сбавляя шага. Я кляпаю затвором, но гут же говорю:

— Это вы, товариш командир?

Как еще не закричал: «А, узнал, ага!»

Косач быстро подошел, презрительно, как палку, отвел в сторону мою винтовку.

— Почему не стрелял?

Игра так игра, он мне вон какую предлагает!

— Я сразу узнал вас.

— Раз не остановился, не назвал пароля — бей!

— Я же...

— Не имеет значения. — Косач близко и внимательно взглянул в мое растерянное и обиженное лицо, усмехнулся: — Двое суток гауптвахты.

Наверное, чтобы уяснил, что война — игра всерьез, свирепая.

Но и тут косачевцы делали поправку на характер своего командира. Днем на гауптвахте действительно скверно, неудобно: нары из ольховых жердочек убираются, стой или сиди на корточках в промерзлой землянке, дыши в воротник, пропахший отцовским табаком... Но зато ночью! Ночью у тебя все привилегии, подчеркнутая заботливость караульного взвода.

Интересно, рассказали Косачу хотя бы после войны, как кормили гауптвахту из их штабного котла?

Я сам в этом участвовал, когда выходило стоять на посту возле кухни. Стоишь и знаешь, что скоро явятся. (Звяканье котелков вместо пароля.)

— Смотри хорошенько, если поставлен! — всхлипывает смешком какой-нибудь Рыжий или Зуенок, а у самого уже рукав закатан до локтя. Выхватывает из мень-

шего котла куски мяса, дует на пальцы, а ты, часовой, ему еще и котелки держи. Один — для гауптвахты.

...Косач сидит у меня за спиной, тот же, но и совсем другой. Впрочем, я не знаю, какой.

Что-то свое, хорошее и плохое, отдавали мы тогда этому человеку, что-то наше он нес в себе.

А сейчас свое отняли, забрали, и он вроде тот, прежний, но уже и другой.

По-разному это люди переносят. Некоторые страшно удивились и обиделись: был хозяин над жизнью и смертью, а теперь каждый имеет право жить, будто тебя и не было над его волей, судьбой. Иной живет и все прикидывает: да вчера, да я мог, да тебя бы!..

Косач не кажется мне таким. Он умел командовать. Но не думаю, что весь был в этом. Его ироническая, порой даже неуместная улыбка — это какой-то взгляд со стороны на то, что он делал так умело и твердо. Пожалуй, счеты у него были не с одними немцами, фашистами, но и еще с чем-то. С самой войной, что ли? Не оттого ли он менее косачевец, чем все мы, не сближало его с людьми дело, которое он так точно и твердо делал. Да, мы ему отдавали что-то свое, нес он в себе и наше. Но не веселую отчаянность, как Костя-начштаба, а что-то совсем другое. Может быть, человеческую потребность мстить войне войной же. За то, что тебе с ней выпало спознаться.

Если я, конечно, не усложняю Косача. Но и упрощать его тоже нельзя.

Но и то сказать: теперешнего Косача я почти не знаю.

Всю дорогу он молчит. Вдвоем с Глашей молчат. Когда она его увидела, на лице ее, возможно, ничего не отразилось. Лицом люди учатся владеть, но рука скажет все — на моем плече была ее рука.

Я всегда считал себя уродом, даже когда глаза были. Будто может человек с глазами быть уродом. Впрочем, до встречи с Глашей меня это не очень занимало. А когда в отряд попал, так даже очень себе нравился. Винтовка, граната — партизан! Какой еще красоты от человека хотеть!

А потом глянула на этого партизана девочка, засмеялась на всю улицу — и все переменялось.

День тот выдался, как специально, сырой, холодный, грязный. Сено подо мной, которое я взяла на залитом талой водой лугу, тоже было сырое, тяжелое. Лежа на высоком, ничем не стянутом возу, ехал я по деревенской улице, высматривая, в какой хате мне пообедать. И вдруг увидел Косача верхом на сильном, злом жеребце, а за ним адъютант в ремнях и гусарских бакенбардах. Пока я любовался нами, косачевцами, незаметно и легко (мысленно, конечно) пересадив Женьку-адъютанта на свой воз, а сам, вскочив на его коня, я совсем забыл про своего широкозадного Геринга, а он, фашистская морда, мне и подстроил. Внезапно я ощутил, что воз накренился, что скольжу, сползаю вместе с сеном, медленно и неотвратно — прямо в весеннюю лужу.

— Вали, суше будет! — крикнул Женька, хороня меня в глазах Косача, который сердито на нас оглянулся. А все мы оглянулись на громкий смех девочки. Я готов был убить и себя, и Геринга, и эту хохотунью, которой именно в этот момент обязательно надо было появиться. В огромные разбитые сапоги, как розовые свечи в подсвечник, воткнуты длинные ноги аистенка, в грациозно отставленной руке — грязное ведро, на другой руке — большая тяжелая рукавица из овчины. Собирает для свиней добро, что лошади теряют, а самой вон как весело!

Глаша любит вспоминать этот случай, особенно веселит ее мое тогдашнее возмущение тем, как по-балетному она держала свое ведро. Но, оказывается, рассмешил ее Женька, его гримасы и бакенбарды, а вовсе не я со своим возом.

Косач и Женька завернули в ее двор, они тоже решили передохнуть. А мне уже было не до того.

Жила Глаша с матерью, еще молодой статной женщиной, отца своего знала только по фотографии, на которой он во весь рот смеялся. Откуда-то с Урала приходили от него алименты. А однажды прилетела еще одна фотография, на которой целая гроздь таких же, как у отца, улыбок: Вера, Надежда, Любовь — далекие Глашины сестрички по отцу.

В деревне Глашу и ее красавицу мать называли Глашка-десятитысячница, Ульяна-десятитысячница. Случилось им везенье выиграть такую сумму на облигацию, даже в районной газете сообщалось про это.

Вот тогда хозяина дома и завертело-закрутило, аж на Урал зскинуло.

Нравился Глаше сначала не Косач, а Женька, «если бы только не такой рукастый». Они с Женькой ссорились, обливали друг друга водой, почти дрались и громко, сердито оправдывались, она — перед матерью, он — перед командиром: «Пусть сам (сама) не лезет!»

Летом сорск третьего года немцы взялись бомбить партизанские деревни. Глаша вдруг оказалась в нашем отряде. Ульяна упросила Косача, хотя у нас даже на кухне и в санчасти были почти исключительно мужчины. Мать Глаши справедливо рассудила, что в партизанском лагере все-таки безопасней, чем в семейном, куда она сама переселилась вместе со всей деревней.

Вначале возле кухни да в санчасти стали замечать коротковолосую узенькую, как линейка, девушку, застенчиво рослую и быструю. Для своих семнадцати лет она была довольно высокая, но с такими узенькими плечами, смущенно тянущимися кверху, такие у нее были радостные синие глаза, что порой она казалась совсем девочкой.

То, что пришло, пришло не сразу — после очередной блокировки.

Блокада кончилась, мы снова начали замечать многое в мире. Из блокады люди обычно выходили, как после изнурительной болезни: ослабевшие, но невероятно жадные к тишине, сну, смеху, голосам, дневному свету. День снова становился днем, а ночь — ночью, луна уже не была похожа на осветительную ракету, а человеческие тени — на могильные ямы.

Вот тогда мы и обнаружили, что возле нас живет «командирша».

Прежний наш лагерь немцы разрушили, сожгли, жили мы уже в другом лесу, спали не в землянках, а прямо под деревьями или же в «райских шалашиках» — маленьких буданчиках из еловой коры.

Дневалишь под утро среди этого временного табора, окруженного зябко, стыдливо белеющими елями, с котрых содрана, снята кора, и внезапно заметишь, как в крайнем от дороги буданчике покажутся из-под тулуза разутые ноги и тут же испуганно спрячутся. Голоса Косача в буданчике неправдоподобно добродушный, а Глашин смех такой вдруг женский, глубокий.

Если Косач уезжал в эту пору, провожали его влюбленно-ревнивые взгляды, мой и Глашин. А однажды наши с нею взгляды встретились. Косач задумчивой трусой проехал мимо меня, я взглядом проводил его и оглянулся на буданчик. Глаша сидела, зябко обхватив тулуп на коленях, глаза ее, потеряв за деревьями Косача, наткнулись на дневального. Не знаю, что мой взгляд сказал ей: кажется — так и быть! — разрешал и ей любить командира. На лице ее мелькнул испуг, и она спряталась в буданчике.

Вставала «командирша» теперь позже всех. Но я понимал, что это от страха перед нами, перед нашими улыбочками, взглядами. Все, чего Косач, возможно, и не замечал, теснило ее вдвойне, как только наступали утро, день.

Вот проснулся наш лагерь: кашляют, смеются, закуривают, умываются желтой, как холодный чай, болотной водой. Кто сухарь грызет, кто высек кресалом или с кухни принес огонь и развлекается, спасается от комаров костерчиком, а кто оружие осматривает. Ночь кончилась, но день еще не начался — самое время громко перекликнуться с другом через весь лагерь, обсудить или обсмеять что-либо, кого-либо.

В командирском буданчике будто и нет никого. «Командирша» появляется перед нами уже одетая и причесанная. Сторонкой проходит к бочке с водой, беззвучно, точно разбудить кого-то боится, умывается под деревом. Чаще всего в аккуратных сапожках и сером немецком свитере, не закрывающем ее худенькой шеи, но вдруг появилось еще и черное платье — такое свободное на узеньких плечах, такое шелковое, нелепое. Ей хотелось перед нами быть как можно взрослее, а выглядела она в этом длинном платье еще беззащитнее. И особенно эта ровная и неприятная, какая-то чужая женская белизна, проступающая сквозь черный шелк!

Глаз не поднимает, губы сжаты, лицо заспанное и недружелюбное — «командирша»! Но кто-нибудь, кто постарше, подобнее, окликнет ее или поздоровается. Она вздрогнет, вся покраснеет испуганно-радостно, а узенькие приподнятые плечи так и ходят, борясь с неловкостью, смущением.

Но когда Косач в лагере, забывает она и про нас, и про себя. Видит только его. Как дрожит тень, лова настигающий ее луч солнца — вот-вот посветлеет, раста-

ет в нем, — так вспыхивала, светлела она, если поблизости был Косач.

Мы собираемся на операцию, общее построение отряда на заросшей мелким кустарником поляне. Все стоят, только мы, ездовые, сидим на тачанках. Высоко, нам все видно. Несколько комиссарских слов говорит перед строем Шардыко. Сколько помню его, всегда он ходил с перевязанной рукой или забинтованной головой: очень старательно отыскивали пули это маленькое подвижное тело. Костя-начштаба однажды объяснил, отчего так получается:

— Шустрый ты очень, комиссар. За всех везде поспеть хочешь. По дождю бежать — все капли соберешь, и свои и не свои. Привык в колхозе — от окна к окну. Нет, пусть каждый свое сам знает!

Косач слушает комиссарову речь, опустив голову, о чем-то думая или просто дожидаясь, когда надо будет давать общую команду.

Глаша среди хоззвездовских и легкораненых ждет, я вижу, как она ждет его взгляда. (Я даже злился на него порой, так она ждала, а он сердито не замечал этого.) Наконец поднял голову и посмотрел в ее сторону. Неосторожно долго глядел, о чем-то своим думая. Перевел глаза на комиссара. Но было уже поздно: Глаша, как позванная, двинулась к середине поляны. И, как нарочно, на ней то самое платье — нелепо длинное, шелковое.

Весь отряд наблюдал за странным ее, лунатическим движением. Комиссар замолчал и неодобрительно взглянул на Косача. Костя-начштаба засмеялся, сказав что-то.

Я обмер, наблюдая, как Глаша идет к середине поляны, не замечая ни внезапной тишины, ни мрачного за усмешкой лица Косача. Но вдруг заметила, словно острого коснулась. Остановилась, огляделась в ужасе, как человек, обнаруживший себя на ушедшей от берега льдине. Косач отвернулся, а она побежала в лес.

Если я что и любил в ней в ту пору, то именно эту ее влюбленность в Косача. Отраженно, так сказать.

В детстве вот так же отраженно влюблен был в брата своей одноклассницы. Он был для меня живым слепком, повторением своей сестры. Те же глаза, тот же рот, а ты не робеешь — смотри, сколько твоей душе угодно. Мальчишки изводили безвольного и плаксивого

сына приезжего учителя, а я опекал его, защищал. Он же, чувствуя мою непонятную от него зависимость, в свою очередь, меня тиранил, капризничал. Но это делало его еще более похожим на сестренку и еще больше привязывало меня к нему. С ним я мог как бы ненароком назвать имя той девочки, вслух произнести при всех, главное, вслух — в этом было все дело, особенная сладость.

Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из-под ног.

...Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты — иногда мне кажется, что это не осколки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.

А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится — далекий пулемет. Вслушаешься — нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота — лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покальвающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно...

Орешник сначала затащил меня в темную лесную чашу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце.

И тут я услышал плач: женский, потом детский...

Я уже вижу лежащую под дубом Глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю: но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких, выпирающих из земли корнях-ребрах женщина в длинном шелко-

вом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешены, сушатся портянки. А босые ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов.

Глаза мои жадно и испуганно, как убитого, рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки.

— А, это ты...— сказала, точно всего лишь Геринг из кустов выломился.

— Коня ищу,— объяснил я свое существование на свете.

Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей!

Уже после войны Глаша вспоминала: «Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу, но сама иду плакать. Уже лагерь позади, никто меня не видит, но я все не плачу, спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить — все теперь удобно, хорошо! — и наконец даю волю слезам, долго удерживаемым, сладким».

То, что испуганная, заплаканная Глаша почти дурнушка — губы распухли, глаза потухшие, сердитые — меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, потускнела специально, чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, добрую ее некрасивость (даже носом хлюпает, как пацан), я стою, не ухожу, развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем! Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают (осень, за урожаем полезут), а отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ, и вообще засиделись...

— Я не хожу на операции,— говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений,— я же командирша!

Смотрит, точно это я обозвал ее так.

— Ну и дураки!

Я охотно согласился. Само собой, ясное дело...

— Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости!

Я испуганно покосился, точно это сейчас произойдет. Что-то во мне такое, в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему Глаша меня совсем не стесняется.

— И правильно,— радуюсь я,— это вы здорово придумали. Война окончится, а у вас...

Я мог бы сказать «у нас»: я охотно принимал ее к нам в тот фантастический мир, где мы с Косачем задушевные друзья и нам Глаша не помеха.

— «Здорово придумали!» — передразнила Глаша мой восторг.— Дурачок ты.

Но смотрит так, точно просит еще раз повторить мою глупость. А я на это скор:

— Будешь мама!

Словом этим я как ударил ее: вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги.

— Да, командир наш, конечно...— волоку я и подаю Глаше кончик оборванного разговора.— Война пройдет...

— Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне по «теще»?

И снова — как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор, по-дурацки волоку его следом за нею, говорю, говорю. Глаша молчит почти враждебно, и я тоже замолкаю наконец.

Она впереди, я шагаю в десяти сзади, идем меж старых, осевших штабелей. Теплая кислая гниль щекочет ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, грабовые плахи догнивают, слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной.

Меж штабелей толстый ковер из молодого, плотного, стелющегося грабняка. Брось камень — подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Грабняк такой плотный, что приходится балансировать на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую, и от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром.

— Смотри, розовое! — говорит про зубчатолыстый стелющийся грабняк. И правда, весь обрызган красной. В накалившейся сухой тени этого зелено-румяного ковра прячутся кузнечики, лесные. Целый костер их взлетает из-под наших ног, пролетев, падают на зубчатые листья с сухим звуком и тут же гаснут. На моей ладони лесной кузнечик, как дотлевающий, подернутый серым пеплом уголек. Глаша забрала его, посадила на свою забавно узкую руку. Позволила ему выстрелиться



и смотрит, как вспыхнул искрой и снова погас на зелено-розовых листьях.

Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспособиваются. Война, пожары, вон сколько все это тянется, уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали — раз и все!



— Они, может, один день живут,— возразила Глаша,— что они помнят!

Тогда я стал за них огорчаться: вдруг в дождливый день родился, только тучи и увидишь! Даже не будешь знать, что небо бывает чистое, синее-синее...

Глаша поймала мой вороватый взгляд, смотрит на-

смешливо-поощряюще, точно я не подумал лишь, а вслух сказал про ее глаза. Отвернулась, засмеялась:

— Какой ты смешной! Особенно на тачанке своей. Немцы от смеха мрут.

(Вот что в Глаше меня особенно поражало тогда. Бывало, окружают ее хлопцы, посмеиваются друг над другом, над нею, а она, как тонкий стебель на ветру: длинные руки, вся ее пряменькая фигурка по-девичьи вырывается из-под наших взглядов, вздернутые плечи так и ходят — какой-то восточный танец смущения. Но синие глаза неожиданно смелые, смеющиеся. В них радостное сознание силы, которая собрала и держит нас возле нее, женской власти над нами.

В Глаше и потом это оставалось: девичья неловкость, смущенность движений и смелость синих, знающих свою силу глаз).

Четверть века до той зелено-розовой поляны. Но сколько раз я возвращался туда. В снах... От красного дождя кузнечиков вдруг начинает тлеть земля, мы с Глашей растерянно оглядываемся, не зная, куда поставить ногу, а потом бежим назад, а над нами, гремя, как поезд по мосту, катится по вершинам леса волна огня, обсыпая нас горячими искрами... Проснешься — долго не можешь понять, откуда и куда ты вернулся, все силишься открыть глаза...

Когда человек теряет зрение, первый ужас — не можешь открыть глаза, все силишься и не можешь. Это состояние без конца повторяется в снах. И одновременно другое мучение: закрыть тоже не можешь. Навсегда открыт, один на один с миром! И самим собой, со своей памятью...

Я иду след в след за Глашей, смотрю, как из-под ее сапожек и моих негнущихся сапог выстреливаются вспыхивающие и гаснущие искры, слушаю жесткий звук листьев, и сам я — как звучный, легкий, веселый барабан. И я знаю, что бой (и, может быть, ранение, смерть) будет только утром — целая вечность впереди!

— А что это за имя — Флера? — спрашивает Глаша, обернувшись так, чтобы самой стоять, а ее взрослое платье еще двигалось бы вокруг ног. Ноги у нее длинные, прямые, и это с платьем у нее хорошо получается.

Я сообщаю, что значит «Флера» (читал в календаре).

— Цветок? — Глаша смеется. Я тоже смеюсь. Ничего себе цветок: с этими обезьяньими дугами у растяну-

того улыбкой рта, в этом мешковатом немецком мундире с отвисающими штанами, который я выменял у разведчиков на свое домашнее пальто.— Дай я выстрелю,— Глаша уже смотрит на мою винтовку.

— Тут запрещено,— весело предупреждаю я, снимая с плеча винтовку,— приказ Косача.

Имя это прозвучало вдруг незнакомо, как бы даже с издевкой, и я, точно споря, сказал скучным голосом:

— И правильно. Скоро в лагере будут пулять.

Глаша не слушает, оставила мне одному возможные неприятности. Целится в дерево понизу. Я быстро приподнял ствол винтовки.

— Прижми к плечу,— взял за плечо и локоть, чтобы показать, как надо. И словно ожегся о скользкость шелка.

— Я сама.

Повела винтовкой, как зениткой, и наконец выстрелила. Вернула мне винтовку, засмеялась:

— Бедный, опять на гауптвахту.

— Это еще надо доказать.

Я уселся на пенек, вытащил шомпол, поискал в своей сумке от противогАЗа бутылочку с маслом.

— А как ты нашел поляну? — Глаша прогуливается передо мной, сбивая ногой мухоморы, которые восторженно пылают среди сыро-зеленых осин.

— Как как? Трудно разве?

Она столько раз, наверное, бегала сюда плакать, что считала поляну своей тайной.

Вечером мы уходили из лагеря, чтобы к утру окружить гарнизон. Какой, узнаем на месте. Но от этого еще сильнее то сдвоенное чувство, с каким обычно собираешься, идешь на боевую операцию. Ты и кто-то там (еще не знаешь, где и кто) уже связаны — нам убивать друг друга. И оттого, что ты знаешь про это, а он еще нет, ты и за него представляешь: как услышит первые удары выстрелов, как испуганно вскочит... Тебе самому так знакомы и эти оглушительные, как удар в дверь, первые выстрелы и странное чувство облегчения перед наступившей наконец опасностью: «Вот оно!..»

Когда отряд, выстроившись, слушал комиссара, я снова сидел высоко на тачанке позади своего взвода и смотрел, ждал, как Глаша подойдет к Косачу. Но он сам подъехал на лошади к тем, кто толпился у края поляны. Что-то говорил, а у нее лицо было влюбленно бледное.

...Совсем затих наш автобус, дрема придавила даже Костю-начштаба. Один мой Сережа не умолкает: старательно рассказывает, что сейчас за окном, мимо чего проезжаем. Вдруг засмеялся, воскликнул:

— Ой, папка, а в твоих очках все поперек движется... Ой, заяц, заяц! В клевере, смотрите!

— Э, не-е, в гречихе,— прозвучало в сонной тишине.

...В том бою меня контузило. Отряд наступал на железнодорожную станцию со стороны речушки и луга, поросших кустиками березы и ольхи. Долго дожидались рассвета, прячась в ложе речушки, туда же нашу тачанку спустили. Ровно в пять без стрельбы бросились к огородам, над которыми, словно крепостная башня, темнела кирпичная водокачка.

Наш ротный, Илья Ильич, перед самой атакой предупредил:

— Держите каланчу под прицелом. Жлоб буду, если там не сидит с пулеметом! Вот, пусть побудет с вами.

И кинул нам на телегу книжицу Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Мы повернули лошадей так, чтобы невысокий берег закрывал, прятал хотя бы их, и остались один на один с башней.

Уже застучали выстрелы — бой начался. Плывущая в предрассветном тумане башня внезапно заиграла, задрезнилась красным язычком — пулемет! Сашка сразу завязал с нею дуэль. Сначала немец нас игнорировал, бил по наступающим. А Сашка никак не мог хорошенько приноровиться, приказывал мне то так, то этак повернуть лошадей. Наш «льюис», высокий, как велосипед, закреплен на станке от «максима» — не очень удобный гибрид: ни лежать за таким, ни сидеть, разве что по-турецки. И щита у нас никакого. Наконец Сашка приспособился, и «льюис» загундосил басовито, по-бульдожь. Прожевал всю ленту — плоскую вафлю. Я подал новую, помог вставить в окошко-прорезь. И тут нас достало, но пока что сзади, по воде, словно камешки сыпанули. Сашка снова «натравил бульдога» (мы так называли свою стрельбу), я держу наготове еще одну полуметровую ленту на ладонях, как официант. Больше мне делать нечего, разве что считать камешки на воде, танцующие вокруг нас. Вдруг появилась на воде красная змейка, неторопливая, гибкая, все удлиняющаяся...

Не сразу сообразил, что это кровь. Быстро (мысленно) ощупал себя всего. На Сашке тоже ничего не заметно. Лошади стоят спокойно-безразличные, но Геринг все опускает хруп к воде, как бы ловит губами красную змейку. А она все растягивается, изгибается по течению и не может оторваться, уплыть от нас.

— Быстрее! — кричит Сашка. — Пришьет он нас.

Стрельба то нарастает, то вдруг спадает, но уже ясно, что случилось самое паршивое: мы их не смяли с налету, теперь все зависит от боеприпасов и времени, у кого больше. У нас меньше и того и другого.

На огородах мины ложатся одна на одну, нам видны черные верхушки взрывов. Топчут, втаптывают залежи там цепи, просто стонать хочется. Сашка снова пустил трассу пуль в черное окошечко башни, которая с каждой минутой все больше открывается, из темной делается кирпично-красной.

Сразу ощутили — есть, достал немца!

— Давай еще одну, — кричит Сашка и от удовольствия локтем, рукавом трет свой вспотевший веснушчатый нос и стриженую лишаистую голову. — Я его доколочу.

Я показал четыре пальца — столько лент осталось в ящиках.

Бухая по воде, кто-то бежит за кустами... Адъютант Косача.

— Вы что тут? Командир приказал туда, на тот край... к лесу... на фланг! Давай быстрее!

Но «наш» немец снова ожил — осыпанный камешками Женька припал к телеге у моих ног.

— А это видал? — заорал на него Сашка. Он добрый-добрый, а заводится с пол-оборота. Он у нас старый партизан, вместе с Косачем пришел в отряд, было время нервы измочалить! Снова нажал на гашетку, «бульдого» гулко и четко отсчитал десять патронов, почти пол-ленты прожевал.

Я показал Женьке, что у нас мало патронов.

— Давай! Косач приказал, — не взглянув даже, крикнул он и побежал. А немец снова сыпанул, слышно, как ударило в колесо прямо под нами.

— Ладно, поехали, раз приказывают! — кричит Сашка.

Перезаряжали пулемет, когда налетел Косач. Это был уже Косач.

— Вы что? В небо? Ах вы!..

Никогда я не видел так близко это крупное и в то же время резкое лицо. Резким его делают две глубокие, как шрамы, борозды, падающие по щекам от висков к подбородку. И глаза. Особенно глаза, яростные и все равно усмехающиеся, беспощадно увидевшие меня наконец, именно меня увидевшие, признавшие.

— А ну наверх!

Не слыша, не понимая, что они, Косач и Сашка, кричат друг другу и что делают, почему рвут друг у друга ручку пулемета, я бросился к лошадям с каким-то восторженным чувством непоправимости происшедшего и готовности делать что-то последнее, страшное, чем лишь и можно исправить случившееся. Я тащил за морды коней. У Геринга ухо разорвано пулей (вот откуда та красная змейка!), кровь заливает его безумные глаза, пенящиеся ноздри, окрасила мне руки, зеленые рукава немецкого мундира. Резко выдернув гачанку из воды на берег, я оторвал от нее, от пулемета Сашку и Косача, и они точно опомнились. (Уже потом, перебирая все в памяти, я сообразил, что Косач яростно и презрительно сталкивал Сашку, хватался сам за пулемет, а Сашка, матерясь и почти плача, не давался.) Наконец Сашка оттолкнул Косача. Взбежав на берег, ввалился в телегу.

— Гони!

Башня, когда мы вынеслись на луг, сразу выросла над нами, надвинулась, совсем красная от вспыхнувшего солнца. Зато лес — точно отнесло его еще дальше. И тут появилось чувство одновременно у обоих — мои и Сашкины глаза встретились, — что нам уже известно, сколько секунд осталось вот так скакать. Очень ясное, точное чувство, будто кто-то стал отсчитывать эти секунды вслух. Мы вроде уже видим себя оттуда, из красной высокой башни: беззащитно, жалко ползущую по лугу телегу; видим, как немец подводит пулемет, сейчас ударит... Хряснуло под нами, телегу перекосило, но мы еще катимся, подминая последние секунды. И тут лошади, точно споткнувшись, обе разом грохнулись прямо под нас, закрытые взрывом, а телега еще пролетела полкруга и перевернулась, вышвырнув нас. (Я, пока летел, все время помнил, где тяжелый пулемет, а где моя голова...)

На нас навалились взрывы. Меня подбросило, отор-

вало от самого себя и опустило в звенящую немоту. Оттуда, как из-за толстого стекла, я смотрю, как медленно, страшно медленно ползет Сашка. Я вижу, что сделалось с его ногой, а он не понимает, торопливо отталкивает от себя землю красным дрожащим обрубком, поливая кровью траву. Сапог и то, что в нем, волочатся на длинной штанине далеко сзади. Глаза огромные, недоумевающие, ждущие, что сейчас, сейчас он что-то узнает! Я неловко сдираю с себя немецкий пиджак и ползу следом по кроватной дорожке, ловлю и не могу завернуть в пиджак то, что оставалось от ноги. А он о подергивается в моих ловящих руках, уползает, как испуганный зверек. Кажется, я слышу пронзительный крик этого зверька, с торопливым дрожанием уползающего по красной дорожке...

...Тот, кто был хотя бы однажды ранен или контужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это будет. До этого лишь знал, что смертен, а теперь — ощутил.

Я ходил по лагерю и всем улыбался. Обнаружилось, что быть смертным очень весело, что это дает массу преимуществ.

Во-первых, все начинают тебя замечать и любить. Раненый среди партизан — самая уважаемая личность, настолько всеми замечаемая, что человеку с непривычки делается неловко и он побыстрее старается избавиться от бинтов, костылей, чтобы снова стать, как все. (Правда, случалось и обратное: кому-нибудь понравится носить бинты, как эполеты, но тут-то его и подстерегает самое ужасное — вдруг отхлынет от него теплая волна, он еще тянется вслед, а там уже недоверчивые усмешки, презрительное безразличие...)

Ну, а во-вторых, смертный — это взрослый, равный всем. (Бессмертны только дети.) Сразу приблизиться к ним, взрослым, — это стоит бессмертия. Туда, где все, где Глаша...

Когда меня привезли, глухого, вялого от шума в голове и тошноты, Глаша подбежала к моей телеге. Вдруг увидел на низком плывущем сером небе ее синие глаза — наклонилась надо мной. Уже прошло много телег с убитыми, ранеными, и она появилась надо мной, плачущая. Бежала к убитому, мертвому, а тут увидела неловкую слабую улыбку живого, на радостях она его

поцеловала, живого (где-то возле глаза), и, кажется, только потом сообразила, что поцеловала меня. Такое потрясение, наверное, изобразило до этого вялое от тошноты мое лицо, что Глаша тоже отшатнулась по-девичьи смущенно, но тут же улыбнулась и теплыми пальцами погладила поцелованное место, оставляя его мне.

Через три дня я уже ходил по лагерю: глупо лежать, когда столько добрых, ласковых улыбок можешь собрать! Ходил и собирал, как грибы. Но я искал Глашину, а ее не было. Целую неделю Глаши в лагере не было. Несколько раз издали видел Косача. Он меня снова не замечал. А меня еще сильнее привязали к этому человеку тот стыд, восторг, ужас перед непоправимым, которые я испытал возле речки.

Сашку, умершего от ран, хоронили в лесу у дороги. Косач стоял с опущенным тяжелым взглядом, незнакомо сутулясь. Салюта возле лагеря давать не положено, Косач бросил вместе с другими горсть земли, а комочек задержал в пальцах и шел с ним, я видел, до самого лагеря...

Я ходил на поляну, сидел там подолгу, глухой, одинокий, смертный. Я уже не слышал сухого дождя кузнечиков и только смотрел на их беззвучные красные вспышки. Масштабы незаметно смещались, и вот я уже среди красных взрывов, повторяющих пульсирующий в голове грохот. Вкрадывалась и начинала расти тревога: а что, если в лагере или рядом уже идет бой, а я сижу здесь, глухой, и не знаю? Что-то изменилось в мире резко, угрожающе, один ты не знаешь. Если бы кто увидел, как я возвращаюсь в лагерь — осторожно, с оружием наизготовку, — решил бы, что хлопцу мало настоящей войны, ему еще и поиграть в нее хочется.

Однажды уснул, угревшись на солнышке, по-осеннему мягком, глядящем, уютно устроившись меж высоких, как подлокотники кресла, корней толстого дуба. Открыл глаза — Глаша! Стоит и смотрит в упор. Я уже открыл глаза, а ее синий взгляд даже не дрогнул, лицо строгое, почти суровое. Наконец заметила, что я проснулся, что-то сказала и села к дубу, в соседнее «кресло» с корнями-подлокотниками. Откинулась лицом к солнцу и замерла с закрытыми глазами, только веки и ресницы мелко-мелко дрожат над плавящейся слезой. Глаша в немецком свитере, с открытой, еще

больше похудевшей шеей, юбка у нее по-партизански поверх синих брюк, заправленных в сапожки.

Но заметно, что сама она себя не видит сегодня, не думает, какая она, ей все равно.

Что-то сказала, не открывая глаз. Не помнит, что я оглохший, не слышу? Или ей все равно, услышат или нет, что она говорит? Я не слышу, зато поговорить рад. О Косаче, конечно. Как еще я могу отблагодарить ее за то, что пришла, сидит со мной вместо того, чтобы его искать, быть возле него?

Я знаю о Косаче, конечно же, больше, чем она: для женской любви все эти истории, возможно, не столь важны, как для мальчишеской. Вот эта история, как Косач появился в лесу и с ним еще семеро военнопленных, а их повели расстреливать как шпионов, подосланных. Сашка ругался и плакал от обиды и злости. Костя-начштаба все просил покурить (и когда вели и когда яму копал), остальные будто не верили, что это всерьез.

А Косач вдруг громко сказал из наполовину вырытой могилы:

— Когда тебя будут, не скули! Договорились?

Громко сказал (все его услышали), но неизвестно, кому это адресуя. (Не знаю, смог бы он сам объяснить, что имел в виду. Какая-то горькая затаенная мысль вообще, а не упрек или угроза. Не мог же он знать, что вот сейчас начнется бой: в двухстах метрах появятся немцы и он, Костя, Сашка в этом бою покажут себя так, что через несколько месяцев Косач станет командиром роты, а потом и отряда. Странно только, что их уже поставили под расстрел, но, когда навалились немцы, тут же выдали им оружие.)

Я все говорил, говорил, и все про Косача и про наш с Сашкой бой возле речки, и во всем Косач был у меня прав, потому что он и себя не щадит, не жалеет. Глаша, казалось мне, внимательно и согласно слушала, хотя и не открывала глаз. И вдруг произнесла:

— Замолчи! Дурачок.

Я это по губам ее и по гневно глянувшим глазам прочел.

Поднялась и пошла через поляну, как и в тот раз. Что-то у них с Косачем произошло! Я был убит этой догадкой. Так ведь хорошо складывалось, так стройно. Куда же мне, за кем, если они уже не вместе? Без нее для меня теперь и он не весь. А без него эта поляна и

наши встречи совсем другое что-то, о чем я не готов подумать прямо: я так привык к удобной уверенности, что мы сюда приходим, чтобы Глаша вслух о нем могла думать, а я помогать ей в этом...

Бой начался сразу и неожиданно близко, даже не за речушкой, за которой проходила насыпь разрушенной, недействующей железной дороги, а на нашей стороне, почти в лагере.

Мы шли по соснячку, пахнущему хвоей и летним песком. Глаша, трогая ветки, исколола запястья и теперь облизывала их жадным смешным языком. И вдруг застыла, вопросительно и моляще глянула на меня. «Стреляют!» — сразу прочел я. Рукой показала, где.

— Сильно?

Она закивала головой.

— Автоматы?

— Да, да!

Значит, совсем близко.

Взрывы я услышал сам, как-то всем телом. Наверное, мины. А если до гранат сразу дошло, плохо дело!

Глаша слушает бой и смотрит на меня, ждет, точно от меня зависит, чтобы не было того, что уже есть. И надо было мне именно сейчас оглохнуть: глухой, как и слепой, всему открытый, неловкий, беспомощный. Ты, как в клетке, пойман, и каждый может подойти и рассматривать. Немцы долго рассматривать не будут...

Глаша схватилась двумя руками за мой локоть, по ее вздрагивающим пальцам чувствую: застреляли совсем близко, вот... вот! Винтовку я зарядил, держу наготове, осматриваюсь, но при этом я еще помню, думаю и про то, что иду под ручку с девушкой и это сейчас увидят, те же немцы увидят. Еще хуже (так и подумалось: хуже!), если увидят наши зубоскалы. А вдруг Косач?

Пальцы на моем локте сжимаются, вздрагивают от близких выстрелов и взрывов, я вполголоса уточняю:

— Пулеметы? Автоматы, да?

Глаша глазами показала вверх. Э, даже самолеты! Значит, блокада, не меньше. Теперь главное — к своим попасть, не оторваться, не остаться одним. Глаша не то ведет меня, не то висит на мне среди неслышных мне выстрелов. В голове у меня свой шум, грохот, пустой, бессмысленный. Мы стараемся так обойти стрельбу и крики (потом Глаша говорила, что и голоса немецкие

слышала, команду), чтобы попасть в лагерь. Все правее забираем, чтобы не нарваться, чтобы зайти в лагерь с обратной стороны. Но сколько мы ни идем, ни бежим, бой все не остается позади. Глаша показывает, что он впереди, сбоку, кругом. Я уже злюсь, наверное, путает, где стрельба, а где только эхо. Оторвал ее пальцы от себя и показал, чтобы шла сзади: еще, еще больше отстань! Я направился прямо к лагерю. Оглянулся, Глаша послушно брела сзади, виновато, робко улыбнулась. Я невольно ей ответил, и она, как прощенная, тут же догнала меня. Снова обхватила руку. Что-то менялось и уже изменилось во мне, между нами. Я себя теперь другим видел, и этот другой уже не церемонился: он спасает Глашу, теперь это главное, а смущаются, стесняются пускай другие!

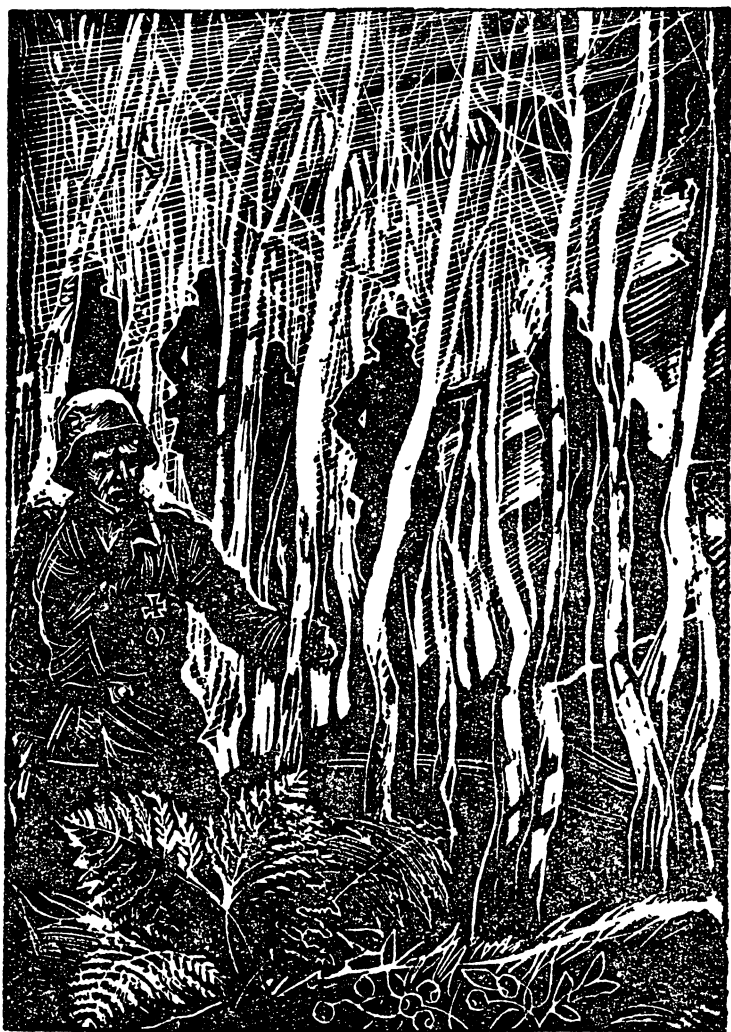
Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой, немо и страшно, точно изнутри взорвалась. Глаша уже упала и меня за полу пиджака тянет к земле. А сосны взрываются — белые клочья, точно пена, вырываются из-под коры. Разрывные пули! Но откуда бьют, не понять. (Когда-то Сашка о таком рассказывал, но там пена была красная, и я будто сам это помню — красное, вспененное... Они брели с Косачем в пыльных колоннах сорок первого года, и вдруг выскочил к дороге заяц, немцы-конвоиры азартно, весело застреляли по нем, а заодно и по колонне. Перед глазами у Сашки, у Косача, вот так брызнув красной пеной, взорвался затылок человека, который шел впереди них.)

Бьют из березняка, что метрах в ста от нас белеет за стволами сосен. Я толкнул Глашу, показывая, чтобы уползала, а она смотрит, будто я и в самом деле могу что-то изменить в целом мире.

В белой березовой стене, как бы просочившись, появились темные пятна людей. Они отклеиваются от белой стены и падают, отклеиваются и падают, как под немым пулеметом. И тут же снова поднимаются, растягиваются в цепь.

Глаша с земли смотрит на меня, глаза большие, беззащитно-синие, голову приподняла, вот-вот лицо ее тоже взорвется. Красным.

Дерева все брызжут белой щепой в немом ужасе, я ногами надвигаюсь на Глашино лицо, показываю ей свирепой гримасой, чтобы уползала быстрее за повален-



ную высохшую ель. И все боюсь, что лицо это, обращенное ко мне, взорвется красным, вспененным. Вдруг начинает представляться, что только лицо, огромные синие глаза — Глаша, а ее торопливо уползающее тело — это кто-то, схвативший ее и волокущий, и оттого такой ужас, мольба в этих глазах.



Немцы прошли совсем близко от осыпавшейся, сухой ели, за которой мы лежали. Я даже видел, как ближайший к нам (под каской, в пятнистой плащ-накидке) посмотрел на поваленную ель и сбился с ноги, наверное подумал, что надо заглянуть за нее или прострочить из автомата. Даже патрон в моей винтовке пошевелился,

казалось, такой это был момент. Узкое молодое лицо еще какое-то время было повернуто в нашу сторону, но он не застрочил и не подошел...

А мы, когда их не стало видно, вскочили на ноги и побежали. Бежать было бессмысленно и даже очень опасно, мы не знали, что, кто перед нами окажется через пять — десять, через сто метров, но в нас прорвалось копившееся все эти минуты чувство, желание быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Но вот опасность перестала напирать, давить в спину, зато встала поджидающе впереди...

«Постоишь — беда догонит, побежишь — напорешься на нее!» — это Рубеж любил повторять, Тимох Рубеж — смешной, странный человек, с которым мы встретились через два дня... В нашем автобусе никто его не помнит, они его не знали, Рубежа. Сошлась моя дорога с его на каком-то небольшом отрезке, а дальше потянулась только моя, а его оборвалась. Наверное же, и кроме нас с Глашей его помнит кто-то, где-то (семья у него была), но все равно такое чувство, что из живущих только я да Глаша знаем, что он был, и пока мы его удерживаем в себе, это правда, что он был.

Странно, что людей, которые сейчас в автобусе, я воспринимаю как посредников, через них я общаюсь, как с живыми, с теми Костей, Зуенком, Ведмедем, которых знал, видел много лет назад. И Костя-начштаба, вот этот шумный, смеющийся, и Косач, молчавший всю дорогу, и Столетов — все они как бы прямо оттуда, из двадцатипятилетней дали. Странно, когда память вот так вдруг обретает плоть, реальные голоса... Зрячие должны напрягаться, чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто четверть века назад был Косачем, Зуенком, Столетовым, Костей-начштаба. А мне и усилия не нужно, только тех, прежних, я и вижу. А сегодняшние лишь подтверждают, что все правда.

...Глаша сидит на корточках, привалившись к дереву. После сумасшедшего бега на щеках ее пятнами растекаются бледность и румянец, а в немигающих глазах темный испуг. Я стою над нею, сушу на своем лице пощипывающий пот и смотрю сразу во все стороны. Глаша показывает, что стреляют везде, кругом.

Да, в лагерь нам не проскочить. И нет там никого, раз такое творится.

— Удивится Косач, где ты,— говорю я. Глаша обтянула книзу серенький свитер, сняла с носка сапога березовый лист, рассматривает.

— Осень уже,— сообщили ее губы и посмотревшие на меня глаза. И я взял у нее пожелтевший, но еще мягкий, живой лист, точно она дело говорит и нам сейчас это важно.

Если началась действительно блокада, значит, все это — стрельба, самолеты — сейчас уже и там, где мама, сестрички. Хорошо, если догадаются сразу уйти на «острова», в глубь болота. Деревня наша там и в сорок втором и в сорок третьем пряталась.

Глаша смотрит на меня и соглашается с тем, что я думаю. Фу, да я уже вслух думаю! Разговариваю в голос, не замечая того. Продолжил, как ни в чем не бывало:

— Там, в своем лесу, я на немцах кататься буду как только захочу. Там не достанут. А схлынет, доставлю тебя...

Я не произнес: «Косачу». Ее взгляд мешает мне произносить это имя. Раньше помогал, требовал, а теперь почему-то мешает.

Мы снова идем через лес, и снова Глаша показывает, где стрельба гуще. Свернули к болотцу, зеленому, с полегшей длинной травой. Я набрал в пилотку воды и, подняв над лицом, ловлю губами солоноватую от пота струйку. Глаша пьет с ладошки.

— Есть хочешь,— догадался я. Она быстро кивнула и глянула по-детски, точно я сейчас достану с дерева и дам ей. Черт, даже сумку свою в лагере оставил, хорошо еще, что винтовка да граната при мне. А Глаша совсем налегке, хоть бы для виду Косач дал ей какой-нибудь карабин. Теперь пришагаем к моим односельчанам, а там решат, что я просто с девушкой,— невесту привел, здравствуйте!.. Убьют немцы, подойдут и будут рассматривать нас на земле.

Я отнял у Глаши свой локоть, для этого сделал вид, что мне надо вернуться на пресеку, посмотреть.

...Автобус наш дремлет. Глаша, наклонившись, пошарила в сумке, подала Сереже бутылку с водой. Сказала строго:

— Не облейся.

Теперь смотрит в окошко. Я ощущаю ее несвободное дыхание, и кажется, что вижу синий мазок скошенных глаз, который и сзади Косачу, наверное, виден. Косач за спиной у нас. Мы едем, чтобы встретиться. На встречу с самими собой едем.

А ведь вы, Флориан Петрович, обязаны партизану Флере, самонадеянному, сердитому, глухому, в обвислых немецких обносках, обязаны тем, что вышли сюда, с Глашей вышли вот сюда... Порой я совсем со стороны вижу того Флеру — себя восемнадцатилетнего. Точно не во мне он, а там остался. И порой кажется, что мы с Глашей все идем за ним, подчиняясь его сердитым знакам, а он, загребая листья, иглицу тяжелыми сапогами, то пропадает за деревьями, то появляется из-за них неширокой, худой спиной. А ему еще про мать надо думать, про сестричек. Несет, прижав локтем приклад, свою жалкую, черную от нестираемой могильной сырости винтовочку, будто она и в самом деле всем нам оборона.

...И тут мы увидели людей. Сразу заметно было, что это убежавшая в лес деревня и именно сегодня, может быть, два часа назад это случилось. Ни шалашей, ни ям, ни обжитых деревьев, на которых были бы развешены одежды, тряпки. Люди как разбежались, а потом как собрались, сбились в кучу, так и толпятся, застыли, глядя в одну сторону: там догорает их деревня. Самых хат не видно, а только рвутся из-за высокого поля в небо разные по грузности и цвету дымы, еще не соединившись в сплошную стену пожара. Сначала люди, все как один, повернулись в нашу сторону, дернулись, готовые снова сорваться, бежать, но вид наш сразу успокоил их. Только женщина в белой чистой кофте, выделяющейся среди заношенного старья, бросилась к нам, что-то причитает, кричит сердитое, показывая на мою винтовку чугунком, который зачем-то держит в руке.

Мы постояли с Глашей, как бы дожидаясь, чтобы у людей пропал к нам интерес, а потом тихонько пошли. Вдоль опушки. Не хотелось терять ее, отвоеванную у страха, снова углубляться в лес, брести вслепую. Нам еще поле — километра три открытых — пересечь надо, прежде чем попадем в «мой» лес.

До сумерек держались опушки и видели, как то в одном, то в другом направлении — ближе, дальше — вырастают новые дымы. А меж них, будто на гигантских трапециях раскачиваются — самолеты. Появляются то с одной, то с другой стороны. Такой блокады в наших местах еще не бывало — чтобы столько самолетов!

К вечеру небо затянуло, загрузило тучами. Дымы вверх расползаются, как под черным низким потолком, шевелятся там. Вдруг сыпанул дождь, а потом, как бы не то сделав, пропал и посыпался сухой, секущий песок — ветер где-то поднял его и теперь швырял прямо из туч.

Зарева сначала растекались по горизонту, жались к земле, а отблески подпрыгивали к тяжелому подбрюшью неба. Потом зарева стали расти, расти и наконец вцепились в тучи, повисли на них. Небо снизу глаже и как бы тверже делается и все чернее, мрачнее в глубине, в своей толще. Громадные тени сплибаются, стелются друг дружку вниз. Ночи не стало. И не было дня. Мир сделался узкой и длинной, во весь горизонт, амбразурой, освещенной изнутри...

Спотыкаясь, разрывая ногами картофельную ботву, мы быстро шли через поле, спешили к далекой, очерченной заревом, угольно-черной гребенке леса.

И тут увидели появившихся, бегущих по зареву, по горизонту людей. Далекие черные фигурки, словно сгорая, трепещут в светящейся амбразуре, пропадают, появляются новые и тоже проваливаются в черноту.

Люди снова выбегают, уже ближе, из черноты, бегут, толкая перед собой длинные тени. Все удлиняющиеся тени уже пронесли мимо нас, а сами люди только подбегают. Другие, левее, вырываются из ржи, кипящей, как от рыбы пруд, из которого быстро уходит вода. Нас люди замечают в самый последний момент. Глаза человека спотыкаются («Кто это? Почему стоят, не бегут?»), и он пронесется мимо. Вслед посмотришь, снова увидишь глаза. Детские. Припавшие к плечу взрослых детские головки пролетают мимо нас, неотрывно глядя назад — на зарево.

И вдруг в той стороне поля, куда все уносится, что-то произошло. Длинно вытянувшаяся трасса пуль разрезала темноту, и стало видно, что оттуда тоже бегут, наверное, другая деревня. Увидев друг друга, люди рас-

терянно приостановились и, может быть, закричали (а может, они все время кричат, мне не слышно). Заметались и бросились уже все вместе к лесу, из которого вышли мы с Глашей.

В лесу, куда наконец добрались мы, привычном, партизанском, сразу сделалось свободнее. Лес нас признал, повлек, повел, облизывая по-собачьи, дрожащим пятнистым светом наши лица, руки. Мы прошли еще с километр и сели отдыхать. Глаша нашла спиной дерево и тут же уснула, оставив мне одному и эту войну и весь этот мир, — ей надоело. Я сидел, смотрел на ее капризно спящее лицо, как бы с вызовом спящее, и тихонько, как помешенный, смеялся, наверное, от усталости и от своей дурацкой глухоты.

Оттого, что нельзя было этого делать, а я тоже крепко уснул, беспечно спал (точно поддавшись детскому настроению Глаши) и ничего страшного не случилось, было очень весело проснуться и посмотреть на мир, в котором все осталось на месте.

Глаша одновременно со мной подняла с собственного плеча голову и открыла глаза, щедро добавив в мир синевы. Мы какое-то время смотрели друг на друга, всему открытые.

Все в лесу пропахло дымом: и папоротник, и хвоя, и твои рукава, и, наверное, холодные от росы Глашины короткие волосы, которые она оглаживает обеими руками. От дыма щиплет под веками.

Солнце, до этого невидимое за деревьями, внезапно, сразу ворвалось в лес, и тогда дым по-живому заворочался на неподвижно расходящихся спицах света.

Мы пошли по старому сухому бору, собирая чернику, уже подсохшую и насахаренную за целое лето солнцем. Надо побыстрее уходить отсюда, но Глашин голод нас не пускает, он такой же смешной, по-детски капризный, как и сон ее, и мы, веселясь, точно жадному кролику морковку скармливаем с ладоней, подаем ему сладкие тепловатые ягоды. Кое-что достается и мне, но кролик такой радостно жадный, такой синеглазый, что трудно удержаться и не отдать ему.

Лес завораживает, держит; он какой-то испаряющийся, нереальный из-за этого синевато-оранжевого дыма, прозрачно растянутого на солнечных спицах.

В какой-то момент мы подняли глаза от кустов черники и обнаружили, что идем по кладбищу. Лесному,

среди вековых сосен, старому, как сам бор, кладбищу. Время и лесные мхи так отфактурили трех-пятиметровые кресты, что в первый миг тупо подумалось: «...Тут и кресты растут!» А у ног крестов-великанов валяются, разбросаны давно сгнившие, похожие на маленькие тени великанов кресты-дети, кресты-младенцы. Кое-где остались разломанные оградки, чугунные и железные. Время срастило их со стволами толстых сосен. До самой сердцевины вросло железо. И мох пополз по чугуну, делая его как бы частью леса.

Вон как хоронили своих мертвых: на каждого такой крест, чугун! Кресты непривычные: не то староверские, не то католические...

...Да, Флориан Петрович, вот тут бы вам и лежать! Свалила бы пулеметная очередь, обрызгав вашей кровью чужой крест, чужую оградку. И Глашу срезала бы в тот же миг... Флера и на этот раз спас. Со своей черной винтовочкой, уверенный, нелепый в своем обвиняющем немецком мундире, вел он вас на виду у немецкой засады, поджидавшей партизан на этом самом кладбище.

Теперь поменялись ролями: уже я веду того партизана с винтовочкой, продолжаю, так сказать. С какого только момента, с какого места? С того ли, как окончилась война? А может быть, позже я его сменил? Или, наоборот, раньше?

Как-то в Белграде наш турист подшутил в музее (пока я видел, я старался побольше ездить, смотреть, втайне подозревая, что делаю это впрок, в з а п а с), так вот, наш турист привел свою землячку к стеклу и показал ей белый череп, мол, это Александра Македонского, когда ему было семнадцать лет.

— А где?..— женщина хотела узнать, а где взрослого Македонского череп, но тут же сообразила, рассмеялась вместе со всеми. А ведь действительно: где? Где мы меняемся ролями, местами, например, я с Флерой? Ведь я его совершенно со стороны вижу, помню, точно он — это кто-то другой, с кем я был, за кем я шел, кто меня выводил и спасал так же, как Глашу.

Да, это надо было видеть, как пошел петлять, хитрить Флера, когда из-за покосившейся оградки его взгляду открылся вдруг пулемет, одноглазо уставив-

шийся на нас в упор, а над пулеметом — неподвижный черный череп каски! А Глаша ничего не замечает, она идет впереди, трогает кончиками пальцев обомшелые, бархатистые тела крестов, в немом крике вскинувшие над ней руки. К ее великому изумлению, Флера стал вдруг махать рукой и кричать в ту сторону, откуда мы появились:

— Эй, командир, сюда все идите! Что мы нашли!

Станным голосом задержал, подозвал Глашу:

— Глаша, стой, что-то покажу...

Взял Глашу за плечо (рука дрожит, а лицо вроде смеется, но какое-то закаменевшее), повел ее в сторону, бормоча что-то бессмысленное. И снова крикнул:

— Эй, где вы там? Сюда идите!

Пересекли лесную просеку, оставляя кладбище позади. Глаша не понимает, что происходит, а он на нее не смотрит и не отпускает плечо (ей даже больно), идет все быстрее. И вдруг крикнул:

— Да немцы же, дура, беги!

И, схватив ее за руку, бросился в густой орешник.

А когда далеко отбежали и когда она поняла, что там было, Глашу стал бить озноб. Флера накинул ей на плечи пиджак с алюминиевыми немецкими пуговицами.

Рассматривая свой зеленый китель на Глаше, Флера сказал:

— Мама не знает, что я променял пальто. Последний раз зашел домой, она спросила, почему не принес его. Там воротник хороший был... А знаешь, давай вернемся на хутор. Ты же хочешь есть. И я хочу.

...Когда мы бежали после кладбища, заметили на лесной поляне сгоревший хутор или лесничество, угли еще дымилась. Картошку, и даже печеную, найти тоже можно.

Но я вдруг почувствовал, что глухота моя боится леса. Все представляются черный череп каски и уставившийся глаз пулемета... Главное, со мной Глаша, рядом!

Сказал заранее сердито (на тот случай, если станет проситься), что я схожу один, а она обождет в ельнике. Глаша смотрит умоляюще, но возражать не решается.

А мне уже нравится быть с ней вот таким, решать за обоих. Быть сердитым. У человека веселого, а тем

более непрошенно, навязчиво веселого всегда вид оправдывающийся. За мрачность, за угрюмость никто не оправдывается. Наоборот, другие себя чувствуют виноватыми перед таким.

К этому и привыкнуть можно, на всю жизнь понравится.

Нашел еду я скоро, прямо на дороге. Мне надо было перескочить эту дорогу, свежее побитую, растертую танковыми гусеницами. Я ступил на нее, а прямо в глаза мне — картонная коробка, такая неожиданная здесь в лесу, точно из другого мира. Меня даже за дерево повело сначала, как от опасности. Но тут же бросился и схватил ее, как бы боясь, что видение исчезнет. Хватая коробку, подумал, что это вполне может быть ловушка-мина, а разрывая картон и откусывая ровненькую галету, лениво прикинул, что она, возможно, отравлена. Галеты очень сухие, но голодной слюны хватило и на вторую и на третью. Я жую на ходу, пьянея от слабого, какого-то далекого хлебного запаха, и успокаиваю свою совесть тем, что надо же хорошенько убедиться, что они не отравлены! У меня даже голова закружилась в придачу к тем привычным тошноте и шуму, которые меня сопровождают с момента контузии.

И я заблудился, вдруг понял, что иду наугад. А ведь я даже не смогу окликнуть Глашу, точнее, не услышу ее голоса. Забыл, совсем забыл, что я глухой!

Я испуганно, растерянно побежал и тогда совсем поверил, что не найду ее, и испугался еще сильнее. А ведь необязательно было оставлять ее и ходить одному. Не говори, что засады побоялся, просто понравилось быть, как другие, мрачным, приказывающим. Дурак, дурак, какое тебе дело до других! Им, другим, может быть, и Глаша не то, что для тебя...

Я почти налетел на нее: она издали меня увидела и побежала наперерез, встревоженная таким моим появлением: мчится человек, глаза белые, в руках какая-то коробка, точно украл и за ним гонятся!

— Ешь смело, не отравленные! — заорал человек

Свет уходит из лесу, собирается вверху. По-ночному остро пахнет земля, хвоя. Мы шли весь день, а теперь устраиваемся, чтобы спокойно отоспаться. Галеты мы доели все, к ним очень пошел кисленький заячий щавель. Сытости немного, но само сознание, что сегодня ел хлеб, успокаивающее: в хлебе всегда столько надежды!

Глаша сидит под темным деревом, обмякшая от усталости, накинув на плечи мой немецкий китель. Морозит, сыро. Я ломаю лапник, колючий, холодный, и ношу, складываю к ее ногам.

Дождевые тучи все опускаются над лесом, но от них становится не темнее, а светлее — по небу скользят ночные отблески пожаров. Это уже почти моя местность, до моей деревни километров тридцать.

Лапник я заготовил, теперь только перетащить его в густой ельник. Поставил винтовку возле Глаши и тащу гяжелую колючую ношу вслепую, спиной раздвигая густо растущие елочки: надо подальше, поглубже, от всех, от всего подальше. Глаша точно и не видит, чем я занят, сидит странно безучастная, и уже кажется что не только от одной усталости.

Все готово. Я подошел, взял винтовку. Глаша снизу глянула на меня и подала пиджак.

— Дождь теперь не достанет,— говорю я. Глашины глаза, поднятые кверху, освещены, что-то в них вопрошительное и совершенно мне незнакомое. Но что тут такого? Все обыкновенно: надо перебыть ночь, чтобы не налезть на немцев, не заблудиться, и вообще люди, как собаки, устали. Я рассказываю Глаше про то, как мы утром выйдем и к вечеру будем на месте. Глаша смотрит молча. А как еще, если я глухой? Все обыкновенно.

Подошла к густому, как щетка, мокро поблескивающему ельничку, смотрит заинтересованно: что тут, как я тут намастачил?

— Сюда иди, я и крышу настелил,— говорю я и спиной проламываю колючую стенку ельника, а Глаша идет следом, руками отводя еловые лапки от лица. Я вижу ее лицо, глаза. Такая вдруг непонимающая, несообразительная стала, очень всему удивляется, будто впервые в лес попала: Кажется, выбрала для себя, какой ей быть, пока сидела под моим пиджаком, а я таскал лапник, и вот стала такой, ждущей, чтобы ей все показали, объяснили, самой ей невдомек, что тут и как. Очень точно почувствовала, какой ей надо быть с Флерой.

Вот оно, наше жилище: крыша есть, постель есть, все из лапника. Глаша стоит и не понимает, как и что дальше. Я наклонил ей голову.

— Заползай.

Волосы у Глаши мокрые и теплые — моя ладонь то-

ропливо сообщила мне об этом. Глаша присела на корточки и поползла в темноту, под навес. Пополз в колючую темноту и я. Холодная рука Глаши коснулась моего лица — показывает, где мне ложиться. Лапника у нас достаточно, чтобы и под бока было и накрыться, как одеялом. Приподнимаясь, вытаскиваем лапки из-под спины, взваливаем их на себя, разравниваем, исколотые руки наши встречаются и показывают: вот так, тебе вот так будет лучше! Еще лучше будет, если я сниму свой китель и мы сперва накроемся кителем, а уже поверху мокрыми колючими ветками.

Наконец все как надо: пружинящая еловая постель — под нами, тяжелый, плотный лапник — на нас, винтовка — между, а руки наши придерживают теплый пиджак поближе к шее.

Все в мире невероятно и резко, точно бинокль другой стороной повернули, отдалилось. Все будет завтра, а сейчас только это, только мы. Молчание уже пугает, как улика, и я начинаю говорить, шептать. Конечно, об отряде, о Косаче. Он искал Глашу, он все думает, куда она исчезла... Глаша, чтобы лучше слышать, повернулась со спины на бок, лицом ко мне. Я ощущаю ее дыхание, почему-то прохладное. Или это у меня такие разогревшиеся щеки? Но мне совсем не жарко, мне почему-то холодно. Еще энергичнее, как молитву, шепчу про то, как я ее спрячу на «острове», а потом мы найдем своих, отряд... (Глашина рука проверила, хорошо ли закрыт мой бок, не мерзну ли.) Я все бормочу свою молитву, рассказываю про Косача, про то, как он умеет быть строгим, неразговорчивым, зато, когда скажет, то уж беги, делай, и каждый с радостью бежит и выполняет. И я понимаю, почему Глаша... Я и сам... Рука Глашина уже лежит поверх пиджака, я чувствую ее доверчивую тяжесть возле шеи. Так прекрасна в ней эта взрослая простота. Положила руку и ни о чем не думает, а я только об этом и думаю, о том, что ее рука на мне лежит и что это значит.

Захотела и стала взрослой на глазах у всего отряда. А я только в снах, но и во сне обязательно кого-то пугаюсь, в самый последний, в самый стыдный миг, точно забавляется мною кто-то, обманывая всегда одинаково, и всегда ему это удается.

Глаша затихла совсем, дыхание сделалось слабее, а я все шепчу, шепчу свою молитву. Я уже рассказываю

самое начало: как Косач и Костя организовали побег из плена, проломив в теплушке пол, и как они все вываливались под колеса мчавшегося через Польшу поезда...

Наконец я понял, что Глаша спит — уютно, по-домашнему, как она это умеет в любой обстановке.

Сразу изменилось все. Рядом доверчивый комочек человеческого тепла, я повернулся к нему и могу без страха, молча вдыхать его, радоваться ему. Спать я себе не разрешаю, хотя все тело слипается, склеивается в сонный ком, и приходится эту склеивающуюся вязкость раздирать снова и снова. Если нас, если тебя завтра убьют, вся жизнь пройдет этой ночью. Закроешь глаза — и уже утро! Нет, пусть каждая минута длится, тянется, как только можно, ее надо раздирать на секунды, на мгновения... Глашина рука доверчиво, сонно лежит на мне, коленки греются о мои ноги, дыхание смешно ластится о мой рот, щекочет веки, слипающиеся, просящие сна. Можно даже закрыть глаза, нужно только не давать мгновениям слипаться в минуты, а минутам склеиваться в часы, а всему телу — в один сладкий мертвый ком сна. Не давать, не позволять, удерживать, раскрывать, расклеивать... Где теперь мама, сестренки, где они в эту минуту, о чем думают? Мне надо увидеть их, убедиться, что ничего не случилось, что они есть...

Я провалился в сон, как под воду. И тут же вынырнул — в холод, в сырость, в стреляющий, перекликающийся гулким эхом рассвет. У нас в ельнике еще темно, только поблескивают, точно собственным светом, нанизанные на иглы капли. Да в плывущем тумане белеют, как незажженные или погасшие свечи, стволы елей, с которых высоко содрана кора. Даже удивительно, как это сумели почти до макушек снять кору.

— Они нас найдут? Они нас увидят?..

Голос, шепот ее торопливый, такой испуганный, а глаза, знающе-смелые и улыбающиеся, глядят на меня снизу. Это я, и это правда, впервые это не во сне, а правда, и так близко стреляют, но мы одни, руки наши просят, мешают, разрешают, запрещают, помогают. Они и ласковые, и грубо-неловкие, и насмешливые, и стыдливо-сильные. Глаза так близко, вот-вот сольются в одну каплю, огромную, голубую...

— Не смотри! Слышишь!.. Как стреляют, слышишь? Я закрыл глаза. И проснулся. Снова кто-то мною

поигрался, позабавлялся моей дурацкой трусостью. Глаша уже не спит, приподнялась, сдвинув набок, свалив с нас слежавшееся еловое одеяло, напряженно вслушивается. Сон ушел, но и остался, мешает на нее смотреть. Теперь, кажется, на самом деле проснулся. Я поискал закатившуюся под бок винтовку, вытер с лица дождевые капли — умылся.

— Стреляют,— сообщил я. Это я прочел в ее вслушивающихся глазах.

...Вот они, мои Белые Пески, я привел Глашу к себе домой. Деревня огромная от внезапной пустоты, открышейся в ней. Взгляд, не соглашаясь, цепляется за две или три постройки, уцелевшие в разных концах огромного пустыря, вепыхивающего последним жаром то в одном, то в другом месте. Плечо мое дрожит под вздрагивающей рукой Глаши, и мне подумалось, что она это чувствует так, как чувствовал я, когда ловил уползающий обрубок Сашкиной ноги. Я отошел от Глаши. Почти с отвращением к ней, к себе, к нам, которые пришли сюда не вчера, не позавчера, когда мы еще были нужны здесь, нужны были...

Я начинаю спускаться с сосновой горки к дороге, в сумерках белеющей среди луга. Глаша, не заметив или не желая замечать моего к нам отвращения, идет рыдышком.

Не раз, бывало, дотемна загулявшись на этой горке, глядел я на деревню: вот так же вспыхивали огни в разных концах деревни в окнах. Вот так же.

Дорога тихо, точно дожидалась, приняла меня, когда мы сошли вниз, повела, побежала вперед, впереди... У моего соседа Юстина утонул взрослый сын (перед самой войной случилось это), а Юстин вернулся откуда-то через день, когда уже стоял гроб в хате. Человек идет по улице, уже знает про свое горе, к нему тихонько подходят и молча идут рядом люди, соседи, вот как Глаша рядом идет. А впереди бежит белая дорога, показывает, куда идти, где твое горе. Но при этом она не забывает сделать свои давние изгибы, даже ненужные: возле давно высохшего болотца, возле когда-то сгоревшего от молнии колхозного амбара. И я, как эта непрямая дорога, все ухожу от мыслей про маму, сестричек, соседей, деревню, все о чем-то другом, о другом совсем...

Моя хата в дальнем конце деревни, и мы идем туда. Вспыхивают от ветра бугры, где стояли хаты, а теперь грузно белеют печи; отсветы касаются Глашиного, моего лица — так ощущаешь чужой взгляд, хотя и не видишь еще, кто следит за тобой. Что-то извечно бабье есть в этих обессиленно присевших белеющих печах. «А чей же это? Гайшунихи хлопец, Флера? Или чей?» Точно стараясь рассмотреть или показать нас, жар на огородах вдруг вспыхивает, разгорается ярче. Опустевшие дворы отступили от улицы, оставив на прежнем месте лишь скамеечки, да обуглившиеся заборы, да березы с закинутыми, как головы, вершинами. (Что-то белое перебежало улицу, быстро, по-собачьи, но я хорошо вижу, что это не собака, а свинья, совсем как дикая.) Возле этих берез, под ними когда-то проходили летние вечера. Старшие сидят, стоят, курят, судачат — отдыхают после рабочего дня, а мы, пацаны, носимся по улице, по огородам, хорошо нам от ощущения, что у взрослых такое тихое, вечернее состояние, весь мир человеческий кажется успокоенным, защищенным, добрым. До сих пор в существе моем, в каких-то сотах запечатано то минутное чувство, которое я сам отметил, остановил, когда вскочил по лестнице на чердак, прячась от «синих», посмотрел вниз и увидел на скамейке под березой отца и маму: сидят, как парень с девушкой («тили-тили-тесто, жених и невеста!»), смешно так сидят и трогательно, считая, что их не видят, он целует ее возле уха, она, отталкивая, гладит его лицо рукой. («Петя, одурел, соседи же!»). Мне хорошо и жутковато, точно нет на свете меня, а только они вдвоем. Затаившись, я смотрел на мир, где меня еще нет. Сам не знаю отчего, но я закричал громко, будто бы продолжая игру в войну, а на самом деле, чтобы снова появиться в этом мире, напомнить о себе. Мама оглянулась, а отец рассердился:

— Ты что, как резаный?!

Сердился он сразу, резко, и я его любил и боялся. Вообще я всегда любил суровых, неласковых, может, потому именно, что таким был и мой отец. Даже уезжая на войну в Финляндию, отец не поцеловал меня, а только стиснул пальцами плечо и показал на плачущую маму и прислонившихся к ее ногам близнецов, обвязанных платками по-кучерски, под мышки: «Смотри их!»

Теперь я подходил к тому самому месту, где это было, где наш дом. Тут огоньки уже не ползают по огородам, только возле печей дрожит жар, значит, начинали с этого конца... Береза высится надо мной, откинув растрепанную голову в черное небо. Уцелели калитка, часть забора. Возле печки земля затемненно светится.

Глаша тихонько направилась к печке, а я все не вхожу в распахнутую калитку. Кто, чья рука ее распахнула? И что было потом?.. От Глашиных ног вспыхивают и остаются светящиеся красные следы. Зацепила жар носком сапога — коротко взлетел рой искр... Как на той поляне... О чем это я? Мысль все соскальзывает набок, уходит от самого страшного. Решительно, убежденно, чтобы самому поверить, говорю Глаше, что все убежали, все в лесу... Глаша наклонилась, рассматривает что-то. Я отрываюсь от калитки и бегу туда и сам пугаюсь своего бега. О, я знаю, что это такое — белые угли! А мне вдруг показалось, что они белые — как сгоревшие кости. Нет, нет, это от печки отсвечивает, от побеленной мамиными руками нашей печки! И горелый запах картошки и яблок, только картошки и яблок! Они убежали в лес, я знаю, завтра их найду, увижу...

Я подхожу к печке, трогаю ее, неожиданно холодную среди неостывших углей. Сапоги мои, как влагу на болоте, выжимают из земли жар, свет. Следы гаснут не сразу, тлеют, вспыхивают от ветра, по ним пробегают синие и красные огоньки.

За яблонями пятном белеет печка Юстина — нашего соседа. На заборе что-то развешено, начинает казаться, что там люди, жутко неподвижные.

Я пошел назад к калитке. Глаша уже там, смотрит мне навстречу. Села на скамейку, и я сел рядом. В Глаше что-то такое появилось, бабье, простое. Взяла мою голову и положила себе на колени, а свою мне на спину. Потом я совсем лег на длинную скамейку, и не было странно или стыдно, что она сидит, а моя голова у нее на коленях, как не странно и не стыдно раненому. Время от времени я открываю глаза, вижу откинутое к березе лицо Глаши, слежу, как ветер шевелит жар на пепелище и кровавые отблески бросаются на деревья, подходят и показывают яблоки, красно-черные яблоки. В голове стучит, и этот звук то отдаляется — стучит где-то на огородах, — то возвращается в меня. Что-

то пустое, полое то наполняется, мною напояется, то опорожняется. Этот стук, запахи горелых яблок, печеной картошки заманивают меня все в один и тот же сон, прерывающийся и снова длящийся: утро в нашей хате, на печке шепчутся и приглушенно повизгивают близнецы, на кухне мама, я слышу, как она рубит на доске мясо, как двигает чугушки, стучит сковородкой, и очень боюсь, что сейчас она войдет и увидит нас с Глашей, лежащих в ельнике на лапнике.

Очнулся я под яркой, бьющей в глаза синевой. В прохладной вышине колыхается береза; желтая половина кроны — как внезапная седина. Воробьи, темная густая стайка, не слетели, а как-то ссыпались с березы на огород. Я проводил их глазами и проснулся окончательно. Внизу, на земле, на огородах черно и пугающе пусто. Печки не белые, как в сумерках, а грязно-серые. Когда смотрел на пожелтевшие ветки, на воробьев, показалось, что слышу шум березы, воробьиное чириканье. Теперь снова все вокруг онемело и только во мне самом шум. И легкая тошнота.

Я поискал глазами винтовку, Глашу, не увидел, неловко оттолкнувшись от края скамейки, повернулся и, поднимаясь, оперся рукой... Что-то горячее податливо хрустнуло под ладонью, и страшная боль в локоть, в затылок подбросила меня. Ртом, языком я слизывал, высасывал острую боль, застрявшую в ладони, и одновременно заглатывал вкусную горелую картофельную кашу. Глаша испуганно остановилась возле калитки с куском черной жести в руках, как с подносом, а на нем полусгоревшая картошка и яблоки. Поставила «поднос» на траву и виновато подбежала ко мне, но я вырвал из ее рук свою обожженную ладонь и схватился за приклад лежащей на земле винтовки — теплая! К железу приложил — не помогает. Траву пощупал — теплая. Я вертелся, искал и не находил холода. Каблуком выбил ямку в земле, втиснул в нее ладонь — боль сразу отдалилась, земля ее отсосала, но там, в отдалении, боль осталась, как пчелиное жало. Глаша виновато трогает пальцем горелые картофелины, которые я не смахнул, которые остались на скамейке, что-то говорит, наверное, укоряет меня, себя. Боль уже возвращается, и я, вскочив, выбиваю новую ямку в земле, прижимаю ладонь, и боль уходит, как вода в песок. То, что я делаю, как я верчусь, вскакиваю, бью ногой землю, хватаюсь за

нее, наверное, очень нелепо выглядит, и я злюсь, что не могу не делать этого. Глаша, улучив момент, взяла мою руку, подула на покрасневшую и вздувшуюся ладонь.

— Ты что — цыганка? — я отнял руку и снова стал зарывать ее в прохладный чернозем. Глаша — ничего не оставалось — улыбнулась мне, а я ей снизу, и мы занялись каждый своим делом: я сидел, прикованный к земле, она раскладывала на скамейке наш завтрак. Подошла ко мне, вынула из моих ножен немецкий штык-кинжал и стала соскребать с картофелин нагар, дуя себе на пальцы. Из самого жара набрала картошки — сплошь угли! Время от времени отрываю руку от земли, боль не сразу, но обязательно возвращается, снова ввинчивается в локоть, в голову, в затылок. Я перенес ладонь на железо винтовки — уже помогает. Перехватывая обожженной ладонью все новые, еще не нагретые части винтовки, пошел к пожарищу, к печке. Боль ушла в печку, в ее глубокий холод. Я держался за холод и разглядывал все, что осталось от хаты: несколько почерневших больших камней на углах, железная кровать, прогнувшаяся посередине, рама велосипеда, на котором давно уже не было резины, сплюснутое ведро. Была еще швейная машина, это хорошо, что ее не видно. Ведро могли и не брать, а тем более бесполезный велосипед, а машину мама унесет — главная наша ценность. Мы и до войны жили, одевались с маминого шитья, а в войну особенно.

В печке стоят чугуны. В том, который поближе, черные угли. Я достал второй, с выкипевшим почти до доньшка супом, он еще тепловат, я несу чугунок в ладонях, но боли не ощущаю, забыл про боль. Ставлю мамин обед на скамейку, достаю из кармана ложку. Пробую, съедаю немного напिताвшегося дымом, горечью супа, передаю ложку Глаше и беру из ее рук очищенную картофелину. Глаша попробовала и тихонько положила ложку.

Кончили завтрак, Глаша аккуратно смахнула со скамейки на «поднос» очистки, гарь. Чугунок я отнес и поставил назад в печку. Боль вернулась в руку, и я шел по нашему саду, касаясь тепловатых деревьев, искал среди яблок не сгоревшее, зеленое, надкусил его и приложил к ладони. Земля вся усыпана черными яблоками. Их столько, что идешь по ним, наступаешь, как на что-то живое... Вот что белело ночью на заборе — клочья от

беля, причудливо обгоревшего. Его тут искрами засыпало от нашей и от Юстиновой хаты. Но почему его не забрали с собой: не смогли, не успели? Тревога снова окатила меня холодным потом.

Глаша смотрит в небо. Да, уже летает. Она всегда над нами, когда нам плохо, — немецкая «рама». Партизаны не раз пытались сбить, но не удавалось. Говорят, что она бронированная.

«Рама» удаляется в сторону леса, нам тоже туда.

Когда после войны мне приходилось летать в самолете, все время привязывалась мысль: вот так, вот такими видела землю, хаты, нас, людей, та «рама», видел он — кто-то обобщенно гнусный. Ему, именно ему, не время еще видеть землю, человека с такой высоты, с которой все кажется незначительным, макетным, условным. Наверное, даже не со злостью, а весело гонялись «мессеры» за беженцами, когда те, как муравьи, рассыпались с дороги. Вот так же целился бы из черного космоса в стеклянно-голубой шарик, которым любовались, счастливые, что они — люди, первые космонавты...

«...Слушайте, Флориан Петрович, что это у вас опять?»

С этими словами обычно появляется в моей квартире Борис Бокий, мой бывший аспирант, а теперь тоже кандидат наук, психолог. Я его никогда не видел, знаю только голос, пожатие тонкой сильной руки, быстрые шаги, энергичные, шумные движения: он для меня что-то черненькое, сверкающее, острое. Наверное, худенький, маленький брюнет с тонким и большим носом, «вольтеровским». Я когда-то отметил для себя, что люди со смешным, птичьим лицом обязательно ироничны, предпочитают, чтобы насмешка исходила от них, а не следовала за ними.

Портфель у моего Бокия всегда набит книгами, журналами, оставляет его у порога с таким стуком, будто с плеча сбрасывает. И тут же выкрикивает новости: оправдали еще одного коменданта лагеря, портретами «человека-солнца» колотят по головам детей и женщин (семьи изгоняемых дипломатов), лейтенант Колли «наказан» домашним арестом...

— Что это у вас там, Флориан Петрович, опять?

«У нас там» — это здесь, на нашей планете. Борис не то чтобы увлечен, он «разнашивает» (так он это называет), как новую обувь, идею, гипотезу, заимствованную совершенно откровенно из какой-то фантастики, романа. Мы, земляне, с высоты этой гипотезы, не сами по себе, а под чьим-то наблюдением, какая-то сверхцивилизация ставит опыт, чтобы решить, можно ли допустить нас, подключить к себе. Или же — «закрыть опыт».

Все, что я когда-то говорил ему, студенту и аспиранту, чему он тогда уважительно внимал, сейчас возвращается мне, сверяя с новой и все более неожиданной реальностью. В иронической обертке возвращает. Забывает Бокий, что сам теперь педагог и очень скоро может оказаться в моей роли. Тон этот, несколько нарочитый, поддерживается еще и тем, что Борис забегает ко мне чаще всего по звонку Глаши, которая вполголоса спрашивает, не сможет ли он сопровождать меня в институт (когда часы — Глашины в школе и мои в институте — совпадают). Борис появляется вроде бы для того только, чтобы излить мне все, что он думает о нас, о землянах.

— Слушайте, Флориан Петрович. Ведь миллиард одной глоткой орет. Заметьте! Миллиард! Нет, нет, прекращаю опыт, безнадежно.

— Потерпи. Это проходит.

— Чтобы начаться в другом месте?.. Ведь вы притворяетесь, Флориан Петрович, что можете об этом хладнокровно! Вы своими глазами видели, чем такое кончается. Человек, один раз попавший под колесо, на всю жизнь перестает верить в руль, тормоза. А вы, выходит, психологическое исключение? Или имеете что сообщить об исчезновении или хотя бы сближении «ножниц» между технической и нравственной культурой.

— Достаточно, на первый случай, чувства самосохранения.

— Не всем видам млекопитающих это помогло. И потом еще не доказано, что это чувство у человечества есть, сохранилось.

— Homo sapiens отличается еще и тем, что наделен способностью разумно выбирать пути и варианты. Не всегда он пользовался этой способностью, но теперь все так уплотнилось, ускорилося, обнажилось, что выбирать стало проще.

— Ускорилось! Скорострельные ракеты, скоропалительные идеи? Кнопки?

— Зато и другое появилось. Раньше сколько поколений рождались, жили, помирали — и все при одной формации. Казалось людям, что нероны, людовики, тираны — это навеки, что рабство, что абсолютизм, чье-то самовластие не кончатся никогда. А сейчас в одну человеческую жизнь вмещаются и первое, и второе, и четвертое. Можно умнеть — и врозь и скопом! Одной ногой в крестовых походах, второй — на далеких планетах. Не слова это, а реальное чувство — у нас, по крайней мере, кто захватил и тридцатые годы, — что мы живые современники и тем, кто придет через пятьсот. Да, всем всегда казалось, что их поколение на самом изломе истории. Но тут уже действительно прямой угол. Разве нет у тебя такого чувства, что на одной плоскости — нероны, людовики, гитлеры, а на второй — гармоничный мир ефремовской «Андромеды»? А ты, а мы — на вершине прямого угла. И то, и другое — в поле зрения, твоя биография, твое время...

— У меня с Шиллером другое чувство: «Когда боги были человечней, человек божественнее был».

— Когда это они были человечней?

— Когда не в бронированных лимузинах шныряли, а сидели на Олимпах. Всегда богам люди отдавали свои качества, начинали их собственными достоинствами и недостатками, но никогда такой дрянью, гадостью, подлостью не нафаршировывали своих богов, как в двадцатом веке.

— Всегда исторический прогресс предпочитал пить нектар из черепа убитого. Помнишь у Маркса? Потому и говорим, что все это предыстория.

— А история? Хатыни, Сонгми?

— Да, одна нога все еще там.

— И не погружается? Вспомните, как Толстого пугало, что в огромной стране нашлось несколько охотников всегласно исполнять работу палача. Сначала был один, его возили из Москвы в Киев, в Одессу — надевать «пеньковые галстуки». А потом сыскалось еще несколько кандидатов в палачи, и как это встревожило Толстого. Ну, а кого удивишь такой новостью в середине двадцатого века? В Сонгми убивала даже не специально подобранная команда, а рядовая рота, обыкновенные девятнадцатилетние. Только что от пап и мам...

Какой же климат нужен, чтобы обыкновенные были на это способны! Вам, Флориан Петрович, ни о чем не говорит такое ускорение, уплотнение?..

— Да, но когда это было, чтобы так открыто бунтовали против войны? И где? В воюющем, в сильном государстве!

— Свалятся в фашизм — куда только и денутся ваши бунтари! Нет, нет, и не просите, Флориан Петрович, прекращаю опыт...

Я его не видел никогда, моего постоянного оппонента, только голос помню, ускользающий в неуместное шутовство. Мне спорить с Бокием непросто, потому что слишком часто и с памятью собственной надо спорить. То, что Бокий лишь угадывает, я в и ж у, потому что уже видел — вчера...

...«Рама» висит над лесом, куда мы с Глашей идем. То поднимается, то опускается ниже. Высматривает живые дымки. Может быть, уже сзывает своих, с бомбами. Висит над всем, бронированная, неторопливая, и точно смотрит на тебя глазом огромного насекомого.

Сон мне один запомнился, и не само событие сна, а чувство, необычное, сдвоенное. Будто я вверху, на самолете, но внизу тоже я. И вижу себя и боюсь самого себя: гоняю по открытому, как стол, полю того, что внизу, беззащитного, маленького. И вдруг маленький, испуганный, злой — тоже я — опрокидывается на спину и стреляет, стреляет в самолет. Я почувствовал, что попал и что падаю, лечу прямо на стреляющего, сейчас встретимся, насмерть ударимся друг о друга, и я прошу, молю, чтобы падающий или стреляющий снизу, чтобы хоть кто-то остался, уцелел...

Лес встречает меня знакомыми тенистыми дорогами, просеками. Сосны, дубы, потом пойдут ель и сырой сльшаник, а там болото, «острова», где мы всегда прятались, где прячутся наши. Сколько случилось, произошло, а в лесу все, как всегда было. Мне даже захотелось показать спутнице наши с Федькой лесные тайны, но я только усмехнулся в сторону всего этого, детского. Где теперь Федька Воробьиная Смерть? В партизаны его не пустил отец: «Хочешь, чтобы семью выбили, маюку да малых пожалел бы!» И хитро разоружил Федьку.

Подсказал, наябедничал знакомым партизанам, что у сына целый склад оружейный. Федьку прижали, он и отдал. Про все это я узнал, когда забежал однажды домой, еще до контузии. Мама тогда очень обрадовалась моему появлению, а сестренки-близнецы уже с дважды двойным восторгом и уважением разглядывали брата, обвешанного оружием. Только мундир немецкий все их отвлекал: точно кроме нас четверых еще кто-то в хате присутствовал, чужой. Не при маме, а когда она вышла на кухню, близнецы выдохнули разом:

— Ты его забил?.. Этого?..

И показали на мой мундир.

От мамы я узнал и про то, как Федька отплатил отцу. У них в саду был спрятан кабан — «кормный», пудов на восемь. В специальной яме держали. Федька про это шепнул каким-то кочующим весельчакам в обмен на обещание, что возьмут его в свою группу. Те кабана уволокли, а Федьке, дожидавшемуся их возле леса, сказали: «Иди, батька ищет. А нам предатели ни к чему!» Федька два дня прятался в кустах, а батя ходил по опушке и кричал на весь лес: «Иди домой, сволочь, иди, гад, не трону, хотя убить тебя мало!»

От мамы я направился прямо к Федьке — с винтовкой, им же подаренной, при полном партизанском параде.

— Еще один герой! — встретил совратителя сам хозяин, длиннорукий сутулый отец Федьки. — Нет на тебя батькова ремня!

Федька вышел из хаты и прошагал молча мимо нас. Я направился следом. Был он мрачный, мой друг, какой-то погасший, разговаривал нехотя.

— Ну как? — тронул мою винтовку. — Воюешь? Или самогонку дуετε там? Я себе автомат добуду.

Глянул на свою хату, где батька неловко тащил на стреху куль соломы и спрашивал у кого-то по-бабьи сварливо, пронзительно:

— Где эти герои? Куда он уже побежал?

Рука моя все болит, ожог поднял толстую, мертвенно-белую кожу на ладони. Я прикладываю к ней все, из чего можно выжать холод: липучие листья ольхи, влажный мох. Болото уже ощущается под ногами. Мы бредем с Глашей, а я высматриваю, что похолоднее, точно взялся измерять температуру всего, что попадается на пути.

Запах пожарищ, сажи, дыма отстал от нас, только печеная картошка из моих карманов напоминает о нем.

Уже другой запах теснит лесную свежесть, ползет нам навстречу, все более тяжелый, густой. Именно этот запах мы раскапывали, когда искали оружие. Невольно вытираешь уголки рта, а они снова делаются неприятно липкими.

Но лес все такой же чистый, глаза мои ничего не находят. Вдруг увидели несколько иссеченных осколками или напроць срубленных осинок, светлых, свежих. А под ними черные, точно дегтем налитые воронки. Воронки уходят в сторону редющего коряжника, к «островам». Я уже почти бегу, Глаша едва за мной поспевает. Главное — этот зловещий липкий знакомый запах. Тут уже болото рыжее, с бородавками-кочками, на которых как-то пристроились, держатся кривые деревца. Тина взболтана бомбами, грязь расшвыряло, бурая трава, почерневшие плети аира точно развешены кем-то на сучьях и вершинах испуганно отшатнувшихся сосенок и чахлах березок. Чугунная коряга прижала к воде куст лозняка, с большой высоты, наверное, падала. Кусты лозняка, круглые, как стожки зеленого сена, виднеются по всему болоту. Но никаких трупов. А запах подступил вплотную, его ощущаешь даже кожей лица, как легкую паутину.

Мы уже возле первого «острова», зеленого, заросшего густым ольшаником. (До войны здесь заготавливали осоку для индивидуальных коров.) Остается лишь перебраться через черную полосу жидкой грязи, над которой, как утонувший часток, торчат острые концы коряг, пней. А рядом еще какие-то бурые островки пучатся. Я не сразу разглядел, понял, что это такое, никогда их здесь не было. Одинаковые все какие-то. И вдруг увидел белеющий в болотной черноте глаз, круглый, большой, а над ним коровий рог. Тогда только сообразил, что такое эти одинаковые бурые островки. Целое стадо всосанных тиной и всплывших раздувшихся коровьих туш! Огромные бурые и черные пузыри, как спины бегемотов. Глаша не выдержала, ладонью зажала рот и побежала назад, обрызгивая себя грязью. И правда, вонь еще невыносимее, когда видишь эти пузыри.

Но пройти на «острова» можно только здесь, не одним мной это проверено. Как мы будем барахтаться в

этой вонючей жиже? Если бы один я, а то ведь и Глаша!.. Закинув винтовку за спину, я снял с лозового куста брошенную кем-то жердь и пошел с нею, как с копьем, на поблескивающий пузырь. Надо растолкать их. Раздувшаяся туша тяжело и недовольно качнулась, и только. Глаша наблюдает издали, глаза страдающие, больные.

А я (совсем как Федька на тех старых могилах) весело заорал, запел какие-то бессмысленные слова:

— А мы сейчас, а мы сейчас! У покойника зубы не болят, не болят!..

Я уже не обращаю внимания на грязь до пояса, на липкую вонь, взобрался на качающуюся корягу, постоял, помаячил на ней, пошел, показывая Глаше, как все забавно и просто, потрогал шестом островок-тушу и прыгнул на него. И тотчас соскользнул, как бы даже не коснувшись туши ногами. Винтовка больно стукнула по голове, по уху, ноги мои ушли в пустоту, пальцы жадно ловят отвратительную скользоту шерсти, кожи.

Наконец ноги что-то нащупали. Грязь по грудь, но я уже стою. Глаша с ужасом смотрит на меня, показывая, чтобы шел к берегу. Но тут же сама, как позванная, пошла, движется ко мне, протягивая руку. Это с ней бывает, вот так и на поляне пошла к Косачу...

Я не шевелюсь, боюсь, что потеряю опору, что напугаю ее или сам окончательно испугаюсь. Если я выползу назад на берег, никакая сила больше не затолкает меня в эту вонь. Глаша все поднимает руки над грязью, брезгливо, опасливо. Сначала сапоги, потом юбка, что поверх брюк, утонули в грязи, черная тина забрала Глашины колени, втянутый живот, чернота поднимается по серому свитеру к испуганным ее грудям, Глаша сжимает их локтями, держа руки перед лицом, возле рта... Я бросился к ней, и вовремя: почти падающую схватил за руку и потащил. Не давая опомниться ей, себе, тащу мимо раздувшихся бегемотов, хватаясь свободной рукой за коряги и ветки и все ору громко и отчаянно:

— Чудо-юдо-рыба-кит! Чудо-юдо-рыба-кит!..

Заставляя себя не думать ни о чем, не чувствовать ничего, с бессмысленной и опасной торопливостью рвусь, тащу Глашу к «острову». Лицо ее искажено

гримасой отвращения, ужаса, забрызгано грязью. Несколько раз ноги наши совершенно теряли опору, и тогда мы бросались, как от огня, в сторону, видя свой испуг в глазах другого. Уже осока, уже близко берег, тут уже по пояс грязь, можно бы спокойно добрести, но мы, будто с тонущей лодки спасаемся, отчаянно барахтаемся и выбираемся на берег почти ползком.

Выбрались, стоим среди осоки возле кустов и приходим в себя, точно нас волок, тащил кто-то и вдруг оставил. Как облизанные, обсосанные нечистой пастью чудовища, стоим, жалкие, оскорбленные, у Глаши слезы на глазах. Я принялся ломать ветки ольхи, обдергивать липкие листья и стирать ими, обжимать с Глашиного свитера бурую стекающую грязь, с ее рук, а она стоит и плачет, раскинув руки, чтобы не касаться самой себя, разглядывает себя с отвращением. Всегда она казалась мне такой узкой и прямой, как линейка, только высокие колени остро ломали линию. А теперь, когда одежда липко облегает плечи, грудь, живот, ноги, я вижу, что женская стройность — это ломаная линия... Глаша сердито забрала у меня ветки, и теперь я только ломаю и подношу ей чистые, заодно на ходу и себя обжимая.

Внезапно я ощутил чужой взгляд в спину нам. Так и есть, за кустом стоит человек. Винтовка у него на плече, никакой угрозы в его фигуре, одно любопытство на лице, ждет, что дальше будут делать двое, вылезшие из болота на «остров».

Странное и сложное это чувство — вспоминать первую встречу с человеком, который войдет потом в твою жизнь. Ты еще не знаешь, кем, чем он для тебя станет, будет, и все в нем еще кажется необязательным, как и сама встреча, случайным: улыбка, походка, глаза, жесты. Все в таком человеке как бы врозь живет. Это вначале. Ну почему обязательно черные цыгановатые глаза, если и брови и волосы человека, торчащие из-под вытертой зимней шапки, и эта дремучая небритость на щеках — все такое светлое, льняное, соломенное? Или до чего же не на месте этот удивленно длинный нос, на котором расселись аж две горбинки (зачем-то две!), если у человека такой спокойный, умный, просторно белеющий лоб! К чему такие тонкие и кривые ноги, запеленатые в онучи, если весь человек и стройный и сильный и это можно оценить,

несмотря на бесформенную серую свитку, которую он безжалостно перетянул ремнем с огромной «командирской» пряжкой-звездой? Все вначале кажется таким же необязательным, несочетающимся, почти нелепым, как и его зимняя кожаная шапка среди сочной зелени.

Да, тогда, рассматривая выступившего из-за куста, идущего к нам незнакомца, я не знал, кем он для меня станет и что нас обоих ждет, что мы испытаем... Но теперь, когда все уже было и осталась одна память, теперь у меня ревнивое чувство, что Рубеж только такой и мог быть, что другого моей памяти и не надо. Человек, если занял навсегда какое-то место, точку в твоём сердце, он не свободное место занял, которое мог бы заполнить и кто-то другой. Он не занимает, он создает эту светящуюся точку, без него ее и не было бы в тебе...

Винтовка у меня за спиной, я как связанный под спокойным взглядом приближающегося незнакомца. Нет, я не думаю, не хочу думать, что это полицейай, но все равно привычнее себя чувствовал бы, если бы винтовка была поближе. А снять, сдернуть ее из-за спины почему-то неловко под взглядом этого человека. Будет и трусливо, и нарочно, демонстративно.

Незнакомец что-то сказал, спросил у Глаши, та ответила, рассказывает ему, оба посмотрели на меня, незнакомец с внезапным беспокойством и как бы смущением. Все во мне загудело, вялость сковала колени. Я почти понял, о чем они говорят и почему так взглянул человек.

Когда смотришь на прожитое, там одна-единственная линия; вперед заглядываешь — расходящийся пучок дорог, не знаешь еще, какая из них единственная. Прожил месяц, день, минуту, и то, что было пучком, ошмургивается, оголяется, как веточка, продернутая сквозь плотно стиснутый кулак. Но даже после того, как остался единственный голый прутик, человек будет снова и снова оглядываться, с бессмысленной надеждой возвращаться к тому моменту, когда все могло быть еще по-другому. Когда не было этой оголенной, беспощадной единственной правды...

Я уже знал, видел правду — черный тоннель, вход в него. Но все еще с надеждой кого-то умолял, не входил: только не это, только не туда! Я уже прятался за свою глухоту, которая отдаляла полную правду. ото-

двигала мгновение, когда больше не останется надежды.

А незнакомец уже шел впереди, показав нам, чтобы шли за ним. Кривые ноги его, обутые в сыромятные, из коровьей шкуры постолы, запутываясь, рвут густую осоку, растущую прямо из воды. Глаша зачерпывает ладонью воду и смывает с себя грязь, отломив ветку и хотела стереть грязь с моего ставшего рыжим мундира, но я отстранился, меня пугают ее внезапная виноватая заботливость, ее прячущийся взгляд, я все стараюсь не впускать в себя то, что уже вошло в меня, что уже знаю...

На второй «остров», еще гуще заросший ольшаником, мы переходим по кладкам, утопленным, опущенным в жидкую грязь. (Потом-то мы узнали, что такая же кладка есть и к первому «острову». А коров утопили полицаи и немцы, когда пытались угнать их с «острова». На второй «остров», куда перебежали жители и где были оставлены, прятались раненые партизаны, они не пошли, и это спасло людей.)

Вооружившись длинными шестами, которые наш проводник вытащил из кустов, опираясь на них, мы ступали за знакомцем по невидимым под грязью скользким жердочкам. Их две, а где и три, ноги надо ставить поперек, и потому идем мы, продвигаемся не прямо, а бочком. Все это отвлекает, помогает прятаться от самого себя, убеждать себя, что ничего еще не известно, что дойдем до места и тогда узнаю, только тогда!..

На втором «острове» нас уже поджидают. Толпа женщин, детишек, несколько партизан с оружием стоят возле кустов, смотрят на нас, о чем-то издали спрашивают нашего проводника. Сошли мы с кладок на берег, у меня тоже спрашивают, потом догадались (или сказали им), что я глухой, и меня оставили в покое, только детишки с еще большим интересом принялись меня рассматривать, изучать. Обыкновенные, того времени детишки: изъеденные дымом, мошкаррой, голодно большеглазые и очень серьезные, но все равно очень любопытные, желающие понять, кого это к ним на берег швырнул мир, в котором нечто опасное, страшное происходит. Проводник что-то сказал, и глаза женщин снова вернулись ко мне, снова нашли меня. Смотрят, смотрят, наверное, вот так я смотрел на

Сашку, когда он полз по красной дорожке с неестественно длинной волочащейся ногой, и Сашка вот так в моих испуганных глазах увидел, что с ним случилось, происходит нечто страшное...

Ни одного знакомого лица, люди не из нашей деревни, но на меня смотрят так, точно узнают, узнали меня. Металлически, как полая труба от удара, загудело, заныло во мне все — в ногах, в кистях рук, сразу отяжелевших. Я сел в осоку, прямо в воду. Глаша опустила на корточки, точно давно ждала этого от меня, сняла с моей головы мокрую пилотку и вытерла холодный пот с моего лица.

Я боюсь подергивающейся складки возле сразу постаревшего Глашиного рта, ненавижу эту цепкую и жадную женскую жалость, ищу вокруг себя что-то другое, но даже в глазах детей это, беспощадно приговаривающее меня к правде. С безнадежностью пойманного я все равно ищу спасения, прячусь в торопливую мысль, что я ведь глухой, не слышу, а потому все-таки ничего еще не знаю точно. Но я в кольце — лица, глаза, беспощадно жалеющие! — уходить от правды некуда. И вдруг появляется, окутывает меня расслабляющим и успокаивающим дурманом сумасшедшая мысль, что маму, сестричек, что всех деревенских уже не убьют, никогда не убьют... Смерть их скрыла, спрятала от убийц, от любых убийц...

На этом, как на последней паутинке, я провисел один лишь миг. Отшатнувшись от самого себя, жалеющего не их, убитых, спаленных, а все еще себя, я теперь уже сам устремился навстречу боли. Весь открылся и сразу захлебнулся в ней, в слезах. Вскочил на ноги, отбежал подальше и лег в жесткую осоку, прижался лицом к земле, из которой выступает холодная влага. Но земля уже не забирает, не вытягивает из меня боль, да я и не отдаю. Я уже ищу ее, боль, казнь себя за то, что столько времени не знал, что их уже нет, даже отталкивал от себя правду. Не пришел, не спас, не увел от лютой муки, смерти!..

Люди снова подошли и окружили меня, стали надомной. А я то погружаюсь в короткое спасительное забытье, то возвращаюсь к реальности. В детстве, больной, я даже в забытии помнил, что рядом все сидит мама. И теперь мне это представляется. Реальность и бред, как два зеркала: каждое отражает глубину дру-

гого, забирает ее в себя и снова возвращает, уже как свое... Я дома, я лежу за нашей цветастой ширмой, несправедливо обиженный мамой, сердитый на нее, плачу и воображаю, как я вырасту и не буду любить ее, не буду любить... Виноватая, добрая, ласково ироничная рука коснулась моего затылка, погладила волосы, я сразу забыл свою глупую детскую злость, схватил руку... И тут же вернулся к реальности.

Нет, это не мама! Но и не Глаша, как мне тут же подумалось. Незнакомая женщина сидит, раскачиваясь, возле меня, лицо темное, распухшее, страшное. Что-то говорит, бормочет, и я даже слышу голос, но не слушаю, знаю, что мне только кажется, будто я ее слышу.

— Где ж ты был, сынку, я уже думала, нету тебя, не увижу, плакала-горевала, думала, забили...

Но и другие голоса мне кажутся:

— Тетка Маланка, тетка Маланка, гэта из Белых Песков хлопец, не ваш, тетка Маланка!

Я лежу лицом в землю, но все вижу: как стоят надо мной люди, как подняли и уводят женщину с распухшим темным лицом... Да нет же, это я слышу. Я слышу!

— Флера, Флерочка,— голос Глаши. Теперь она на месте той женщины, на месте моей мамы... И еще голоса:

— Юстин тоже из Белых Песков, который лежит у нас, обгорел, спаленный.

Нет, это правда, я слышу! А что они про Юстина говорят? На заборе белели клочья белья, его или нашего, на опустевшем огороде его печка рядом с нашей. Сын его утонул, а старый Юстин шел через деревню и уже знал, что в хате гроб, что сын утонул...

Шум пульсирует в моей голове по-прежнему, но сквозь него прорываются, накатываются голоса: ребенок плачет, успокаивают его, про Юстина говорят... Как бывает, когда ладонями закрываешь и открываешь уши. Но постой! Юстин? Так он здесь?

— Где он? Юстин!.. Это наш сосед. Где он?

Я вскочил на ноги. Что-то во мне уже есть пугающее, это я замечаю в глазах детишек и даже в Глашиных.

Я бросился вслед за толпой женщин, детей, устремившихся на другой край «острова», так, будто еще возможно что-то изменить, исправить, вернуться на два дня назад. Меня вели через весь «остров». Это только название «остров», а на самом деле все то же болото, но чуть посуше, заросшее осокой и кустарником. Ноги по щиколотки в воде, в жидкой взболтанной грязи. На пожелтевших ветках, показывающих, где живут семьи, валяется одежонка, сидят и лежат дети, которые поменьше. Слышен их слабенький плач, и в нем даже зова нет, а лишь привычная жалоба на сырость, на облепивших их тельца болючих рыжих оводов. Нигде даже дымка не видно, наверное, «рама» постоянно висит над лесом.

Под единственным на этом «острове» большим деревом на березовых ветках лежит что-то красно-синее, что-то в осклизло-мокрой чешуе. В глазах потемнело, когда мне послышалось (или мне это показалось) сухое поскрипывание при каждом вздохе-всхлипе того, кто, видимо, и есть мой сосед Юстин. Возле него сидит старуха с веткой, водит ею, тихонько отстраняя от сожженного, казалось, сам воздух, его тяжесть. На нас она и не взглянула.

— Юстин, Юстинко, вот пришли к тебе, из твоей деревни партизан, твой сосед, Юстинко!..

Женщины, несколько голосов сразу, окликают сожженного человека, голоса сливаются в общее причитание, обращенное к Юстину, ко мне, к этому болоту, к сумрачному небу:

— Ты нас чуешь, Юстин? Пришли к тебе, вот и его мамку спалили, всех вас побили, попалили. Закрыли в хлеве и запалили, да, Юстинко?.. Всех: и внуков твоих, и невестку, и его мамку, всех... А ты выполз из огня, ты просил, чтобы добили, бежал за ними и просил, так тебе болело... Ты бежал, просил, молил убить и тебя... Смеялись, они смеялись, Юстинко? Смеялись: «Живи, бандит!.. На расплод...»

Ослепительно резануло что-то по глазам, кругом стало бело-бело: береза, чешуйчато поскрипывающий человек на земле, осока, болото, стоящие возле меня люди, небо внезапно вспыхнули прозрачной нестерпимой белизной, и, тут же почернев, все исчезло вместе со мной.

...Я в каком-то буданчике. Снаружи ходят, сидят на корточках, что-то делают люди. Никак не пойму, бред это или все, что я помню, было бредом. Но нет, все было и все осталось. Я — это тот, у кого всех убили. Мама, малые... Я испуганно закрыл глаза, услышав собственный стон.

Снаружи голоса, простуженные, сердито-веселые (значит, правда, что я стал слышать!).

— Эй, Степка, Фокусник, придумал бы хлебца. Что с твоего чучела — ни молока ни мяса!

— Все не наигрался, куклу ему подай.

На мне какая-то незнакомая, чужая рубаша из неокрашенного деревенского холста, а перед глазами, повешенный в шалаше на сучок, сушится выстиранный мой китель. Винтовка под локтем лежит и ремень с подсумками, кто-то снял его с меня.

А это Глаша подошла с вещмешком в руке, постояла возле раненых партизан (я уже понял, кто это там разговаривает, смеется), ей почему-то обрадовались до крика. Партизан, с усилием, неловко поднявшийся с земли, поставил возле себя большое тряпичное чучело человека и кричит:

— Глашенька, побудь с нами. Не слышали, калеки, как соловьи опять запузыривали? Хорошие у нас соловьи, Глашенька?

— Иди к нам, Глаша, не слушай этого безногого. Соловьи ему прислышались!

— От безрукого слышу! — весело откликнулся ценитель соловьиного пения.

Глаша звонко, как бывало в нашем лагере, смеется, поднимая узкие плечи.

— Ой, очнулся! — притворно, как показалось мне после недавнего ее смеха, обрадовалась Глаша, заглянув в мой буданчик. Присела, смотрит на меня, а кричит кому-то снаружи: — Катерина Алексеевна, глаза открыл, смотрит!

Еще кто-то подошел посмотреть на меня, большая, закутанная в теплый платок голова. Начала кашлять, с трудом откашлявшись, голова спросила простуженным, большим голосом:

— Тебе лучше, мальчик?

— Сейчас мы покормим его, — хлопочет Глаша, развязывая вещмешок. — А то мы уже за него боялись.

Я для Глаши уже «он», «его». Разучилась напрямую ко мне обращаться? Зато вон как перезнакомилась с другими, соловьями ее дразнят!

— Это что? — показываю я на чистую рубаху.

— А что? — невинно удивились синие глаза. — Ничего. Твою постирала.

— Ладно, уходи, я сейчас.

Брюки на мне тоже чистые, выстиранные — снимали, надевали, черт знает что!

Я лежа затянул на брюках ремень, ставший таким длинным, заправил рубаху. Руки и ноги неловкие, ватные, по всей коже покалывает, особенно на спине. Что-то в руке мешает, как приклеилось, — сухая корка от ожога, отмершая, нечувствительная.

— Мы уже думали, что тиф, — говорит Глаша, возясь с вещмешком, раскладывая на тряпочке еду.

Что-то глаза мои болят после той белой вспышки, как засыпанные. (Впрочем, к вечеру они болеть перестали. Потом, когда понял, что слепну, я про это рассказывал врачам, про ослепившую меня вспышку возле поскрипывающего сожженного человека, но они вежливо и с некоторой неловкостью выслушивали эту историю и интересовались: а не было ли физической травмы? Была, была и физическая!..)

Возле вещмешка меня дождался обед: холодная печеная картошка, яблоки. Глаша извлекла из мешка еще что-то, завернутое в ольховые листья, понюхала.

— Помнишь свинью, когда мы были в твоей деревне? Перебежала еще улицу. Хлопцы позавчера ходили в Белые Пески... Только без соли Оставили тебе, а оно вот...

Взяв яблоко, я поспешил отойти подальше от этого мяса. Меня пошатывало.

Раненые партизаны (человек десять под брезентовым навесом, а трое, крепче которые, снаружи) отметили мое воскрешение громкими замечаниями:

— Главное — на ноги встать.

— Было бы на что встать.

— Будешь, братка, охранять «остров», а то видишь, какие тут вояки.

Я запоздало поздоровался, мне ответили. Хотя я хожу, на ногах, а они лежат или беспомощно сидят, но со мной разговаривают, точно самый больной здесь я.

Один из партизан занят странной работой — из тряпья и палок смастерил куклу в человеческий рост, а теперь рисует угольком на фанерке, обозначающей лицо, знакомую физиономию: усики, аккуратную хулиганскую челку, круглый орущий рот.

Партизан в зимней шапке, тот, что встретил нас на первом «острове» и провел сюда, стоит, опершись локтем о ствол винтовки, и беседует то с мастером, то с его куклой:

— Не то стрелять в тебя, рвань пустая, не то честь отдавать! Молодец, Фокусник, задашь немцам задачку... Ну, что вытаращился? Нарисовали тебя, а ты уже и орать! Смотри, Степан, на тебя орет. Нарисуй ему за это кривой глаз.

Степан сидит, подложив под себя костыль, у него удивительно, даже неприятно красивое тонкое лицо. И все улыбается, а ответ его улыбки на Глашином лице. Даже когда она не смотрит на него.

— Я штук пять их ставил уже,— говорит Степка Фокусник, вскакивая на здоровую ногу и поднимая с земли «Гитлера», на которого и оперся. (Степан непрерывно и очень легко то садится, то вскакивает, хотя вторая его нога в тяжелых лубках.)

— Оба одноногие,— кричат из-под брезента,— что Фокусник, что фюрер!

— Сойдет! — говорит Степан, улыбнувшись Глаше.— Любота на них смотреть! Подъедут на машинах, на мотоциклах и смотрят, как папуасы. Как так, кто посмел?! И что делать, не знают. Тронуть — бояться, что заминировано, гранатой повалить — тоже нельзя, потому что фюрер. Обсмеешься! Можешь щелкать, как тетеруков. Усвоил, Рубеж? Действуй!

— Усвоил,— отозвался мой проводник,— только я ему сделаю начинку, трубуху из тола. Он у меня поорет!

— Эх, мне бы с вами,— вдруг заскучал Степан. И сразу Глаша глянула на него. До чего же они друг друга слышат. Я все замечаю, даже каким-то обостренным зрением. Но все это от меня на каком-то удалении. Какая-то полоса легла между мной теперешним и всем, что недавно было так важно. То, что я вижу, замечаю, что происходит вне меня, сразу погружается в общее горькое чувство, которым я налит до краев,

и растворяется в нем, даже не делая это чувство сильнее или острее.

(Глаза Степки Фокусника мне особенно помнятся: светлые и веселые до сумасшествия. А лицо неправдоподобно красивое, совершенно девичье. С длинными черными ресницами. Я столько раз потом представлял, как все случилось тут через семь или десять дней: как прискакал он с костылем оттуда, где трещали немецкие автоматы, швырнул наземь пустую винтовку, сорвал с пояса гранату и сел под брезентом, подтянув к себе вещмешок с толом; как поползли к нему со всех сторон, точно к спасителю, раненые и он укладывал их головами к себе, поторапливал. Все лицами к земле, а он вот этими сумасшедше-веселыми светлыми глазами последний раз за них всех смотрел на мир. И последний, кто видел эти глаза,— Глаша.)

Воткнув чучело в болотистую землю и подхватив с земли костыль, Степка Фокусник провозгласил:

— Хай будет фюрер шестой!

— А у нас в сорок первом,— не умолкает проводник (говорун он, оказывается, и ему все равно, слушают, не слушают),— у нас, как пришли вот его молодцы, перво-наперво склады вывезли, а семечки (не знаю, зачем их было столько на бобруйских складах), семечки не запрещали таскать, да еще сахар с песком, ну, и стояли в очереди люди, а один наш, из Слуцка, очень был похож на этого с усиками. А тут проходил мимо немец, остановился, смотрит! И все ждут, что будет. Стоял, смотрел, думал, а потом — плясь по физиономии! За то, что на его фюрера посмел быть похожим? Или счеты с фюрером свел? Даже говорили, что поляк или словак, а не немец... Ну, ладно, братцы, что вам принести на этот раз? Заказывайте, как в столовке.

— Задуйте скоро своей картошкой, холодной и без соли,— отозвался Степка Фокусник.

И другие подхватили:

— Дойдешь с вами и без немцев.

— Хлебца бы раздобыли, а то выползут, где поближе, и назад!

— Хорошо еще, что приходят назад. Я на их месте давно смылся бы. Больно вы кому нужны, безногие, сиди с вами, дожидайся капута. Верно говорю, Рубеж?

Рубеж (мой проводник) усмехается, ничуть не смущенный такой атакой. Загребая тонкими кривыми ногами по осоке, подошел ко мне.

— Пойдешь с нами, хлопец? Не, не сегодня! Отдохни, а то и через грязь не перелезешь. Тут, видишь, ртов сколько, и какие зубастые, видишь?

...«Рама» пролетела высоко, ровненько, как по проволоке. Казалось, она лишь чертит свои какие-то невидимые линии, а до нас, до «острова» ей никакого дела. Пролетела, мы вышли из кустов и снова помахали женщинам и раненым. Они остаются, мы, четверо, уходим. Нас уже разделяют кладки. Глаша стоит рядом со Степкой Фокусником. Просилась с нами, но командир нашей группы (раненые его называют «комендант острова»), в свою очередь, попросил ее:

— Если будете настаивать, я разрешу. Но надо кому-то с ними остаться. На этот раз мы все четверо уходим и далеко — к черту в зубы. Надо хоть какие-то запасы сделать. Пока еще можно.

Наш «комендант» — ленинградец, об этом говорят, как о его личном качестве. И его вежливые «вы» ко всем, даже к подросткам, и застенчивая молчаливость, готовность длинно и сложно объяснять то, что другой командир решил бы одним «да» или «нет», и сама юношеская стройность этого седоватого забородатевшего человека в красноармейских обносках — все сливается для нас с понятием «ленинградец», окрашено им и окрашивает его. Короче, «комендант» нам нравится, и потому очень кстати, что он именно из того города, которого ты хотя и не видел никогда, как не видел прекрасно-таинственного северного сияния, но без далекого неназойливого существования которого не представляешь ни себя, ни мира.

— Я и его не брал бы, — кивнул в мою сторону «комендант». — Это вот Рубеж затеял.

Невеселье мы уходили, как будто уже знали. А тут еще эта тетка Храмелиха! Принесла Глебу Васильевичу, «коменданту» нашему, портянки, постиранные и сухонькие, хотя все дни моросил густой дождь.

— Где вы, тетка, сушили? — удивился Глеб Васильевич. — Огонька мы вроде не держим.

— Сакрэт ёсць,— сказала женщина,— носите здоровенький.

Но девочка выдала теткин секрет:

— Тетка Храмелиха на себе сушила, под кофтой.

Ленинградец наш покраснел, даже снял с ноги портянку, словно бы не зная, как теперь быть. А тут еще другая женщина вмешалась, попросила:

— Вы хоть не покиньте нас одних, хлопчики.

— Да что мы, алиментщики,— запротестовал Рубеж,— чтобы убежать?

— И ваши ж тут, раненые,— все-таки напомнила женщина.

Мы пересекли второй «остров». Вот оно, место, где нас с Глашей тогда встретил Рубеж. «Комендант» закурил немецкую сигаретку, и все по очереди потянули дымку по нескольку раз, чтобы не так налипала на небо проклятая вонь. Я тоже получил глоток дыма — голова сразу поплыла, закружилась. Глеб Васильевич с укором глянул на Рубежа, с беспокойством — на меня.

— Все-таки зря мы вас, Гайшун, взяли.

— Ничего, волка ноги кормят,— сказал Рубеж,— а ему надо подкормиться.

Я промолчал, потому что мне вдруг захотелось вернуться на «остров».

Из кустов вытащили длинные шесты, специально припрятанные, и двинулись по кладкам. Утопленные жердочки ускользают из-под сапог, а тут еще захлебываешься вонью: коровьи туши совсем всплыли, их точно больше сделалось. А Рубеж тащит еще и «фюрера», Степкин подарок («Обменяете у фрицев на галеты»). Этот смешной долгоносый и тонконогий Рубеж ухитряется даже на скользких кладках рассуждать, говорит, говорит и за себя, и за нас, и за «фюрера», и даже за раздутых бегемотов.

— Давай, давай, циркачи! Это вам не возле теток греться. Тащи меня, носи, раз дурак! (Фюрерским голоском.) Пы-ых! Па-а! Нюхайте нас, вонючек! (Глухим басом неподвижных бегемотов.)

...Но главный собеседник Рубежа, как оказалось,— сама судьба, доля партизанская. Болтает с нею Рубеж постоянно, с нею или от ее имени. Как со сварливой женой. От бормотания его (а мы уже двое суток бро-

дим по округе) начинает казаться, что нас в группе больше, что рядом кто-то пятый — глупая и вздорная баба, от которой неизвестно чего жди. Та самая партизанская доля.

— Вот я вас еще сверху побрызгаю, а то мало вымокли в болоте,— злорадно обещает сварливым бабьим голосом Рубеж, взглянув на низкое небо. И, точно по его подсказке, нас уже поливает.

И так всю дорогу, и днем и ночью.

«Рама» с нами побеседует:

— Вот и я! Соскучились? А это вы? Сичас, сичас, я вот только полетаю над вами. Сичас пришлю с бомбочками.

Луна, некстати яркая, вдруг захихикает, как дурочка:

— Ах, какая я круглая и светлая! А соловьев вам не прислать? Могу!

— Пошел уже каркать! — гневается на Рубежа наш четвертый партизан, болезненный, бледный даже под коркой грязи, Скороход. Он с первого километра захромал, бредет, раскорячивая ноги и покачиваясь налево-направо. Чиряки обсели человека, и в самом неудобном, трущемся месте. А тут еще фамилия — Скороход, действительно, сплошная насмешка над человеком! — Ну зачем ты этого психа тащишь? — сердится Скороход, точно не Рубежу, а ему самому приходится нести чучело фюрера.

— Я его! А может, он меня?—отзывается Рубеж.— Не было бы его, и ты не натирал бы чиряки, сидел, как бог, в Минске. Какие же мы «вылупни» будем, если я его брошу? Без фюрера?

Мы уже «каюкалы», «мукомолы», «пукалы», а Рубеж все подбирает нам имя по нашему незavidному положению: «туебни», «подмацаки», а теперь вот «вылупни». Что ни случается с нами и у нас на пути — вроде так и должно быть: а чего еще хотеть от «вылупней»? Щавель заячий вместо галет, на которые мы раззявились,— а что, для «мукомолов» и это слишком хорошо! Пугнули нас, бежали, и Скороход потерял в грязи рваный ботинок, остался с одним — на то и «вылупни», чтобы терять! Ничего веселенького в таком веселье нет, но вроде и правда легче от этого неуважения ко всему дрянному, что с нами случилось или может случиться.

Один Скороход и устает, и мокнет, и голодает, и лютует, и пугается — все всерьез, презирая ерничество, которым Рубеж заразил и меня и даже нашего «коменданта».

И когда в третий раз налезли на засаду и мчались, как лоси, через горелый, звонкий от пуль и эха бор, Скороход в одном ботинке бежал первый, а потом остановился и злорадно смотрел, поджидая нас: ну что, все еще весело?! И, как бы назло (не Скороходу, а кому-то и чему-то вообще), «вылупни» стали давиться смехом, а Рубеж в третьем лице пошел рассказывать, как подходили к опушке, как «туебни» смотрели на сытых немецких лошадей, а Скороход будто бы завыл по-волчьи и как им, «вылупням», по зубам, по зубам! И как «пукалы» улепетывали: «Ноги мои, ноги, неси-те мою женю!» И дальше картинки: как найдут немцы брошенного Рубежом «фюрера» и как наорет чучело на них за то, что упустили Скорохода, «вылупней»...

Я участвовал в этом странном веселье, но меня не покидал, а все рос какой-то внутренний ужас перед самим собой. Что это я, неужели это я?..

Идем навстречу пожарам и ночной стрельбе, все вокруг преобразено заревами, тревожной неизвестностью и тем, что произошло со мной. Все не могу поверить, согласиться, что я — это тот, у кого так страшно убили маму, сестричек, что это и есть я! Что война, что немцы, смерть рядом — это уже не мешает мне быть. Но в мире все еще нет меня, у которого всех убили. Но и прежнего меня нет. Все делаю, как они, Рубеж и Глеб Васильевич, еще больше, чем они, веселюсь, потешаюсь над «вылупнями» и над гневом Скорохода, но что-то чужое, странное теперь во мне есть, заметное даже со стороны: я слышал, как Рубеж сказал у меня за спиной: «Зачем я, дурак старый, потащил парнишку? Вон что с ним делается!»

Опушка и дорога через луг, ночное поле отглажены, отлакированы светом пожаров и скачущих над горизонтом ракет. Из темноты вдруг вырываются трассы пуль, подстерегающие, ищущие нас. Вначале они беззвучно понесутся и только потом, будто металлическую цепь потянут, продернут: та-та-та...

Среди поля тень твоя делается длинной и многослойной: зарева, луна, ракеты жадно ловят, останавливают, повторяют тебя. твое присутствие, двоят, тро-

яг, растягивают. Мы бредем, уставшие, голодные, то наступая на свои длинные. как дорога, тени, то неся их сбоку, то волоча за собой. Нам уже надоело падать, метаться при каждой ракете. За нас все это наши тени проделывают. Взлетит ракета — тень испуганно, по-собачьи метнется к твоим ногам, съежится и уплотнится; ракета опускается, тает — тень стремительно растягивается, унося твою голову, плечи куда-то в поле. А вокруг двигаются, шевелятся полутени от зарев и луны, наползают друг на дружку и тут же снова трусливо покидают тебя, как только взлетит близкая ракета.

Наконец мы добрались до негустого жита, к нему Глеб Васильевич держал направление от самой опушки. За житом дорога, которую нам надо проскочить. Утопили свои тени в реденьком истоптанном, уже осыпавшемся жите, бредем по нему, как по глубокой, желтой воде. Луна над нами круглая, большая.

— Нет, вы гляньте,— шепчет Рубеж,— как все растет в войну. И сколько самосейки вместо человеческого жита. Растет все, как злится. А, не умеете вы жить, тогда я!..

— Вы Спиноза, Рубеж,— говорит Глеб Васильевич. Он напряженно вслушивается в татаканье пулеметов, прикидывая, где нам сделать бросок через дорогу.

— Убивают человека — лес сразу на вершок подскакивает,— бормочет Рубеж нам в затылок.

— Тебя стукнут,— не выдержал Скороход,— на два подскочит.

Скороход, как только приостановимся, начинает пеленать портянкой свою необутую правую ногу, объявлять ее. Никак не решится выбросить и второй ботинок.

— И правильно! — соглашается Рубеж.— Раз сами не умеем. Забьют — и буду расти, все дороги, все поля заращу, заполоню.

Слушаем далекий перестук пулеметов и непонятную тишину белой от лунного света дороги, клочок которой нам виден, а рядом шепот, бормотание и странные глаза человека, как бы умоляющие: «Да остановите меня, видите, что со мной, это не я, это со мной!..»

Я вдруг подумал и, кажется, понял, что человек этот тоскливо боится, он почти как больной. У другого

такое выразилось бы иначе, а у Рубежа — в непрерывном серьезном или смешливом говорении, в котором он топит свой страх. И вовсе он не поддразнивается с самой смертью, как считает Скороход, совсем наоборот. Страх перед собственным страхом, тоскливым, обессиливающим, вот что мучит, заставляет его быть таким: он все время готовится, готовит себя к какой-то черте, которую всегда видит, о которой не умеет забыть, как другие умеют.

— Сейчас мы вас выудим из этого жита, — бормочет Рубеж, — где вы тут, милые?

И правда, щелкнула ракета, на этот раз близкая. Поднялась, сделала дугу и упала метрах в ста от нас. Мы затаились, кто на корточках, кто на коленях, в жите, налитом, как аквариум, желтым светом. Ракеты одна за другой щелкают, взлетают, зависают огненными каплями, будто высматривая, куда падать, и тут же устремляются вниз.

Можно убежать, но убежать бессмысленно. Немцы где-то здесь, рядом, но именно это нам нужно: засесть поближе к ним, но чтобы они об этом не догадывались. За их счет мы хотим разжиться чем-то более калорийным, нежели картошка и заячий щавель, вот и надо сидеть наготове и ждать момента. Теперь только разобраться, какие тут немцы, где у них что. Правда, мы рассчитывали идти дальше, но если на дороге этой сидят немецкие посты, засады, значит, по ней скоро потянутся обозы, стада. Глеб Васильевич вслушивается, прикидывает и все трогает свою небольшую бородку — привыкает к ней.

— Не нравится мне, — говорит Скороход. Он вдруг взялся разматывать портянку, отбросил ее. Снял свой единственный ботинок и тоже отбросил сердито. Приготовился к чему-то.

Да, неуютно будет в жите, когда уйдет ночь, которая, как темный коридор, связывает нас с далеким лесом. День надолго отрежет нас от леса, а без него нам очень не по себе. Хоть бы какой-нибудь лесок. И как унесем, угоним мы что-либо по открытому полю: тут как бы и свое не бросил!

Когда мы еще шли по житу, справа чернело что-то, кажется, кустарник. Туда и сносит теперь наши мысли, наши глаза. А следом и ноги наши подались — тихонько, гуськом. Росистое жито холодит колени,

плащ мой (подарок «острова») напился водой, сделался, как жель. Ракеты погасли, не взлетают больше, осели и зарева над горизонтом, ночь предрассветно посерела. Жито кончилось, а вот и кустарник, уходящий за пригорок. Глеб Васильевич, не глядя, тронул, толкнул подсказывающе рукой тех, кто стоял поближе, мы и поползли. Я и Рубеж. Полы жесткого брезентового плаща попадают под колени, мешают. И кажется, что гремит этот брезент на всю округу!

Мы были уже возле березовых кустиков, когда резко щелкнула и засветила ракета прямо над нами. И тут же, как обвал, загрохотал пулемет, совсем рядом. Что-то произошло, живой близкий звук настиг меня, дрогнул в самой руке. Что-то сделалось, я это ощущаю в руке, но все не понимаю, что. А пули с икающим звуком втыкаются в кочки, в землю около головы, возле самого плеча; краем глаза я вижу устремившуюся к нам огненную иглу, исчезающую, появляющуюся, как жало...

Пулемет замолк внезапно, как и начал стрелять. Но ракеты все взлетают одна за другой. Нам хорошо видно, что ленинградец и Скороход лежат в луговой траве ближе к житу, чем к нашим кустикам. Ага, вот что дрогнуло, по-живому дернулось в моей руке — попало в приклад, разбило мою винтовку. Мы с Рубежом заползли глубже в кусты и оттуда смотрим, как завозился Скороход, приподнимаясь и глядя в нашу сторону. А ленинградец все неподвижен. Потом Скороход пополз к житу, он рывками подтаскивает к себе, тащит ленинградца, раненого или убитого. Вот и разломалось то, что еще минуту назад было нашей группой. Что мы такое теперь и что собираемся делать? Странно, но человек, чем напряженнее он прикидывает, решает, что и как ему сделать, тем отрешеннее, с непонятным посторонним любопытством и даже вроде безучастно наблюдает: ну, а что я сделаю сейчас? И вроде дожидаясь самого себя, вроде тебя тут еще нет.

— Все, хана! — шепчет Рубеж. — Не переплывут они сюда.

Ракеты больше не взлетают, немцы успокоились, однако ночь, прячущая темнота, не вернулась, совсем уже рассвет! Мы осматриваемся, оценивая наше новое положение. Теперь мы уже не то, что были десять

минут назад, и все видим по-другому, как после внезапного короткого сна. Никакого тут леса и даже леска нет, клочок березняка, и только. Мы окружены голым, открытым полем.

— Жди теперь, куда понесет,— бормочет Рубеж.

И правда, такое ощущение, что жидкий гуманный рассвет все дальше относит нас от оставшихся в жите и все ближе к дороге, где затаились враги. Мы уже видим гравийку — желто-серую полосу среди луговой зелени.

И потекло время. Оно текло по дороге: все происходит, меняется там, а мы только можем смотреть, ждать.

Мы знаем, что из жита вот так же следит за дорогой и за нашим березнячком Скороход, гадая, что мы собираемся делать. Чтобы решать что-то вместе, нам нужно ползти назад к житу, и нам очень хочется это сделать, просто сманивает нас к себе закрытая житная полоса. Но ползти теперь, значит, окончательно выдать немцам наше присутствие. Мы так и не знаем, случайно, вслепую полоснул близкий пулемет или они нас заметили и теперь следят, ждут.

Только теперь, когда утро наступило, видим, как неудачно мы вышли к дороге: все тут, конечно, просматривается, простреливается до самого леса. Теперь жди ночи, а за долгий день столько и такое может случиться! До чего же сильно в нас отвращение к «открытому пространству»! Выработалось за все это время.

Чтобы заглушить сосущую тоску, тошноту, мы с Рубежом начинаем завтракать. В мешках, приготовленных под немецкие консервы и галеты, лежит у нас десяток потертых картофелин, мы их и жуем. Я все пробую проверить, смогу ли стрелять из винтовки без приклада. В жите десятизарядка ленинградца, но туда не переберешься. Пить хочется, мы оглядываемся с бессмысленной надеждой, но пока не заговариваем о воде, можно еще терпеть, всякой муке свой черед!

— Смотри! — шепчет Рубеж.

Из-за желтого бугорка земли, прикрытого березовыми ветками, которые наломали, наверное, в наших кустах, поднялся немец. Повертел головой и вышел на гравийку. Странно вдруг увидеть того, кто стрелял в тебя. Без каски, в зеленой плащ-накидке, немец сделал руками вращательное движение. Щурясь, весело

поглядел в нашу сторону. За спиной у нас поднимается солнце. Нет, немцы не догадываются о нашем присутствии, не разгуливали бы они по дороге. Вот немец что-то сказал, звук его неожиданного голоса прозвучал по-утреннему громко. Солнце розовато окрашивает мягкие изгибы молодых березок, гравийку под ногами у немца. Свет этот лег и на лицо, на руки солдата, издевательская радуга блестит от его рук к земле. Солдат крикнул, натужился — из окопа отозвались смехом. Нагнулся и взял, наверное, из чьих-то рук звякнувшие котелки. Шаркая сапогами, пошел по гравийке, и жито закрыло его.

— Вы смотрите,— сказал за него Рубеж,— а я под рубаю, как человек.

От солнечных лучей стена жита как бы изнутри засветилась, сделалась светло-оранжевой. А там, где лежит пилотка нашего ленинградца, покачивается несколько совершенно красных надломанных колосков. Не сразу поймешь, что это кровь. Жив ли он теперь? Красные колоски тихонько, отяжелело, как бы и не пустые, покачиваются. Начали уже свою деловитую стрекотню кузнечики. Один, зеленый, щелкнул о разбитый приклад моей винтовки, сел мне на рукав.

Наверное, у немцев там кухня, доносятся голоса, смех, взревела машина. (Всякий звук — такой внезапный!) Затарахтели и промчались мимо нас два мотоцикла с установленными на колясках пулеметами. И понеслось время, как с обрыва. На дороге. А в наших кустах будто остановилось, замерло под знойным стрекотанием кузнечиков. Эта стремительность и одновременно неподвижность растягивают, разрывают, что-то хочется сделать, кажется, вскочил бы на ноги, показался бы, а там будь что будет! Чтобы вырваться из этого состояния, я затеял возню с винтовкой: снял, перерезав кинжалом, ремень, который удерживает отбитое полено приклада, и прикидываю, примериваюсь, как буду стрелять, когда подступит то самое мгновение. Оно еще не подошло, не подступило, оно где-то впереди, но там оно есть, это мгновение.

— Ну, где ж он? — нетерпеливо бормочет Рубеж.— С завтраком.

Долгоносое лицо Рубежа пугающе серьезное. Пошел бормотать! Я уже злюсь на него, как недавно Скороход.

Брезентовый плащ, которым меня одарили на «острове», просыхает, светлеет пятнами. Душно в нем делается, как в мешке. Надо снять. Вечером можно будет надеть, а днем не пригодится. Не побежишь в нем, а впрочем, бежать тут не придется — некуда. Из кармана достал гранату и положил перед собой: черная, круглая, с нежно-голубой головкой немецкая матрешка. Ее вытаскивали, заряжали, чтобы немецкий солдат бросил ее в меня, мне под ноги. И не думали, что она будет мне другом, страшным, последним моим спасением. Вот так отвернуть голубенькую головку, дернуть и прижать черный металлический мячик к земле собой, своим телом!.. Граната немецкая очень долго не взрывается, шесть или даже семь секунд. И рвет не сильно, не далеко, только очень громко. Еще на третьей, даже на четвертой секунде можешь откатиться от нее в сторону подальше. Или отшвырнуть. Опасная граната. Для такого дела. За шесть секунд как только не перерешаешь! Шесть секунд удерживаться на самой вершинке — сможешь ли?

Даже если перед тобой что-то страшнее самой смерти.

Считается, что люди потому столь беззаботны к неизбежному исходу, к смерти, что умеют не думать о ней, не знают своего срока. Но в тот невыносимо долгий день я чувствовал другое: я мог лежать, расслабив ноги и руки, ощущать, как сухо пахнет земля, слушать стрекотание кузнечиков, жадно жевать последнюю картофелину и думать о далеком счастье глотка воды, я все это мог, я слушал бормотание Рубежа, злился или усмехался, одним словом, жил, как вообще живут, но именно потому, что у меня была возможность смерти, заслоняющая меня от чего-то более ужасного. Да, к счастью, я был смертен. Хотя и помнил я о мучениях, пытках, которые ждут партизана, попадающего живьем в руки фашистов, но не это мне представлялось самым страшным, страшнее смерти. В миг последнего решения — подорваться! — будущая жестокость врага должна показаться такой неблизкой, а часы, сутки полона — целой вечностью жизни, тогда как граната, смерть — вот она! И потому для человека не пытки, мучения (которые когда еще будут!) страшнее самой смерти, а отвращение, непереносимое и острое отвращение к тому первому мгно-

вению, когда ты стоишь или лежишь перед ними, а они смотрят на тебя. Именно это, уже не страх, а отвлечение к чужой, к полной власти над твоей болью, жизнью, это направляет руку, в которой зажата последняя, для себя, граната. Проскочив эту черточку, миг первой встречи с неволей, человек потом может и не помнить про такое чувство. Но оно, слава богу, существует, оно вдруг включается в человеке, которому приходится выбирать самую смерть, и нет, наверное, человека более свободного, чем в такие мгновения...

Сейчас много пишут, хлопчут об удлинении человеческого века. Одноклеточные вообще не умирают, так почему группы клеток обязательно должны быть обречены на старение, умирание? Хорошо бы, конечно, нам, многоклеточным, жить вечно. Только как тогда с пожизненным тюремным заключением? Оно ведь еще практикуется на планете. Где-то отменяется, где-то восстанавливается. Или со смертной казнью, с нею тоже приходится считаться. Долгожителю пришлось бы расплачиваться многими десятилетиями или даже столетиями жизни за человеческое стремление к свободе, справедливости, к своему и общему счастью. Настолько ли он Прометей, чтобы решился рисковать, пожертвовать не двадцатью, а двумястами годами жизни? Во всяком случае, практики на этот счет у людей нет...

Истинно свободен тот, кто готов пойти на смерть, это и сегодня верно. И вопрос не в долгожитии, а в том, свободнее были бы они, почти бессмертные, или же надо еще погадать-подумать? Не рабье ли это желание, во всяком случае, на сегодняшней планете — жить и жить?..

Все это так, и все-таки!.. Если иметь в виду семнадцать—двадцатилетних, которых так любит всякая война, так они ведь всегда жертвовали бессмертием! В семнадцать, в двадцать твоя жизнь видится бесконечной. Вот она и практика, миллионы раз повторяющаяся!

Во всяком случае, Флера, тот, что лежал над гранатой, куда симпатичнее мне самому, нежели его наследник Флориан Петрович, что так держится за свою ослепшую жизнь, за обидную свою любовь, слишком напоминающую палку слепого. Вон как вце-

пился (слухом, всем существом своим) в Глашу, в Косача, непонятно молчащего сзади, в Сережу, который своим существованием, присутствием должен защищать от чего-то, от Косача...

...Флера лежит над черной немецкой матрешкой с голубенькой головкой, касается ее гладкого холода то подбородком, то щекой, ждет, когда происходящее на дороге (машины уже пошли) внезапно скомкается, взвояет испуганно и торжествующе-злобно и устремится к нему, на него. Это произойдет, как только немцы узнают, что Флера здесь, что его можно убить. Как они всполошатся и обрадуются, что это можно! Даже не верится, что для них это так важно — Флера!

Но тут же и наоборот все представляется: вот он встал бы, открылся, пошел куда вздумается, а машины все так же проходили бы своей дорогой, ведь тут не кто-нибудь, а всего лишь он, Флера... Он лежит над черной гранатой, как над пропастью, и знает, что в тот самый миг, как они устремятся к нему, он соскользнет вниз... И он смотрит на дорогу даже с любопытством. Рубеж что-то бормочет, шепчет, рассказывает за тех, кто на гравийке и кто в жите, за само жито («Осыпалось я, мышам на радость!..»), а Флера его не слушает, он рассматривает своих убийц.

Ушли, отревели и отдымили машины и броневики, начали двигаться обозы — большие, по-цыгански накрытые повозки и обыкновенные крестьянские телеги, а на них и рядом — немцы и власовцы в зеленом, полицаи в черном или просто цивильном.

У всех у них обиженные лица.

Это мы с Флерой вблизи, в упор разглядели, запомнили в тот день, в те дни: у палачей, у убийц всегда на лицах, в глазах обида. Обида на тех, кого уже убили, убивают, должны убить... Особенно обиженные физиономии были у немцев, которые шли после обоза, на поводках у них овчарки, бредут не по дороге, а по обочине, по траве, рукой подать до Флериных кустиков. Эти гонят сбившуюся в горячий пыльный ком толпу людей, полураздетых мужиков и босых женщин с детишками. Овчарки внезапно начинают рваться к кустикам, к Флере, к житу, натягивая короткие поводки; конвоиры в широких пятнисто-зеленых и черных плащах сердито дергают их, подталки-

вают к дороге, к толпе. То один, то другой конвоир вместе с собакой бросается к людям, тесня их (рычание, детские вскрики!), а когда они возвращаются назад (еще ближе к кустикам), обида на узком, на полном, на круглом, на худом, на рябом, в очках, без очков лице проступает еще заметнее, гневной краской. Они проходят мимо, уволакивая, уводя рвущихся к кустикам овчарок, и от этого нам кажется, что и дорога с людьми, и обочина, и луг, по которому идут и пробегают немцы с овчарками, что все это накрепко, вот-вот сползет, ссыплется, свалится нам на головы! Этого уже почти хочешь, так мучительно ожидание...

И тут случилось! Два или три человека из пыльной толпы метнулись к житу. О, как обиженно взвизгнули овчарки, как торжествующе! Одни бросились, увлекая за собой конвоиров и увлекаемые ими, к житу, другие — к оставшимся на дороге людям. Мы с Рубежом переглянулись: «Конец, все!»

Несколько резких очередей, и дальше только крики, лай. Немцы спустили овчарок и теперь боятся подстрелить их. Да и куда денутся беглецы из этого окруженного открытым полем жита? Два немца забежали со стороны кустиков, мы смотрим в их зеленые спины, по-охотничьи напряженные. А жито кипит собачьим лаем, рычанием, густым рваным дыханием. Внезапный ровный стук — пять выстрелов десятизарядки. Ленинградца нашего винтовка? И тут же совершенно дворняжий визг. Наверное, подстрелили овчарку.

На миг все замерло. Первыми опомнились и бросились назад к дороге два немца, слишком далеко забежавшие с нашей стороны. Но те, что были у дороги и которых много, устремились к житу. И все потонуло в испуганной пальбе и криках.

...Когда убитых ты прежде видел живыми, замечаешь, что мир не сразу принимает мертвого — все вокруг должно еще привыкнуть к его присутствию. Потом, когда и час прошел и полдня, а трупы все перед глазами, они постепенно делаются как бы частью самого мира, враждебного, тревожного, в который пойманы и мы с Рубежом. По дороге едут, идут немцы и «бобики», а те, что ночью сидели в окопе, все бегают с котелками, и только мы с Рубежом да уби-

тые неподвижны. Глеба Васильевича и Скорохода немцы увезли как неожиданный радостный подарок, трофей, а перед этим долго толпились возле них. Убитых мужчин и, кажется, одну женщину из колонны бросили у дороги, мы их теперь видим, вот уже два часа они у нас перед глазами.

Убили человека, человека не стало, и тогда появилось это — лежащее на траве. Возможно, еще до захода солнца убьют и тебя, и снова что-то появится в мире, и так же, как ты сейчас, кто-то, чьи-то глаза будут привыкать к этому.

Рубеж провалился в странную дремоту. Только успел сказать: «Ты пока посмотри, ладно?» — и заснул лицом к земле. Кожаная выгтертая шапка отвалилась на сторону, спутанные соломенные волосы сплелись с травой. Я на него посматриваю с беспокойством. У спящего, особенно когда человека вот так настигает сон, что-то очень мертвое в позе. Уже кажется, что лежит слишком долго, и все вокруг к этому начинает привыкать... Кто из нас двоих увидит второго вот таким? Кто раньше появится перед глазами другого? Мне все припоминается из довоенного фильма: люди подошли и смотрят на чистый пустой снег, ждут, и вдруг на нем начинает проступать, проявляться человек, убитый английскими полицейскими невидимка.

Я готов уже разбудить Рубежа, не хочу видеть этой его позы, боюсь ее, как самого последнего одиночества в мире.

По дороге снова идут машины, а когда возле окопа остановился танк, я толкнул Рубежа. И удивительно, как я обрадовался, когда увидел живое лицо, заросшее светлой щетиной, носатое лицо Рубежа.

— Давно они? Что ж не разбудил?

Шепчет громко и так, точно, проснись он раньше, чего-то не допустил бы. Человек всегда просыпается в мире немножко ином, чем тот, который оставил засыпая. В доброе время — с радостной готовностью догнать отдалившееся. В плохое — с беспокойством человека, не знающего, куда переместилась опасность.

— Как это я заснул?

Смотрит на дорогу, на убитых, просыпаясь окончательно.

— Что ж, братка, делать, если и нас забьют? Скажут там: сбежали!

Да, «остров», Глаша...

— Совсем им плохо будет, — прикидывает Рубеж.

Там нас ждут, там само время отмеряется: в прошлое — нашим уходом, в будущее — нашим возвращением. А ведь это единственное на земле место, где нас, где меня ждут, и как это, оказывается, необходимо, чтобы человека ждал кто-то. Раньше, давно-давно, когда живы были мама, сестрички, я об этом не думал, как может подолгу не думать человек о солнце: оно всегда есть и будет, пусть даже оно и забыто за тучами.

Теперь только Глаша, «остров» о тебе помнят, нуждаются в тебе, именно в тебе.

...Когда ракета падает, земля как бы приподнимается ей навстречу. И все, что можно видеть в падающем свете ракеты, будто на цыпочки встает: зачем-то посмотреть, куда упала. И ты тоже отрываешь от земли, поднимаешь голову, тянешься туда.

Вчера мы с Рубежом долго уползали от таких же ракет, от проклятой гравийки, где потеряли ленинградца и Скорохода, где оставили убитых незнакомых крестьян. Сначала в жито перебрались, ползли по измятому беглецами, овчарками, немцами житцу, а потом поднялись и пошли. И когда встали на обмякшие от долгого лежания ноги, мир сразу раздвинулся, мы уходили через поле к лесу, подпираемые своими короткими тенями, и они радостно, преданно подтверждали, что мы есть, существуем...

Но прошло два дня, и ракеты снова прижимают нас к земле, только сейчас мы не уходим от них, мы ползем им навстречу. Ничто ведь не изменилось, и нам необходимо добыть хотя бы чего-нибудь, с чем можно возвратиться на голодный «остров». Ничего стоящего мы еще не встретили. Правда, видели в лесу корову, но взять ее не смогли. Что мы найдем в деревне, куда ползем, неизвестно. Но что-то надобно делать, хотя бы вот так ползти к полицейскому гарнизону по картофельному полю.

— Ну как после теткингого молочка? — подбадривает себя и меня Рубеж, который лежит через две борозды от меня.

Это он припоминает ту самую корову, наверное, воображая, как мы сейчас вели бы ее на веревочке к «острову» вместо того, чтобы ползти к черту в зубы.

О, как обрадовались «вылушни», когда неожиданно

увидели ее на лесной поляне: полтонны мяса на собственных ногах и даже веревочка на рога накинута! Это было такое чудо, что «вылупни» даже уселись на травку полюбоваться и наверняка убедиться, что это не сон. Убежала, наверное, от немцев. Рубеж вытряс из кармана кортовых галифе все пылинки табака, но бумаги нет, и он пополз по траве, отыскивая сухой лист, ему нужен обязательно дубовый. Ползает, а глазами ласкает полные бока нашей буренки. Взялся высекать кресалом огонь. Пока добыл огня и покурил, успел историю рассказать.

— Была у нас в Слуцке семья одна. Вылупень Тимох, а у него полная хата девок, семейка вроде моей. Мои и теперь в Слуцке. Если старших не похватали в Германию. А что, все может быть!.. Меня как забрали в сорок втором весной в обоз — словаки тогда шли на партизан — и как попал к партизанам вместе с тем обозом, так и не подходил к Слуцку близко. От греха подальше. Жонка знает, где я, а детям лучше, если и не сказала. Не дай бог, проговорятся, что Тимох Рубеж в партизанах! Живут дома, ну и пускай живут, пока можно. Ага, так я про Вылупней... Кличка у них такая была, у той семейки. Бестолковая хата, у нас про таких говорят: «Как сало без хлеба!» Но какое там сало? Хоть бы хлеб был. Есть такие семьи, что ни говори, липнет к ним бедность, нищимница, как короста. И случилось чудо: Вылупни купили корову! У цыган. Но не были бы то Вылупни! Надо молочка — хватает кружечку и под корову. По очереди каждый. Как водопровод. Неделю или две бегали, пока не испортился водопровод.

Рубеж уже раскурил свою дубовую самокрутку и взялся срезать бересту с дерева, кружечку готовит. Вылупни, поди, надоумили!

И тут мы увидели тетку. Она держится за орешинку и смотрит на незнакомых людей, ползающих возле ее коровы. Что корова ее, мы поняли сразу.

— День добрый! — поздоровался Рубеж даже обрадованно.

— Ой, так напугалась! — Женщина пошла к корове, чтобы дотронуться до нее. — Смотрю, кто это? Аж это партизаны, наши!

Сказала, как напонила. На женщине длинная темная юбка, фуфайка, волосы растрепались, ноги босые.

— Только достала ее из ямы, пустила, отошла на шаг, а тут незнакомые люди! — женщина все не может успокоиться.

— Откуда сами, тетка? — спрашивает Рубеж, продолжая трудиться над берестовым стаканчиком.

— С поселка, на поселке мы живем... жили. А как стали они кругом вёски палить, то и к нам прилетели утречком, на самом золку. Глянула в окно — немцы, полный двор, о господи! В хату заходят, один, переводчик, спрашивает: «Вы за кем считаетесь: Убойное или Бобровичи?» Все знает гад: это ж когда-то хутора, поселки в деревни селяли, только наш двор не успели или как-то остался. Он и спрашивает: к Убойному или Бобровичам мы приписаны? Я сразу догадалась: «Гэта ж яны приехали палить, забивать Бобровичи или Убойное. Потому и пытаются, чьи мы». Гляжу на него, на детей своих гляжу. Так мне не хочется сказать, что Убойное. Не знаю... Может, потому, что в ту войну у нас многих поубивали и когда французы шли, дед рассказывал, тоже мы сгорели. Что сказать, как ответить? «Убойные?» — спрашивает переводчик. Смотрю на него: подсказывает или ловит, о господи? И не поймешь, только усмехается, с усиками такой! «Мы бобровичские», — тихонько говорю. А руки, а ноги аж загну! Он еще постоял, усмехнулся, с усиками такой: «Ну, ладно...» Слышу, сказал немцам что-то про Убойное. Не Бобровичи, а Убойное. Хотела как лучше, а сама в огонь лезу. А он немцам: «Убойное!» Все-таки ты человек! Потому что они Бобровичи шли убивать. А я схватила детей, коровку вот — и в лес. Они Бобровичи спалили, всех побили, а вечером и Убойное тоже. Залетели еще раз и на наш хутор, спалили. Со мной тут семья из Убойного, женщина...

В густом ельнике вырыта яма, как делают солдаты для машин и орудий, с плавным спуском.

Тут женщина и прячет свою корову, сюда и загоняет ее теперь, как бы показывая нам, что вот тут ее место и нигде больше. А из ямы на наши голоса поднялись, выбрались две девочки (одна — в длинном мужском пиджаке с завернутыми рукавами, вторая — едва прикрытая рваным платьицем) и мальчик, неожиданно пухлый, толстенький.

— Что ж у вас песок желтый виден? — упрекнул

Рубеж.— Ну-ка, малые, собирайте мох. Вашу хованку за километр заметят.

— Ой, и правда! — привычно испугалась женщина.— Мы закрывали песок, но, видите, какие у меня работники.

Девочки тут же отбежали рвать мох, а пухлый мальчик подошел и, чтобы удобнее было нас разглядывать, привалился к ноге женщины.

— Сынок той женщины из Убойного. Где мама, Павлик? Там у них своя ямка.

А она уже появилась из кустов, женщина из Убойного.

— Идите смело, гэта ж партизаны,— сказала хозяйка коровы.

— Што гэта деецца, хлопчики, што буде? — сразу же заговорила худенькая веснушчатая женщина, очень похожая на такую же веснушчатую девочку, которая шла за ней. Только у девочки лицо серьезное, очень строгое, а у женщины оно странно улыбается.

— Что у вас было? — спросил Рубеж.

— Что? Побили нас, и все. Из хаты в хату переходили и забивали,— женщина сказала это как-то очень просто: — «Заходите в хату! Ложитесь ниц! Ложитесь!» И — стреляет.

— Зачем же дожидались? Разве не знали, что они делают?

— Кто и убежал, мы вот убежали. А то боялись которые. Они через старосту объявили, что Убойное не тронут, а Бобровичи жгут потому, что от них много молодежи в партизанах. А наших там нет, староста так сказал. И кого в лесу найдут, сказали, застрелят. И правда, сначала приказали мужчинам с топорами, лопатами собраться — дорогу ремонтировать. Кто не спрятался, объявился, они тех мужиков собрали и стали гонять по пляцу в конце деревни. С поднятыми руками по кругу бегают, а песок, а песок!.. Кто отстанет, бьют. Мы в окна смотрим, что это они делают с нашими. А они это, чтобы утомить людей, бо ведомо, мужчины, они сопротивляться могут. Это чтобы потом легко было в гумно загнать. Загнали и стали ходить по хатам. Музыку на улице пустили, кричит музыка, а они ходят, и какая-то стрельба. А я бабам говорю: «Гэта ж яны людей забивають». Мы это, семей десять, собрались все в одну хату, чтобы не так страшно,

«Убивают нас», — говорю я. В окно смотрим, на улице людей не стреляют, не трогают, а только видим, что показывают: «Заходите в хату!» Смотрим в окно, как немцы зашли, трое или чацвёра, в одну хату и столько же в хату напротив, побыли там и вышли, поправили автоматы и опять к хатам идут, все ближе к нашей. Подходят к калитке, смотрят на нас, а мы из окна — на них, смотрим и так плачем, так плачем... Не знаю, что... Они пропустили кого-то, вспомнили и вернулись, пошли еще по чью-то душу. Схватила я детей и на огород. Музыка кричит по деревне... (Пухлый ленивец Павлик подошел к рассказывающей женщине и прислонился теперь к ее ноге.) Мы за колодцем спрятались на огороде, прикидала я детей картофляником, лебедой, присыпала песком, а с улицы немцы все подходят к колодцу. Выпьет холодной воды: «А-ах!» Хорошо, значит. Руки моют, плещутся, смеются. А на мне косы растут... Не слышно немцев стало, тогда он (тронула голову Павлика) и она (взглянула на девочку с немигающими глазами), они мне: «Мамо, мамо, бежим, бежим, мамо, нас не забьют!» Это ж они видят, что я уже помирать собралась. Бо куда ж тут денешься? А они: не забьют нас и все!

Лицо женщины не участвует в том, что совершается в ее рассказе. (Зато все на лице, в немигающих глазах девочки, стоящей рядом.) Женщина точно сама в случившееся не верит, как бы у нас спрашивает, что это такое ей привиделось, виновато и неловко улыбается. И все оглядывается, где ее дети, здесь ли.

— Ну, поползли мы к колхозным гумнам, а там уже горит, а немцы пулями свистят, свистят... Это ж они там мужчин забивают, палят. А нам все слышно, как кричат, воют люди, о господи! Как пищат и, гэта, кричат, брешут! Мы между горящих стен, меж сараев. Стена — так, и так, и так... Я детей собой накрыла, песок на ноги подгребаю, бо жгет, так близко огонь, волосы на голове трещат, смалются... А Павлик все равно: «Мамо, нас не забьют». А где тут не забьют, если мы уже горим, и куда нам ползти, то там немец стоит. Я его вижу за дымом. Не выдержала, встала на колени, поднялась — скорее пусть убьет! Что ж, живыми гореть? И дети уже от огня пищат, бо горим. А немец замахал на дым, согнулся и пропал. Ну и мы поползли, побежали из огня, из дыма...

Улыбка на худеньком веснушчатом лице женщины нелепая, странная, но нам она не кажется безумной. Просто ушли все мерки: когда человек должен плакать, когда улыбаться. И все кажется, человек не верит, что это было с ним, могло быть такое, что это правда, у нас спрашивает, правда ли было.

Как это страшно, когда человек улыбается.

...Лай собак далеко уходит в один и в другой конец улицы — большая деревня. Взлетает ракета, и тогда все приходит в движение: длинные тени, как огромные рычаги, поворачивают сараи, хаты, деревья. И тут же, как скрип сухого деревянного ворота, пулеметная очередь. Рваные трассы пуль уходят в поле, нам за спину. Это происходит, повторяется через одинаковые промежутки времени, будто и на самом деле самозапускается какой-то механизм. Значит, тут немцы есть. У полицаев такой методичности не бывает. Днем мы видели, что в деревне стоят машины.

От росы, от сырости плащ сделался твердым, как скорлупа, как панцирь. Я лежа освободился от своего брезента, перепоясался ремнем с подсумками по немецкому кителю, а плащ оставил возле дикой груши среди картофельного поля. И все почему-то оглядываюсь на него, как на кого-то третьего и самого хитрого из нас. Рубеж ползет по борозде и тоже оглядывается, точно и его сманивает назад тот, третий. Резкий ночной запах холодной гари. Похоже, что деревня, в которой мы собираемся разжиться чем-нибудь съестным, не такая целая и благополучная, как показалось нам, когда изучали ее днем из леса. Рубеж тогда здорово изображал, как переложим, перегрузим мы сало и колбасы из полицейских деревянных бочек — кублов в свои жадные мешки и как появимся с этим на «острове», а нас встретят визжащие от восторга пацаны и пляшущий на костыле Степка Фокусник.

Чем ближе человек к опасности, тем он — после какого-то момента — делается неосторожнее. Уже кажется, что все равно произошло непоправимое, что был слишком неловок, и уже вроде бы все равно, как кончится, только бы поскорее все произошло. Чем глубже вползали мы в полицейскую деревню, стараясь, однако, держаться в сторонке от выступающих в

поле построек (там обязательно пост или засада!), тем яснее становилось, что совершаем заведомую и опасную бессмыслицу. Первый же наш шаг по деревне поднимет весь гарнизон. Собаки, правда, и на ракеты, на пулеметные очереди отзываются лаем. Но как они взвоят, почував нас!

Ползешь по грядкам, пахнущим укропом, наталкиваешься на твердые и холодные головы тыкв, но такое ощущение, что не ползешь, а растягиваешься через все поле, как пружина, закрепленная одним концом далеко позади, где остался плащ. И не знаешь, куда тебя в следующий миг — вперед швырнет или отбросит назад. Пружина с каждым метром становится туже и все сильнее тянет назад. Цепляешься, держишься локтями, коленями за мягкую землю и на каждом метре пути будто оставляешь что-то, как плащ оставил, выползши, вылузавшись из него. Ты уже по всему полю. И уже самому незнакомо, чужое то, что продолжает ползти вперед, крадется к стенам, к окнам хаты. Как поступит, что сделает в следующий миг человек с тяжелой, нагретой в руке гранатой и с укороченной, без приклада винтовкой, которую он волочит за собой?

Стукнула в сенях внутренняя дверь!.. Звякают металлические запоры, распахнулась звучная наружная дверь. Пока оглушительно сменялись все эти звуки, Рубеж с неожиданной легкостью добежал до угла сарая и стал там. Я быстро прополз к дощатому забору и замер.

А во дворе мужской прокуренный кашель, человек смачно сплюнул и направился в сторону сарая, промаячил надо мной, белый, в исподней рубахе.

— Подойди, дядя.

Неужели это Рубеж произнес? Такой голос, резкий и ироничный, у Косача.

— Это... это кто? Кто тут?

— Тише, сюда иди!.. Ты кто? Полицейский?

— А вы? Хлопцы...

— Ладно. Сарай открыт?

— Н-не знаю... Что вы хотите делать, хлопцы? Тут же немцы. Два дня как стали.

— Знаем. Сейчас выведешь нас из деревни. Вместе с коровой. Понял, дядя? И не вздумай чего! Выведешь, можешь назад бежать.

— Сичас, хлопцы, я сичас. Раз надо — надо!

— Люблю сознательных. Флера, сюда иди. Где тот ремень? Потише... Показывай, дядя. Скрипучие у тебя все двери. Надо смазывать... Что это немцы собак не постреляли? Непорядок!.. И ты белый и корова... Чем вас накрыть?

— Я возьму в хате...

— Винтовочку? Это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень его прозвище. Запомнил? Вот тебе мешок, закрой рубаху.

...Мы возвращаемся на «остров». Корова у нас великолепная: большая, черно-белая, с огромным выменем. Мясо будет, а молочко уже есть. Чуть не на руках выносили ее из деревни: хозяин за рога, а мы под бока. Быстро и как только могли тихо уходили по огородам, а потом бежали, прижимаясь к звучным, екающим бокам, подталкивая. Возле леса остановились, задыхаясь. На радостях Рубеж попросил у дядьки закурить, и тот очень огорчился, что нет с собой, захопал, как петух, по карманам черных галифе. Но тут же убрал ладони, словно от горячего — брюки явно полицейские. И сапоги крепкие, армейские.

— Здорово мы прошли! — говорит дядька. — Как засветит ракетой, ну, думаю!..

— Ну, вертайся, пока еще темно, — говорит Рубеж.

— Ага, пойду, чтобы не догадались.

— Ну, тогда иди.

— У нас не полиция, а самооборона. Два дня как немцы приехали, в школе разместились.

— Иди, ладно.

— Жалко, закурить не захватил.

— В следующий раз.

— Пойду, посплю еще.

— Ага, поспи.

Мы побежали дальше, уже от дядьки. (Все-таки слишком полицейские на нем брюки, так и жди, что поднимет, приведет погоню.)

Но нам весело: то ли потому, что сами отпустили, а теперь спасаемся бегством («Так вам и положено, «вылупням»), а может, потому, что возвращаемся наконец на «остров», и не с пустыми руками.

Но скоро наши понукания и толчки в мягкие ко-

ровьи бока перестали помогать, корова пошла шагом, тяжело нося раздувшимися боками, а потом и вовсе остановилась. Посматривает на нас добрыми недоумевающими глазами: вот вымя, молоко, что еще вам, «вылупням», от меня надо? Мы тоже устали, расслабленно сидим, прислонившись затылками к соснам, слушающая гудящую в них беспокойную тишину рассвета. Рубеж, пошарив в своей свитке, извлек сплюснутый берестяной стаканчик. На согнутых ногах, как бы не в силах распрямить колени, не подошел, а подтанцевал к коровьему вымени. Корова даже мукнула ему, как хозяйке. Рубеж умело огладил набухшее вымя, цыркнул себе на ладонь и помыл коровьи соски, вытер ладонь о колено. И пошел доить в березовый кулек-стаканчик. Я невольно рассмеялся, так это похоже на его рассказ про семейку Вылупней.

— Вот так и мои девки с кружечкой бегали,— сказал Рубеж.— Шесть их у меня.

— Ваши? А вы про соседа рассказывали!

— Про соседа? Может быть. Каждый кому-нибудь сосед. Мало, что ли, на свете «вылупней»?

Тут мне подумалось, что и дома Рубеж был такой же, там, тогда научился он любую неудачу, постоянное невезение сопровождать невеселым смехом над самим собой. И часто, поди, приходилось быть веселым с такой-то семейкой!

По-детски вытягивая губы из-за белой щетины, Рубеж попробовал из стаканчика.

— Сопьемся мы с тобой. Вот это житуха! Повезло и «вылупням»!

Мы по очереди проглатываем теплый, пенящийся, пахнущий утром, детством, напиток, и правда, голоса, слова наши, смех делаются все громче и бесконтрольнее, как у пьяных.

— Где теперь наш дядька? — вдруг вспомнил Рубеж.— Хорошие у него «колеса» были, хромовые. А штаны все-таки полицейские.

Посмотрел на свои «колеса» — на сырмятные лапти, на закоревшие от грязи онучи и оборы.

— А может, он ищет нас, хочет обменять на мои. Ладно, побежали, а то и правда, распирились раньше срока.

Дождаясь ночи, мы снова отдыхали. Самое трудное было впереди. Что нас поджидает на шести кило-

метрах открытого поля, мы могли только догадываться, на хорошее, однако, не очень надеялись. Рубеж снова заболел безудержным бормотанием — тоже невеселый признак, примета. Отвязывая от дерева выдоенную и накормленную сочной лесной травой корову, огорчается, на этот раз за корову, вместо нее:

— Оставалась бы я лучше зубром! Все равно надо по лесу бегать. Зато была бы зубром!

Попробовали затереть, замазать грязью роскошные белые материки на коровьих боках.

— И днем тебя видно и ночью, — укоряет Рубеж.

Ночь постепенно расплзается из леса на опушку и все дальше, на поле, от горизонта ползет к небу, затирая все пятна, остающиеся ото дня. Но появились новые пятна от пожаров, они растекаются по темному сырому небу многослойно, радужно, как керосин по воде. Там, где пожаров нет, где выгорело вчера, позавчера, небо черное, как сажа, а на нем последние искры звезд.

Тревожная пустота поля втягивает нас, как труба, невольно начинаешь спешить, уже перешли на бег. Рубеж сечет корову прутом, я, перекинув ремень через локоть, удерживаю ее морду повыше, подальше от сурепки и жита-самосейки. Ей все кажется, что мы уже пришли и можно заняться травкой. Винтовку свою я несущу за ствол, благо коротенькой сделалась. Стрелять из нее, бесприкладной, можно от живота, как немцы из автомата, но, может быть, не понадобится. Вот только это поле перейти.

Поле не пахали, не засевали уже несколько лет, но старые борозды остались, неожиданные, опасные для коровы. А для нас ее ноги теперь дороже собственных. Идем мы уже около часа, забирая все левее и левее, но зарево тоже влево сползает, нам наперерез. Оно переливается через край горизонта на наше поле. Это беспокоит все больше, именно там невысокая ступенька леса, к которому мы добираемся. Уже вершины елей различимы на тревожном небе. И чем ближе мы к лесу, тем быстрее стараемся идти. Рубеж хлещет скотину прутом, я дергаю, тащу за ремень. Корова сбивается с ноги, копыта деревянно щелкают от бега.

Вдруг что-то хрястнуло, корова споткнулась. Первая мысль — ноги! Сломала!

На нас водопадом обрушился свет взлетевшей ракеты, свет густой, вязущий. Я еще разглядел возле самого леса стога сена. Оглянулся и увидел Рубежа, на ногах, живого. И тотчас понеслись на нас, мимо нас, сквозь нас огненные иглы. Бьет пулемет в упор, из-за стога плюясь огнем. Показалось, что десятки светящихся игл пронизали пространство, которое заполнено моим неловким огромным падающим телом. Отпустив ремень, рухнул наземь. Я лежал и извлекал из сознания эти иглы, как занозы, убеждая себя, что вот он я, что жив и даже не ранен!

Корова спокойно срывает стебли сурепки. По этому слабому звуку понял, что стрельбы уже нет. Кончилась внезапно, как и началась. Но близкий лес уже не кажется нашим спасением, он угрожающе, тяжело нависает над нами, распластавшимися на земле. Рубеж лежит неподалеку от меня неподвижно и терпеливо. Я попытался, не вставая, поймать корову за свисающий ремень, но она чмыкнула, сделала несколько шагов в сторону и стала нюхать землю. Не решаясь позвать, окликнуть Рубежа, я пополз к нему. И только когда был совсем рядом, подумал плохое: человек лежит ртом в землю, свалившаяся с головы зимняя шапка кажется пустой опрокинутой чашей. Рука моя коснулась головы, волос Рубежа, неожиданно мягких и теплых (это мои пальцы отметили, запомнили!).

— Тимох, Тимох! — я почему-то назвал его по имени, впервые, и оно прозвучало как чужое. Но это и был уже не Рубеж, а кто-то появившийся вместо него. Рубеж оставил меня одного, наедине с этим. И перед самым лесом, где за стогами затаились враги. С каждым мгновением тот, что лежит возле меня, становится все более мертвым, чужим. Руки мои сделались липкими и большими от прикосновения к нему. Я попытался забрать винтовку Рубежа, но неподвижная рука его не отдает, крепко держит. Точно кто-то раньше меня перехватил винтовку.

Как бы давая мертвому время для чего-то, я уступил ему винтовку и пока что стал выгребать патроны из его сумки. У Рубежа винтовка немецкая, нужны и патроны его. Запихал обоймы себе в карманы, нагрузился и снова стал тянуть винтовку из мертвой руки. Рука потянулась следом за винтовкой и наконец отпустила.

Я перебрался в заросшую травой старую борозду, чтобы лучше было уползать или стрелять, когда пойдут сюда от леса. Вспомнил и поискал глазами корову. Она быстро уходит от нас. Сначала она белая на темном фоне леса, а когда вышла на зарево, сделалась угольно-черной. Даже мой ремень виден, раскачивающийся, тянущийся к земле. Ноги еще в темноте, а туловище, голова на фоне горящего неба. Удаляясь, вытаскивая ноги из темноты, как из грязи, корова поднимается все выше, вырастает. То, что корова уходит, сразу вернуло меня к главному, я подумал про «остров». Но тот, кто лежит неподалеку, требовательно ждет от меня чего-то. Я снова пополз к нему. Попытался, просунув руку под мертвую, липкую от крови тяжесть, тащить следом за удаляющейся коровой, даже протащил несколько шагов, пока не понял, что не это я хотел сделать.

Корова все чернее делается от света над горизонтом и все больше вырастает, быстро и весело вытаскивая ноги из черноты. Я отложил винтовку в сторону и руками, липкими меж пальцев, подгреб немного земли к ногам Рубежа. Мертвый снова становился Рубежом, я уже привыкал к реальности, к мысли, что Рубеж убит, мертвый. Подгреб еще земли, сделал это, точно спрашивая у мертвого. А наша корова уходит, ее размывает светом, и она словно тает, ноги уже не касаются мерцающей черты горизонта. Я встал на колени и взялся торопливо нагребать влажный песок поближе к Рубежу, но еще не наваливая на него. Я сдвигал песок руками, коленями, самой грудью, почти лицом, я точно сам зарывался в землю и все ждал, что эти мои резкие, неосторожные движения снова обрушат на нас дулемеетный огонь. Но чем острее чувствовал свою неосторожность, тем неосторожнее и торопливее все делал, как бы нарочно, назло чему-то, кому-то... Песок у меня во рту, за воротником, в волосах. Наконец я решился, разом надвинул горку песка на лежащего в борозде Рубежа. Я делал это, стараясь не глядеть, не думать, быстро, торопясь, чтобы кончить, не почувствовав всего. С какого-то мгновения уже не впускал в себя происходящее, я был переполнен, а остальное сливалось на сторону. К счастью, для человека, это возможно.

Мокрый, в грязном поту, с хрустящим на зубах

песком, я остался один среди поля. Я так торопился завалить песком, засыпать мертвое тело, чтобы оторваться от этого места, уползти за нашей коровой, но вот кончил и лежу не двигаясь. Все вдруг показалось таким нереальным, захотелось просто переждать, пока оно все исчезнет само. Я отрешенно наблюдаю, как уходит корова, тоненькие ноги совсем не касаются земли, она ими быстро перебирает, отталкивается от света, мерцающего, как бы испаряющегося над горизонтом.

(До сих пор не понимаю, почему так странно вели себя те, что обстреляли нас из-за стогов. Возможно, это был немецкий или полицейский «секрет», а не засада, и они просто поозорничали, потому что «секрет» должен лишь наблюдать, не выдавая себя. Но очень уж открыты мы были их пулемету на подсвеченном поле — соблазнительно!)

Наконец я уползаю от леса, от Рубежа, от некончающегося кошмара следом за коровой, тоненькие ноги которой снова начали месить черноту, погружаться за линию горизонта. Я волоку винтовку убитого, ползу с тяжелым, тупым безразличием, делаю единственное, что могу, хотя и не рассчитываю уже ни на что.

Корова внезапно замерла на месте. Наклонила голову, понюхала горизонт и, резко повернувшись, пошла влево и назад, снова к лесу. Я тоже пополз туда, наперерез ей. Корова снова взошла на испаряющуюся черту горизонта, а оттого, что смотрю на нее снизу, как из темной ямы, показалась она мне огромной и совершенно черной, какой-то зубр-одинец. Пот заливает глаза, смешался с липкой кровью, измазавшей мне шею, с песком, в котором я барахтаюсь, я похож на утопающего, делающего последние безнадежные движения. А корова приблизилась, но снова повернула, уходит в сторону метрах в ста от меня. Прямо к лесу, где стога, где сидят немцы, и я ничего уже не могу! Ни одного движения больше не могу сделать. Слезы смешались с грязным потом на моих губах, стекают на липкую шею. Я взял ком земли и жалко швырнул вслед корове, которая вблизи снова уже пятнисто-белая, реальная, весело помахивающая хвостом. Теперь, однако, она более недосыгаема для меня, чем когда спускалась за горизонт. Ремень издевательски раскачивается у ее передних ног.

Мне казалось, что моя обида, моя ненависть к ней это сделали: корова вдруг споткнулась, наступив на ремень, и остановилась, нюхая землю. Я хищно погребся к ней, какие-то силы ко мне вернулись. От усталости нестерпимо щемит зубы, они точно выталкивают друг дружку из ряда. Я ползу и скриплю зубами и обливаюсь не то потом, не то слезами, гребусь к этой гадине, к своему убийце, чтобы схватиться за ремень и замереть, как спасшийся. Хоть бы на одну единственную минуту замереть, неподвижно лежать, зная, что не уходит, не убегает, что можно не шевелиться.

Ползущий, ползающий перед нею, я пугаю корову, она перестала срывать траву, смотрит, слушает, готовая повернуться и снова уходить, убегать. С набившимся в рот, в уши песком, мокрый и обессиленный, я злобно шепчу солеными губами:

— Коровка, коровка, коровка...— И почему-то: — Кось, кось, кось...

Но не коровой и не лошадю, а хитрым и издевающимся убийцей представляется мне это существо: оно заодно с теми, что сидят возле леса за стогами и сейчас убьют меня. Если и стронется с места, станет уходить, я вскочу на ноги — пусть стреляют! Я тянусь к ремню, точно он меня из пропасти вытащит, только бы схватиться! Корова, немного привыкнув к моему присутствию, снова жует, ремень подрагивает у самой земли, метрах в десяти от меня! Я вижу ее темно поблескивающий глаз и боюсь смотреть, боюсь напугать жадностью и злобой, которые в моих глазах. Я уже улыбаюсь мокрым лицом, шепчу какие-то слова, замирая от нежности и ненависти. И тихонько, тихонько подползаю, не переставая улыбаться и шептать.

Схватился за ремень так, что корова испуганно рванулась, протащила по земле мое уставшее и счастливое тело. Что хотите теперь, а я буду лежать! Лежать, лежать...

Лицом к измазанному светом небу, вслушиваясь в тишину леса, счастливо вбирая в себя близкое дыхание коровы, я лежу и минуту, и вторую. Месяц прямо над моим остывающим лицом. На круглом диске, как за матовым желтым стеклом, знакомые с детства тени-силуэты, и они действительно похожи на челове-

ские: и фигура падающего, и того, что отшатнулся в ужасе от содеянного...

Теперь мы передвигаемся так: я задом, на боку, отгалкиваясь локтем, винтовкой; корова, пугаясь этой моей позы и движений, то рвется в сторону, то вдруг отстанет, натягивая ремень, делает круги. Если немцы смотрят, их, наверное, удивляет этот цирк. А что если они по опушке передвигаются к тому краю леса, куда я ползу, тащу корову? Или же дожидаются там? А я спиной, задом — прямо в руки к ним!

Не зная, как быть, я лег снова, жду. Корова стоит надо мной, испуганно натянув ремень, в выпуклом зеркале ее глаза черно переливается далекое зарево. Вдруг оно кругло вспыхнуло, коровье око, блеснуло. Ракета, щелкнув, повисла над тем местом, где остался Рубеж. Вторая — в нашу сторону. И тут же тонкая огненная струя. Несколько пуль, хлопнув, вонзились в коровье тело. Оно точно икнуло, большое и неловкое, глотнув их. Я дернулся к ней на помощь, точно еще мог сделать что-то, поправить, корова тоже подалась в мою сторону и упала на подломившиеся передние ноги. Широко и жутко по-человечьи она раскачивала головой из стороны в сторону, потом бросилась всем телом на землю и замерла. Ноги снова дернулись неожиданно и резко, больно ударив меня по локтю, оттолкнув.

А я все держу ремень, прижимаясь к земле.

Круглый выпуклый глаз забирает в себя далекое зарево. оно переливается, мерцает в черной глубине. Но глаз уже мертвый. Из откинутой коровьей шеи, поблескивая смолью, бьет фонтанчик, иногда он падает на светящееся зеркало глаза, гася его. Снова вспыхнула, поднялась ракета, я прижался к коровьему брюху, прячась, и вдруг разглядел на вымени белые прожилки молока. Ракета погасла, но я все вижу живые белые ниточки на черной смоле крови. Не знаю отчего, но именно эти белые струйки — точно прощения кто-то у кого-то просит! — невероятно на меня подействовали. Я не просто заплакал, я беззвучно закричал, как от нестерпимой боли. Измазанный кровью, землей, потом, вымотанный до крайности, я смотрел на эти жалкие чистые детские струйки-ниточки и плакал, как случалось плакать только в раннем детстве: каждой жилкой своей, каждым вздохом.

Во мне была такая беспредельная, такая детская обида на целый мир, что защищаться я мог только ею, желая лишь, чтобы мне было еще хуже, чтобы уже совсем плохо было и чтобы умереть, назло или на радость всем и м...

Огромный немигающий глаз луны висел над замершим полем, над черным валом леса, над горящим горизонтом. А в этом глазу, как в зеркале, два человека, что-то друг с другом делали, что-то страшное совершалось...

— ...И вы, Флориан Петрович, будете меня еще убеждать? Нет, если бы за нашей планетой наблюдал я, давно бы сделал оргвыводы!

На этот раз Борис Бокий, швырнув на диван свой набитый книжной тяжестью портфель, стал рассказывать про Хатынь, где он побывал, про кладбище полтысячи белорусских деревень.

— Да вы же в натуре это видели, Флориан Петрович! Ну вот объясните, как такое возможно. Нет, я не про фашизм как систему, в этом я еще могу разобраться. Хотя и не возьмусь объяснить все эти метастазы, которые обнаруживаются на самых неожиданных континентах. Но вот конкретный человек, рожденный от человека, отдельно взятый исполнитель?

— Не было... Отдельно взятого не было. Извечное «мы». Оно самое: «Мы — немцы!», «мы — арийцы!», даже «мы — наследники Шиллера и Канта!». Да, да, то самое «мы», без которого невозможна коллективная человеческая история, но здесь оно со знаком минус. Изъято лишь сознание, чувство, что над всеми «мы» есть самое общее и главное: «Мы — люди!», «мы — люди, человечество!». Во имя самого главного и все остальное, а иначе даже гордость, что «соотечественники Канта и Вагнера», оборачивается варварством, одичанием. Такая самодовольная «культурная дикость» уже Толстому казалась особенно опасной. Где уж тут думать о ближних и дальних и не делать другим того, чего не желал бы себе, ведь другие — не «мы»! У них одежда, цвет кожи, обычаи, язык, уровень, условия жизни вон какие, не такие! Толстой приводит и такой пример: людоеды ставили ниже се-

бя, считали дикарями свои жертвы именно за то, что те питались лишь фруктами да овощами. За то, что они не людоеды! Так почему устроителям Освенцимов и Хатыней не смотреть свысока на тех, кого они истребляли? Я вот уверен, что в Хатынях и это имело значение: например, непохожесть наших деревень на ихние, черепичные. Для «человека разумного» различие между народами, расами, людьми — повод для радостного удивления, размышления, зато для «голой обезьяны» — лишь основание презирать и кусать всех, кто на нее, арийку, непохож. Особенно на обращении с пленными это было видно. Сначала холодом и голодом доводили людей до жуткого, почти нечеловеческого облика, затем какой-нибудь добродушный вахман гнал их к ямам расстреливать и вздыхал, может быть: «Нет, что ни говори, а что-то в них, и правда, не от людей!»

— Вот то-то и оно, Флориан Петрович!

— Но есть критерий истинно человеческого «мы»! В отличие от варварского, дикарского, фашистского. Мне думается, весь вопрос в том, повышает ли данная идея способность человека сочувствовать чужой боли, страданию. Или же понижает, притупляет эту самую человеческую из всех способностей — чужую боль ощущать, осознавать как свою собственную и даже сильнее. Если притупляет, тогда это наркотик, ничем не отличающийся от героина, которым во Вьетнаме каратели усыпляют свою совесть. Ну, а техника этому поможет. Вон хотят установить на рисовых полях и лесных тропинках электронные датчики, механических соглядатаев наразбрасывать. Прошло рядом что-то теплое, живое — на инфракрасной пленке далекого аэродрома появился пучок света, тут же взлетели начиненные смертью самолеты. Не только сочувствия, но даже и ненависти уже нет. Пучок света на экране — какие тут могут быть чувства?

— Вот-вот, дорогой Флориан Петрович! Что же получается? Может, два миллиона лет «мы» бродили стадами по холодным плато, расставшись с райскими обезьяньими кущами, каких-то полста тысяч лет «мы» — существа, так сказать, разумные. Но как только ими стали, разумно разбежались в самые дальние концы планеты, подальше от других, которые для нас уже не «мы». Потом снова обнаружили друг друга,

открыли, узнали, обрадовались, а заодно и колонизовали тех, кто послабее и попроще. Аж до атомной энергии homo sapiens поразумнел! И что же! Не по второму ли витку идем? Не тот ли самый разумный рефлекс подталкивает, подначивает нас разбежаться снова, уже по всему Млечному Пути? Вы как хотите, а я за это! Соберемся как-нибудь попозже. А?..

— Знание мое пессимистично, но воля, надежда оптимистичны! Это Альберт Швейцер. Хорошо сказал...

...Если я сполз с поля, облитого предательским светом, добрался до своего леса, а днем к «островам», то вела меня и вывела, наверное, все та же нестерпимая дегская обида — внутренние слезы, которые я точно нес кому-то. И я принес их к «острову», зная, ожидая, как обрадуются мне, как бросятся навстречу и как я обо всем расскажу. Что будет дальше, потом, я как-то не думал, не заглядывал. А что я им приношу, кроме вести, что все убиты и только я живой? Погибли все, на ком держалась надежда не пропасть с голоду.

На бегу я жевал что попадалось: щавель, ягоды.

В лесу возле первого «острова» все тот же запах, но теперь это знак, что я почти дома. Поискал в кустах — все шесты на месте. Я даже пересчитал, точно не отказался еще от мысли, что Скороход или Рубеж вернулись раньше меня. Я шел с палкой к воде, когда меня окликнули:

— Пришли?.. Хлопчики!..

Прислонившись к болотной сосенке, сидит женщина. Ноги вытянуты обессиленно прямо, на коленях грязный узелок. Глаза пронзительно блестят на истощенном, иссохшем лице. (Как-то услышал я в рассказе бывшего военнопленного: «Целые полгода болел этой смертью» (то есть голодной, умирал от голода). У болеющих голодной смертью глаза всегда такие — вопрошающе-пронзительные.)

— Вот и хорошо... Пришли...

Не хватило воздуха обрадоваться, и женщина глубоко вздохнула. Показала на свой узелок.

— Щавельку собрала... Хорошо, что вы...

Она смотрит, ищет глазами остальных, хочет увидеть, что мы принесли ее детям. Только тут я осознал,

что означает для «острова» мое возвращение, какое отчаяние и безнадежность я несу.

— Да, пришли... сейчас... да,—я бормотал что-то, показывая назад, как тогда на лесном кладбище, удаляясь, уходя от женщины, и все не бросал шест. Споткнулся, упал, усмехнулся (вот, мол, упал!), а пронзительно горящие глаза женщины с ужасом цеплялись за меня, удерживали меня, гнали меня.

Я уже почти бежал, бросив шест. Я возвращался Куда, зачем? Я этого не знал. Знал только, что вот так, ни с чем на «острове» появиться не имею права. Не могу. Перед такими вот глазами, детскими, женскими. И еще — раненые Больные голодом, голодной смертью все похожи: одинаковые глаза, выпирающий рот. Пройшла бы, промелькнула первая надежда, оживленность встречи, и я бы увидел глаза, которые обманул своим появлением.

...Наш автобус совсем затих. Только женский (ровный, нескончаемый) сказ про поездку на юг да как испуганно-весело удирали от карантина, да кто-нибудь произнесет название деревни или местности.

— Скоро будет Козловичский лес.

— А потом — Рудня.

— Да, Рудня.

И уже снова общий разговор растекается по автобусу, уже про Рудню.

— Надо было атаковать в деревне.

— Задним умом и я Наполеон!

— Я и тогда говорил.

— Что это? — Голос Сережи. — Это кладбище?

— Это — Рудня.

Автобус притормаживает. Шаркнуло стекло шоферской кабины, молодой голос:

— Смотрите, что тут! А издали деревня как деревня.

— Одни кресты и столбики, папка, — тихо говорит мне Сережа, — вместо домов. И березы.

— Тут всех побили, — пояснили шоферу. — Как в Хатыни.

— Никто, никто не остался? — спросил Сережа почти шепотом. (Как бы самому себе сказал. «Значит, и я не остался бы», — наверное, это он сказал.)

— И во сне не приснится! — громко, молодо промолвил шофер и задвинул стекло.

А мне и глаза закрывать не надо, чтобы приснилось, привиделось. Вижу и так. Болят они, мои глаза, с каждым годом сильнее, точно нестерпимый свет на них постоянно направлен. Не снаружи, изнутри свет — из памяти.

...Я ухожу, убегаю.. Подумалось, что меня могут убить, а женщина скажет всем на «острове», что видела меня и что я убежал. Убежал от раненых, от детей! И Глаша там... Все стоит передо мной, все представляю того дядьку. (От него самого слышал в отряде рассказ.) Тоже блокада была, а он жил тогда в гражданском, в семейном лагере. Разогнали каратели жителей по лесу, а он с трехлетней девочкой. От сырых грибов и ягод у девочки началась «кровоавка», отец (или дедушка) и решился. Поднялся с нею по лестнице-«ежу», которую нашел возле пустых ульев, сначала опустил ее ноги в широкое и глубокое дупло клена, потом всю затолкал. Девочка заплакала, когда перестала его видеть. А он попросил показать ручки — только грязные пальчики в дупле пошевелились. Он взял ее за руки, подтянул к дуплянному окошку: «Ну, вот, ну, видишь? Вот так достану тебя, когда вернусь. Чего тебе принести? Хлебца? Ну, вот, умница!»

Слез на землю, спрятал «ежа», послушал покорное молчание девочки. «Ну, я пошел, я хушенько!» — и побежал. Как я. Чтобы быстрее вернуться. И вдруг, как на стенку, налетел на мысль: «Убьют меня, а она будет там сидеть и день и три, плакать, умирать от жажды, от голода!» Бросился назад. От страха, от волнения заблудился. Стукался о деревья, как слепой, плакал, звал. «Выл, братки мои, как волк, пока не нашел то дерево!»

Убьют, а женщина расскажет, что видела меня и как я убежал. С б е ж а л!

Деревня, к которой я наконец вышел, спит в прохладном тумане, ползающем по лугу, по огородам клочьями, как овечьи стада. После ночи, которую в голодном полубреду-полусне провалялся под елью, что-то странное бродит во мне. Вот ловлю себя на том, что бормочу, напеваю «Сулико». Почему-то именно эту мелодию. Какая-то неестественная легкость, пустота

внутри. И какая-то беззаботная забывчивость. Я направился прямо к деревне и лишь потом спохватился: винтовка на плече! А кто там, в этой деревне, разве я знаю. Совсем целенькая деревня. Крыши, крыши над колыханием тумана, как днища перевернутых лодок. А надо всем, надо мной такое чистое и свежее небо. Справа за туманом темнеет высокая насыпь дороги. Не та ли самая гравийка здесь тянется, возле которой убили ленинградца и Скорохода? На полпути к деревне среди луга поднимается, вырастает из туманной мути, как из воды, несколько молодых берез. К ним я и направляюсь. Ноги путаются в побуревшем от дождей, неубранном сене. Возле берез я остановился, огляделся. Это одна береза, но трехствольная: три изогнутых застывших движения. Очень удобное сиденье для пастишков. О чем это я?.. Ногой сгреб сено и сунул под него винтовку. Не сразу вспомнил, что на мне еще ремень с подсумками и немецким штыком-кинжалом. Я зло рассмеялся. Ну, ну, давай еще «Сулико»!.. Сунул под сено подсумки и штык и тогда сообразил, что китель на мне немецкий. Да и штаны немецкие. Но на штанах грязи столько, что сойдут за неизвестно какие. Спрятал китель под сено и остался в серой рубаше с белыми пуговицами, которую мама мне пошила. Гранату переложил в карман брюк. Ну, кажется, все, можно идти в деревню. Или еще что-то не так? «Долго я бродил и вздыхал...» Ну, ну, спой, дурачок!

Внезапный звук впереди насторожил меня. Я не отхожу от винтовки, стараюсь отгадать, что означают эти стуки, повторяющиеся в низинке, налитой холодным туманом. (Оказывается, мне надо заново учиться ходить по земле, без винтовки.) Звуки деревенские: стук по дереву, бормотание, окрик на коня. Как от берега оттолкнувшись, я оторвался от места, где спрятал винтовку, и пошел в том направлении. Сначала коня разглядел, телегу. Из туманной гущи вынырнул запыхавшийся дядька, граблями гонит валок, копушку сена. Увидел меня и быстро, как и положено теперь, огляделся — один я или за мной еще кто? Дядька вспотел, заметно, что спешит, нервничает, точно ворует он это сено.

— Доброй раницы! Это какая деревня? — произнес я и сам поразился, как по-другому звучит голос, когда ты без оружия.

— Переходы.

— А! — обрадовался я так, словно их как раз искал. — Тихо у вас как!

— Где теперь тихо? Сидим вот, как на огне. Кто в лесу, кто где... Уже приезжали, никого не тронули, только коней похватали. И три семьи из Больших Борок застрелили. В лесу в куренях ховались, жили. Раз в лесу — «бандиты»!.. Застрелили. А сами вы откуда будете?

Я назвал далекую деревню.

— Спалили вас? — тотчас спросил дядька.

Странный этот дядька. Голубые глаза детски чистые, искренне пугливые, а заросший рот все время растягивается хитрящей усмешкой.

Я знаю, что означает его вопрос, не из сожженной ли я деревни. Если сожгли, выбили мою деревню, я для Переходов человек опасный. Уцелевших или спасшихся жителей таких деревень немцы ищут, преследуют как прокаженных и убивают, где бы ни встретили. Их приравнивают к партизанам, и потому опасно, если такого человека застанут в Переходах. Я понимаю дядьку и спешу успокоить:

— Нет, у нас нормально.

Заросший рот не верит.

— Нас давно с самолетов сожгли, — поправляюсь я. — А тут у меня тетка живет.

— Кто это? — дядька торопливо наваливает на телегу сено.

— Ганна... Переход Ганна...

Назвал наугад. Знаю, что бывают целые деревни однофамильцев. В Лосях — все Лоси, в Никитках — все Никитки...

— У нас тут вся улица на Переходах, — соглашается дядька и, поправив сено перед мордой жующей лошади, обратно убегает. Пятки у него черные, хотя и вымытые росой. «Долго я бродил и вздыхал...»

Я направляюсь к деревне. Переходы? У нас в отряде двое или даже больше с такой фамилией.

Солнце уже поднимается за лесом. Туман посветлел и порозовел. Не нравится мне эта гравийка справа, выходящая из тумана, с каждой минутой удлиняющаяся. Когда дядька сказал, что приезжали, он махнул граблями в ту сторону. Но туман густой, плотный, как лес, дотягивается до самых домов, крыши точно плывут по нему. Это успокаивает. Мешка у меня уже нет, придется попросить. Заодно уж. Как у нас нахальные

курильщики просят: «Одолжи огонька, а то у меня весь табачок вышел, а бумажки нету!» Но кто я такой без винтовки, кто мне и что даст? Какой-то попрошайка. Только теперь я об этом подумал. Но я готов и попрошайничать, без ничего я не могу вернуться на «остров».

Какой-то звук дернулся за лесом и пропал. Снова дернулся. И остался, ровный, далекий. «Рама», что ли? Давно не виделись!

Я все-таки остановился, стал слушать. Нет, ничего. Далеко, во всяком случае. Роса такая, что хлопает под ногами. Я присел и, собирая ее чистый холод ладонями, немного смыл с лица грязь. И будто еще что-то смыл, стер: пропала, отвязалась наконец беззаботная и странная легкость, ощущение нереальности всего происходящего. Я поднялся и огляделся с таким чувством, точно случилось что-то. Нет, все то же...

И тут увидел: дядька, тот самый босой дядька с граблями и в рубахе навывпуск идет за мной следом. Он не идет, а то и дело срывается на бег. И все оглядывается. За ним стена розоватого тумана, но теперь она что-то прячет. Я еще не испугался, но уже привычно прикидываю, куда бежать, где упасть.

Впереди мутно темнеет сарай без крыши, тонущий в тумане. Я быстро глянул в сторону гравийки. Нет, там по-прежнему никого. И вдруг!.. Правее, там, где осталась трехствольная береза, где спрятал винтовку, туман затемнел, задвигался, в нем, из него стали вылепливаться плывущие фигуры людей, неправдоподобно крупные, с одинаково удлинненными головами. Они покачиваются и надвигаются, как из сна, из кошмара...

Я уже лежу на земле. Но тут же вскочил на ноги и быстро пошел к сараю — мы с дядькой идем в деревню, в с в о ю деревню! Так попался, так глупо и необязательно! Мог бы сейчас быть в лесу, помедлить, обождать бы мне еще полчаса в лесу, но я здесь, и это конец, и это непоправимо! Я знаю, ощущаю всем своим существом, что спасения нет, не будет, но все равно жадно ищу ту единственную, последнюю возможность, случайность, которая еще может спасти. Я направляюсь к сараю, дядька идет за мной, мы оба оглядываемся. Каски, плечи, фигуры отделились, оторвались от розовой стены тумана, теперь они черные, реальные, их много уже и в той стороне, где гравийка. Медленно цепью движутся немцы к деревне.

Я ощупываю в кармане гранату: выбросить или оставить? Я всего лишь житель деревни Переходы, а с гранатой я партизан. В ней моя смерть, но смерть, которой я сам распоряжусь, а не та, которая встанет передо мной и спокойно, сколько ей захочется, будет меня рассматривать, прежде чем убить...

За сараем на высоком бугре какие-то лодки, тонущие или полузатопленные, с задранной кормой. Что это? Или верно, что это сон, кошмарный, бредовый, и надо заставить себя проснуться? Это погреба, всего лишь сколоченные из досок тамбуры погребов-землянок. Вот куда спрятаться! Бросился в один тамбур, а на двери замок, во второй — тоже. Потянул — замок легко раскрывлся. Дверь предательски пискнула, пропуская меня в темноту, пахнущую ямой, гнилью. Достал гранату, но тут же спрятал ее в карман, стараясь не додумывать, что я хочу сделать. Граната — это конец. Где-то есть, еще есть последний шанс! Успеть выскочить, пока они не подошли: сразу швырнул в погреб гранату. Бросился вверх так же торопливо, как минуту назад нырял в яму.

Дядька уже поравнялся со мной, глянул белыми глазами:

— Немцы! Ай-ай-ай, попались, во попались!..

И тут же мы увидели, как из тумана, где темнеет деревня, побежали люди навстречу нам. Вдали за деревней гулко и длинно простучал пулемет. Бегущие нам навстречу люди увидели немцев и с нашей стороны, заметались, стали падать, ползти, бросились назад к деревне.

Дядька, дико оглядываясь, побежал к погребу, как недавно я. А я прижался к стене сарая, чтобы успеть что-то решить. Все кажется, что если на миг оторваться от немцев, хотя бы не видеть их, вернется положение, когда еще можно было что-то изменить, когда этого еще не было. То, что у меня под рукой граната (я все держусь за карман), ускоряет, гонит происходящее к последней черте. Не выдержал, выглянул из-за угла: уже лица под касками различимы, руки на автоматах. По гравийке ползут машины. Время несется, как с кручи, навстречу немецкой цепи, забирая, унося весь воздух, стесняя дыхание, точно бежишь через силу.

В стене снизу дыра — выгнило бревно. Я упал на колени, заглянул внутрь. Услышал за собой чью-то тороп-

ливость, это дядька перебегает к другому погребу. Я вполз в сарай. Над головой длинный прямоугольник синего, без единого облачка неба. У самой стены несколько жердей, остаток потолка. В дальнем углу куча сгнившей, черной соломы.

Точно звук включился, когда стены закрыли от меня происходящее, громче стали крики, собачий лай. Достал гранату, гляжу, как бы ожидая, куда меня поведет. На жерди надо, наверх! Это хоть на миг все отдаляет...

В распахнутые ворота сарая вбежал человек — снова дядька! Дико глянул на меня, на гранату. Глаза его шарят по стенам, по углам. Бросился к жалкой кучке соломы и стал что-то нелепое делать, сгребать и сыпать на себя пыльную, точно задымившуюся в солнечных лучах труху, вжимаясь в землю, в стену.

Я полез на жерди. В стене широкие, можно руку просунуть, щели. Снова увидел приблизившуюся цепь карателей, разглядел и несколько рвущихся, натягивающих поводки овчарок. Быстренько лег на жерди, чтобы не заметили меня. И тут услышал, как жутко, пойманно воет деревня. Голоса разговаривающих немцев, даже резкие команды, неправдоподобно будничные, реальные. Я даже чей-то смех расслышал в немецкой стороне.

Непослушными пальцами вывинтил голубую головку гранаты-матрешки. Глазам открылся белый витой шнурок. На конце его — взрыв. Ладоням больно, так сжимают они головку и холодное тельце гранаты.

Немцы уже совсем рядом, я вижу в щель, как двое (один с рогаткой-пулеметом) выбежали из цепи и, бухая в землю сапогами, устремились к сараю. Нет, к погребам. Руки мои будто наручниками схвачены — белый шелковый шнурок вытянулся сантиметра на четыре из тела гранаты. Вот оно, нерадостное, вынужденное право человека умереть, освободиться хотя бы в саму смерть! Она держит меня, как наручники, но и она у меня в руках. Это единственное, что делает меня, пойманного, беспомощного перед надвигающимся, сильнее самого себя.

Отгороженный от происходящего безмерно тоскливым чувством близкой смерти, как сквозь стеклянную стенку, смотрю я на бегущих к погребам и сараю черных и зеленых карателей, на всю цепь, далеко охваты-

вающую деревню. Ухнул взрыв совсем рядом — гранату в погреб бросили. Сейчас кто-то услышит такой же взрыв, мою гранату...

Я вижу, как женщины на огородах перебегают с места на место, падают и снова вскакивают, ползут, тащат детей. А цепь карателей медленно и неумолимо приближается к огородам, к деревне. Вот женщина в яркой, за чем-то розовой кофте подбежала к баньке и, оглядываясь во все стороны, подзывает малых. Двое, нет, трое бегут к ней, падая и поднимая друг дружку. Женщина заталкивает их под навес из потемневшей картофельной ботвы. Спрятала и сама отбежала, упала возле забора, но снова подняла голову и, наверное, что-то говорит детям. Сверху я хорошо вижу яркую, розовую ее кофту.

Все стоит над деревней воющий звук, но не видно, от кого он исходит, кажется, что люди все делают в мертвой немоте. А звук висит надо всем, надо всеми...

По прямой деревенской улице медленно, даже торжественно, как в церковь, идет старик в полотняных, издали совсем белых штанах и рубахе. Все вокруг мечется, а он идет, как будто можно еще куда-то идти.

Но вот все исчезло, остались совсем уже близкие шаги, трущиеся о стену сарая голоса. Сюда идут!

— Пан, а пан,— голос поднялся, старательный, забегающий наперед,— надо в погребках смотреть. Сюда бежали.

— А тебе что, что бежали? — другой голос, угрюмый.— Прикажут, коли надо, не бойся.

— Я не боюсь, а ты завсегда умный.

Сейчас войдут. Ничего нет на земле страшнее: в дверь, в ворота входят люди! И сейчас это произойдет, я прижимаюсь к жердям, смотрю на свои связанные белым шнурком руки и чувствую, какое раздавшееся, какое заметное отовсюду мое тело. Войдут, заметят его и сразу ударят из автоматов. И я не успею... Я не додумываю, что же я не успею... Может быть, это страх, что не успею умереть. От своей гранаты. Человек, оказывается, если и способен настроиться на какую-то смерть, то лишь на одну, на определенную. Чуть что изменилось, и все рассыпается... (Помню, как женщина в вагоне рассказывала, что, когда немцы убивали деревню и подошли к сараю, где пряталась ее семья, люди готовы были сгореть в сене, только бы не выходить к

убийцам, где их застрелят. Умирили в пламени, только бы не умереть под пулями. Наконец не выдержала и вырвалась сквозь дым одна лишь эта женщина, а муж и сестры ее сгорели, их удержал страх перед другой смертью, пусть даже менее мучительной.)

Сейчас ударят снизу, и я не успею дернуть шнурок, граната не успеет разорваться, пока я еще буду живой...

— Эге, гут есть!..

Голос веселый, забавляющийся, все путающий, и это удержало мои руки, дало мне время вспомнить, сообразить, что я ведь не один в сарае прячусь. Не поднимая головы, посмотрел, смотрю, как двое в черных полицейских мундирах направляются в угол сарая. Дядька вскочил на ноги, обсыпанный грухой, солнечный столб пыли, как дым, забелел, встал над ним.

— Прятался бы как надо. Эх, дя-дя! — веселый голос полицейского. (Наверное, этот говорил немцу про погреб.)

— Не пойду! — крикнул человек.

— Ну, ну... Аусвайсы проверят — и «нахауз, матка». Собрание...

— Не пойду! Знаем, какое собрание!

— Ах ты, бандитская морда! — веселый уже сердится.

— Тут забивай, не пойду!

— Не хочешь по-человечески?..

Удары, крихтенье. Возятся только двое. Угрюмый полицейский спокойно наблюдает, точно его это не касается. Дядька вылетел на середину сарая, но снова, как прижатый, метнулся, прилип к стенке, запустив пальцы и ладони в щели меж бревен.

— Забивай, не пойду в огонь!

— Какой огонь? Ба-андит! А ты что стоишь, смотришь?

— Не дури, дед, — ленивый голос второго полицейского, — проверят, и все.

— Сам иди в огонь!

Удары прикладом по бревну и по живому одновременно. Крик почти детский... Наверное, я пошевелился, потому что угрюмый полицейский тут же удивился:

— Эге, еще один! А ну слезай, вниз скачи!

Направил на меня винтовку. Я пошевелился, приподнял зад, тело мое показало, что я ничего, что я под-

чиняюсь, а сам я смотрю на гранату, на белый шнурок в ее отверстиях. Ощутил слабое, зовущее сопротивление смерти на спрятанном в гранате конце натянутого шнурка. Теперь я бесконечный, без выдоха вздох. Больно распирает грудь, а вздох все длится, я все длюсь, делаюсь огромнее и тоньше, невесомее, как шар... Вдруг случилось что-то внизу: двое — дядька, а за ним веселый полицейский — вылетели за дверь.

— Ну, долго буду? — спрашивает оставшийся полицейский. Я поднялся, встал на колени, держу руку с гранатой на жердях и передвигаюсь к стенке, всем своим видом показывая, что буду спускаться. За стенкой снова гахнул взрыв.

— Гранату в погреб швырнули, — сообщил я полицейскому.

— Долго буду ждать?

Я уже не тот, кто минуту назад готов был сам подорваться. Что-то изменилось, и появился в мире хитрящий, согласно и глупо улыбающийся... Он ползет, держа и пряча гранату, а я наблюдаю и за ним и за полицейским, дожидаясь, что же сделаю я... Тот я, что дожидается, наблюдает, поразительно спокоен. Будто и не со мной все это:

— Скачи сюда, ну! — Полицейский почувствовал неладное, голос его тревожно дернулся. Я поспешно приподнялся, покорно повернувшись спиной к его винтовке, и, не глядя, как из себя, потянул шнурок — сорвал оглушительный щелчок в круглом тельце гранаты. «У покойника зубы не болят!» Кто-то другой и, показалось, вслух отсчитал нужные секунды фразой моего друга Федьки, и он же, этот хитрящий, злой, ловкий, метнулся за стенку, как за борт, оставив в сарае падающую на полицейского гранату...

Больно ударился о землю, о взрыв, о темноту. Стена сарая дохнула на меня дымной вонью — в закрытые от боли глаза, в нос. Вскочил с выбитым или сломанным плечом, чтобы бежать куда угодно, на кого угодно, только подальше от того, что я сделал.

— Хальт! Комм гер!

Боль в плече опала, не застит глаза. Немец стоит возле погребка, направив на меня автомат. Я иду к нему, даже спешу, только бы подальше от сарая. Два немца полулежат возле пулемета, поднятого на высокие ноги-распорки.

А еще двое стоят над какой-то старухой. Она лежит лицом в землю, ожидая худыми острыми лопатками выстрела, а немцы стоят над ней, закуривают. Смешно им, что они всего лишь курят, улыбаются, а человек уже умирать приготовился!

— Нах хауз, матка,— трогает ее автоматом немец в толстых улыбающихся очках.

Я с облегчением отмечаю, что взрыв мой никого не обеспокоил. Сейчас еще один немец бросит гранату в погреб. Швырнул и припал к песчаной крыше-накату. «Мой» немец, опустив автомат, дождался нового взрыва и уже потом направился туда, где лежит старуха. Показал, чтобы и я подходил к тому месту.

И сразу не стало здесь партизана, бросившего гранату, убившего полицейского,— к немцам идет давно не стриженный деревенский парень в грязных сапогах и в серой навывпуск рубахе. Вот только брюки из итальянского, да, да, из какого-то желтоватого, не немецкого сукна, просто из одеяла: разведчики, ясно дело, надули меня, брюки из одеяла и ничего нет в них немецкого, солдатского!

— Мутер? — немец показывает на старуху. Худой деревенский парень большеротого, слабовольно улыбается (впервые я люблю эту свою дурацкую улыбку) и трогает старуху за плечо.

— Идемте, не бойтесь.

Старуха быстро поднялась на колени, смотрит невидяще, губы ее быстро-быстро шевелятся.

— Вэк, нах хауз! — немец в улыбающихся очках показывает в сторону деревни. Я помогаю женщине встать, и мы спешим уйти, уходим с нею к огородам.

Первая цепь карателей уже впереди нас, движение ее замедлилось возле сараев. Вторая цепь, пореже, нагоняет нас. Из этой к нам устремляются немец и полицейай. Полицай явно городской, наряжен в черный мундир с широкими серыми обшлагами и таким же воротником. Оба, и немец и полицай, самодовольно молодые и очень похожи физиономиями, хотя немецкая голова накрыта стальным колпаком каски, а полицейская — черной пилоткой.

Они подталкивают меня и старуху и попеременно объясняют, кто мы, почему нас надо гнать.

— Шнель, шнель, рус!

— Давай, давай! Сталинские бандиты!

Молодой немец идет так, чтобы полицией тоже был у него перед глазами.

— Швайн!..

— Бандиты!..

Это не простые ругательства.

В этих ругательных кличках все их убеждения, их объяснение того, что совершается и в чем они участвуют. Оружие поскорострельнее, идеи покорооче — одно догоняет другое!..

— Швайн... шнель... сталинские... рус... бандиты... шнель... давай... шнель! Шнель! Давай! Давай!..

Странно, что все время, пока меня гнали, пока шел к деревне, я помнил сарай и флегматичного полиция, на которого сбросил сверху гранату. Сначала висело надо мной опасение, что они обнаружат это. Потом на смену другое чувство всплыло, мне уже знакомое. Мы как-то обстреляли из редкого соснычка возле самого города немецких велосипедистов. Еще солнечно вертелось колесо над телом сшибленного мною солдата, а мы уже поднялись, чтобы убежать. Неожиданно появились немцы на машинах. Нас оглушали, преследовали близкие разрывные пули, немцы уже обходили нас, а под ногами сухой, сыпкий, как мука, песок: не бежишь, а обессиленно буксуешь на месте! И, главное, стало вдруг все равно, тупое безразличие к самому себе. То, что я недавно убил, играло в этом какую-то роль, упрощало все, и мою смерть тоже...

Первая цепь карателей уже на огородах. Вдруг зашпешили они, закричали, немецкие команды, полицейские окрики, собачий вой, женские и детские вскрики и плач, как пламя, взметнулись над деревней. Каратели заглядывают в каждую дверь, в каждую яму, щель, разваливают бабки жита, которыми заставлены огороды. И тут я снова увидел женщину в розовой кофте, про которую уже забыл. Она поднялась на колени возле забора, сама показалась, когда немец подошел к баньке и начал шарить стволом винтовки под развешенным «картофляником». Немец увидел поднимающуюся с земли женщину и направился к ней. Но второй каратель (этот не в каске и не в пилотке, на голове у него зеленая кепка с очень длинным козырьком) уверенно подошел к баньке и сбросил на землю жердь с картофельной ботвой. Дети, двое постарше, стоят на коленках, прижимаясь лицами к стене и закрыв глаза

руками, а мальчик лет трех удивленно и непонимающе, как после сна, смотрит на человека в странной кепке.

Женщина нечеловечески закричала и поползла, а потом побежала к баньке.

— Швайн! — толкнул меня автоматом молодой немец.

— Бандиты! — спохватившись, пояснил (себе и мне) полицейай и тоже меня толкнул.

Крик, человеческий плач и вой, вспыхнув в какой-то миг, катились по деревне, как пожар, и уже не прекращались весь день, до самого, до того последнего мгновения...

Нас вытолкали на деревенскую улицу—меня со старухой и женщину в розовой кофте, у которой не хватало рук, чтобы собирать, прижимать к себе малых. Так же, как в какой-то миг вспыхнули и уже не прекращались плач и крик, так с этого момента начался тот сумасшедший гон, бег. Нас вытолкали на улицу, по которой уже гнали людей, уже метались люди, и все новых и новых женщин с детьми, мужчин выдергивали из хат, со дворов, выталкивали из калиток, вышвыривали на улицу и гнали, гнали вперед, куда-то в конец деревни. С криком, хрипом, ударами прикладов, палок, с оскаливанием и бросанием овчарок куда-то проталкивали разбухающую толпу. Сначала процессия продвигалась медленно, лишь внутри ее было непрерывное, как крик и плач, движение, метание, перебегание с места на место, испуганное шараханье от собак, которых каратели раз за разом бросали с поводками на толпу, к уса я ее. Но все резче команды, окрики, удары, броски, вой и человеческий плач и все быстрее катится увеличивающаяся толпа к чему-то последнему, что поджидает в конце улицы. И чем быстрее, безумнее бег, тем ожесточеннее делают каратели, тем чаще голкают, бьют, орут, рычат.

И все обиженнее становятся красные, потные морды палачей. Просто страдание на их физиономиях, мука, обида. Ведь мы такие бестолковые и недисциплинированные, никак не хотим понять, чего они от нас добиваются, такие мы кричащие, сопротивляющиеся, не желающие верить в аусвайсы, в проверку документов, в обычность и необходимость происходящего.

Особенно к детям тянутся каратели с палками и овчарками. А когда мальчик лет десяти из-под руки ма-

тери бросился в жито, немец аж застонал от обиды и пустил овчарку. Женщина кинулась за ним, а на нее налетел другой. О, как гневен он был, как был обижен за непорядок, какая у него была страдальческая харя!

Я еще раз увидел белого старика, которого заметил прежде из сарая. Он уже успел пройти всю деревню и теперь стоял, точно дожидаясь нас, у чего-то черного, прикрепленного к стенке большого колхозного амбара. Возле этой большой, черной, не здешней, не деревенской тряпки — какого-то зловещего знака для карателей — собрали людей, которых пригнали раньше. (Только потом, припоминая все, я понял, почему так стоял возле черного полотнища, так держал голову белый старик, — он был слепой.)

В стороне от амбара толпятся немцы в офицерских фуражках, стоят машины, мотоциклы. И два станковых пулемета, нацеленные на амбар.

У распахнутых ворот нас поджидает коридор из овчарок и карателей. Спокойно, деловито стоят две шеренги людей с овчарками, словно то, что они делают, самое простое, понятное в жизни занятие. Все это (так же, как и красную противопожарную доску на стене амбара) я разглядел потом, много дней спустя, когда снова и снова перебирал все в воспаленной памяти.

А в тот момент было лишь ощущение, что нас, что меня сталкивают со смертельной кручи и я цепляюсь руками, ногами, животом, не даваясь и не желая верить, что это конец, но в то же время до ужаса ясно сознавая, что оно неотвратно совершится. Мог, мог же я вот в это самое время быть совсем не здесь! Но неужели есть еще что-то другое на земле, если здесь вот это?..

Живая, извивающаяся кишка из карателей и овчарок стала заглатывать толпу и проталкивать к черной дыре распахнутых ворот порциями по пять, по десять человек. Кто-то неразличимый среди карателей, толкающих, бьющих нас в спину, по головам, выкрикивает:

— Приготовьте документы, паспорта, метрики, школьные справки, приготовьте документы!..

Но никто никаких документов не смотрит, не спрашивает, наверное, план, сценарий страшного спектакля изменен на ходу чьим-то распоряжением и выкрикивающий исполняет уже необязательную, лишнюю роль.

— Приготовьте справки!..

Подвижная, расширяющаяся, сжимающая нас кишка из эсэсовцев и собак заглатывает все новые и новые партии людей, отрывая их от окруженной, сдавленной со всех сторон толпы, проталкивает к зияющему чреву амбара. Лица у тех, морды у тех, кто нас толкает, швыряет, бьет, кусает, разъяренные, злобно слепые и обязательно обиженные. Мы так плохо, так тупо ведем себя, не желаем понять, чего от нас хотят, требуют, мы оглушаем их таким женским криком, таким детским плачем и воем, так нелегко с нами, а надо всего лишь войти в амбар и надо приготовить паспорта и метрики!..

Двое карателей слишком отпустили собачьи поводки на высокого молодого мужчину, который особенно задерживает движение, упирается руками в косяк двери. Овчарки сначала рвали его, но дотянувшись, неожиданно вцепились в глотку друг дружке.

Мужчину уже пристрелили и оттащили к стенке амбара и еще плотнее сдавили толпу, но эсэсовскую кишку в этом месте перекутило, карателям все не удастся разорвать собак. Замкнув клыки на глотке друг дружки, они сладко замерли, раскорячив сильные ноги. Их толкут, бьют сапогами, растаскивают. А другие каратели волокут, швыряют к воротам нас...

Некрасив человек, когда его убивают! Это всегда прочитывается на обиженных лицах палачей. Как я помню и эти физиономии и мстительное чувство убиваемого: так вот вам, хари, так вот же вам! Я увертываюсь, кусаюсь, визжу как можно отвратительнее, я готов хориную вонь пустить в эти морды, на которых трепещет палаческая обида.

Поразила меня однажды фотография в Белградском партизанском музее. Наверное, и сейчас она там. К ней издали начинаешь идти, едва взглянул — как на свет. Удивительная красота человеческой улыбки! Но подходишь и вдруг видишь, что на шее у счастливо улыбающегося юноши петля! А сзади, за спиной у него, стоит фашист, изготовившийся выбить из-под ног казнимого опору. Кому он улыбается, этот юноша с белым отложным воротником вокруг чистой тонкой шеи, с таким открытым студенческим лицом? Кому такая улыбка? Назло палачам? Но ни тени вызова, презрения, никакого напряжения! Будто невеста перед глазами у него, а не его убийцы. Не будь за спиной у юноши той деловитой

фигуры в мундире, можно было бы решить, что просто на самодеятельной сцене забавляются студенты, изображают казнь по-молодому неумно и весело, как что-то невозможное, и «казнимый» видит вокруг себя улыбающиеся лица друзей. А не хари убийц...

Кому же эта человеческая улыбка? Последним людям, которых он видит? Ведь других уже не будет, лучше, желаннее. Никогда. Это все-таки последние. Нет, нет!.. Я не мог с этим согласиться. И не мог отойти от улыбающегося партизана. И наконец понял. Человек заметил глаз фотоаппарата и сквозь него посмотрел за спины убийцам — на друзей, может быть, на невесту. Он видит людей, которых оставляет жить вместо себя! Палачи сами предоставили ему эту возможность...

Мы же видели только палачей, только их, кто хотел нас загнать в амбар, чтобы удобнее было сделать из нас общий факел, побыстрее превратить в безопасные для них трупы, спокойные, дисциплинированные. И я метался вместе со всеми вдоль стенки из морд овчарок и палачей, злой, беспомощный, кусачий, грязный, готовый воню залепить их обиженные и яростные пасти и глаза!

Как-то, когда уже студентом был, увидел в книге группу людей, ~~связанных~~, опутанных змеями — Лаокоон. (Память моя все уходит от амбара, даже память долго не может там пробыть!..) Толстые жгуты змей на человеческих руках, ногах, напрягшихся в холодном ужасе, запрокинутые лица, головы... Стол, за которым я сидел, наклонился, окна перекосились, я едва донес тошноту до помойного ведра. Сокурсникам моим смешно было, что у Гайшуна такая реакция на искусство. А я просто увидел то, что уже видел один раз, но только не на репродукции. Было это в самом начале моей партизанщины. Немцы и власовцы поймали нашего разведчика, а мы потом ходили забирать его брошенное на кладбище тело. Партизан долго отстреливался от немцев из-за камней и оградок, но его все-таки захватили живьем... Руки, шея человека были обмотаны синими страшными жгутами из его же внутренностей. И в мертвом видно было, как человек сам рвал их в слепом ужасе и боли...

Толпа, стиснутая, связанная, обмотанная шеренгами-змеями солдат с овчарками, извивалась в ужасе, от-

чаянье, гнев, а в стороне застыли неправдоподобно спокойные фигуры офицеров в высоких фуражках. Я их заметил, а потом увидел снова уже из окошка амбара. У этого невозможного, холодного, пристального спокойствия был свой центр, и это был он, мой самый главный враг.

Но его, его я разглядел, выделил позже.

Когда людей все-таки позатолкали, позашвыривали в амбар и нас поглотила воющая темнота, я оказался у самой двери, ее закрыли и теперь заколачивали глухими кладбищенскими ударами. И я снова с упрямством безумного стал искать, в чем еще может быть спасение, последний шанс. Это было во мне привычно партизанское. Но я был частью и того, что кричало, рвалось, металось под высокой крышей амбара, исчерченной, изрезанной узкими полосами солнечного света. (Значит, в тот день и даже в те часы, минуты ярко и широко светило солнце!..)

Солнечные полосы, столбы света, падающего сверху, дымятся пылью. И уже детские крики во всех концах амбара:

— Мамочка, дым!

— Ой, запалили!

— Мамка, это будет больно, мамка, это будет больно?..

В этой страшной толпе мне уже видятся умоляющие глаза, личики моих сестреноч-близнецов. Все лица, все глаза детские тут такие одинаковые. И я уже ищу и боюсь узнать маму (мне начинает представляться, что это происходит в том сарае, где их жгли). Она увидит, что и я здесь, что сын ее тоже здесь...

Больше всего наружного света возле двери — из двух узких, высоко прорезанных дыр-окошек. Они притягивают к себе, тут особенно тесно. Какой-то мужчина не выдержал, подтянулся на руках, выглянул. И сразу резко оттолкнуло его голову — человек упал на нас. (Крик стоит такой, что автоматной очереди мы не услышали.) Солнечные полосы на лицах, на плечах людей сразу окрасились кровью. Липким и теплым брызнуло и мне на лоб. Но нельзя руку поднять, чтобы вытереть, так стиснуты мы.

И тут увидели, как мокро зачернели пазы меж бревен и доски ворот, резко запахло бензином.

Многорукий, многоголовый, многоголосый. Лаокоон с огромными женскими, детскими глазами ворочался, рвался в полутьме, и частью этого был я.

А где-то есть поле, тишина, звенящая кузнечиками, пустая полевая дорога, спокойно идущий куда-то человек...

Внезапно узкое окошко над нами заслонило снаружи. Нас рассматривают чьи-то глаза из-под длинного козырька. Точно кого-то ищут. Сделалось тише. Только детский плач остался, как ручейки от схлынувшего прибоя.

— Без детей — выходи, — прозвучал голос с акцентом. — Можно. Кто без детей. Сюда вот, в окно. Детей нужно оставить.

Сделалось совсем тихо, но в этой тишине сдвигался с места мир, как, наверное, незаметно сдвигалась, наклонялась ось планеты перед оледенением. Женщины первые осознали, поняли смысл сказанного. Такого человеческого стога я не слышал за весь тот страшный день. Нет, такой тишины. Люди замолчали, как бы поняв все до конца. До этой черты, минуты еще их что-то связывало: людей в заколоченном амбаре и тех, кто был за стенами. Людей и людей. А теперь не к кому было взывать. Вот уже скоро четверть века не затихает тот немой человеческий стон и над всем — недоумевающий голос:

— Сынок, нашто ж ты ботики резиновые надел! Твои ж ножки долго будут гореть!..

А кто-то уже подтянулся к освободившемуся окошку, выглянул. Его подсаживают, ему помогают. Человек стстраняет лицо, голову от света, как от невыносимого жара, — ждет автоматной очереди. Не выдержал, засучил ногами, сполз вниз. Тогда я показал, что хочу подтянуться, и меня с готовностью подняли чьи-то руки, плечи. Сначала я увидел машины и тех, кто дальше от сарая, — офицеров. Перед сараем полукольцо солдат в надвинутых на глаза касках, с автоматами наизготовку. Меня поднимают, уже не лицо мое, а колени, ноги на уровне окошка. Я просунул в дыру одну ногу, оседлал стену, подогнул голову, протиснул плечо. Увидел под собой зелень травы и солому вдоль стены. Почти вытолкнутый, свалился наземь и снова ощутил выбитое плечо. Меня схватили и отшвырнули от сарая так же

зло и резко, как перед этим зашвыривали в дверь. Толкнули еще и еще раз, и я оказался возле самых машин.

И тут я вблизи увидел его, главного своего врага. Лысый, выбритый до глянца (он один среди офицеров с непокрытой головой), в золотых очках, наблюдающий все как бы со стороны, он похож на врача или чиновника, наряженного в военное.

Возможно, я потому сразу стал глядеть на него, что на его плече вертится, заносся длинным, как у крысы, и толстым хвостом, гримасничает обезьянка с круглыми белыми пятнами вокруг глаз. Он ее ласково достает, поглаживает рукой. Глаза наши встретились: мои, его, обезьянки. Он рассматривает меня с любопытством (так мне показалось), у обезьянки взгляд бессмысленно печальный.

Возле меня оказался тот самый молодой полицей, который гнал меня к деревне. Но я узнал его не сразу, такое у него стертое, бледное, не прежнее лицо. Кажется, тут кончилось наркотическое действие коротеньких идеек насчет «сталинских бандитов». Такое, наверно, впервые видит, участвует в таком.

А в дыры окошек уже протискиваются: в одной мужчина застрял, завис, дергает ногой, не может просунуть плечо и голову; во второй дыре то появляется, то исчезает искаженное женское лицо. Потом детская головка показалась, и снова спрашивающее, не решающееся, искаженное мукой лицо женщины. Оно страшно, немо кричит. Но вот в дыре девушка, почти девочка, тоненькие ее руки, ноги вместе с головой просунулись наружу, оголенно и беззащитно крикнули. Она свалилась в солому. Но тотчас вскочила, чтобы принять ребенка, которого проталкивают, подают ей сразу четыре или больше рук. И сразу, будто произошло что-то невыносимое для них всех, протестующе вздрогнули офицерские фуражки, возмущенно колыхнулась вся шеренга солдат и овчарок. Двое или трое с автоматами бросились к девочке и стали отрывать ее от ребенка и ребенка от нее. Амбар страшно, к самому небу кричит. Только теперь меня забила дрожь, крупная, холодная. Так же дрожит и молодой полицей, который меня гнал к деревне. Но там, где стоит мой самый главный враг, снова неподвижность или плавные жесты, неторопливость которых подчеркивается бешеным метанием белоглазой обезьянки, перепрыгивающей с плеча на

плечо, выглядывающей то из-за фуражки, то из-за бритой головы. Девочку и ребенка разорвали на два кричащих тела и одно, меньшее, уже совсем раздетое, голенькое, стали запихивать в дыру. Девочку отшвырнули к машинам, она добежала до колодца, возле которого караулят меня.

Никто никогда не видел таких древних женских глаз, как у этой девочки, когда она бежала к нам, словно за помощью. Добежала, упала лицом на землю и не стала подниматься.

А тот, с обезьянкой, теперь девочку, как недавно меня, проводил любопытным взглядом, кажется, ему все было понятно. И тем, что окружали его, было все понятно. Непонимающее, человеческое выражение было на бело-черной волосатой мордочке обезьяны с вытаращенными печальными глазами.

Тех, кто выбрасывался из окошек, гнали к машинам, к колодцу, нас становилось все больше, и чем меньше людей оставалось в амбаре, тем нестерпимее, громче были их крик, вой.

Бывалился мальчик, поднялся, испуганный, к нему рванулись люди в касках, схватили. Распято держат за обе руки и смотрят на лысого офицера с обезьянкой. Он помедлил, но махнул в сторону колодца: позволил признать не ребенком. Уже старуха протискивается в дыру, долго, неловко, ужас и недоумение на черном от морщин лице...

Что-то происходит, понятное людям в фуражках, людям в касках и особенно бритоголовому. Он спокойно, изучающе смотрит на происходящее, но сам больше занят обезьянкой, ждет, когда с чужого плеча вернется к нему, поглаживает ее, подергивает за хвост.

Снова выбросили в дыру мальчика. На этот раз бритоголовый поморщился, как от неприятности, сделанной лично ему. И сразу возмущенно взвыли люди с овчарками, к ним побежал офицер. Мальчик вырывался из лоящих его солдатских рук, а его не несли, а перебрасывали назад к окошку-дыре, роняя на землю, но не выпуская. Женщина, наверное, его мать, торопится выбраться наружу, она проталкивается в дыру, а сама смотрит на мальчика: где он, что с ним? Но его уже подтащили к другому окошку и запихивают назад в амбар. Женщина хочет тоже назад, в амбар, но ее выгалкивают оттуда помогающие ей руки. Свалилась

Наземь, а мальчик уже исчез в черной дыре. Женщина вскочила на ноги, подбежала к ней, темная, огромная от ужаса и муки, ее схватили и поволокли, выстрелили... И швырнули к стенке на солому.

Бритоголовый с гримасой неудовольствия и безгласности направился к открытой легковой машине. Теперь я видел его старчески сутулую спину, по которой метался, носился, как маятник, толстый длинный хвост...

Это был знак — кончать. Молоденький офицер побежал к амбару, немцы, лежавшие за пулеметом, изготовились, шеренга карателей отступила от стен амбара. Взметнулось от соломы по стене — как крикнуло! — пламя. Оно ударило по глазам, как тогда на острове. Но я все смотрел, как из окошек выбрасывают детей и они падают прямо в горящую солому...

Иосиф Иосифович Каминский (г. Хатынь Логойского района Минской области):

— И меня погнали в тот сарай. Дочка, и сын, и жонка уже там. И людей столько. И я говорю дочке: «Почему вы не оделись?» — «Так сорвали с нас одежду,— говорит она.— С меня и доху с плеч сорвали, раздели нас...» Ну, пригонют в сарай и закроют, пригонют и закроют. Столько людей нагнали, что и не продохнуть уже, руки не поднимешь. Люди кричат, дети эти. Известное дело, столько нас, и страх такой. Сено там лежало, солома, кормили еще, держали коров. Сверху и подпалили. Запалили сверху, горит крыша, огонь на людей падает, сено, солома загорелись, душатся, задыхаются люди, так сжали, что и дышать уже нет возможности. Нет как. Я сыну говорю: «Упирайся в стену ногами и руками, упирайся!..» А тут двери раскрылись. Раскрылись двери, а люди не выходят, не выбегают. Что такое? А это стреляют там в дверях, стреляют, говорят. А крик такой, что стрельбы той, что стуку того и не слышно. Известное дело, горят люди, огонь на головы да дети — такой крик, что... Я сыну говорю: «По головам как-нибудь, по головам выбирайтесь!» Подсадил его. А сам понизу, меж ног. А на меня убитые и навалились. Навалились на меня убитые, продохнуть нельзя. Двигаю плечами — тогда я здоровше был,— стал ползти. То-олько к порогу, а крыша и обвалилась, упала, огонь на всех!.. Я еще выполз, а ко мне подбегает немец и ка-ак прикладом—зубы мои и убежали. И сын

тоже успел выбежать, ему только голову чуть-чуть об-
смалило, волосы обгорели. Отбежал метров пять — его
и положили из пулемета... Положили... А сосед наш, он
тоже выбежал из огня и на меня упал, сел, горит, как
пень, красный, и кровь на меня из него льется... Спаси,
кричит, спаси меня!.. Потом поехали немцы. Я сына
стал тащить, потянул, а уже и кишки за ним... Только
спросил еще, жива ли мама, сестра... Не дай бог нико-
му, кто на земле живет. Чтобы не видели и не слышали
горя такого!..

*Авдотья Ивановна Грицевич (д. Копацевичи
Солигорского района Минской области):*

— Спряталась на чердаке за лежаком под кучей су-
хого лыка. А лестница скрип-скрип — поднимаются.
Слышу, он уже тут, рядом, дыхательный кто-то. Ша-
ги — идет к лежаку. Открыла я глаза, а он на меня
смотрит, смотрим один на одного. А там уже другой
поднимается. Так он взял венок лыка и положил мне
на лицо, закрыл...

*Яков Сергеевич Стрынатко (д. Шалаевка
Кировского района Могилевской области):*

— В сорок втором летом это было, о партизанах еще
мало у нас слышать было. Тут, в Борках, полиция была.
И вдруг немцы окружили Борки. Кого в поле встретят,
в кустах, не забивают, а гонят перед собой в деревню.
А я как раз ехал в Борки, ячменя обещали продать. Из
Шалаевки сам, это пять километров. Черт меня погнал
как раз под это! Хотел завернуть назад, не разрешили.
Не били, что правда, то правда, только показали, чтобы
ехал в Борки. Тогда я быстрее погнал коня, завернул
во двор, знакомые у меня там жили. Они тоже видят, что
немцы со всех сторон идут, а почему, что — не знают.
Дед ругает хлопцев борковских, что по ночам к девкам
бегают в другие деревни: «Вечаринки яшчэ гэтыя, дев-
ки на уме, а немцы подумали, что к партизанам бега-
ют!» Мы с хозяином во двор вышли, грова стали пи-
лить: не так на душе, когда что-то делаешь. Хозяйка
не выдержала, хотела к соседям, а немцы не пустили:
«На хауз, матка». Никого на улице не трогали, не уби-
вали, что правда, то правда. Только домой, нах хауз,
всех отправляют. Дочку ихнюю с подругой, которые не
выдержали, пошли по улице, в чужой дом загнали.

Сидим мы в хате, смотрим в окна. Хозяин говорит жене: «Давай мы с человеком позавтракаем, да ну их!» — «Уедут, тогда и выпьете», — говорит жена. А тут скоро и застучали на дворе. Заходит с автоматом, за ним еще — и сразу отшвырнул хозяйку от порога и пересек ее из автомата, сразу. А я как отскочил сначала от стола, сел на кровать, так и сижу, только темно в очах сделалось и загудело. Хозяин из-за стола поднялся, они и его! Успел я еще увидеть, как из боковушки старика выталкивали. Тут уже по мне резанули, я отвалился на кровать. Когда очнулся, гед уже лежит мертвый у самого порога...

Анна Никитична Синица (г. Борки Кировского района Могилевской области):

— Зашли в хату и, не говоря ничего, выстрелили в маму. Перед этим мы слышали: «Пак-пак-пак!» — стреляют у соседей. Мама тогда сказала: «Курей стреляют». Даже не подумали, а на улицу боялись выйти. Кто выйдет, они просили: «Матка, нах хауз». В маму как выстрелили, она еще вбежала в нашу комнату: «Детки!» Я сразу на печь взлетела, и девки за мной. Я у стенки была, потому и осталась. Один на кровать встал, чтобы выше, и стрелял из винтовки. Раз — зарядит, и снова — бах! Сестренка была с краю и на мне еще лежали подруги, соседки наши, я слышала, как убили их. А кровь на меня льется. «Ой! Мамочка!» — а на меня кровь. Потом я слышала, как говорили, смеялись. Патефон был, так они завели, наши пластинки слушают. «Полюшко-поле...» Поиграли и пошли. Я сползла с печи, печь красная-красная, мама на полу, а в окне горит деревня, и мы горим, школа тоже. В школу они полицейские семьи собрали, так и их тоже...

Мария Фегоровна Кот (г. Большие Прусы Копыльского района Минской области):

— И как застреляли в двери, в окна, младшенькая моя: «Ой, мамочка!» Глянула я, а ей сюда попало, в переносье. Только захрапела. А другой уже шестнадцать было, моей старшей. Вот эта, на фотографии. Убили нас, а я все чую, как за печкой добивают соседей. И глаза открыла. Женщина целует ему левую руку, не дает кровать отодвинуть — там дети, а он бьет ее наглом по голове. Толкут кроватями тех детей, а они пи-

щат, господи! А другой увидел, что я смотрю, погбежал и — трах, трах, трах! Я как сейчас вижу синий наган, синий-синий, и огнем меня по лицу, по лицу. Оттянул меня за ноги от моих детей. А я все живая. Слышу, опять ходят. Думаю, гэта ж опять немцы. А гэта сын мой, Жора, в крови, ничего не видит, к порогу идет. «Сынок!» А он: «Я думал, мама, вас нет уже, хотел идти, пускай убьют меня...» — «Ложись, сынок, на место то самое, может, оно счастливое!» Не знаю, или слышали там или что, но один забегает: «Вставай!» Постоял. Потом под печь гранату бросил. А уже дым, уже палят глинобитку, облили чем-то: Потолок горит над головой. Не забыли они нас, так еще горше — стоим живьем. Вскочила я, кровать у окна стояла, раму выбила, зову Жору: «Помоги вынести их». Подняла старшенькую, так оно такое молодое, мя-яккое!.. Не могу, тяжелая, и руки мои омертвели, а не хочу, чтобы еще и сгорели они. Как-то втащила их на кровать, на окно, сами вывалились с Жорой, в яму от картошки затащили. А деревня вся горит, людей тащат, кого откуда, пищат, кричат, а немцы по огородам ходят, свистят, а тут свиньи чавкают над обгоревшими хозяевами своими... Ближе они, все ближе свистят, чавкают, уже жалею, что не убили нас там, найдут, будут мучить опять, а мы тоже будем кричать, пищать...

Татьяна Федоровна Кравчонок (г. Брицаловичи Осиповичского района Могилевской области):

— После Сталинграда это было. Я это помню, потому что брат из леса приходил, радовался. И сказал, что немцы злые теперь будут. А назавтра и командир какой-то приезжал, советовал, чуть услышим немцев, в лес прятаться. Но потом попросил овец дать, тут некоторые и решили: а, вот почему пугал! Знали мы про это и сами, но это же зима, мороз, а тут дети... Тяжело увесь час в лесу. Нас и захватили в деревне. Приказали к школе собраться, документы, аусвайсы проверять. Заперли нас, ни воды детям, ни выйти. Взяли человек сколько в подводы: в лес, в пустой лагерь партизанский кто-то повел немцев. Вернулись еще злее, возчиков избитых к нам бросили. Они в том лагере подорвались. Сначала в партизанскую землянку послали наших, деревенских. Те вошли, постояли, ни до чего не дотраги-

вались. Ни до гитары, ни до шинели. А потом немцы вошли, четверо, и тронули. Их и закинуло аж на сосну.

Стали они нас гнать. Из школы в сарай колхозный. Сначала партиями гнали, а потом семьями. Меня последнюю, я последняя была. И четверо детей моих со мной. Моего старшего так на самом пороге положили. Упала я на убитых, и детки со мной. Вот сюда, в шею мне попало. Только слышала, как немец сел на мои ноги и стреляет из этого... автомата... Дым, чад такой, невозможно. А когда поднялась, посмотрела на всех, то гдую: «Это все будут подниматься, вставать или это я одна?»

Матвей Рудович (д. Доры Воложинского района Минской области):

— Сказали всем идти в церковь и помолиться богу, и нас пустят домой. В церкви немец подошел ко мне: «Отдай киндера матке», — а меня за воротник и вытолкал вон! Вытолкал. Если детей оставляешь, пуцали! Пуцали! Женщин, матерок тоже, но не каждая мати так может сделать. Ну, моя жонка не кинула, не кинула... Не знаю... Но кто-то должен и в живых остаться, раз так, правда или нет? А моя не захотела, осталась с малым. Немцы церковь погналили, мы все, которые на улице, слышали, как люди там летают. Из пулеметов всех перерезали — огонь только...

Надежда Алексеевна Неглюй (из бывшей деревни Левищи Слуцкого района Минской области):

— Несколько раз они приезжали, но мы в лесу прятались. Тогда они приехали и остались. Никого не трогают, ничего, свое едят, а самый ихний главный с учительки сыном в шахматы играет. На плече у эсэса обезьянка в штанишках, живая. Правда! Живая такая малпочка. Ну и стали некоторые домой приходить. Не держат и назад тоже отпускают. А мороз, а одежда известно какая до войны у людей, ну и потянулись по домам. А они вечером посчитали, сколько окон светится, и — раз — уже никого не выпускают из деревни!..

Сначала скот весь собрали на выгон, за вёску. И мужчин, которые здоровше. Я мужа своего отправила, не хотел. плакал. все мы плакали. вговорила. бо нашто.

каб усе разам. А детки все спрашивают: «Нас будут убивать, мамка?» О, боже!.. Выскочу на двор и назад бегу, а то убьют, а они огни там. Зашел немец, смотрит, будто считает. Показал мне идти за ним в хлев. Я не пошла. Он ничего, вышел. И тут же вбежал другой и прямо ко мне. Очнулась, все детки тут же лежат мертвенькие, горит потолок надо мной, а я зачем-то чугуны хватаю и выношу, зачем-то чугуны выношу...

Мария Александровна Лихван (г. Борки Малоритского района Брестской области):

— С восемнадцати до сорока всем мужчинам выйти!

С восемнадцати до сорока... Так муж мой как держал девочку, опустил, поцеловал и вышел. А немец взял кривзу¹—так много тех мужчин навыводил, в три ряда поставил: и старших, и которые моложе, и совсем молодых — а потом взял кривзу, и во так кривою, такую жердью, на ней копы носят, мужчин поровнял, чтобы они уже так ровненько стояли. Поровнял их, а мы уже так плачем, плачем! И дети плачут. Нигде ниточки в платках не было сухенькой.

И гонит, гонит их на дорогу ту трактовую. Тех мужчин гонит. И те немцы, что гонят, то уже — чекушку из кармана: хлебнул, хлебнул и вот так в плащ закутываются. И погнали их.

А наш солтыс в ту, в легковую сел и куда-то в сторону отъехал и слез. И так по хатам все бегаёт, по хатам бегаёт и тех лопат насобирал. Ещё люди не знали, думали, что может облаву делать на партизан или ещё что. Ничего не знали.. А как лопат насобирал, то говорим: «Уже на нашу голову насобирал, на нашу голову». И поехал в ту сторону — на кладбище...

И загнали одну пачку, пришли снова брать, снова набрали тех мужчин... Забыла, три или четыре раза... Загнали и заставили там ямы копать. Давай ямы копать. Для нас всех... И даже не очень далеко... Стали убивать наши Борки...

¹ Кривза — жердь для переноски копен сена (слово заимствовано из литовского языка).

ОТЧЕТ (7)

Уничтожение деревни Борки¹ с 22.IX по 23.IX 1942 г.
«22.9.42. Рота получила задание уничтожить деревню Борки, расположенную в 7 км от Мокран.

В ночные часы того же дня взводы роты были проинструктированы о предстоящем задании. Были сделаны соответствующие приготовления.

Число автомашин было достаточным, чтобы 22.IX погрузить и отправить к месту сбора в Мокраны все взводы и приданный взвод 9 роты Переезд прошел без происшествий.

Необходимые для предстоящих действий телеги были заготовлены заблаговременно, так что в указанное время они достигли цели марша Борки. При отборе телег были выявлены несколько строптивых крестьян, рота потребовала их наказания.

Действия протекали планомерно, но все же иногда были сдвинуты во времени. На это были следующие причины: на карте деревня Борки показана замкнутой группой домов. В действительности оказалось, что это селение имеет протяжение в 6—7 км в длину и ширину. Когда рассвело, то я обратил внимание на этот факт и поэтому расширил окружение с востока и охватил деревню клещами при одновременном увеличении дистанции между постами. Этим самым мне удалось охватить всех жителей деревни без исключения и доставить их к месту сбора. Благоприятным оказалось то, что цель сбора была до последнего момента скрыта от населения. На месте сбора царил покойствие, число контрольных постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы введены в действие. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела, благодаря этому население оставалось в неведении о предстоящем. Незаметно установленные легкие пулеметы подавили с самого начала начавшуюся было панику, когда прозвучали первые выстрелы с места казни, расположенного в 700 метрах от села. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов они упали, пораженные пулеметным огнем. Экзекуция началась в 9.00 часов и закончилась в 18.00. Экзекуция

¹ Брестская область, Малоритский район.

протекала без всяких происшествий. Подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными.

Конфискация зерна и инвентаря происходила, если не считать сдвига во времени, планомерно. Число телег оказалось достаточным, так как количество зерна было невелико и место, куда складывалось необмолоченное зерно, — недалеко.

Домашняя утварь и сельскохозяйственный инвентарь были увезены с подводами и хлебом.

Привожу численный итог расстрелов. Расстреляно 705 лиц, из них мужчин — 203, женщин — 372, детей — 130.

Число собранного скота может быть определено лишь примерно, так как на месте пригона учета не производилось: лошадей — 45, рогатого скота — 250, телят — 65, свиней и поросят — 450 и овец — 300.

Из инвентаря было собрано: 70 телег, 200 плугов и борон, 5 веялок, 25 соломорезок и прочий мелкий инвентарь.

Все конфискованное зерно, инвентарь и скот были переданы управителю государственного поместья Мокраны.

При действиях в Борках было израсходовано: винтовочных патронов 786, патронов для автоматов 2496 штук.

Потерь в роте не было. Один вахмистр с подозрением на желтуху был отправлен в госпиталь в Брест.

М ю л л е р»

Подписано: обер-лейтенант, и. о. командира роты¹.

...Нас толкают, теснят куда-то от колодца, сзади, возле амбара, гулко бьют пулеметы, но даже они не заглушают человеческого крика.

Что-то делается со мной, я все гянусь бессмысленно и яростно к открытой машине, где застыли старческая спина и гладкая, бритая голова моего врага, возле которой все мечется, гримасничая и дразнясь, белоглазая образина с толстым и как у крысы длинным и голым хвостом. Полицай меня отталкивает, но он и сам как во сне. Я уже почти добрался до машины, когда она внезапно вздрогнула и сорвалась с места. Что я хотел

¹ ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 148, ед. хр. 1 л., 225—227.

делать, да и что я мог сделать, не знаю. Может быть, меня тащила к нему нестерпимая потребность взглянуть и мстительно запомнить. И увидеть, что закрывает своим хвостатым задом не то пряча, не то зовя посмотреть, мечущаяся обезьяна.

По какому-то чувству это в моей памяти сдваивается с тем, как в Луврском подвале, рассматривая средневековые романские надгробья, я заглядывал в лица старух монашек, несущих мертвого рыцаря. (Я все ездил, все смотрел, точно про запас, точно знал, что скоро останусь один на один с темнотой.) Рыцарь каменно вытянулся вдоль своего длинного меча с рукояткой-крестом, ступнями ног он попирает льва, покорно маленького, а черные старухи по-живому согнуты под тяжестью его тела, и лица их спрятаны в глубоких раструбах капюшонов. Нестерпимо тянет наклониться и заглянуть под черные капюшоны, все кажется, что там беззвучные довольные гримасы смеха!

Я не знаю, что увозила, закрывая, пряча, сутулая спина моего врага, покорно склоненная под пляшущей обезьянкой. какая гримаса была на его лице. Все та же: жестокое, изучающее любопытство? Уверенность очередного победителя, что так всегда останется: «они» — под нами, «мы» — над ними? И самая коротенькая, но и живучая в истории наркотическая идея, что сила — это и есть право, цель, справедливость.

И, конечно же, гримаса людоедского презрения к некультурности жертвы, лик которой искажен нечеловеческой мукой!

Думаю только, что он уезжал от пылающего, воющего амбара без мысли, что уже сегодня все внезапно переменится. И солнце еще не зайдет, как все ему покажется другим. И будет другим.

— ...Флориан Петрович, я вот слушаю вас всегда... И вот думаю, как люди оклеветали животных! «Животные инстинкты», то да се... Хорошо бы именно животные! Я в этом году месяц прожил в Беловежской пуще. Как просто, я бы сказал, моральными средствами зубр и даже дикий кабан утверждает главенство над собратьями. Ведь самый кровожадный зверь редко когда загрызет насмерть себе подобного. Во всяком случае, борьба с представителями собственного вида у них не носит уничтожающего характера. Это и есть ин-

стинкт самый животный — сохранения вида! Вот говорят, и им не надоест одно и то же! (Бокий постучал ладонью по липкой чмокающей коже портфеля.) Мол, природа повинна в том, что агрессивен, жесток человек к себе подобному. Если и повинна в чем мать-природа, так лишь в том, что слишком далеко отпустила его от себя. И он слишком вышел из сферы притяжения природы — почти утратил основной инстинкт, да тот самый животный инстинкт сохранения вида!

— Вот-вот, коллега! А дальше начинается «вторая природа» — культура. И весь вопрос, какая она. Насколько гуманная, насколько человеческая и человеческая. Ну, а фашизм — это клевета и на природу человеческую и на культуру его. Самая злая в истории клевета!

— А сама история? Тоже клевета? Войны, инквизиции, крестовые походы, Варфоломеевские и всякие другие «ночи», вонючие «розы», бесчисленные тамерланы и богдыханы, украшающие планету монументами из миллионов человеческих черепов?!

— И все-таки фашизм — это клевета на человека. Даже доисторический наш пращур в звериной шкуре, даже он не заслуживает такого оскорбления — быть предком фашиста. Нет, вы хорошенько представьте его себе, нашего бедного пращура: без клыков и быстрых ног и совсем не сильный среди зверюг, облысевший всем телом от потных усилий выжить! Единственное смертное существо, такое одинокое в мире, потому что никто больше не знает, что есть смерть! Хорошо если от зверя единоплеменник умер, на охоте погиб. А если без причины, то есть от болезни? Как было не приходиться в ужас, не объяснять это колдовством соседей? Животное чувство бессмертия сталкивалось с человеческим опытом, осознанием, что смерть может наступить. Настигнуть бессмертного? Не иначе как колдовство! Умер «наш» — ищи соседа «колдуна» и убей! И не месть это даже, а профилактика — тогдашняя медицина. Он не свиреп, он трогателен, этот наш пращур, в своей детской беспомощности перед клыкастым и непонятным миром...

— Ну вот, пожалуйста, уже тогда человеческое сознание разошлось, как ножницы, с инстинктом сохранения вида. Сознание ограничило этот инстинкт, сузило до масштаба племени: другое племя — уже не «мы»,

можешь убить, можешь сожрать! Ну, а раз чужого «колдуна» можно убить, почему же, если до него далеко, не поискать его у себя, среди единоплеменников? Так даже быстрее и удобнее. «Ищи колдуна!» — разве не этим простеньким способом, Флориан Петрович, действовали манипуляторы всех времен и народов? И срабатывает, заметьте, безотказно. «Мы» — арийцы, «мы» — белые, у «нас» самый-самый, «мы», «мы», «мы»!..

— Да, но без «мы» нет и сопротивления всему этому. «Мы» — революция. «Мы» — люди труда! «Мы» — человечество! Я про такое «мы», что питает и повышает человеческую способность осознавать, ощущать чужие страдания, боль как свои собственные. И даже острее, чем свои. Что и говорить, после всего, что плыло по реке истории, низовья загажены изрядно, чем только не занавожено русло. И все же исток всегда чист. Но надо, чтобы как можно больше людей осознали наконец смертельную угрозу загрязнения не одной лишь природной среды, но и человеческих душ. Конечно, привычнее спускать ядовитую грязь в реки и озера. Быстро и дешево! И еще привычнее иметь не граждан, не людей, а налитых фанатической бурдой крестоносцев, штурмовиков, хунвэйбинов, суперменов. Быстро, кратчайшим путем, дешево с их помощью решаются дела государственные и всякие иные. Так некоторым кажется. Да только очень дорого сегодня, завтра это может обойтись всему человечеству, планете. Придется осознать и это, если мир не хочет погибнуть. Как там у поэта: «Осторожно, человечество! Слово «ненависть» включено!»

— Хо, если не хочет погибнуть! Чего захотели! Да у вашего мира глаз, как у курицы: видит только отдельно взятое зерно, которое поближе. И вообще вы слишком рассчитываете на мое долготерпение. Это при нынешней-то бомбе?! Не опоздайте, Флориан Петрович!

...Горело и выло, как в раскаленной трубе. Нас гнали по улице пылающей деревни, а мы гнали коров. Ради этой, очевидно, работы нам разрешили спастись, вылезти из амбара: живите пока! Или тому с обезьянкой захотелось посмотреть, как люди ползут в оставленную им щель?

Палок нам не дали, мы ладонями, кулаками бьем коров по бокам, по костям, хватаем за рога. Проталкиваем ошалевшую скотину сквозь огненный коридор. А за нами идут каратели с палками и прикладами. Некоторые из них в странной, незнакомой одежде: желто-зеленые мундиры, а на головах круглые зеленые кепки с очень длинными козырьками. Орут на нас и на скотину не по-немецки, хотя тоже непонятно.

Теперь и я пойду по той проклятой гравийке, на нее мы выходим. Пылающая деревня немо и страшно шевелится у нас за спиной, как что-то живое, в сером широком мешке дыма.

Я жадно смотрю на лес впереди — там это случится. Даже странно, что немцы и эти, под длинными козырьками, все такие же уверенные, злые, орущие, озабоченные тем, чтобы не отстала какая-нибудь корова и не свалилась с телеги крестьянская борона, плуг, мешок с зерном, этим озабочены, а не тем, что в том лесу они умрут, захлебнутся собственной кровью! Я так хорошо вижу то, что делается сейчас в лесу: как бегут люди к гравийке, как устанавливают пулеметы и смотряг из-за пней и деревьев на лесную поляну, на которую выедут немецкие машины, обоз, выйдут каратели. Немцы все не рассаживаются по машинам, каждая группа, команда идет за своей машиной растянутым строем. Это плохо. Но, значит, боитесь, знаете, что так это не сойдет вам, знаете! Я все оглядываюсь, смотрю, где теперь легковая машина с моим главным врагом. Я так это вижу, все, что сейчас произойдет! Даже глаза их вижу, партизан. И я умоляю их, я требую, чтобы они были, чтобы появились. После всего, что случилось, они не имеют права не быть, они обязаны быть! Я прячу глаза от полицаяев, чтобы не выдать того, что знаю, бегаю больше всех за коровами, поднял стебель от срубленного подсолнечника и гоню коров на дорогу, громко кричу, ору на них. За мной бегают мальчонка, которого женские руки вытолкали в окошко и которого не убили. Я ему сказал: «Держись меня!» — и он послушно следует за мной, а сам все оглядывается на огромный серый, по-живому шевелящийся дымовой мешок над деревней. С нами еще и девочка, которая так подхватила ребенка из амбара и так долго не отдавала. По бледному строгому лицу ее все текут слезы, она никого и ничего не замечает и только плачет, бре-

дя среди стада коров. И старуха здесь, та самая, с которой я шел от сарая к деревне. Она все подносит корту черные, высохшие руки, одну, другую по очереди, не то кусая их, не то стараясь удержать от дрожи сморщенные губы.

У мужчин, мужиков, выпущенных, спасшихся (их не больше пяти-шести), в глазах, в движениях бессмысленная торопливость и какое-то общее непонимание: зачем они, куда они, как оказались здесь?..

Каратели вдруг забеспокоились, зазвучали немецкие команды, от машин бегут к нам. Я даже испугался, что догадались, узнали то, что известно мне. Но саму их тревогу, беспокойство видеть хочется: ага, боитесь, значит это правда будет!

Теперь немцы тоже помогают нам и полициям собирать стадо на дорогу. Мин опасаются, решили коровьими ногами дорогу проверять? Я незаметно оглядываюсь, ищу глазами, где там открытая легковушка.

Наконец на ходу перестроились, как хотелось немцам: впереди стадо коров, потом мы, погонщики, за нами полицаи и те, с длинными козырьками, а уже за ними немцы — пешие, потом на машинах, обоз. Полицаи все оглядываются на немцев, как на хозяина собака, почуявшая медведя. А, бобики! Сейчас вам, сейчас!.. Лес уже совсем рядом. Снова увидел молодого полицаю, который так сердито гнал меня и старуху к деревне. Я вдруг прикрикнул на него:

— Чего отстаешь, давай! Шнель!

Удивился он до испуга. Как если бы дерево на него гаркнуло или мертвый. Здесь, вблизи леса, мы незаметно меняем места, хотя винтовка все еще в руках у него. Винтовка, кажется, французская, длинная, как грабли, неудобная. Лучше бы автомат. У полицаю только сапоги хорошие: не жесткие и короткие, как у немцев, а наши, армейские...

Нас снова бегом догоняют немцы. Полицаи сразу посмелели, приободрились.

Но я-то вижу, я уже разговариваю с теми, которые их поджидают, которые впереди — минут на десять, на двадцать впереди...

Дорога сузилась, зажата с обеих сторон лесом, глубокие канавы по обе стороны забиты ольшаником. Коровы, надышавшиеся дымом, кровью, все сбиваются в

кучу, мычат, нюхают землю, бодаются. Немцы, присланные на помощь полицаям, решили, кажется, прятаться от партизанских пуль внутри стада, за коровьими спинами, боками. И их теперь крутит, носит этот мычащий, бодающийся коровий водоворот. Нас всех он засосал, сталкивает друг с другом и тут же растаскивает. Даже весело делается от такой нелепой беспомощности. Одному немцу мое лицо показалось усмевающимся, обидным.

— Бандит? — спрашивает он. Немец очень низенький, даже горшок-каска не придает ему роста. — Партизан?

— Швайн? — помог ему полицай. В этом коровьем водовороте и от страха они, кажется, не заметили, как поменялись языками, головами, своими коротенькими идейками.

— Никс! — кричу я, уносимый в сторону. — Я есть шулер. Бандиты там. (Я показываю на близкий ольшаник.) Мы есть бауэр. Ну, ты, падла, пошла!.. Шуле, бауэрколлектив!..

Я сам вижу свое лицо, торжествующе-злорадное, знаю, что перебарщиваю, и не могу удержаться. Издали, из-за пьяно опущенных коровьих голов глаза наши, мои и низенького немца, встретились, сцепились. Он пытается пробиться ко мне, я знаю, что он готов выстрелить, если бы не боялся поднять тревогу, мне бы отвести глаза, но я ничего не могу с собой поделать. Теперь, куда бы меня ни относило, я чувствую злого коротышку. Он, стуча автоматом по коровьим рогам, все пробивается ко мне поближе, а я ухожу от него по мычащему, бодающемуся кругу. Броситься в лес? Или дожидаться первого выстрела, паники? Даже странно, до чего я уверен, что засада ждет, точно и в самом деле вижу ее. И совсем не думаю про то, что пули разбиться не будут, кто какой и чей. Но для меня мало, чтобы это случилось, мне надо быть при этом, в этом — только так и может завершиться этот день, а иначе оно и не окончится для меня никогда...

Что такое? Лес кончается? Будто саму землю из-под меня выдернули. А злой коротышка под горшком-каскакой уже вырвался из стада, уже отступил на поляну, заходит сбоку, ищет меня глазами. Нет, это всего лишь большая поляна, с одной стороны переходящая в поле, а впереди снова лес.

Тот самый, где дожидаются, откуда ударят! Коротышка снова втискивается в стадо, все-таки неудобно, зябко ему там, на открытом. Зато я теперь могу выбраться наружу, идти сбоку, зная, что он ко мне не выйдет.

Стадо ошалевших, одичавших от дыма и запаха крови коров, как речной водоворот, несущее на себе плечи; головы, каски, пилотки немцев и полицаев, уже вытолкалось на поляну, уже расползается по ней. Я и несколько мужчин из Переходов да полицаи палками, окриками гоним коров к дороге, снова к лесу. Уже и машины показались, движутся по поляне, я вижу открытую легковушку и даже скачущую там обезьяну...

Я знаю, помню, как видится из засады вот такая колонна (дважды сам лежал в засаде), и теперь смотрю на поляну как бы вдоль ствола винтовки, ловлю мушкой, веду на себя бритую голову, над которой носится обезьянка. (Я все оглядываюсь на легковую машину, даже забываю следить, где сейчас опасный коротышка.)

Машины и немцы уже на поляне, стадо и дозорные полицаи совсем близко к узкой пасти дожидающейся нас лесной дороги — сейчас, сейчас! Я подзвал к себе пацана из Переходов, держу его за плечо, чтобы вовремя толкнуть на землю... Я не иду дальше, пропускаю мимо себя стадо и дожидаюсь легковушку, чтобы быть поближе к ней, когда начнется. Поторапливаю палкой коров, готов и карателей и машины подгонять: быстрее, быстрее, сейчас, сейчас!..

— Сразу падай! — радостно дрожа, шепчу я ничего не понимающему, но тоже дрожащему пацану. — Где та девочка, надо ее сюда.

Но ничего не случилось. Мычащее, бодающееся стадо внесло на себе дозорных полицаев, немцев в лес, углубилось, втягивается, и ничего не произошло. Лесная тишина не проломилась с громом, не раскрылась гулкой бездной под ногами карателей.

Нет, случилось! Самое страшное случилось! Никто не бежал, не спешил сюда, когда под амбарную стену в горящую солому падали из рук матерей дети и обезумевшие руки эти тянулись, кричали, молили, звали... Как я презирал, как ненавидел себя за то, что никого нет, никто не бежал, не прибежал хотя бы сейчас, что-

бы стереть с лица земли этих, этих, этих!.. Я луплю палкой по спинам ни в чем не повинных коров, гоню их к дороге, что-то ругательное кричу самому себе, совсем не думая уже и про злого коротышку, который, наверное, снова подстерегает меня...

— Ага, ага вам!

Мстительно, оглушающе взвыли вдруг пулеметы — не впереди, а позади колонны. Огненные взвизги пуль густо, широко прошивают поляну. Там, где машины, уже бухает, горит, а над лесом (или это во мне?) кричит, хохочет, плачет от злого, мстительного счастья широкое, как целый мир, эхо. Ага, ага вам! Вот вам, вот вам! Я наталкиваюсь на бока, на рога, на морды, на коров, на карателей, которым неповоротливые коровы мешают залечь и стрелять. Я вижу, как убегают в лес полицаи. Где же мой пацан и та строгая плачущая девочка из Переходов?.. И где легковушка?

И тут я увидел ее, мчащуюся прямо ко мне, испуганно подскакивающую на кочках и рытвинах легковушку. Не понимая еще, что я могу, что собираюсь сделать, я бросился ей навстречу. Еще успел разглядеть трясущуюся, как бы отрывающуюся, как бы кукольную темно-глянцевую голову своего врага, расширенные на все стекла золотых очков глаза и ужас на белой мордочке обезьяны. Машина почти налетела на взрыв...

И я тоже. Лес, как крылья огромной птицы, оглушительным черным взмахом переломился над дорогой, над горящими машинами и унес с собой все. В целом мире осталось очень простое и очень спокойное удивление: «Это смерть? Это и есть смерть?»

...Возвращение, свет я ощутил вначале как резкую боль в глазах. Я лежу, погруженный в ровную свистящую тишину, а на лицо мне падают капли, твердые, холодные. И желтые. Я их вижу, желтые. Нет, это березы надо мной, спокойные, мокрые, осенние. И какие-то люди рядом. Глаза мои налиты болью, слезой... Я лежу не на земле, а на чем-то высоком. Белое что-то, да, это лошадь. Я на телеге. И какие-то люди. Больно скошенные глаза мои поймали широкое человеческое лицо, мужское, плывущее в радуге, а рядом женское, смеющееся. Как давно я этого не видел, смеющегося челове-

ческого лица. И как это странно — слышать тихие разговаривающие голоса...

— А все-таки предала ты меня, Наташа.

— Это почему же?

— Если бы я знал, почему.

— Слишком мало всем вам от меня надо. Вот так, Алеша.

— Да я...

— Постой!.. Ой, мальчик, свалишься!

А я уже свалился, на земле лежу. Так легко поднялся с телеги, словно взлетел, а вот стоять на ногах не могу! Ноги как тряпичные. И что-то с глазами.

— Ой, как тебя! — совсем близко плывет, то появляясь, то исчезая в радуге, женское лицо. Мне помогают подняться. Нет, ничего, ноги твердеют, только очень дрожат.

— Дай я промою. Поддай, Алеша, сумку. Сумку! А руки убери. Я не убегаю, Алешенька. Ничего, миленький, целенькие глаза, немножко ударило, засыпало. Ты из деревни этой? Твои ушли, назад побежали в деревню. Как же они не сказали, забыли про тебя?

— Нет... да... Немцев побили? Там был такой в очках, главный, с обезьяной.

— Кого побили, а кто вырвался. И взяли каких-то. Целую кучу взяли живьем. Обожди, не дергайся! Больно?

Женские руки трогают мои глаза чем-то пахнущим, аптечным, приятно холодным.

— Потерпи. Пока жениться...

— Где они? Такой в очках, с обезьяной!

— Да обожди! Куда ты? На вот прикладывай...

Отталкивая налетающие на меня деревья, я бегу по лесу, затем по лесной просеке, заставленной возами, на которых сидят и лежат раненые партизаны, навалено оружие, немецкие одеяла.

— Где они? Где живые? — спрашиваю у партизан: как бы продолжается мой прерванный взрывом бег к испуганно мчащейся легковушке.

— Немцы? Там они.

— Малпу¹ хочешь посмотреть?

Снова радуга плывет перед глазами, их снова заливает слеза, потерял тряпочку и теперь срываю шерша-

¹ Малпа — обезьяна (белорус.).

вые, мокрые, прохладные листья орешника, пытаюсь ими стереть боль.

Вот они, немцы! Сбитой кучкой, в таких нелепых здесь касках сидят на земле прямо на просеке, а над ними стоят партизаны — большая толпа. Я сразу заметил злого коротышку. Только совсем он не злой. Какой он злой, он самый добрый, тихий, самый смиренный на земле человек! И ростом он такой маленький. И мундир на нем такой не свой, такой мешковатый. И каску на голову ему кто-то надел, как горшок, как для издевки...

С пучком ореховых листьев в кулаке я бросился к нему, к ним и, как камни, высыпал на коротышку их же слова:

— Рус, швайн, бандиты, цурюк, люс!.. Ах вы!..

Никто не понял. Партизаны на меня смотрят с удивлением. А коротышка явно не помнит, что это его слова, что совсем недавно они выражали все, что он думал, что делал. Из-под каски-горшка на меня глядит с непониманием и ужасом совсем не тот, совсем другой человек.

— Это они, они! — закричал я, испугавшись, что этим их удивленно-скорбным и смиренным глазам, лицам уже поверили. — Они! — кричу я и стираю грязными руками плывущую радугу, боль, мешающую мне.

Наконец я разглядел и его. На него все смотрят. Нет, не на него, а на обезьянку, которая на нем. Молодой партизан — «веселун» (в каждом отряде, в каждом взводе есть такая добровольная должность), обвешанный ремнями и оружием, делает вид, что хочет взять обезьянку, трогает ее за хвост. Метание, взвизгивание — испуг на обезьяньей физиономии совершенно детский.

— Не дается, зараза! — довольный, смеется партизан, и другие тоже улыбаются. А врага моего вроде и не замечают, будто он и впрямь всего лишь подставка под обезьяной. Та же обритая голова, только грязная и потная, те же большие уши, тот же мундир, только золотых очков нет. И нет прежних глаз, взгляда, нет прежнего лица. Лицо, взгляд другого существа, совсем другого. Наклоняет голову, чтобы обезьянка не могла прятаться за нее от руки «веселуна»-партизана и чтобы самому снизу посмотреть, хорошо ли он держит, нравится ли партизанам. Глаза без очков слепые, беспокойные и, как у новорожденного, бессмысленные. Ужас

в глазах, на физиономии обезьянки. На его же лице идиотски смиренная, дисциплинированная, скорбно-услужливая старательность, кричащая всем и вопреки всему: «Это я и есть, вот этот, этот, что хотите со мной делайте, вы имеете право, вы сами решите, но вот этот тихий, улыбающийся, покорный старик — это я, он — это я, вот этот — это я!»

Они с обезьянкой точно местами, ролями поменялись: не она при нем, а он при ней. На нем так и написано: «Я хорошо держу? Всем видно? Или вот так лучше? Или как еще надо держать?»

— Это он! — говорю я, уже не кричу, а говорю, моего крика будто не слышат, не понимают: — Главный ихний. Это он там, в Переходах...

Как-то странно оглядывают меня партизаны, отстраненно и даже удивленно. Точно и впрямь не понимают смысла моих слов.

Потом-то и я ощутил, увидел, что собственной ненависти можно бояться, как закаменевшей в тебе боли: человек начинает оттягивать, удерживать ее, зажимать в себе, ожидая и боясь мгновения, когда уже ее будет не удержать.

Но сначала я, как на стену, налетел на эту глухоту, на недоумевающие, неохотные взгляды.

Нет, я знал, что карателей убьют, так же как знали это партизаны и сами каратели. Меня испугало, что им позволят умереть, уйти вот такими — добренькими, удивленно-скорбными, смиренными, как бы переложившими что-то на нас. Точно подставили нам кого-то вместо себя! Нет, расплатиться должны те, именно те!..

Из одиннадцати пленных карателей только двое или трое с закоревшими от крови волосами и лицами, остальные даже не ранены. И среди них четверо не в касках, а в фуражках, кепках с длинными-длинными козырьками. Эти, под длинными козырьками, сидят, хотя и вплотную к немцам, но всем видом своим показывают, что они тут сами по себе и их нельзя смешивать с остальными. Особенно неодобрительно и даже презрительно на соседей немцев посматривает самый длинный изо всех, с шеей, изломанной громадным кадыком.

— Молодой человек правильно сказал, — внезапно произносит он, ловя взглядом мои глаза, — он сказал

правду. Это немецкий командир всей команды. Он давал приказ. Он делал отчет в Берлин, как правильно делать экзекуцию, как лучше выполнять боевую задачу...

И повернулся в сторону моего врага, и трое соседей его тоже повернулись. Немцы, не понимая, о чем говорит кадыкастый, с тревогой смотрят, сжались. А бритый даже обезьянку попрिдержал, как бы схватился за нее!

Но не этот ли голос (такой же пронзительный, тонкий, с акцентом) выкрикивал возле амбара: «Приготовьте документы, аусвайсы, паспорта!»?

— Э, да ты по-русски шпехаешь! — удивился партизан-«веселун» и, забыв про обезьянку, повернулся к кадыкастому. — Ну как, хорошо мы вас по затылку? Что ж вы ходите и не оглядываетесь? Чай, не дома.

— О да, хорошо! Немцы идут, как на шпацир, а вы их здорово!

— А ты сам кто?

— Мы не немцы! — Кадыкастый даже обиделся.

Тут я увидел Косача. В военной фуражке и в своей опушенной мехом зеленой венгерке, держа автомат под локтем, идет по просеке, а с ним наши, наш отряд! Такие же партизаны, как и другие, как и эти, что вокруг меня. Такие же для постороннего. Для меня же особенные: это приближается, это возвращается мой мир, без которого и меня уже нет всего. Я сорвался с места, готовый бежать навстречу: увидеть всех, окунуть себя, вернуть себя в тот мир, где было все так прочно, надежно!.. Но впереди отряда по узкой заросшей просеке идет Косач. И хотя мне надо именно Косачу сказать очень важное для него, для нас обоих важное, я удержал себя. Набежать на Косача, налететь, неизвестно откуда появившись, на его неузнающе-иронический строгий взгляд?.. Я этого так боюсь сейчас, после всего, что со мной было. Во мне и так все дрожит онемевшей от напряжения струной. Я вернулся в толпу.

А Косач, разговаривая с усатым партизаном командирского вида, остановился шагах в ста от нас. И отряд остановился. Нет, не все. Обходят, обтекают Косача, по двое, по трое быстро идут сюда. Им навстречу откуда-то выскочила, побежала девочка, которая со мной шла из

Переходов и все плакала с той минуты, как возле амбара из ее тоненьких рук вырвали ребеночка.

Девочка добежала, схватила за руку, за локоть большого, тяжелого и решительно идущего партизана в негнущемся брезентовом плаще, и я узнал этого партизана — Переход. Это снова вернуло меня к тем, что сидели у наших ног, — к карателям.

— Гэ, соседи наши! — воскликнул партизан, не устающий вести свою добровольную роль весельчака, веселуна. — Ну, что высидели на той дороге? А мы на гравийке во что! Мартышку!

(Каратели обычно уходят не по той дороге, по которой приходят, появляются. Наверное, потому и разделались засады и наши сидели на другой дороге. А партизан во всем военном и с биноклем на груди — с ним задержался, разговаривает Косач, — наверное, командир вот этого незнакомого отряда.)

Переход, огромный от торчащего мокрого плаща, быстро, резко подошел к нам. Стал снимать с локтя худенькие руки повисшей на нем девочки, плачущей и строгой. Пока он неумело разжимал по одному ее цепкие тоненькие пальцы, подбежал к немцам и остановился второй Переход — его племянник. У Перехода-младшего, очень бледного и тонколицего, глаза чем-то похожи на большие глаза нашей девочки из Переходов.

Перед ними расступились, как бы сразу поняв, кто они.

И снова я увидел, как крайняя сила чувства вдруг парализует человека, забирает на себя всю энергию, волю, сковывает, как судорога. Переход-младший остановился в трех шагах от карателей: вспотевший лоб, бледные скулы как заледенели, взгляд неподвижный, а нижняя часть его тонкого лица вздрагивает, перекашивается, из горла вырываются звуки, которые показались бы смехом, если не видеть этого лица.

Старший Переход, чем-то похожий на Косача, но более угловатый, громоздкий, как в воду, вошел в самую середину сидящих на земле карателей, отталкивая коленями то, что на пути. Стал над головами немцев.

Кажется, само дождливое небо тяжело опустилось, снизилось. Сделалось душно. Теперь слышно только дыхание, точно мы сорвались с места и молча, страшно куда-то бежим, несемся.

— Ну? — тихо спросил Переход. — Так это вы?

— Мы не немцы,— поправил его кадыкастый переводчик.

— Вот ты мне и нужен... А ну вставай! Все вставайте!

Вряд ли человек знал, что он собирается делать. Как обожженный мечется, кидается в поисках холода и положения, в котором не так нестерпимо болело бы, заметался, забился и этот огромный сильный человек.

И в других это прорвалось.

— Гони их на поляну! Что тут смотреть!..

— Кончать их! А ну, вы!

— Сидят, как христосики!..

Быстро, заспешив на крики, подошли Косач и уса-тый командир. Их увидели каратели и, кажется, истолковали, поняли крики и толчки как требование оказать воинское уважение командирам, перед которыми партизаны расступились. Испуг сразу сменился старательностью, вытягиванием рук по швам. Лишь бедняга фюрер мучится от неловкости, неуверенности: он не решается сбросить с плеча, обидеть обезьяну, которая понравилась партизанам, а с нею вытягиваться — вроде неуважение, не по форме получается. А ему так хочется, огромными буквами написано на нем, как старается он показать, продемонстрировать командирам воинское уважение. Тем более что они одеты по форме. Как и он! Они заметят, вспомнят, что на нем военная форма. Но обезьяна!.. И сбросить ее боязно, как из-под укрытия выйти. А с обезьяной какая же форма, какое уважение? Фюрер карателей и вытягивается и сутулится, и дисциплинированно, подтянуто смотрит, и несмело, вопросительно наклоняет бритую голову. Может, партизанские командиры как раз обезьянкой, а не им заинтересуются?

Косач рассматривает карателей с такой знакомой жестко-иронической усмешкой, но как она теперь кстати. Как я понимаю и люблю ее в эту минуту! Я тоже должен был не бежать, не кричать, а вот так подойти и смотреть на них!

Усатый командир стоял рядом с Косачем и любовался своим трофеем — пленниками — с заметным удовольствием. Но Косач вдруг увидел меня и совсем неожиданно узнал. (Трудно было не узнать, когда все во мне кричало, что это я, что мне надо ему сказать, рассказать...)

— Ты? Ну что?

— Товарищ командир, они на «острове»,— я пробираюсь к Косачу из-за спин,— там раненые, мы с Рубежом ходили на хозяйственную операцию, его убили, и Скорохода и «коменданта острова» убили...

Я все не произношу «Глаша», не называю это имя, сам не знаю отчего.

— Ты как здесь оказался? Ладно, что у тебя с глазами? Пойди к Филиппову.

Филиппов — наш отрядный медик.

Мне все кажется, что Косач знает про то, что я был с Глашей, но тоже не хочет называть ее имя, потому что при всех...

— Командир, хотите на память? — партизан-«веселун» подает усачу пачку фотографий.— Нашли вот у этих. Люби меня, как я тебя!

Из рук добродушного усатого командира фотографии пошли по кругу (только Косач не берет). Мне попалась солдатская, одиночная. Кто-то из них: в черном плаще, руки на автомате, а ствол направлен прямо в объектив, в лицо тому, кто будет смотреть. Я разглядываю живых карателей, чтобы определить, чья фотография. Но ни у кого нет такого лица, такого взгляда. На фотографии остановлен миг, когда не было даже мысли, даже намек на мысль, что возможно положение, когда он сам будет не понимать, не будет помнить, как ему могло хотеться чего-то другого, а не этого лишь, чтобы не было направленного ему в голову автомата, чтобы не убивали его, чтобы жить, жить!..

— Что с ними делать будем? — спрашивает старик партизан, видимо, из числа приставленных охранять пленных карателей.— Скоро на довольствие попросят. Смотрю я, вроде и люди, если не знаешь.

— Сами знают, чего они заслужили,— спокойно сказал усатый командир.— По-русски тут есть кто?

— Вот этот, длинный.

— Ну как? Зачем сдавались? Неужто рассчитываете, что после всего земля вас носить будет? — Усатый говорит ровно, твердо и все так же добродушно. Наверное, все очень просто возле такого командира. К нему партизаны его обращаются с обязательной улыбкой, и эта улыбка удовольствия.

— Мы не немцы. Немцы вот,— упрямо повторил кадыкастый переводчик.

— Больше ничего в свое оправдание?

— Что? Убить?! — вдруг выкрикнул Переход-старший. Протестующе, несогласно выкрикнул: — Да их надо!.. Да их!..

В этом почти бессмысленном, но сразу понятном нами протесте против того, что они уйдут, спрячутся в смерть, а деревня Переходы, а то, что там совершилось, останется с нами, в этом, может быть, объяснение, почему мы их погнали дальше, повели с собой живых. Они для нашей обжигающей ненависти были вместо того холода, который я когда-то искал, хватал на ходу, нес в покрасневшей вздувшейся ладони...

...Уже через два часа нас преследовали броневики, цепи автоматчиков. Над опушками леса пронеслись самолеты. Мы уходили к болотам — к Чертову Колену, уводя с собой пойманных карателей.

По слепому яростному артобстрелу, по самолетам ощущалось, что немцы, сжимавшие кольцо блокады, сильно забеспокоились, обнаружив активных партизан у себя за спиной. («Косачевцы» и отряд усатого командира дней за пять до сожжения Переходов вырвались из блокадного мешка.)

Пока наши засады придерживают немцев, оба отряда уходят, унося раненых. Раненых много, и почти все недавние, блокадные, людей, рук не хватает для носилок, хотя нас немало идет, сотни три. Пойманных карателей тоже приспособили, заставили бежать с ношей (из одеял и жердей носилки). Они несут старательно и очень пугаются, очень теряются, когда раненый от тряски начинает стонать.

Возле самого болота нас встретила ночь. Преследователи остановились, немецкие ракеты пляшут километрах в двух от нас. Время от времени немцы бросают снаряды в болото, считая, что мы уже там. Под ногами сыро, холодно, носилки приходится поддерживать на весу, подставляя колени, и люди собираются группками, тихо разговаривают, курят.

А я ищу Косача. Несколько раз я прошел мимо сидящих на корточках карателей. Партизаны, которых выделили в сторожа при карателях, заметно нервничают, злятся: в такой темноте, да когда нас самих окру-

жили, нас самих сторожат немецкие дивизии, конечно же, каратели прикидывают, как бы удрать.

Наконец я увидел его. Косач с кем-то громко разговаривает возле белой, как бы светящейся березы или осины. Я дождался, чтобы он остался один, и приблизился. Косач сидит на пеньке и устало курит. Я выдохнул:

— Товарищ командир,— и опять заспешил: — «Остров»... раненые... Рубеж... туда можно пройти, выйти этим же болотом... Глаша...

— Какая Глаша? Постой! Глаша?! Как она туда попала? Так ты оттуда, с ней был?

— Бой когда начался, я был на поляне, лошадь искал, Глашу встретил, в лагерь не смогли пробиться...

— Где она? Жива?

— Да,— отозвался я пойманно.

Что такое, что произошло? Почему я не могу про Глашу с ним говорить? И с Глашей о нем последнее время тоже не получалось. Я опять про то, что отсюда по болоту можно пройти к «островам», хотя это и далеко...

— Видишь, подставляют нам новый мешок, покрепче,— помолчав, говорит Косач.

Мы смотрим на ракеты, совсем близкие. Снаряды все падают в болото. Стукнет выстрел, эхо повторит его, потом рванет в темноте и снова эхо подтвердит. Очень болят и слезятся мои глаза, все окружающее тает, расплывается в надоевшей радуге. А тут еще разноцветные ракеты пляшут, синий, красный, желтый цвет, мерцающий, дрожащий, стекает по сыро-белым телам осин, по заросшему сумрачному лицу Косача, по моим рукам... Я как в полусне. И разговор с Косачем, и это наше уединенное молчание — такое все нереальное, ненастоящее, невозможное. Меня бьет дрожь, хотя на мне снова солдатский китель и даже свитер, тоже немецкий. (Нашел на возу, когда уже под обстрелом расхватывали с телег трофеи,— захваченный у немцев обоз приходилось бросать.) Я все уйду от реальности и только помню, что надо еще сказать про «остров».

Мне все кажется, что плохо рассказал, объяснил и Косач не понял...

— Страшно было? — внезапно спрашивает Косач. Синий цвет на его уставшем заросшем лице сменился

белым, красным, а я все про «остров» толкую, не могу сообразить, что меня про Переходы спросили.

— В Переходах,— возвращает меня Косач к вопросу.

— Женщины в окошко выбрасывали детей, а внизу под стеной солома горит, а туда падают дети... Из окошка руки — вот так руки... Матери, женщины руки тянут...

Я, как слепой, сам протягиваю руки с растопыренными пальцами, а по ним течет меняющийся, мерцающий свет. Косач смотрит на меня, на мои огненно-окрашенные пальцы, и впервые на лице его я вижу такое — неуверенность, вопрос.

— Надо же мне было их послушать! Упросили, уговорили не трогать карателей в деревне. Чтобы людей не сожгли. Сами же Переходы, и дядька и племянник, пришли просить. Сожгут семьи, если в деревне атакуем! Вот тебе и «если»!

Он словно передо мной оправдывается, Косач!

— Это у них уже сумасшествие! Не иначе! Не просто убить даже, а обязательно живьем сжечь, заморозить, голодом уморить. Обряд такой предписал им косой маньяк ихний, что ли? Ни одному небу не приносили таких жертв, как приносят теперь земным идолам — какому-нибудь усатому ефрейтору. Тебя они жгли, а меня в сорок первом вымораживали. До последней, брат, слезинки. Земля, как железо, голое поле, огороженное колючкой, и посередине сторевшая кирпичная коробка. Бывший кирпичный заводик, что ли. Разбитые печи, ямы. И нас много тысяч. Лежат, кто где окоченел. В ямах, в мерзлых печах. По двое, по трое, кучами. Не поделишься — не нагреешься! А кто еще мог ползать, загрузили собой кирпичную коробку. Доверху. Кто под низом, тот нагрелся, а кто нагрелся, тот уже задохся. У живых, как у мертвых, ледяные бороды от последнего дыхания. И последняя слеза, тоже ледяная. Да, брат, человека можно глубоко выморозить. До последней слезинки. Можно. Только сами потом не скулите!..

Он даже поднялся, когда произнес: «...сами не скулите!» Встал, удивленно взглянул на меня и вдруг усмехнулся, как закрылся. Будто заслонился своей незнающей усмешкой.

...И теперь она на нем, та постоянная безадресная улыбка? В голосе была, когда поздоровался. Мне бы взглянуть на него, только взглянуть. На Глашу. И увидеть хотя бы один раз Сережу. Сережу своего я помню голубоглазым: много раз видел такого во сне. Голубоглазого, светлоголового. А по рассказам Глаши знаю, что он черненький и глаза тоже темные. Увидев настоящего, если бы меня вылечили, потерял бы того, голубоглазого, светлого. Даже вот так можно терять!

Какие они вместе — Косач и Глаша? В их мире люди изменяются, стареют. А для меня они все те же. (Кажется, единственное преимущество иметь такого мужа, как я.)

А ведь мой Бокий чем-то похож на Косача! Мне это только сейчас пришло в голову. Я никогда не видел лица Бокия Бориса, но так и видится на нем эта постоянная, адресованная бог знает кому, косачевская улыбка. Она в голосе, в словах Бориса.

Вот в чем дело! Вот почему мне в этом автобусе все припоминаются споры с Бокием, сопровождают меня. Вот в чем дело!..

Глаша после войны встретила с Косачем. В сорок шестом, после возвращения из Германии, Косач работал в райисполкоме в том же районе, где партизанил.

Много лет спустя, в пятьдесят третьем, Глаша мне рассказывала про их последнюю встречу. Она никак не могла объяснить (и это ее мучило, удивляло, даже сердило), чем так поразил новый, послевоенный Косач и что принудило ее уехать, уйти от него уже навсегда. Как в пушкинской «Метели»: «Это не он! Не он!» Мчалась к нему, столько мечтала о дне, когда свидятся, встретятся — и в Озаричском концлагере, где валялась, тифозная, на снегу, и в Германии, куда ее вывезли немцы. А увидела: «Не он!»

Но это, по ее же рассказам, именно он, Косач, каким и прежде был, только обстановка совсем другая и ей все по-другому уже открылось. Одно дело, когда война, все зыбко, смерть, жестокость на каждом шагу, а среди всего некто самый твердый, уверенный в любом слове и поступке, такой властный и чуть таинственный, на все смотрящий с какой-то непонятной, даже презрительной высоты. На все: и на плохое, и на хорошее. На всех и на себя тоже, потому что и себя всяким видел, знает, помнит. И в партизанах, и до партизан, в плену,

а может быть, в довоенном: не обошло его и предвоенное.

(Возможно, я усложнил, усложняю Косача. Вон даже с Бокием сходство увидел! Но Глаша — ей было семнадцать, да к тому же девочка, влюбленная! — она, разумеется, еще больше его усложняла. Просто отказывалась понимать, а только любила и мучилась. Бежала на поляну плакать. Придумывала себе в утешение что только могла, фантазировала, вон даже ребеночка прифантазировала на той поляне!)

А потом — совсем другое! — они встретились в сорок шестом.

По-разному это время отозвалось в разных местах, хотя голодное оно было везде: полстраны разорено, убито, сожжено, а тут еще страшная засуха! Но в бывшей партизанской зоне, где оставили Косача работать, все это имело особенную окраску. От деревень остались только березы, да клены, да скамеечки возле заросших лебедой пожарищ и редкие кое-где землянки. Ни машин, ни лошадей, люди сами впрягались в плуг, на себе пахали и бороновали.

Но к этому уже привыкли за войну.

К чему люди привыкнуть не могли, не хотели, не ожидали, что надо будет привыкать, так это к тому, что не будут помнить, что они вынесли, перетерпели в войну.

Это потом, позже стали наново припоминать все: приезжать на встречи, ставить памятники, писать, награждать.

В сорок же шестом, спрашивая налог, мало кто интересовался, из какой деревни. И есть, существует ли деревня, есть ли хата. И получалось порой по пословице: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую.

Как выглядел в этой обстановке Косач, когда от него уже не требовалось личной храбрости, холодной готовности к смертельному риску, но зато оставалась при нем его ироническая отстраненность от людей со всеми их постоянными и жестокими заботами, об этом я могу лишь гадать. Но именно в эту местность и к этому Косачу приехала Глаша.

— Стоит человек предо мной, сидит за столом, разговаривает по телефону или с плачущей бабой, кричит или усмехается, а у меня такое чувство, что я не туда, не к тому приехала. Все такое же, как было: лицо, ру-

ки, сильные плечи, даже китель тот же, только больше вытерся. Но нам обоим неловко. Ну, представляешь: была ночь и человеку казалось одно, а тут вдруг день, светло!.. Я не могу это объяснить. Не он, и все! Но самое главное и обидное — я не знаю, я не помню, а какой же настоящий он. И в прошлом его нет. Есть громоздкий чужой человек. Это я помню. И чувство свое помню. Но раздельно то и другое. Что-то в самом воздухе было разлито, окружало его, нас, соединяло. Ушел этот воздух и — ничего... Ты вот все толкуешь про чужую боль. Было бы все просто, если бы по-твоему. Если бы тот, кто сам много испытал, если бы такой и другого человека ближе понимал. А то ведь бывает и наоборот, совсем наоборот! Делается человек — как вымороженный. Это Косач про себя хорошо сказал, только удивительно и мне даже теперь обидно, что со мной он ни о чем серьезном не разговаривал, а с тобой вдруг почему-то... Вот видишь, вот и пойми нас, женщин. Нст, верно, вымороженный! Дом с выдранными окнами и дверями. В войну и такой дом — везение, вроде даже греет. Но всю жизнь в таком?! Это уже страшновато. Убежала я. Не посмотрела и на то, что вас, мужиков, на двадцать миллионов меньше, а нас на те же двадцать больше. Будет неправда, если скажу, что я обязательно о тебе тогда думала. Вспоминала, поплакала, когда сказали, когда прошел слух, что Флера Гайшун умер в каком-то госпитале. И в снах тебя не раз видела, как мы спасаемся, пожары. Но все равно главное был он, вокруг него все. А тут собралась и уехала. Сказала, что мама больна (это правда, ноги у нее отнимались). Как он понял мое напоминание про маму, не знаю. И она мне никогда ничего не говорила... Не знаю. И боюсь все знать... Такой старой себя почувствовала, уставшей. Только и отдыхала, когда вспоминала про нашу с тобой поляну, лечилась этими воспоминаниями. А иногда очень хотелось его встретить, но одинокого, старого, неинтересного. Ну да это глупости женские...

Почему мне так хочется увидеть их теперь рядом — Глашу и Косача? В чем хочу убедиться? Что ничто не проходит у женщин? И вообще ничто? Так разве я это по себе не знаю! Вон как все давно отмершее, отсохшее чувствуешь. Начинает болеть. Так в тепле начинают болеть обмороженные пальцы. И чем меньше их ощущал до тепла, тем сильнее болят, оживая.

Меня Глаша так нашла. В пятьдесят третьем приехала поступать в институт на заочное. Мать после долгого мучительного лежания умерла, и она приехала. Вдруг видит, возле деканата Флера, живой! Не думай она, что я умер в том госпитале, возможно, и не вскрикнула бы так, на удивление всему коридору, не бросилась бы на шею радостно покрасневшему молодому преподавателю. И не стерлись бы так сразу годы, прошедшие с того дня, как я уходил через болото, а она оставалась на «острове», печальная, будто предчувствовала. Что потом произошло на «острове», я от нее узнал в том же институтском коридоре.

Пять дней спустя каратели добрались и до «острова». Когда вползли, мокрые, вонючие, злые, на берег и начали строчить по всему, что пряталось или бежало за кустами, Степка Фокусник (он единственный из партизан мог на костыле передвигаться) отстреливался, а затем прискакал и сел среди раненых, подтащив к себе вещмешок с толом. Глаша с тремя малышами лежала в болоте за выворотнем и видела, как это было. Он прибежал, отбросил костыль, винтовку и сел. И к нему поползли раненые, а он их укладывал головами к себе, к мешку с толом. Глаша тоже хотела подбежать — вот вот из-за кустов появятся каратели! Уже голоса их слышала. Но не могла поднять себя, так ей сделалось жутко. Особенно когда подползли к нему раненые, будто к спасителю, а он аккуратно укладывал их головы. Напоследок ее и Степки Фокусника глаза встретились. Он смотрел (Глаша всякий раз, рассказывая, плакала в этом месте) и как-то странно улыбался.

— А может, мне показалось. К нему ползут, а он держит гранату на мешке с толом и смотрит на меня, будто просит помочь, не убирать взгляда, не прятаться, а чтобы я не боялась, улыбается мне... Я не выдержала, спряталась, и сразу — взрыв!.. Когда немцы тащили нас через «остров», гнали всех, кого не убили, я еще раз увидела место, где были раненые...

Перед самой нашей женитьбой были мы с Глашей на Браславщине — поехали к озерам. Пока я растягивал палатку, она куда-то пропала, а потом позвала меня незнакомым, изменившимся голосом. Я испуганно прибежал, а она сидит спокойно, обхватив загоревшие колени, и смотрит вниз — на остановившуюся вечернюю красоту озера, окруженного желтыми берегами, повто-

ренными в воде, на которых словно горит еще день, и темными, совсем ночными елями.

Я всегда испытывал от красоты видимого мира чувство, скорее мучительное, нежели радостное. Словно ты узкогорлый сосуд, в который широкой струей льют густой липкий мед: что-то внутрь попадает, но больше по стенкам, снаружи... (Зато сейчас могу тоненькой, экономной струйкой цедить, сберегая каждую каплю. То, что собрано в сосуде, темном, навсегда закрытом, только то тебе осталось, и нового не будет. Переливай, цеди — из себя в себя...)

Глаша по-своему расценила мое молчание.

— Скажи: не мешай мне, если сама ничего не делаешь.

И улыбнулась виновато, радостно-покорно. Это в ней было новое, незнакомое, появившееся после войны: говорить за меня и притом всегда мне в облегчение, а себе в укор («Скажи: не хватало мне еще бабьих слез...»), «Скажи: сама разбирайся со своим Косачем...»)

А то вдруг начинала рассказывать про то, что было с нею после «острова»: про тифозный прифронтовой концлагерь возле полесских Озарич, про пятилетнего мальчика, который умер на мокром снегу:

— Он все утешал меня, я его грею, а он обещает: «Приду домой и сделаю три печки: мамке, себе и тебе!» А его мамка, застреленная, уже лежит возле колючей проволоки: хотела сучья собрать, чтобы обогреться... Ну вот, опять я... Скажи: не видел я войны!

Глаше все казалось, что она навязывает мне свои воспоминания, свои слезы, свое прошлое. А я заставлял ее понять, поверить, что это и мое прошлое, и мои воспоминания, все это наше. Постепенно она в это поверила, но, поверив, как это бывает у женщин, сразу пошла дальше. Теперь ей уже казалось, что любила она вовсе не Косача, а меня, но я сам своей дурацкой влюбленностью в командира и своей убежденностью, что любить она может только его, только такого, одним словом, это я мешал ей разобраться в самой себе. Да и вообще мог бы больше походить на Косача! Только чтобы не такой бесчувственный...

Я не выдерживал — так искренне она упрекала меня, с таким сознанием своей правоты и моей вины — и начинал хохотать. Глаша сердилась и обижалась еще больше:

— Ну что ты радуешься, как Флера на тачанке! Из-за тебя я столько перемучилась. А из-за кого же?

— Ага, чтобы глаза Акулины Ивановны да к фигуре Николая Федоровича...

— С тобой невозможно разговаривать серьезно!

Что сейчас она чувствует, что в ней, когда оба мы здесь, я и Косач? Первоначальное напряжение, когда она, пожалуй, сама еще не знала, как воспримет эту, такую ситуацию, прошло. Она уже по-другому и сидит, и с Сережей разговаривает. Обыкновенно, по-домашнему. А на лице ее, скорее всего, то наивно-спокойное выражение, с каким она тогда, во время блокады, уснула, прислонившись к дереву: а, сами разбирайтесь с этой войной, с этой смертью! Ей надоело. Сами разбирайтесь, если вы такие... Но какие мы — мы с Косачем, — если видеть ее глазами? Я не раз улавливал в ней раздражение против нас обоих. Уже против обоих. Да, Косача вроде не существует для нее, даже удивлена, что было, могло что-то быть, но и мое, флеринское, ее часто раздражает.

— Хорошо быть Флерой, но не до такой же степени! Тебе уже не семнадцать. Сколько можно уступать каждому? Так и будут всю жизнь кататься.

Уже не к Косачу, а к третьему кому-то ревнуй, который не такой, как Косач, но и не такой, как Флера. К ее будущему чувству. В них, в женщинах, оно всегда живет, это «будущее чувство». Как завтрашняя, а не только сегодняшняя мера человека, человеческого. И для этого самим женщинам вовсе не обязательно быть лучше нас. Просто им отдано это на сохранение. И куда бы жизнь ни устремлялась, измеряем мы себя, проверяем, любим или презираем все-таки женским взглядом...

...Ночью отряды двинулись в глубь болота. Зарева горящих лесов, на которые уже переползли пожары, желто отражаются от низких, бегущих навстречу нам туч, ложатся на воду, под ноги нам, придавая всему еще более стремительный, тревожный темп. Отстанешь — нагонят, побежишь — напорешься! Мы уходим от карателей — навстречу им. И чем отчетливее это чувство, тем упрямее мы спешим на другой край болота, где, наверное, уже передвигаются, растягиваются ба-

тальяоны и засады, поджидая нас. Хлюпанье по грязи, всплески, злые или нелепо веселые вскрики, тяжелое дыхание — все кажется нескончаемым, неизвестно, когда начавшимся, не имеющим конца. Твои и чьи-то руки встречаются, хватаются, сцепляются или испуганно отталкивают друг друга и — вперед, вперед! Раненых несем, толпясь возле носилок и одеял по шесть, по восемь человек, до боли вцепившись пальцами, ногтями в одеяло или брезент. Нужно как можно выше держать, но вдруг пропадает всякое дно под ногами, и тогда люди кидаются в одну, в другую сторону, удерживая ношу и как бы цепляясь за нее. На помощь бросаются те, кто поближе, и начинается словно бы схватка, борьба — с кряхтением, вскриками, ругательствами.

Лица, глаза раненых среди всего этого поражают неподвижностью, даже безразличием, за которым отчаяние и стыд, беспомощность, обида за свою неудачу. Но и среди раненых есть свои «веселуны».

— Тащи, братки, невод! Уха будет.

Меня сменили возле носилок-одеяла, но тут же в лицо мне заглянул Костя-начштаба, не узнал, конечно, но приказал:

— Помоги охране. Тащим еще фрицев зачем-то! Черт знает!..

Мы их, и правда, зачем-то гоним перед собой и вроде понимаем, зачем, почему, но по очереди поражаемся: «Черт знает что!» Я нашел их там, где голоса громче, резче. Здесь и Переходы — дядька и племянник. Они самые молчаливые в охране.

Дико видеть, как каратели стараются спастись от болота, как барахтаются, тянутся к чахлым деревьям и кочкам, хватаются за партизан, даже за Переходов, друг за друга, точно не понимают, что они уже мертвецы. Но, очевидно, не верит в это никто, пока жив. И потому ведет себя человек порой очень странно, нелепо, если смотреть со стороны.

Я не сразу узнал своего бритоголового врага, так вымочалило карателей болото, а этот еще без очков, как слепой. (Обезьяны уже нет при нем.) Несколько раз мы оказывались рядом. Но, странно, я точно стесняюсь чего-то. Не хочу, чтобы он узнал меня теперь, когда мы один на один, а не в толпе партизан, где я громко добивался, чтобы он увидел, разглядел, узнал меня, спласшегося из убитой им деревни. Не зря я так протес-

ствовал, так ненавидел с самого начала эту их беспомощную покорность, послушную старательность. Они точно заранее знали, ожидали, что во мне появится эта неловкость от сознания полной власти над чьей-то жизнью и смертью. Неловкость, которой в них самих, помнится, не было.

Я следую за своим главным врагом, как привязанный, стерегу, как из засады, но близко, глазами встречаться мне не хочется.

Вдруг угрожающе колыхнулась в желтой темноте обманчивая поверхность, на которую он ступил. И тут же, по-бабьи вскрикнув и взмахнув руками, он провалился. Сначала появились пальцы, растопыренные, тянущиеся, потом выкатилась голова и осталась, как отрезанная, на подрагивающей поверхности твердого мха — без лица, без глаз, оплетенная тиной, точно внезапно обросшая.

— Эй, помоги тому, не видишь! — крикнули мне.

Неустойчиво держась за низенькую корягу, я подал ствол винтовки, тронул им шевелящиеся пальцы. Они сразу бросились к моей винтовке, я едва не отдернул. А он уже всей тяжестью повис, стаскивая и меня с качающейся кочки. Будь это палка, а не винтовка, я уже выпустил бы ее из рук. А тут мы словно боремся за винтовку, вырываем один у другого. Я подтащил к себе оплетенную водорослями, тиной голову, дергающиеся плечи, руки моего врага, он схватился за корягу, за меня, жадно, испуганно, слепо. Я уже отталкиваю его, отрываю от себя, кричу свирепо:

— Ну что, так и будешь? Пошел, гадина!

Грязь оплыла с бритой головы, и уже видны глаза, близкие, безумные от испытанного ужаса. И как бы узнавшие меня.

И тогда я, рванув винтовку в сторону, клацнул затвором, но не удержался и сам схватился за его плечо. Схватился, схватил и, сверху глядя в желтые от далекого зарева глаза, кричу:

— Ты, фашист, смотришь, вылазишь, гадина, жить, да, жить?!

Я выкрикиваю ему приговор и не могу пробиться сквозь бессмысленно испуганные глаза старика с грязной головой. Передо мной эти глаза, а мне нужно, раз уж мы так близко и сейчас я убью его, я хочу видеть того, кто стоял возле машины, сидел в машине...

Он, видимо, поняв, что это смерть кричит, рванулся в сторону и снова провалился по пояс. Я бросился за ним, прямо на него бросился. Теперь я толкаю, гоню его, вытирая свои слезящиеся глаза, именно его гоню, и он знает, что это я, что я есть, что я все время иду следом. Он близоруко оглядывается, как бы ищет меня. Теперь он знает, кто его хозяин, его жизни и смерти хозяин, и это как-то странно на него подействовало: он еще старательнее, уже как бы специально для меня спасает от болота свою жизнь...

Наконец мы выбрались на залитые водой предболотные луга. Моросит утренний дождь на наши разгоряченные лица, дымящиеся паром шеи, руки.

Пытаемся, не снимая сапог, вылить из них желтую воду. Со стороны это выглядело бы как странная утренняя зарядка: огромная измученная толпа людей, стоя среди мокрого луга, занята тем, что каждый, хватаясь за соседа, по-птичьи поджигает назад ногу или выпрямляет ее перед собой. Те, у кого не сапоги, а сырмятные коровьи постолы или, еще лучше, лозовые лапти, устало нахваливают свою обувь, в которой ничего не задерживается — ты и обутый и босой в одно и то же время. Налетай меняться! Но охотников меняться с ними и даже поддерживать усталую трепотню не приходится.

Человек триста стоят среди луга в неглубокой воде, безнадежно мокрые, измочаленные, держат носилки. Посматривая друг на друга, как на свое отражение, смывают грязь с одежды, с лиц, полощут в воде кепки, пилотки. Пытаются стереть черноту с лиц раненых, если те не могут сами.

И каратели умываются, нерешительно, молча.

На воде огромными зелеными шарами кусты лозняка, похожего на копны сена, хоть садись на них! И пока впереди какая-то задержка, многие пытаются отдохнуть, сесть, а не получается, так лечь животом или спиной, распластавшись. Уже смех слышится, усталый, невеселый.

Карателей мы собрали к одному большому лозовому кусту, и они тоже прислонились к нему, покачивающемуся, потрескивающему. Уже не по-ночному, а по-утреннему видятся лица, а это совсем другое. Утро после трудной ночи подчеркивает в любом человеке усталость, но также и облегчение, что это кончилось, ми-

нуло. Каратели умываются уже смелее, старательнее, было бы чем, зубы чистили бы: одной рукой, ладонью зачерпнет воду, еще раз и еще раз, и все это как бы неспроста. Они готовятся жить еще один день и словно бы осторожно спрашивают нас, стоящих с оружием напротив, или убеждают нас...

Мой враг аккуратно обмывает голову, снова гладкую и пятнистую, как плохо покрашенное пасхальное яйцо; близорукие глаза его кого-то ищут, все кажется, что меня. И словно бы с надеждой какой-то. Среди общей, безликой ненависти он почуял личную, мою, пусть тоже ненависть, но за которой определенный человек. Вместо того чтобы бояться меня еще сильнее, он, пожалуйста, ищет меня! Все-таки у него тут знакомые! Я не позволяю его беспомощно плавающим глазам зацепиться за мое лицо, пропускаю мимо, не признавая. Не хватало, чтобы я и на самом деле стеснялся вот так сурово, беспощадно стоять перед ним, грязным и смиренным! Не ищи, не найдешь, не дождешься!..

Среди «не немцев», которые держатся подчеркнуто особняком, заметнее всех кадыкастый переводчик. И не только рост его останавливает внимание, но и выражение какой-то постоянной бессмысленной хитрости на лице. Он потерял свою кепку с длинным козырьком, отличавшую его от немцев, и это его очень беспокоит, был даже момент, когда он снял кепку с головы земляка-соседа, будто бы для того, чтобы погреть голову, но тот спохватился и забрал назад. Все пытается с нами разговаривать:

— У-ух, устали! Какие тут болота!

Посмотрел с коротким испугом: не перебрал ли? И тогда сообщил, что «дождь теперь ни к чему, самая уборка, огороды».

— Но зато помоем нас.

Как хитро он подчеркнул это общее «нас».

— Заткнись! Ты! — не выдержал кто-то, и переводчик испуганно сжался, но тут же перевел своим, подал это, видимо, как общую команду. Каратели, пошевелившись, замерли.

Подходят еще партизаны. Что-то притягивает сюда. В побуревшей от грязи «венгерке» с зализанно мокрой опушкой по бортам, держа автомат под локтем, подошел Косач, мрачно усмехнулся соседу — усатому командиру:

— Долго трофеей своей будешь таскать?

— У тебя есть люди из Переходов, вот и забирай, решайте.

Косач смотрит на карателей вроде бы очень спокойно, как-то издали, но переводчик не выдержал, напомнил:

— Мы не немцы!

И показал на кепки (и на свою непокрытую голову тоже).

— Серьезно? — удивился Косач. — Ну, а с ними что делать? С твоими хозяевами?

— Они заслуживают казнь, — четко и громко сказал переводчик.

— Вы это и сделаете сейчас. Раз им служите!

Косач несколько раз мельком посмотрел на Перехода-старшего, неподвижно стоящего перед карателями. Взгляд был какой-то сверяющий: так ли, то ли он, Косач, делает, собирается сделать? И потому не по-косачевски вопросительный. Однако было в этом и что-то очень косачевское, недобро испытывающее. Испытывающее, но с заранее известным ему ответом.

— А ну-ка дайте этим винтовки.

И все-таки мы его не поняли.

— Без затворов, — внезапно раздражаясь, пояснил Косач.

Заклацали затворами. От этих звуков каратели задвигались, осели, куст у них за спиной задышал, затрепещал. Но ужас, настоящий ужас перекошил их лица, глаза, когда каратели-немцы увидели, что винтовки передают их соседям в чудных кепках.

Откуда-то прибежал Столетов, точно боясь опоздать. Он не видел, как и что тут происходило, глаза косят испуганно и жадно. Он не понимает, почему винтовки в руках у карателей. Переступает с ноги на ногу, проталкиваясь поближе. А за спиной у него вещмешок — шевелящийся, дергающийся, живой. Я не сразу понял, а понял — тут же забыл и про Столетова и про его вещмешок, чтобы вспомнить и долго помнить потом, когда все кончилось. Вот где, оказывается, обьявилась обезьяна с плеча главного убийцы — Столетову ее всучили тащить. Будто нарочно. Летописцу как раз. Живой, дергающийся, дышащий мешок, и сам Столетов тоже подергивается, переступает с ноги на ногу...

Кто-то крикнул:

— Давай меси, раз мясники!

Четверо «не немцев», замороженно слушая тихие, вполголоса, команды своего переводчика-предводителя и беря винтовки за ствол, отступают от других карателей, приседающих, вжимающихся в лозовый куст, который весь ходит, дышит, раскачивается. И эти с винтовками-палками тоже тихонько, подстерегающе раскачиваются, переступая с ноги на ногу и взвешивая дубинную тяжесть прикладов. Примериваются и все переговариваются по-своему, тихо и быстро перекликаются. Переводчик, резко крикнув, внезапно бросился к моему врагу. Взлетевший над бритой головой приклад, короткий, пусто-гулкий хруст удара, тут же заглушенный совершенно заячьим криком немца-коротышки, на которого набросились сразу двое!..

И автоматная очередь! Неожиданная, резкая, все перечеркнувшая, как облегчение, спасение.

Двое карагелей с винтовками и несколько немцев, неловко хватаясь друг за друга, за куст, оседают в воду. Отзвучала очередь, унеслось эхо, а они все хватаются друг за друга, все падают. У переводчика лицо незнакомо расслабленное, не лживое. Постоял, низко опершись о винтовку, и вдруг круто боднул головой землю, грязь.

— К черту! К черту! — кричит Переход. Это он стрелял.— Всех к черту!

И тут отчаянный стон-крик за кустами:

— Стой! Что делаете? Вы! Что делаете?

Мы бросились в сторону, за куст, такой это был крик! Переход-младший стоит на коленях и будто что-то ищет в воде, рассматривает в грязи, все ниже и ниже наклоняет голову, лицо. А партизан, который кричал, яростно смотрит на нас и тянется к нему руками, не то указывая на него нам, не то желая подхватить, поднять. В черноте, в грязи плавает, быстро расплываясь, темно-красное пятно с синеватым отливом. Прижатая к фуфайке, к животу рука Перехода-младшего страшно пламенеет кровью.

Переход-старший оглушенно смотрит на это. Шагнув к карателям, схватил двух — немца и «не немца». От его тяжелых рук они свалились, но он вздернул их на вялые ноги и ударил друг о друга, и еще, и еще, с

каждым разом слабее, но все с большим отчаяньем и криком:

— Проклятые! Проклятые! Проклятые!..

...И мы побежали дальше, навстречу еле видимым в утреннем свете немецким ракетам. Мы все еще надеемся проскочить в большие леса, не охваченные блокадой. Это устремление сотен людей к выходу, который уже закрылся или вот-вот перекроется, было также бегом от того (но и навстречу тому), что случилось возле копен-кустов лозняка и как бы все еще продолжалось. Как только мы остановимся, снова произойдет, вернется это. Но куда уйдешь, убежишь, если впереди нас поджидают такие же каратели, как и те четверо уцелевших, которых мы гоним с собой?.. «Рама» уже зависла над нами, то поднимается, то падает ниже, редкие кустики не могут нас спрятать. Мы снова под следящим сверху взглядом. И уже чувствуем — точно тени видим, — как впереди, куда мы бежим, передвигаются немецкие батальоны, перемещаются засады, поджидая нас.

Кончилась под ногами вода, потом черная, как деготь, старая, подсыхающая грязь, и наконец мы на сухом, на удивительно сухом торфянике. Тут будто и дождя не было, только побрызгало немного как бы ради солнечного блеска да воскового и пряного запаха торфа и багульника. Не осталось сил отмахиваться от короткозрых кусачих слепней. Зато нет уже полеских комариных туч: осень смахнула их, хотя еще и холодов не было. Лежишь на земле, распластавшись, и всем телом ощущаешь, какая она мягкая, легкая, вся из трав и запахов. Большие высохшие кочки-купины вкусно и зовуще темнеют поздними ягодами — крупными синими буяками¹. Люди так вымотались, что лишь смотрят на ягоды, облизывая пересохшие губы, нехотя переговариваются. («Голова от этих буяков болит, если много», «Ну-ка подай!», «Спешу!») Но уже пристраиваются к аппетитным купинам, словно к столу подходят, подползают, а иной, как бревно, подкатится — и так ему хорошо и даже не надо вставать! Вот уже разобраны-расхвачаны самые роскошные купины, из сумок галеты немецкие достают, о воде говорят.

¹ Голубика (белорус.).

— А чайку не хочешь?

— Надо было хлебать, не зевать, когда по бороду было.

Ягодами угощают раненых, которые в состоянии есть. Их много, слишком много, раненых. Некоторые без сознания, бредят, вскрикивают, а те, у кого глаза открыты, смотрят в низкое небо, где назойливо, ищуще гудит «рама». Раненые знают, куда, навстречу каким боям мы несем их, беспомощных, полностью зависящих от рук, от ног, от смелости или слабости других...

Среди них и Шардыко — наш комиссар. Когда отряд вырывался из блокады, его перерезала по поясу пулеметная очередь. Но он все еще живой, хотя и без сознания. Несколько раз, я видел, подходили к его носилкам Косач и Костя-начштаба, сопровождаемые подвижным кругленьким Филипповым. Отрядный медик виновато называет какие-то лекарства, уколы, которые необходимы и которых у него нет.

На землю не садится, не отдыхает, кажется, один Переход. Огромный, в негнущемся брезентовом плаще, стоит над носилками, на которых тяжело дышит мертвенно-бледный его племянник. Переход смотрит на раненого со странным, каким-то отрешенным удивлением. Что-то очень тревожное в его позе — вот-вот сделает человек неожиданное и страшное... Возле ног его над бредящим молодым Переходом сидит девочка, рот ее набит ягодами, измазан, на щеках слезы. Она снова плачет, девочка из Переходов.

В карателях, уцелевших, что-то изменилось. Они сидят плотной кучкой, опустив глаза. Укоряющее что-то в их позах, в этих обиженно опущенных взглядах. Их дисциплинированность, их смиренность не оценили партизаны — в этом они уже убедились. Но они, не смотря ни на что, останутся такими же. Нам в укор. Может, и не это у них в голове было. Но позы, выражения были такие. И теперь они не сторонились друг друга, двое немцев и двое «не немцев». Может, потому, что их осталось мало. Но все-таки странно, что случившееся возле куста не развело их окончательно, а как бы даже наново сблизило...

Уже поотрядно, повзводно, отделив людей, у которых руки связаны ранеными (они особняком, позади), мы движемся по высохшему болоту, готовые сразу развернуться к бою. Старые, заросшие желто-бурой

осокой канавы, кучи-барханы слежавшейся торфяной крошки, ржаво-черные и лишь кое-где покрытые травяной зеленью — конца этому нет. До войны тут торф заготавливали. Земля пружинит под ногами, ощущение, будто по подвесному мосту идешь. Не сантиметры, а метры торфа в глубину! Молодой партизан (в Переходах не побывал, глаза не болят, не слезятся!) вдруг подпрыгнул как укушенный, и опнул на землю коленями.

— Как матрац, братки белорусы!

На него смотрят одни с удивлением, другие с неодобрением — на человека, которому еще охота поиграть. Рассуждают:

— Сюда огонек — полгода тлеть будет.

— Там уже горит, видите.

Над далекими торфяными буртами висит нежный голубой дымок, мягко растворяющийся в низком сыром небе.

Мы увидели людей. Сначала детишек, бегающих среди торфяных барханов. Совсем близко перед нами из-за черно-зеленой торфяной кучи вышла босоногая женщина, прошла несколько шагов, но вдруг заметила нас и быстренько назад, спряталась. Исчезли и дети.

За нами, кажется, наблюдают. Но вот снова вышли из укрытий женщины, детишки. Их появляется все больше. И лишь несколько мужских бородатых лиц. В плотно осевших, поросших травой торфяных холмах чернеют дыры — входы. Целая деревня, наверное, прячется в этих норах.

— Хлопчики, так напугали вы нас, так напалохались мы! — заговорили сразу несколько женщин нам навстречу. — Вчера немцы или эти «днепровцы» ихние проходили, только тем краем. Нас не зауважили. А тут, думаем, ну все, прямо на нас!

— Много проходило? — спрашивает усатый командир.

— Ды много! Мо, раза в три больше, чем вас тут.

Партизаны засматривают в неглубокие торфяные норы: темно, под ногами валяются одеяла, подстилки, у входов чугулки, ведра.

— Что, и не обрушивается?

— За ночь — хоть откапывай нас! И в рот и в уши наберешь. Зато от дождя.

— Вы голодные, хлопцы?

— А что у вас, тетки, есть?

— Ведомо што! Печеная бульбочка. И щавель кисленький. Он у нас заместо соли.

— На этот раз мы вас угостим. У немцев одолжили,— говорит усатый командир.— Где там наш начхоз!

Но и от печеной бульбы никто не отказывается. А она тут доходит быстро, и сколько хочешь засыпай в жар— в раскаленную торфяную яму. В земле как бы провал образовался, беловатый, зольный, дымящийся,— продолговатое пятно шагов на пять. Каждому любопытно измерить глубину горящего торфа, тычут шестом, палками. Дым горький, ядовитый, особенно для моих глаз. Но и мне хочется взглянуть: вроде обыкновенный огонь, жар, но что-то в нем грозное, злое, в этом пожирающем самую землю огне.

— Зачем вы так близко разожгли, теперь не потушите,— говорим мы хозяевам,— глядите, поползет огонь под вас.

— А бог его ведае, кто подпалил! Лежит, лежит и загорится,— убежденно возражают женщины.— Как порох, сухенький! Воды тут и не найдешь, к болоту ходим за водой. А еще мины эти, ракеты стреляют, чего же хотеть! Горит все.

— А туда, к лесу, где с весны горит, совсем не подступиться,— вмешался старик, который кочегарил у ямы.— Вчера дети увидели дика, кабана значит, побежали наши, погнали его на огонь. А подойти не смогли. Не держит. Дожди все были, так оно на глубине тлеет, а сверху корка. Стал— и пропал! Шухнул кабан— только искры. Можга, метр, а можга, и все три! Готовая смажина, да не достанешь.

— Бабы, а можга, яно под нами ужо, сюда огонь дополз? А што, проснешься утречком, а уже спекся!

Смеются женщины. Есть предел беде человеческой, за которым слезы уже иссыхают и когда человек и жаловаться уже не может...

Нам нужно именно туда, где стелется над горизонтом, изломанным торфяными горами, злое, голубой дымок. Где-то надо обойти этот дымок, этот земляной пожар.

Усатый командир остался со своим отрядом, со своими ранеными, не решился идти дальше, уходит от болота. Косач с ним долго о чем-то договаривался или спо-

рил. Я слышал, как сказал Косте-начштабу, когда мы уже двинулись:

— Довольно, что я там их послушался! В Переходах.

Даже сейчас трудно сказать, кто был прав, усатый тот или наш командир. Но, как всегда бывает при таких тревожных и неопределенных ситуациях, малейшее колебание наверху сразу помножается на беспокойство многих, превращается в настоящую, в большую тревогу. Главное, что у нас на руках почти два десятка раненых!

Этот бой начался непонятно, а оттого зловеще...

Мы уже прошли километра четыре, но все никак не можем минуть горящую полосу торфа на горизонте. Несколько раз приближались к ней, Косач и сам ходил смотреть, что там делается. Возвращаются те, что ходили, возбужденные и немного растерянные.

— Ну, братцы, тихий вулкан!

— За полкилометра земля теплая!

Наконец далеко впереди мы увидели лес. За дымным маревом не разглядеть, сплошной он или это только клочок леса, но все равно лес, а не эти опостылевшие зелено-рыжие «барханы» да разбегающиеся во все стороны чахлые сосенки. Люди заходятся от кашля, поразедало всем глотки. Трут глаза. А для моих, засыпанных, так и вовсе беда этот торфяной чадный бетерок. Все вокруг меня плывет, окрашено горячей радугой. Сильно поташнивает.

Но впереди лес, настоящий, живой, и скоро кончится эта отвратительная, черная, грязная, рыхлая, мягкая, дымящаяся подушка, взойдем, ступим на настоящую землю. Такое чувство, что вообще вернемся откуда-то на землю.

Раненые сзади. Уцелевшие каратели идут с нами, с боевой группой, все еще защищаемые нашей к ним оглушающей, связывающей ненавистью.

Дозорные уже подходили к лесу, когда ахнули мины перед нами, сбоку, сзади...

Все залегли, пережидая самые неопределенные первые минуты боя, такого неожиданного. Земля вздрагивает мягко, по-живому, а черные лапины взрывов тут же начинают скупно тлеть, дымиться.

Странно, что ни пулеметы, ни автоматы не бьют, одни лишь мины нащупывают нас. Откуда же нас накрыли?

Команды все нет, это всех нервирует. Только бы не сорвались, не побежали. Вон уже кто-то подскочил, бежит.

И еще двое или трое. Ничего нет хуже этого! Бегут вправо, к торфяным кучам, которые, когда лежишь, с земли представляются спинами допотопных зверюг, затаившихся, теплых. Воздух над ними дрожит, струится...

Раздались вдруг выстрелы, автоматная очередь. Один упал, а трое побежали еще быстрее, согнувшись, петляя. Это же пленные разбегаются! Каратели!

Показалось вначале, что его миной накрыло — самого первого из бегущих. Столб искр на том месте, где он только что был. И тут же исчез, как провалился, еще один, бежавший последним. Да это же они проваливаются в горящий торф! В напитавшуюся жаром раскаленную землю!..

Тот, что оказался посредине, застыл на месте, потом завертелся, и мы услышали, как он не закричал — завыл в нечеловеческом ужасе...

— Первая рота остается здесь, первая рота! — кричит Костя-начштаба, пробегая перед нами. И тут же громкий голос Косача, прорывающийся из-за взрывов:

— Вторая рота! Вторая рота, за мной!

Он бежит к кустам, взмахивая автоматом.

Вот оно, то мгновение, когда все, что было, есть и будет, заглядывает в глаза тебе: «Готов?» Не пропустить его, не уступить!..

Я вскакиваю и бегу за Косачем, за Переходом, за теми, кто впереди меня. Люди поднимаются из-под взрывов и бегут на невидимого врага. Мягкая пружинящая земля по-живому участвует в нашем беге, она как бы наклоняет нас вперед. Мы несемся в низинку, огибая лозняк. Слева плавающий в дыму, в голубоватом чаду, изломанный торфяными горами горизонт; справа этот зеленый, густой, как стена, лозняк. А впереди, где-то за краем лозняка, невидимые еще враги, которые нас забрасывают минами. На многих лицах бегущих рядом со мной людей, разгоряченных или устало посеревших, недоверчивое и тревожное любопытство к тому, что мы сейчас делаем. Мы бежим, а не залегли, не дожидаемся, когда немцы откроют себя, когда они появятся, не стараемся хотя бы выяснить, где они и сколько их, откуда они нас обстреливают. Вместо это-

го мы бежим туда, где ждет, может быть, засада или ловушка. Но поскольку мы делаем это, хотя и сами удивлены, а наш бег такой злой, безоглядный, на лицах наших, в тяжелом дыхании, в незвучном мелькании ног, в напряженных плечах, шеях, в разведенных локтях — во всем растущая уверенность, что вот сейчас мы навалимся, сомнем врагов, не ожидавших, что так вслепую, рискованно мы бросимся вперед.

Грузно, тяжело и впереди всех бежит Переход-старший. В его бесформенной и каменно-серой от брезента спине, в набыченной голове, в густом дыхании одно — добежать, добраться наконец, освободиться от самого себя, невыносимо злого, бессильного перед своим закаменевшим гневом.

Мы огибаем бесконечный, все не кончающийся лозняк, и все нет тех, до кого мы стремимся добежать, добраться.

И тут увидели: две минометные трубы, наклоненные в нашу сторону, стоят возле кустов. Брызнула автоматная очередь — это Косач. Мои глаза, замазанные болью, тоже выхватили что-то мелькнувшее впереди. Я, не целясь, выстрелил туда. Выстрелы ударяют, рвут воздух сзади, сбоку. Один Переход бежит, не поднимая автомата, не стреляя.

Кусты выпрямились стенкой, и мы видим их: бегут пятеро или шестеро. Они так торопливо и беспомощно пытаются забежать за неблизкий край лозняка, особенно один из них, отставший, коротконогий, с отвисшим задом немецких солдатских штанов, что все вдруг окрашивается каким-то жестоким весельем. И самое нелепое — от едкой гари, от бега и они и мы кашляем. Бежим, на ходу стучат поспешные выстрелы, вот-вот начнут падать убитые, а они, а мы не можем удержаться от самого простого — от надсадного, мешающего кашля.

Они почему-то не бросаются в кусты, а все бегут перед нами, видя, наверное, только край лозняка, который их закроет от нас, от наших выстрелов. Чем ближе этот край, тем резче, торопливее стрельба. И вот уже, как разваливающееся что-то, по одному падают: направо, назад, налево. Двое все-таки заскочили за лозняк. А самый последний из убегающих, старательный, неловкий толстяк, еще успевает оглянуться: глаза, перекошенный рот человека, видящего свою смерть...

Косач, прострочив по нему, тоже оглянулся предупредительно, строго, чтобы не задерживались возле убитых. Переход бежит, не замечая упавших. Те, кто ему нужен, впереди, ему нужны живые, живые...

И вот они снова, оставшиеся двое. Сначала мы их услышали: их надсадный кашель, как слабое эхо, отзывается на наш, в десяток глоток кашель. Снова выпрямился лозняк, и снова они перед нами, открытые, обреченные. Оглядываются.

Один тут же выпустил из рук винтовку и наконец нырнул, вломился в кустарник. А второй все бежит прямо, хогя видно, что сам он чувствует, сознает, что это его последние шаги.

Переход перечеркнул его короткой брезгливой очередью и пробежал дальше, даже не взглянув на убитого. Нет, раненого... Как после пронесшегося над ним танка, раненый зашевелился и, не поднимая лица, пополз нам навстречу. А руки, окровавленные пальцы, которые он словно разглядывает пристально, так дико похожи на гусиные лапы... Он прополз и замер в трех шагах от меня, согласившись, что да, убит!..

А мы бежим следом за Переходом, Косачем, облитые потом, и никак не можем освободиться от нелепого кашля, бежим, как бы точно зная, что не эти главные, что главное — впереди.

— Власовцы, сволочи! — крикнул кто-то запоздало про убитых. Я оглянулся и увидел, как партизан, на миг задержавшись, перевернул тело толстяка и выдернул из-за его пояса длинную гранату. А ведь, и правда, винтовки у них не немецкие! Да и мундиры вроде пожелтее...

Мы еще раз оглябаем лозняк, оставляя выбитую не нами дорожку левее, она ушла из-под ног в задымленные, горящие торфяные дали.

И тут мы увидели: из-за лозняка нам навстречу выбежали люди в зеленом, немецком. В касках, с автоматами!.. И в этот же миг из лозовой чаши вырвался, вывалился назад недавно нырнувший туда власовец и побежал навстречу немцам перед нами. И он и мы несемся, как с кручи и будто над острыми камнями. Сознать, как бывает во сне, что надо остановиться, пока не совсем поздно, но уже не в силах сделать это, не можешь и даже боишься: пока бежишь, все продолжает-

ся, как только остановишься, потащит тебя, покатишься по острым камням, поливая их кровью...

Скрипнула автоматная очередь, наша, не наша, еще и еще. Немцев выбежало из-за кустов десять, не больше, а мы открыты все, вся сотня, если не полторы. И что-то неотвратимое есть в нас, несущихся прямо на них (мы это сами чувствуем, сознаем, как бы видим себя!), потому что немцы вместо того, чтобы залечь и расстреливать нас, метнулись туда. сюда и вдруг, повернувшись торопливыми спинами к нашим выстрелам, побежали.

Я невольно оглянулся на нас, на нашу силу, которая так подействовала, так смяла этих немцев. Мне и радостно, и страшно. Гнать их, гнать!.. Это недолгие, уходящие минуты (ты это сознаешь, знаешь), потому что наступит миг, когда кончится и эта погоня по пружинящей торфяной земле, и это чувство. Наш разгон будет продолжаться, но уже как у сорвавшегося с кручи: по острым, по ловающим тебя, твое тело камням!..

Переход все несетя вперед. Остальных я только чувствую рядом, позади, а его вижу. Глаза мои, заливаемые слезой, больно вцепились, держатся за него, как за что-то самое главное и последнее, что осталось от меня на всей земле. Я невольно повторяю его движения (не то на самом деле, не то лишь мысленно, лишь в глубине собственных мышц), все больше сливаясь с этим тяжелым, огромным человеком, закованным в бесформенный, каменного цвета брезент.

Медленно-медленно, как бы раздумывая, Переход поднимает автомат, двумя руками, как тяжелый молот, над каской невысокого немца, бегущего прямо перед ним. Медленно поднимаются локти, руки... Но чья-то пуля выбила немца из-под автомата Перехода, отшвырнула в сторону. Переход, не взглянув туда, настигает уже следующего. Кажется, что он (что ты) не способен остановиться, пока живой, пока сам не упал, будешь вот так бежать вокруг леса, пока кто-то есть впереди.

Немцы, которых мы настигаем и расстреливаем на бегу, все пытаются обогнуть лозняк, закрыться им, а мы не знаем, что, кто там впереди, может быть, лежат уже, ожидают нас с пулеметами...

Глаза мои совсем плывут в горячей радуге — синее, оранжевое, красное! Все смазано, расплывается, и я

держусь, вцепившись взглядом, за темную фигуру Перехода, как за самую реальность.

Я не знаю, сколько длился наш бег, сколько времени сжималась пружина под нашим внезапным напором. Но помнится дикое, неразумное облегчение (как у переставшего бежать, все разгоняясь, с каменной крутизны и наконец покотившегося!), которое острым холодом полоснуло душу. когда мы выбежали на открытое место и сразу увидели перед собой ждущую, залегшую за торфяными кочками неподвижную немецкую цепь. Каски, каски, каски...

Но Переход не останавливается, не падает, и это меня удерживает на ногах, хотя все во мне сразу каменно отяжелело.

— Ложись! — крикнул Косач, но тоже не падает, ему тоже мешает сделать это Переход. А Переход еще быстрее побежал, отрываясь от нас, от падающих один за другим партизан. Ни стрельбы, ни голоса человеческого — немая тишина, уходящая, падающая в невидимую (но она рядом!) пропасть.

Уже на земле, лежа, я ощутил, как что-то пронеслось над нами, будто поезд, срывая с нас воздух, срывая меня с земли, заставляя жаться к ней. Поезд все несется, нескончаемый, низкий, широкий, над самой головой, над моими плечами, вот-вот зацепит, поволочет, искромсает — пулеметы и автоматы просто воют! Когда я оторвал голову от пахнущего гарью торфа и глянул сквозь плывущую радугу, Переход все еще был здесь, хотя, казалось, целая вечность пронеслась. Но он уже не бежал, он стоял и медленно разворачивался лицом к нам, как бы поворачиваемый бьющим в упор пулеметом (кажется, я увидел и рвущееся пламя, и даже руки немца). Переход развернулся к нам лицом, оно было неправдоподобно спокойное, прислушивающееся. Человек все не падает, но над ним несутся низкие легкие тучи, и кажется, что там он падает, как вершина срубленного, дрогнувшего, но все еще неподвижного внизу дерева...

С момента, когда он упал и мои глаза потеряли его, кажется, что именно с этого момента все изменилось.

Мягкие торфяные кочки вскипают перед глазами, они дымятся, брызжут, не закрывая, а указывая путь к твоей голове. Когда такой грохот, рев, кажется бессмыс-

ленным занятием стрелять. И надо поскорее выстрелить, чтобы ощутить, что можешь хоть на миг все заглушить.

Косач жив, я вижу его перед собой: он тоже прострочил из автомата и все поворачивается назад, ищет. Мне кажется, что мой взгляд ищет. Я поднимаю голову, хотя так тяжело оторвать ее от земли, от рыхлой кочки. Губы Косача что-то говорят, кричат что-то сердитое, а я не могу разобрать в громе и грохоте смерти. И наконец сквозь недолгую тишину:

— В обход... начштабу...

И рукой махнул, округло показал, как бы обнимая лозняка.

Нет ничего гаже, но и веселее — отходить под огнем, когда не убегаешь, нет, не гонят тебя, а сам должен уходить, по делу, по приказу. От близких пуль что-то в тебе сжалось до точки, но не захватывая всего тела, которое, наоборот, сделалось предательски огромным, неловким, отовсюду видимым. Каждый человек, мимо которого проползаешь, — черта, тобой преодоленная и оставленная, на ней чья-то жизнь и чья-то смерть, но уже не твоя. И в упор или вслед тебе тревожно-вопросительные глаза, взгляды («...Что? Отходим? Так плохо?») или гневные, требовательно-презрительные («Уползаешь? Хочешь, чтобы я тут, а ты...»). Отвечать, объяснять некогда, ты должен видом своим показывать, что не убегаешь, не струсил, что ты послан, тебе приказано ползти назад.

До спасительного края лозняка еще далеко. А глаза, чужие глаза все хватают меня, спрашивают, требуют, и надо быть веселым, легким, чтобы сразу понятно было, кто и зачем ползет. С таким лицом не убегают! Я плохо вижу и потому улыбаюсь — на всякий случай — всем. И убитым тоже. Несколько раз меня по-собачьи рвануло за рукав, за локоть. Замираю, ожидая, что вот сейчас всему конец! И появляется с трудом подавляемое желание вскочить на ноги и бежать, бежать туда, где край леса, за него. Туда отползают раненые, туда их тащат. Глаза у раненых изумленно остановленно детские, будто человека сразу отбросило далеко-далеко от того, чем еще миг назад жил.

За лозняком их много, раненых, тут звучат голоса, стоны, отсюда и бой слушается по-другому. Уже не сплошной нависающий грохот, рев, а и отдельные вы-

стрелы, очереди пулеметные, автоматные. Они то сцепляются многозубо, то одна за одной катятся и вдруг затихают на время. Такой бой надолго, пока боеприпасы есть. Только бы хватило у нас патронов. На лицах, на руках, под порванной одеждой людей, ползущих куда-то, уносимых или спокойно, мертво лежащих, вспыхивающие размытые красные пятна. Я ползу, я пробегая мимо, дальше, а в глазах это и все не уходит. Я повторяю, может быть, даже не вслух, про себя:

— Командир мне приказал. Я к первой роте. Приказал Косач...

Бегу уже во весь рост, там, где недавно мы преследовали немцев. Вот и они, убитые. Оружия возле немцев уже нет, и лежат они не так, как упали. Это сразу заметно, трогали или нет убитого. Даже не знаю, по каким признакам, но заметно. В убитом всегда остается последнее движение, последняя попытка спастись. И всегда они по-разному лежат. А эти все одинаково, лицом кверху. Я пронесся над неподвижными глазами мертвых и некоторое время бежал, как бы забыв, куда, зачем.

Нет, я к начштабу, ничего еще не кончилось, мы должны, нам надо в обход, сзади зайти, выручать своих...

Впереди меня поджидают власовцы. Они дальше от стрельбы, от боя, смерть настигла их раньше. В телах, в позах больше мертвой распластанности, тяжести... Как давно все это было: вот тут мы бежали, а они перед нами, спасались от нашего гнева, от смерти, а Переход их преследовал, мчался навстречу собственной смерти. Бой все гремит, длится, неизвестно, что будет через пятнадцать минут, через полчаса со мной, а я уже вспоминаю бой как что-то давнее и далекое.

Я домчался, увидел своих: лежат, напряженно изготвившись к бою, а несколько человек тут же стоят, курят, ждут. Как бывает на групповых фотографиях. А раненых, носилок не видно, куда-то их оттащили, спрятали, может быть, в кусты, но нет времени все понять, я подбегаю к Косте-начштабу, который курит, сидя на вещмешке, я выкрикиваю ему приказ Косача:

— Вокруг лозняка!.. Обойти, бегом надо!.. А то сомнут наших, командир приказал!..

Костя смотрит на меня все так же, не поднимаясь, но во взгляде, в глазах его что-то резко и жестко сдви-

нулось. Наконец он сунул папироску под сапог, еще придавил ее крепко и тогда поднялся:

— Все, кто не при раненых, сюда! За мной — бегом!

Теперь лозняк у нас слева, мы бежим, снова огибая его и слыша бой на противоположной стороне леса. Лес этот, лозняк этот, оказывается, совсем небольшой и круглый. Лишь кое-где кусты, отрываясь, уходят, убегают по торфянику к бурым и черным кучам, а в одном месте заросшая канава, мы ее сейчас минули. Старая, тесная от лозняка мелиоративная канава, давно высохшая, уползает к тем же торфяным барханам.

— Вернись-ка! — Костя-начштаба остановился, задержал одного партизана. — Вернись к оставшимся и скажи: сюда раненых, в эту канаву. Понял? Пусть несут и лягут тут. Веди их сюда.

Партизан побежал назад, а мы снова устремляемся вокруг лозняка — туда, где гремит бой. Но нам уже кажется, что бой сдвигается все левее, уходит от нас. На бегу я пытаюсь рассказывать Косте-начштабу, как мы гнались за власовцами, за немцами, как перед нами оказалась цепь с пулеметами, как Косач мне прокричал, показал, чтобы шли в обход, с тыла ударили. Костя напряженно слушает и меня и бой, который на самом деле удаляется. По тому же кругу уходит. Неужто сбили Косача, теснят?

Справа за ядовито-синим пологом прозрачного торфяного дыма мы увидели далекие купчатые (наверное, сад) деревья и несколько крыш. И дорога виднеется туда, оттуда. По ней, по этой дороге, пришли немцы? Вот и следы, тут и на лошадях ехали. Скоро, сейчас мы их увидим, они нас! Торфяники тлеют, голубоватый дым съедает даль, крыши и деревья тают, плывут. Ветер оттуда, и нас снова душит кашель, мешает, сбивает с бега.

Мы их увидели возле оседланных, навьюченных лошадей и сразу бросились к ним. Очереди автоматные сплелись, резко ударили винтовки. Люди в зеленом стали вскакивать с земли, отстреливаются. Лошади, раненые или убитые, очень тихо опускаются на землю. Сначала на колени, потом ложатся. Стоит, будто дожидаясь, и вдруг, как рябь на воде, задрожит от крупа до шеи и падает на задние, на передние ноги...

Мы погнали обозных немцев в сторону большого боя, вслед ему. Они яростно отстреливаются, и нам сно-

ва и снова приходится падать и подниматься, ползти, стрелять.

Теперь лозняк, небольшой лес этот, как бы окольцован стрельбой. И этот кольцевой бой, бой по кругу, медленно вращается. Немцы потеснили, теснят Косача, а мы их тесним. Костя-начштаба снова послал связного: снять тех, что оставлены в канаве, уводить, уносить следом за нами, по кругу наших раненых.

(Что происходило и как это получалось (как на рисунке: круг, «кольцевой» бой!), хорошо видно отсюда, издали — из автобуса, из памяти. Тогда же было голько ощущение непредвиденности, странности происходящего и даже невозможности. Пожалуй, в такое и не поверил бы, если бы не с нами это происходило.)

Вот, кажется, то место, где нас встретила цепь немцев с пулеметами. Земля, торф тлеют, везде стреляные гильзы, ржавые пятна впитавшейся крови, красно-белые бинты, клочья одежды. Но убитых не видно. Косач унес наших. И немцы тоже забрали своих. Лежат, остались на месте трупы власовцев. Но их снова потревожили — все они без ремней и подсумков, а один и без сапог.

Надо бы приостановиться и дождаться своих раненых (из той канавы), надо бы быстрее бежать, чтобы настигнуть основных немцев, которые теснят Косача. Но у нас времени нет ждать, да и сил уже не остается бежать. Мы то срываемся на бег, то бредем, задыхаясь от ядовитого чада, кашля. Солнце — как красная круглая дыра в шевелящемся от дыма и облаков небе.

Коло боя вращается вокруг леса, не имея возможности разорваться: ни мы, ни немцы не решимся броситься в сторону, где горят торфяники, или уходить по дороге, открыв себя пулеметам. Автоматные очереди там, где немцы и Косач, звучат все реже. Уже не бой, а как бы предупреждающее рычание. Это на противоположной стороне круглого леса. Кто кого теперь преследует, кто гонит, а кто уходит, кто позади, а кто впереди?

А солнце, красное, большое в шевелящемся дымном небе — точно раскаленное, направленное в упор жерло...

Вот снова та канава, где мы оставляли своих раненых. Костя-начштаба распорядился задержаться и ждать.

Залегли на всякий случай. Ждем своих, но кто появится на самом деле? От чада, от тошноты кружится голова, глаза совсем разъело дымом, а тут еще и кашель гонит слезы. Те, у кого глаза получше, уже видят наших, уже говорят, обсуждают, подсмеиваются даже. Это всегда забавно: наблюдать со стороны, как знакомые люди идут с опаской, с оглядочкой, «на цыпочках». А я вижу только собственные слезы — радужное что-то, горячее от боли. Затем и для меня что-то темное задвигалось, появилось. Впереди идут дозорные, а следом, по трое, по четверо — с носилками. Много их у нас, раненых, хлопцы совсем вымотались, посеревшие, мокрые, опустили, поставили на землю носилки и ругают нас:

— Бегаете, черти! От кого, от нас?

Раненые тяжело молчат, тревожно вслушиваются в стрельбу. Лишь те, кто без сознания, что-то говорят, говорят. Просят воды. Нам всем пить нестерпимо хочется. А от их сухого, горячечного шепота еще больше...

Но у некоторых раненых глаза, взгляд неправдоподобно спокойные, сосредоточенные. Это умирающие. Они умрут независимо от того, как окончится этот неправдоподобный бой. Когда смерть подступила к человеку и уже не уйдет, он остается один. Сколько бы и кто бы ни был рядом. (Я видел однажды, как умирал пожилой партизан в лесу. Возле него стояли два сына, тоже партизаны, и старуха. И все мы, кто был поблизости, подошли к телеге, на которой он лежал. Человек, не чуя уже ран своих, весь белый от бинтов, смотрел на нас вполне осмысленно, но так, будто нас и нет здесь, а только он и еще что-то, нам невидимое. Старуха тихо покачивалась над ним, держась обеими руками за телегу, а когда взгляд умирающего еще глубже уходил от нас, удалялся, она начинала нараспев говорить, причитать:

— Тихон, я плачу, видишь, и дети плачут, Тихон, и твои товарищи тут, Тихон, ты слышишь, мы плачем!..

Женщина так наивно, но и так понятно пыталась разорвать страшное одиночество смерти — одиночество последних мгновений человека. Меня кто-то убеждал, что последняя обязательная слезинка мертвого (о ней и Косач говорил, о последней, о вымороженной) — это

слезинка одиночества, страшной покинутости каждого перед лицом смерти.)

Косач со своими теперь должен появиться. Если только все так, как нам представляется, если они действительно по кругу идут и сразу вслед за нами. Костя решил дожидаться, и мы, изготовившись на всякий случай к бою, смотрим, кто сейчас появится.

С нами четверо умерших, убитых, их положили в сторонке, но тоже на носилках. Перетасовались мы, и теперь уже я возле носилок, мне нести. Я постарался стать так, чтобы нести не убитого, не мертвого. Ходить по этому слепому кругу, да еще с мертвым на руках! Живой легче — это проверено, не так притягивает к земле...

— Смотри, идут-то как, сразу видно, косачевцы!

— И Косач, да он ранен! Видишь, забинтовано плечо.

— Не Косач это. Нет, вроде...

— Остановились, заметили. Показать, позвать надо, а то еще бой затеют. Товарищ начштаба!

— Ага, боишься косачевцев!

— Верь им!

Наши несколько человек поднялись, вышли из канавы, машут руками, сигналият, поднимая и опуская винтовки.

Трое дозорных потоптались на месте, тоже сделали пароль оружием и уже веселее направились к нам. А из-за кустарника вытягивается вся цепочка косачевцев: передние с винтовками, с автоматами в руках. У идущих следом, кучно (по четыре, по шесть человек) знакомый нам вид людей, неловко, устало несущих раненых, убитых. Мы про себя и вслух считаем, сколько носилок. Да, тот, у кого забинтовано правое плечо, — Косач. Он без куртки, в одной гимнастерке и без знакомой фуражки. Автомат под левой рукой.

Костя пошел ему навстречу, потом остановился, стал ждать.

И вот мы уходим все вместе, и все убитые, раненые с нами.

— Тут ровнее, командир, тут уже дорожку пробили, — услышал я, как Костя-начштаба сказал Косачу.

А тот отозвался, коротко засмеявшись:

— Вот так, Костя, следу человеческому будешь радоваться!

И приказал:

— Постреляй, начштаба, отзовись. Чуешь, спрашивают? (Немцы по другую сторону леса время от времени стреляют.) Мы-то свои диски разбазарили. И скажи, чтобы поделились патронами.

— Патронами? — Костя недоверчиво усмехнулся.

— Ничего, прикажи.

Костя направил в сторону кустов автомат, дал очередь, вторую. Немцы отозвались тут же. Целым залпом очередей. Рады, что мы есть? Или что мы не близко, далеко?

И снова — как отметка на круге — трупы лошадей. А две лошади мирно бродят возле самых торфяных гор. Взмахивают головами, переходят с места на место — дым, гарь их мучит.

— Провалятся в огонь, — говорит бородастый пожилой партизан с перебитой ногой, которого мы несем на одеяле. Он натужно вытягивает голову, выглядывает из своего неудобного гамака.

— Сейчас сбегая, заверну, — сердито отзывается Ведмедь, вцепившийся в одеяло, в тяжелую ношу побелевшими пальцами. Пот ест ему глаза, заливает стекла очков. Низкорослому Ведмедю особенно худо: ему приходится не держать свой угол одеяла, а все время поднимать, тянуть его кверху.

— Рванул бы я по этой дороге, откуда немцы пришли. Сколько можно так ходить? — жалуется Ведмедь.

Мы вчетвером несем своего раненого. Держаться за концы одеяла приходится двумя руками, а винтовку тоже за спину не закинешь, нужна под рукой. Винтовка мешает, бьет по коленям.

И каждому кажется, что сосед не так держит, не так идет. И не то, не так говорит.

— А ты узнал, кто тебя поджидает на этой дороге?

— Вот и узнаем.

— Лучше вот держи как надо! Уходить, так назад, к болоту. По которой мы пришли. Усатый хитер, сидит теперь и бульбочку печет. А мы кружись, как слепая лошадь.

— Сидит и в ус не дует, — флегматично позавидовал белобрысый парень.

— Иди-ка в ногу, — распоряжается сердитый от усталости толстяк Пухов, который всех нас все поправ-

ляет.— Что ты на куст прешься? Он хочет (это снова Ведмедю) на дорогу выбежать. А я тебя из пулеметов и накрою. Немцы только и ждут, чтобы мы оторвались от этого проклятого леса. Да не тащи ты, подними высье!.. Припрут на открытом, куда побежишь? В горячие ямы?

— Коней жалко, провалятся,— снова говорит раненый. Он нас не слышит — оглушило миной. Голова, худая шея бородатого дядьки по-птичьи тянутся кверху из глубокого гамака.

— Извините, хлопцы, тяжелый я,— просит раненый.

— Ничего, батя,— говорит белобрысый флегматик.— Перехода вшестером еле-еле! Только зачем — мертвого?

Ведмедь вдруг удивился:

— А правда! Такая война, что и за мертвого боишься. Где уж там раненого оставить противнику.

Мы все уходим от немцев, унося своих раненых, убитых, и как бы даже понимаем, почему мы ходим и они ходят, почему они не остановятся, не залягут и не навяжут нам бой (у них для этого патроны есть, у них всегда почему-то есть патроны). Ждем, что вот сейчас напоремся на засаду. Уходим от них, идем следом за ними, прислушиваясь к угрожающей (а может, предупреждающей?) пальбе.

Все-таки первое то ощущение, когда мы налетели на них, когда гнали, опрокидывая, а они убегали, наверное, продолжает действовать. Немцы и сами, пожалуй, не знают определенно, преследуют они нас или уходят от нас. Возможно, тоже ждут и боятся нашей засады. И, может быть, думают про то, как бы от нас оторваться, уйти; про то, как им сорваться с этого заклятого круга, с этой бесконечной орбиты, не подставив себя под огонь и не провалившись в ямы.

Переход, оба Перехода — и раненый младший и убитый старший — у нас за спиной. Впереди несут комиссара Шардыку, говорят, уже умершего. Время от времени мы меняемся местами с теми, кто идет впереди отряда, и с теми, кто прикрывает отряд сзади. Или неси убитых или жди, когда из засады ударят в тебя переднего. Но устали так, что любой охотнее пойдет впереди колонны. Пот, едкий, горький от дыма, обливает все тело, его просто спиваешь с лица, так он струится, так

заливает губы. Теперь я несу Перехода-старшего, мы вчетвером несем, и вместо носилок — его брезентовый плащ. Ногтям больно, такой он тяжелый, так тянет мертвое тело к земле. И самому хочется упасть и не двигаться, погрузиться в усталость без остатка, сладко замереть. Глаза мои плавают в радуге, все окрашено многоцветно, но все чаще, как тень, наплывает черная полоса. Вдруг вышло наверх все, что копилось эти дни, слилось в одно тупое чувство самой последней усталости, за которой уже полное безразличие — даже к самой смерти.

Немцы все стреляют за лесом, а мы уже молчим. Наше молчание их беспокоит, пугает, и стрельба все усиливается. Сколько минуло с того мгновения, как разорвалась первая мина и мы бросились на власовцев? Вот они, лежат перевернутые, глазами к небу, для них прошла целая вечность. Даже секунда смерти — такая же вечность, как и миллион лет. А над нами еще ходит живое солнце, оно сделало большую часть своего полукруга, пока мы вертим свои жернова. Сколько раз их вертели и до нас... Еще много раз обойдем вокруг леса, прежде чем солнце скатится за те дымные холмы. А потом что? Что потом произойдет, неизвестно, но только об этом и мечтаешь: скорее бы оно свалилось с дымящегося жаркого неба и перестало плавить, сжигать нас. Я наклоняюсь к своему локтю, чтобы протереть глаза, и вижу близкое лицо Перехода. И как-то нехотя удивляюсь тому, что оно совсем не потное. О чем я, куда это соскальзывает мое внимание?.. Кажется, ни до чего уже нет дела, и вместе с тем замечаешь самые подробности.

Завораживающее что-то в этой дикой ходьбе по своему и по чужому следу. Мы уже дорожку пробили в торфе, мы и немцы. Сколько же мы кружили? И сколько нам еще ходить?.. Нет, мы уже не ходим. Ноги сладко вытянулись, они гудят, как пропеллер, а закроешь глаза, так и впрямь кажется, что тебя поднимает, что ноющее, дрожащее каждой мышцей тело твое покачивается над землей. Тошнота усиливается от такого покачивания, торопишься открыть глаза. Мы лежим в той самой, заросшей лозняком, канаве, нас тут оставили. Костя-начштаба предложил Косачу спрятать несколько человек и посмотреть, как идут немцы, сколько их, что у них и чего ждать от них. Начштаба сам



остался с нами. Четверо нас в этой канаве. Мы еще видим наших косачевцев, смотрим, как они уходят. Много носилок, слишком много. Люди едва ноги переставляют, пошатываются от усталости, от жары, от чада. Живых душит, бьет кашель. Когда лежишь спокойно, кашель не так мучит, но и нас он не покидает, особен-



не тучного Пухова. Костя спрашивает время от времени:

— Ну, не надоело?

Человек рукой, кепкой пытается заглушить кашель, припадает лицом к земле, виновато смотрит мокрыми красными глазами. Оправдывается:

— Воды бы.

— Сейчас поднесут немцы, — говорит Костя-начштаба, — ползи-ка ты, дядя, по канаве вон туда, подальше. Но тут закашлялся Зуенок, а затем и сам начштаба.

— Все равно ползи, — говорит Костя, — хватит тут и без тебя хрипунов.

Тучный партизан пополз, не переставая давиться кашлем, а мы ему показываем: еще слышно, дальше, еще дальше!

Лежа можешь хотя бы глаза протереть. Когда не мог, когда заняты были руки, казалось, что только протереть их хорошенько, снять эту щекочущую слезу и станет легче. Платка у меня, разумеется, нет, а все остальное такое измазанное грязью, сажей, что к глазам не поднесешь. Я вытащил низ натальной рубахи, желтой и соленой — самое чистое, что у меня есть, — и ею тру глаза. А солнце плавится в шевелящемся дыму, тоже воспаленное, оно с каким-то зловещим синюшным отливом. Солнце жжет, палит, а во мне озноб. Кажется, что и в воздухе, прокаленном, продымленном, разлит этот озноб, спины торфяных холмов-зверюг дрожат мелко, непрерывно...

Вот они — передние немцы, дозор! Это всегда особенное чувство — из засады смотреть, как появляются перед тобой враги. Вы никогда один одного не видели, не знали, что другой есть на земле, но где-то что-то сложилось так, а не иначе, и нет теперь людей, более связанных друг с другом, чем вы. Одна жизнь на двоих, одна смерть на двоих — делите!

Но мы не засада, мы сами себя посадили в ловушку. Тут и останемся, нас убьют в этой канаве, если немцы вдруг решат осмотреть ее или мы обнаружим себя кашлем, который начинает вдруг клокотать во мне, в Зуенке, в Косте. У нас по очереди делаются испуганные и виноватые лица. Мы бросаемся лицом, ртом на руку, в землю и не кашляем уже, а тихо гудим, стонем.

В зеленых мундирах или в пятнистых накидках, в касках идут немцы. По одному и группами. И все смотрят на лозняк, настороженно держатся, отступая от кустов. Они оттуда ждут нашего появления? Вот оно что! Немцы считают, что загнали нас в этот лозняк (мы уже давно не отзываемся на их выстрелы), что мы засели в

лесу. Ходят и дожидаются, когда мы выбежим на открытую местность. Вот один остановился и застрочил из автомата в глубину леса. И сразу другой, третий выстрелили из винтовок. Кустарник обстреливают. В нашу сторону они не смотрят. Много их, больше сотни вывалило из-за края лозняка, и все новые появляются, идут по направлению к нашей канаве. Те, что в середине колонны не смотрят на кусты, не стреляют: эти несут раненых, убитых. И так же, как мы, на плащах, на одеялах, по четыре, по шесть человек возле ноши, спотыкаясь, мешая друг другу. Водит их в стороны. Слышны вялые голоса. Все ближе подходят немцы, и их кашель, спасительный, громкий, слышен нам. Свой мы зажимаем в себе яростно — кто ладонями, кто рукавом. Вот уже и последние немцы появились из-за кустарника. Эти сбились в плотные группы и не на кусты смотрят, а назад оглядываются, ждут нас сзади. Весь вид их показывает, что не они нас, а мы их преследуем. Передние убеждены, что загнали нас в кусты, что преследуют нас, а этим кажется, что партизаны теснят, гонят их.

Повернется, построчит из автомата назад и догоняет своих, на ходу вытаскивая из сапога или из сумки новый «рожок» с патронами.

Сначала мы все ждали, что нас обнаружат. Но вот они совсем рядом: кашляют, разговаривают, стреляют метрах в пятидесяти от нас. Наша канава упирается прямо в лозняк, и немцам приходится спускаться, пересекая ее. Все подступило вплотную, кажется, что идут прямо на нас — вот-вот на голову наступят. И все в то же время отдалилось, точно не ты это лежишь здесь или ты, но не теперешний, а было это когда-то с тобой и уже прошло, минуло и только вспоминается до жути реально...

Ушли немцы со своими ранеными, со своими убитыми, вслед нашим ушли, и мы стали ждать снова появления партизан, Косача. Теперь мы своих видим так же со стороны, и хотя другими глазами, по-другому, с радостным чувством возвращения к самому себе, но опять показалось на миг, что и это лишь воспоминание о чем-то происходившем с тобой давно-давно... Подполз, присоединился к нам и Пухов. Он все кашляет, но теперь открыто, приветствуя нас, жизнь, безопасность своим радостным, уже не стесненным удушьем

кашлем. Костя-начштаба постучал кулаком по его толстой спине, но и сам закашлялся и засмеялся.

Мы направляемся к своим, помахали им оружием и теперь идем навстречу. Вошли в колонну, слились с нею, с ее движением. Теперь нам весело рассказывать, как близко были немцы, как мы их рассматривали и какие они.

И снова идем вокруг леса, унося своих раненых, убитых, настигая врагов и уходя от них, и уже не верится, что было что-нибудь, кроме этого бесконечного хождения под огромным безжалостным солнцем, и что будет, возможно, что-то другое. Становишься все более безразличным, далеким самому себе. Нас, живых, точно меньше делается, а тех, кого несем — раненых, убитых, — больше. Уже нет подмены, уже и шестерым тяжело тащить мертвую ношу или раненого.

Солнце почти завершило свой полукруг, оставляя нас одних. Жара спала, но усталость большая, хотя, кажется, и невозможно устать сильнее. Торфяной дым сделался гуще, ядовитее, кашель душит всех, раненых тоже. Только убитые тихо лежат в провисших гамаках-одеялах, на которых мы их носим.

И по мере того, как красное, с дымным, синюшным ободком солнце спускалось за почерневший край земли, за торфяные холмы, а небо поднималось до самых мелких звезд, из черной земли начинал выступать, выделяться, начал трепетать, дрожать свой свет — зловещий, нутряной. Он тоже подсинен торфяным дымом, этот встающий снизу воспаленный свет земляного пожара. Он уже везде, все более широким кольцом замыкает и нас, и лес, вокруг которого мы ходим, и невидимых, где-то постреливающих немцев. Уже не знаешь, где они, те тропы, по которым сюда прошли мы, немцы, по которым можно вырваться назад или вперед. Огонь везде, и он наступает. Глянцевые отблески его на лозняке, на наших лицах и лицах мертвых. С каждым кругом те убитые, которых и мы, и немцы оставили на земле — власовцы, — в чем-то меняются, всякий раз они по-другому нас подстерегают. Разбросанно белеют трупы, и они то ближе (начинает казаться) друг к другу, то расползаются, пока мы и немцы делаем следующий круг. Потом замечаешь, что они на том же самом месте и все те же. Отмечаешь это с бессмысленным, случайным интересом человека, который

устал смертельно. Мы все чаще останавливаемся: опускаем на землю раненого и сами падаем возле него, как убитые. А потом он голосом, рукой, будит нас по общей команде. Кто-то там впереди, Косач, Костя-начштаба, кто-то распоряжается, но уже через раненых — они теперь самые свежие, живые, не замученные, они нас будят, толкают. И мы снова несем их, несем убитых, вяло и тяжело. Что-то в это время делают наши враги, наверное, такие же вымотанные, делают то же, что и мы, — уходят от нас и догоняют нас. И мы и они слишком выпотрошены, измотаны, чтобы остановиться и завязать бой.

Где-то есть дорога, по которой мы пришли, по которой пришли наши враги. Можно попытаться по одной из этих дорог вырваться из сжимающего кольца земляного пожара. Но сразу откроешь себя пулеметам другого, другой тут же воспользуется преимуществом преследователя. Земляной огонь все разгорается под темнеющим небом, он так плотно нас окружает, что уже не верится в какие-то уцелевшие дороги, тропки. Где они там? Но они есть, не мог за один день торф подгореть кругом, везде. Надо только найти ту дорогу, но прежде обезопасить себя от преследования.

А пока остановились, вслушиваемся, где немцы, где стреляют. Можно упасть и лежать... Снова нас будят раненые, окликают:

— Хлопцы, подъем, подъем, разбудите того!..

Надо подниматься. Но можно побыть еще миг в состоянии сладкого забытья, пока не все еще встали. Толкают, надо...

Ага, мы сейчас на том месте, где убили лошадей. Сюда подходит дорога, по которой немцы появились. Значит, по ней будем уходить, нам туда прорываться. Значит, будем уходить...

Сразу слетела сонливость и даже про усталось как бы забыли.

— Раненых уносите, вторая рота уносит раненых, — бормочет с носилок молодой партизан, у которого на лбу набухшая кровью повязка, а лицо закорело, черно блестит от засохшей крови.

— Первая пойдет, первая навстречу немцам, — напряженно вслушиваясь, привычно повторяет команду раненый, строго глядя на нас с земли, точно мы, и правда. спим или сами неспособны расслышать. Нет, я пой-

ду с первой, мы пойдем навстречу немцам, а тем временем наши унесут раненых как можно дальше. Наконец — и вот так это кончится — мы повернем, мы двинемся назад, навстречу врагам, и все, что было в эти дни, что копилось на бесконечных кругах, разрядится. Может быть, смертью, но разрядится. Глаза мои все залиты слезой, но я словно привык уже к этому состоянию — к тому, что все, мною видимое, расплывается, тает, окрашено болью и радугой...

Тем, кто пойдет на немцев, собирают и передают патроны. У меня немецкая винтовка, мне нужны немецкие... Ага, уже идем, уходим, ну вот и хорошо! Мы оглядываемся на своих, пока еще можно видеть. Неловко, устало, яростно вцепившись в одеяла, в брезент или просто так, за руки, за ноги уносят раненых, убитых, вытягиваются в тревожную и торопливую процессию, уходят навстречу дымному зареву. Нет, нам уже не вернуться к этой дороге, мы это знаем, нас мучит тоска этого знания, и чтобы заглушить, задавить ее в себе, мы все ускоряем шаг. Пятнисто блестит листва лозняка, лица у людей окрашены зловещим земляным огнем, тени от кочек и рытвин, от кустов кажутся черными ямами... Мы уже бежим, откуда-то сила взялась бежать, мы расходует какой-то НЗ, последний запас, который раньше бессознательно приберегали. Теперь уже незачем приберегать. Меньше чем полкруга сделаем и тогда найдем, встретим тех, от кого уходили, кого преследовали. Костя-начштаба с нами, когда он оглядывается на бегу, мне кажется, что лицо его, глаза его неестественно веселые.

Впрочем, я плохо вижу, мне многое только кажется.

Мы уже устали бежать, дышать нечем, перешли на торопливый шаг. Цепь наша сильно перекосилась, крыло, которое дальше от леса, отстает. Как воду в низинку, всех сносит к лесу, где и рытвин не столько, и круг поменьше.

Справа у нас неровно подсвеченная стена лозняка, слева изломанный торфяными холмами горизонт, съедаемый огнем — красным, желтым, синим, даже черным. Даже чернота какая-то пылающая, плавящаяся.

Прошли канаву, еще прошли и увидели лежащих людей. Это мертвая засада — власовцы. Знакомыми

пятнами белеют на земле трупы. Что-то мстительное, злорадное в их неподвижности, успокоенности...

Костя-начштаба все оглядывается на нас, как бы прикидывая, сколько времени эти тридцать или сорок человек смогут продержаться. Мы отбежали, отошли достаточно далеко от своих, давно уже не видим их, а немцев нет. И не слышно больше, чтобы они стреляли.

А что если и они одновременно с нами решили вернуться и идти нам навстречу? И потому снова уходят от нас и сейчас натолкнутся на наших раненых. Костю-начштаба явно беспокоит это. Немцы будто сквозь землю провалились. И не стреляют больше, а до этого все время мы их слышали.

— Вон они, смотри! — крикнул кто-то обрадованно, облегченно. В километре, если не больше, от лозняка какое-то живое движение, подсвеченное дымными заревами. Да, они уходят по дороге, которая нас сюда привела.

Там их встретят усатый командир, его отряд.

А в противоположной стороне нас поджидают другие немцы — внешнее кольцо блокады.

Мы завершаем свой последний круг, чтобы все-таки убедиться, что немцы действительно ушли, что ушли все.

Нам надо догонять своих.

...И все-таки, почему за Косачем мне видится Борис Бокий и, наоборот — Косач за Бокием? Я ведь не очень понимаю, что такое Косач, чтобы их сравнивать. А Бокия я и не видел никогда, только слышу его спорящий голос. Бокий — весь из книг, из библиотеки, из радио и газет, а у Косача все это от войны. Что это, я, пожалуй, и не сформулировал бы точно. Горькая, безрадостная, порой ожесточенная мысль о людях, о человеке? У одного густо настоящая на собственной жизни, у второго выросшая из опыта других, но принимаемого очень лично. Порой (у Косача) это оборачивается какой-то остановившейся (как его улыбка) мыслью, утопленной в действии, поглощенной действием; у других же, как у Бокия, размышление, мучительное, постоянное и есть действие. Бокий напоминает человека, не верящего в добрый исход болезни именно из-за слишком

мучительного, страстного желания такого благополучного исхода. Мысль его на лету, как спазмой, перехватывает нетерпением, горечью, болью. (Такая же спазма, но уже переходящая или перешедшая в ожесточение, чувствовалась и в Косаче. Особенно это прорвалось в нем после Переходов, на том болоте.) Бокий порой мне представляется Косачем, но который вдруг разговорился...

...И то сказать, нет сегодня спокойного понимания. Если оно спокойное, значит, человек не понял всей угрозы. Я изображаю перед Бокием такое уравновешенное понимание, но он явно не верит мне, видит в этом полемический, дразнящий прием и еще рефлекс слепого, привыкшего избегать резких движений. А сам он, мой постоянный оппонент, весь из таких движений! Порой он так нащупывает, угадывает мои собственные сомнения, мою боль, что его можно было бы принять за свое оппонирующее «я», без которого нет «стереоскопического», объемного взгляда на события — на мир и самого себя...

— Вот, полюбуйте, Флориан Петрович, какой себе праздник устроили — патриотический! — даже из суда над убийцами Сонгми! Тысячи писем шлют лейтенанту Уильяму Колли, который взял на себя национальное бремя убивать. А он драпируется, кокетничает: «Скажет мне большинство (вчера изъяснялись: «Фюрер скажет»!) убить целую страну — убью! Я всегда буду ставить волю Америки выше своей совести!» Заметьте разницу: Клод Изерли, участвовавший в убийстве Хиросимы, сам напрашивался в тюрьму, под суд, пока не спрятали «национального героя» в сумасшедший дом. Там война все-таки против фашизма была! А этот только удивляется: «Убийство? Смешно! Вы же меня послали, я выполнял долг! Так какого черта!» — не смешите Колли. Сегодняшним изерли смешон суд совести. И всякий другой тоже. Хотя в отличие от Клода Изерли они будут знать, какой груз в брюхе их самолета или в пасти ракеты... Вот так, Флориан Петрович, а вы меня еще уговариваете! По-прежнему полагаетесь на мое божественное терпение? Все знаки расставлены, показаны. Выбирай, человек, куда идти! Мало, что ли, знаков: Бухенвальды, Хатыни да Хиросимы... А где-то и по-

следний. Дойдешь — возврата не будет. Раньше за человека природа хлопотала. Теперь сам похлопочи. Ей уже не справиться с твоими бомбами да фашизмами. Самому придется справляться, homo sapiens!

И все-таки! Так-то оно, но и не так, дорогой мой Бокий. Когда-то Гегель бросил горькую мысль, что история учит лишь тому, что она никого ничему не научила. Казалось бы, и сегодняшнему человеку есть от чего прийти в отчаянье: снова Хатыни, снова адольфы!.. Снова находят легковерных, все забывающих простакков, находят недалёковидных, находят жестоких — спять отыскался сухой хворост для ползущего огня. Снова коротенькие наркотические идеи и наркотики вместо идей.

Стрелка сдвинулась, подрожала и опять шарит где-то возле тех же делений...

Так и не научились люди ничему? Но ведь мы не знаем, да, Бокий, не знаем, где бы сейчас был мир со своими бомбами, не будь горького опыта тридцатых — сороковых годов!

И не будь у человечества тех пятнадцати минут...

Когда Нюрнбергскому суду, журналистам, солдатам охраны, публике (и подсудимым также) показали кинодокументы нацистских зверств в Европе (в Белоруссии, в Подмоскowie, на Украине, в Польше, в Югославии), показали Освенцимы и Хатыни (еще не называвшиеся Хатынями) и когда после этого зажегся свет в зале, люди, поднявшись, все повернулись и стали смотреть на главных убийц: пять минут, десять, пятнадцать... Молча смотрели на себе подобных, содеявших это.

Уже не пятнадцать минут, а четверть века длится он — взгляд в упор. Да, кое-где фашизм уже встал с той скамьи, разминает затекшие мускулы, сменил смиренноудивленную, искательную мину на наглую ухмылку. Он уже рычит сытым баварским голосом: «Сегодня Германия достаточно сильна. Мы имеем право требовать, чтобы все прошлое было забыто!»

Но новые фюреры нервничают, где бы они ни объявились.

Взгляд в упор длится...

Сонгми... И сразу вспыхивает, как в луче: Лидице, Орадур, Хатынь, Хатыни!..

Молодчики, избивающие ремнями за чтение книг... Сразу встает: костры из книг на площадях Берлина и Мюнхена!..

Штраус, Адольф фон Тадден, Голдуотер, Альмиранте... И сразу проступают соплевидные усики...

О них, о новых фюрерах, люди помнят все.

И они сами помнят о себе... Хотя так хотелось бы забыть! Как сидели пойманно, и люди в Нюрнберге, в Минске, в Киеве, в Варшаве, в Белграде разглядывали их, а жертвы с киноэкранов смотрели в упор... Испарились, будто и не было их, десятилетия жестокой власти над жизнью, над судьбами миллионов... Помнят они, как у них, называвшихся тогда герингами и кохами, растягивались губы в искательную улыбку перед конвоиром, победителем, солдатом. Как жалко, непохоже выглядели они, недавние дуче, под дулом партизанского автомата. («— Я знаю, что мне не сделают зла».) Как визжали, как падали в обморок, как не хотелось им, кальтенбруннерам и розенбергам, в петлю, хотя чужие смерти, миллионы чужих смертей, вызывали в них уже профессиональную скуку. И как у них, называвшихся тогда Гитлером, шамкал рот и дрожали пальцы, ощупывающие ампулу с ядом.

Как бы нагло ни вели себя сегодня под защитой новой силы, власти, они помнят, что тогда была у них власть над половиной мира, а затем, как проснувшись, обнаружили себя один на один со свидетелями-судьями, которых, казалось, они давно истребили...

Как это у Пита Сигера — поющего американца?.. «Последний поезд в Нюрнберг! Последний поезд в Нюрнберг! Каждый занимает свое место! Вы видели лейтенанта Колли? Вы видели капитана Медину? Вы видели генерала Костера? Вы видели Уостморленда? Отходит поезд в Нюрнберг!»

Да, знаки действительно расставлены, освещены, у всех перед глазами, памятью!..

Любой обман не может длиться очень долго, невозможно всех обманывать вечно. Сегодня это такая же правда, как и в былые времена. Но не столь утешительная, как прежде. Слишком опасен и кратковременный обман многих. Потому что есть Бомба, которой и малого времени достаточно. На себе останови цепную реакцию! Вовремя, homo sapiens, и в себе также оборви проводок, соединенный с Бомбой!

В армейском госпитале, помню, сосед по палате, сапер с выжженными глазами, рассказывал, как однажды он тонул, а его спасали, откачивали на берегу озера. По его словам, он все время слышал голоса спасателей, а в какой-то момент стал и понимать, о чем говорят. И вдруг ясно слышит:

— Баста! Что его мучить? Сорок минут — и никакого признака! Безнадежно!

Человеку хотелось крикнуть, что он живой, хотя бы застонать, пошевелить губами, а он не мог. И помнит, что ждал с ужасом, а вдруг и другие согласятся с этим: «Безнадежно!»

Не прекращать усилий, даже если кажется, что все возможности исчерпаны, что окончательно проиграно сражение, — это всегда считалось правилом, качеством настоящих полководцев. Но ведь там на кон ставилась судьба всего лишь чьей-то власти или пусть даже державы. Тут же, сегодня — судьба человека на планете на вечные времена. В самом прямом, не философском смысле: быть или не быть? Слишком многое поставлено, и — какая бы ситуация ни была! — человек не имеет права сказать: «Баста! Безнадежно!»

...— Поворот на Хатынь, — сказали в автобусе. Нас качнуло, накренило, и гул машин сделался лесной, близкий.

— Один... два... три... — Сережа громко считывает цифры. Наверное, с километровых столбиков.

Снова открытое пространство (звук отступил), оттаиваясь, мы сделали крутой разворот.

— Приехали, папка.

День очень солнечный, теплый. Это моя привычка: выходя из помещения или машины, прежде всего поискать лицом, кожей, веками щекочущую ласку солнца. Общая, так сказать, ориентировка в космосе.

Голоса вокруг, много, приглушенные. И иностранцев голоса. Их теперь и на улице нашего, не столичного города услышишь. С тех пор как я ослеп, особенно в последние годы, их появляется все больше, они приблизились.

Шарканье ног по цементу, шуршание колес и моторы подъезжающих машин. Ударил мне под ноги резкий металлический звук. Это моя палка, здесь она

непривычно и неприятно громкая. Я поднял ее, взял под локоть. Подождал, куда меня найдет Глашина рука. Но металлический звук, как эхо, остался в пространстве, он издали пробивается к нам — сквозь голоса и шарканье подошв. Это и есть Хатынские колокола? На высоких печных трубах, говорят, висят колокола — на месте бывших хат...

Мы движемся навстречу этому звуку, слабому, точно расколотому. Приостановились возле людских голосов, повторяющих цифры:

— ...Два миллиона двести тридцать тысяч... В Белоруссии погиб каждый четвертый житель...

— Папка, тут ступеньки, — предупреждает Сережа, — смотри.

Глаша, сжимая мой локоть, показывает: здесь! Три шага, и снова: здесь! Под ногами дорожка шершавая, твердая.

— Это могильные плиты? — тихо спрашивает Сережа.

— Нет, это просто дорожка.

Глашина рука, подсказывающая и показывающая, как идти, как ставить ногу, сегодня не такая, как обычно бывает дома или на улице города. Она — как тогда в лесу, где гремела немая (для меня, оглохшего) пальба, а Глаша, вцепившись, повиснув на моей руке, показывала, далеко ли, близко ли стреляют...

Звук уже резче, ближе. Дрогнув, возникнув, он гложет, как зажатая боль, чтобы тут же раздвоиться. Прозвучит двойной, тройной — расколото, цимбально — и тоже обрывается, будто на него легла чья-то ладонь. Но снова и снова появляется в мире расколотый, цимбальный звук, его уже ждешь, и с ним возникает даль, уходящая, расширяющаяся. В тебе самом что-то расширяется. Звук снова и снова ищет, ощупывает дно, зовет эхо.

Три шага и — ступенька. Плиты, наверное, черные. Сереже они показались могильными. Три шага, и мы чуть ниже, на ступеньку ниже.

— Мамка, и тут никто-никто не остался живой?

— Тише, Сережа, послушай, что тетя рассказывает.

Молодой девичий голос объясняет, как тут было, что тут происходило больше четверти века назад: как

налетели каратели, как согнали всех в сарай и подожгли, а люди выбегали на пулеметы...

За девичьим, молодым голосом, как правда, которую высказать, передать невозможно, но которая тем не менее правда, все тот же цимбальный перезвон колоколов, уводящий вдаль, пересчитывающий мертвые печные трубы.

«Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый», — это засело, как заноза, под черепом маньяка в одном конце Европы, и через несколько лет сюда, в другой конец континента, пришли, чтобы убить детей... Которые «потребляют, съедают больше»...

У каменного старика, того, что держит убитого мальчика, ладонь, пальцы прострелены. Я не знаю, видят ли это зрячие. Я видел не раз после войны. Почти у всех, кого расстреливали вместе с детьми и кто при этом случайно остался жив, рука изуродована. Та, которой закрывали, прижимали к земле голову ребенка. Человек упал рядом с убитыми, успел упасть живой с живым ребенком, их заливают ужас, заливают кровь мертвых. Не двигаться, не шевелиться, что бы ни происходило!.. Но ребенок, он хочет встать, сейчас он заплачет, закричит! И его держит, прижимает к земле рука отца или матери, просит, умоляет молчать, не звать смерть. А смерть уже подошла, смотрит в упор, целится. Стреляет в головку ребенка — и в руку, которая защищает, прячет круглую теплую, как летняя земля, головку...

Звук все ломается надвое, натрое, уходит вдаль и все считает, считает... Я посреди несуществующей деревни, слушаю, как чьи-то голоса сгигивают с невидимых таблиц имени, фамилии сожженных людей, названия убитых деревень. Названия городов и вполголоса произносимые цифры тысяч замученных в концлагерях: восемьдесят тысяч... сто восемьдесят тысяч... двести пятьдесят...

Солнце щекочет веки, пытается их, раскрытые, раскрыть. Когда-то я любил смотреть на солнце закрытыми глазами: сквозь живую плавающую красноту век. Сесть где-либо, или вот так стоять, или идти тихонько против солнца и смотреть на солнце, окрашенное моей живой кровью и, точно от моей крови, теплое.

Теперь мои веки черные и лишь искры боли проносятся по черному, всегда горячему небу...

Считающий печные трубы звук Хатынских колоколов уже за спиной у нас, мы уходим, а он остается, но снова догоняет, дробится, спрашивает: «Так-вы-поня-ли?... Так-ли-вы-по-ня-ли?.. Вы-по-ня-ли?.. По-ня-ли?..»

Три шага — и ступенька. Три шага — и мы на ступеньку удалились. Я уже опустил палку, она звякает о плиты непривычно громко, нужно время, чтобы снова звук этот стал обыкновенным. Всего лишь стук металлической палки о камень. Я куда-то иду, и ничего больше.

Но есть ли теперь в мире что-либо, о чем можно сказать: и ничего больше?

Звук позади делается слабее, а моя палка, наши шаги, голоса идущих — громче, привычнее.

— Ну, дальше поехали? — молодой голос нашего шофера.



ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

ИВАН



В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюсненную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант прикаса...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намочшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от ввевшейся в кожу грязи. Мокрые неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо и с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну, а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вз-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти — одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми ло-

патками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбывшись, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает. — Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивленно. — Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой тамверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет,— невольно улыбаясь, сказал я.— Это мальчик, понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов.— Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела.— Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво.— И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял... — Я на мгновение замялся.— Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»,— передразнил Маслов.— На ковресамолете? Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он.— И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому,— вдруг решительно и громко произнес мальчик,— он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати,

самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе,— я доложил! Приказано посадить тебя в землянку,— приврал я,— и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню.— Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведсгдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штаб-арма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь,— не ответив, потребовал мальчишка,— или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать,— твердо заявил я, стараясь подавить

волнение.— Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, докладывай,— с каким-то безразличием сказал Маслов.— Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Не солидно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно,— прервал меня Дунаев.— Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой? Говорите с «Волгой»,— сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно.— Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке.— Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай

горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2 ...4, 5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были

с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, — а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, посклони, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделал ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решился: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру, — не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть, — и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшеничную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никог-

да не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чая с печеньем из моего доппайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском

берегу — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже $+ 15^{\circ}$, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже $+ 15$, а если примерно $+ 5^{\circ}$?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом, разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил стоя у пулемета и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него немцы мать угнали, места себе не находят... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет сигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежда его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь спрашивает, как с подчиненного, — усмехнулся пожилой. — Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу

нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, оставаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбуджу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас не знаю. Нервенность во мне какая-то, — огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый, темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей, — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что, вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застучают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал,

что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недобольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удастью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтоб ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. — А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде кон-

фет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середину стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат,— отказался Холин.— После водки не в цвет.

— Тогда поехали,— вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол.— Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем,— с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место.— Сейчас поедем,— повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал,— словно оправдываясь, пояснил Холин.— Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения.— Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество,— отшутился Холин.— И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте. — Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и открыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромн, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, — может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал

с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП и оказывать содействие.

— К вам,— говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь.— Немца бы посмотреть.

— Ну что ж... посмотри,— помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды —

узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — гелняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз,— не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы... — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то? — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз.— Вздыхнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается.— Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль,— наказывает Холин.— И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего

полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба; но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязанности ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твой войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало слышал от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело¹ и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит недалеко под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдохайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежестрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустар-

¹ Дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

ником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда с небольшого пригорка видно все как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать, скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и кажется, конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи; верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Прохо-

дит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чухахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражала меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, изеини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь и не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами, — понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ее недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах, — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего воен-

фельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»¹, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству, — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой деушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру.

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

¹ Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла». Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалившись на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходя-явая! — Пройдя в угол, где подвешен ручной мойник, Холин начинает умываться. — Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный сообщает:

— Эх, и ночка будет — как на заказ!.. Все же господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты

куда это собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобится...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка темна,
А я боюсь,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван!..

— Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь, отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холин. — Журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красно-

армейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан.

Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне: «Клевые тузики!» — шепчет он.

Вот черти — пронюхали! В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об

имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь,— замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу,— улыбаюсь я.— А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда — пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться,— говорит мне Холин,— ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали,— кивает на меня Холин,— охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять,— говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время.— Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с пол-оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позволю комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется, — натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте; вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота —

сто с лишним человек,— прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю,— обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза.— Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев,— бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова.— Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож,— обещает ему Катасонов, осмотрев финку.— Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я.— А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж,— соглашается наконец мальчик обидчивым голосом.— А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож и идем,— торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я.— Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем,— подталкивает меня Холин.— Я тебя возьму,— обещает он.— Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни про света.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось,— шепчет Холин.— Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про ла-

герь или вспомнит отца, сестренку,— трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лезут в боевых порядках немцев не далее войскового тыла¹. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом облике вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял,— шепчет Холин, вздыхая,— да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчишке он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

¹ На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борты. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четыре человек, не более.

— Вериги эти ни к чему.— Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо.— Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин.— Подайте!..

Мы «подаем» — он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди зальется вода; потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет, — соглашается Холин.— Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берет! Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку, — шепелявя, усмехается Катасонов.— Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, по-

том под утро ребят вытащим,— нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгрებაет. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда соли-
долом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачи-
вается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин,— пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет.— Холин указывает рукой вниз по течению.— Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем,— об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно.— Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся.— Он хлопывает меня по плечу.— Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой биннокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись,— просит меня мальчик.— Я нечаянно, честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердисься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Касанов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах.

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслу-

женный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?!

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно.— Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается.— Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно.— Ты... ты ничего не знаешь и не лезь! Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь,— недовольно замечает мальчик. Он любит ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок.— От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин.— Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Кагасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо приподнимается. — Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы, что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно, — говорит Холин задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня травил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита. Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связывать-

ся. Замполиты — народец принципиальный; того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься,— поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху.— Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабе! Решил осчастливить какую-нибудь дуреху,— ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два, ну максимум через три часа,— подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это по существу тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометных и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела.

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив

взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурился карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголо-са и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один!

Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник гоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел,— с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю,— шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит.— Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я горопливо суечусь, но голком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо магери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полсгранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время,— взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Посгавив на лавку грофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они грещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего,— ободряет он.— Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотре-

ны, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие, все штопанные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, тряпки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли да и хлеб не формовый, а подовый — из хозяйской печи.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола,— говорит он.— Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали,— говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится матерный шепот — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвуют около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею

и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай,— предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то,— тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека.— Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоньч!.. Капитоньч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из граншей, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат наизготовку.

— Садись ровнее,— шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой.— Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений

и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край, — вспышки не так яркие из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свястят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34, — шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признается он. — Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай, — вспомнив, шепчу я, — у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та не знаю, где сейчас... — Голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле, еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку,— ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно,— отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Группы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают, — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пакет трупом и сыростью. Один из трупов — он замечен на песке метрах в трех вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — спрашивает Холин шепотом. — Там глина — наследись. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его. — Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания!», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так, что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлупала под ногами нескольких чело-

век. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!..¹

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестящем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедленно убить их! Я завалю их как миленьких одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он, словно тискаами, сжал мне предплечье — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать,— после короткой паузы снова зашептал я встревоженно.— Если они обнаружат лодку...

¹ — Проклятая погода! И какого черта...

— Придержи язык, Otto!.. Принять левее!.. (нсм.)

— Если!..— в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить.— А если застучают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак,— подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник,— произнес Холин раздумчиво.— Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплеывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог,— вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин.— Сейчас бы хороший ливень, чтоб смысл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохраняются, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокоило: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно, услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно.— Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегла спину. Дождь постепенно сменился снегом,— мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел,— наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, го и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не вспасться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплывать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу,— подтвердил я дрожащим голосом.— А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки,— заметил я не совсем уверенно.— Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев,— вдруг прошептал Холин,— но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный. — Садись с кормы, — взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами с грудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А гы?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин. — Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого сне-

га обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глухих пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го,— выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали грассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел,— наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал, и еле передвигал заочеченными ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отсечения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а язык где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой язык?

— Так, говорят, вы за языком отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник? — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспылчив — он мог так сделать.

— Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за языком! Охотничек!

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с соевыми огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа — и все было тихо.

— Что прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну лад-

но, разговорами не поможешь!..— Он убрал карту со стола.— Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем,— взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч...— вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?..— спросил он, закуривая.— И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин.— Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котьякиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котьякиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...»

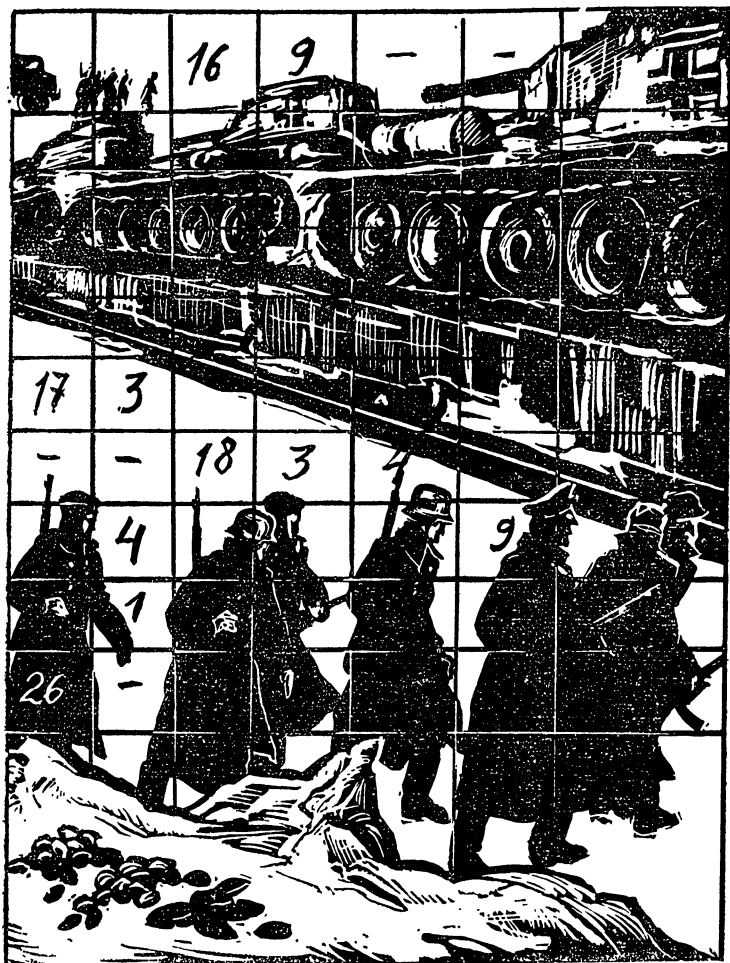
Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издали, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.



В роще, где мы расположились, было тихо, посевшие от инея листья покрывали землю, пахло помесом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое ле-



то я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге,

в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое, мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить, — расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десятков, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж.. если увижу, передам.

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое.

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего, к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване, — как посоветовал мне подполковник, — я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр», относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставляли передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбывшись, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколото листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№... гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу

и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калининичи—Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейгера Винц был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, оберлейтенантом Клямт и фельдфебелем Штамер «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

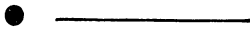
Октябрь — декабрь 1957 г.



ВАСИЛЬ БЫКОВ

СОТНИКОВ





Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом не много ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели попеременно с ольшаником, — который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал эти с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользил в небе стертый осколочек месяца, который почти не све-

тил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачно от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегла здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстергать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но гранаты, пожалуй, им не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надринутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине слышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться. И Рыбак, почувствовав недоброе, спросил:

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и двумя руками поправил на плече винтовку.— Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется,— чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что в общем беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко,— ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел он сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздражающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пожевал его, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следов, приглядевшись к которым Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу).

Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поестъ бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб пригнился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи...

— Да уж и парёнка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями и задраным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сто-

рону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно чувствуя близость жилища, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно осененные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофлянища, и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневогой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообра-

жив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под свежим сугробом снега.

Сзади тем временем притаился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поежился от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак по думал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными,— больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согрет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали,— оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем окачуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнушимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть...

2

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они всегда отнимались на морозе и обычно начинали болеть в тепле. На холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, сегодня вдобавок ко всему начала еще донимать лихорадка.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубоок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы

освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал, что болен. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был угнетен, голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова, и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже, — подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего. И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче, — издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему плохо было видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворял-

ся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаилась в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг стлыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать здесь неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, вгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздко-го мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезла дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться,— решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу.— Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще деревушка была.

— Давай,— односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелкокося, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполо-

шились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или на беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показательных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леса. Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его наполнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. Но в тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны складывается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груды покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно падали вверх из винтовок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались об-

наглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале: несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снаряжных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ, закутивший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне, навстречу шли пехотинцы, недалеко, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной взрыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу...

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы

колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарею развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрал вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покоренные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как повернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестие панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат перил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за

секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел поползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудью. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам целел или нет, но чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив,

за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома Сотников минутой ослобелел смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

3

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, он проходил стороной по дороге, но в деревню не заходил. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицаяев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо пошвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо, — негромко сказал Рыбак. — Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе, — там начиналась улица. Но возле крайней всегда бóльший риск напороться на

неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульчики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригуменье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же сосутился в снег — на тропке пронзительно закрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки, к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — увидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне покойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так,— Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла.— Деревня как называется?

— Лясины. Лясины деревня,— полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гумно, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я,— будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу,— вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно стараясь угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто,— упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора.— Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыкнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет,— не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорщице. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колот на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удалства работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай тебе бог здоровычка,— без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Пётра Качан. Он теперь старостой тут,— простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С

трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак заметил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота заветку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громычал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным приступком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и

не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно, поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежели за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова. — Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть, — согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки,

настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Бойтятся»,— подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет,— с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной нерешительностью обратился он к Сотникову.— Подкрепимся, если пани старостица угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас,— обрадовалась женщина.— Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда,— решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу.

Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится,— вздохнул старик.— Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак.— Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмя-

тежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш,— ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили...— ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так,— сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь,— с жаром подхватила от печи хозяйка.— Опозорил и сына и всех чисто...

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста впериł укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а,— неопределенно произнес Рыбак, не подержав малопривычный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испы-

тывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам, — с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем, — сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо, — решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла недалеко от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю, — сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, од-

нако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать,— проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул книгу.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг,— сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переклеститься на более отвечающий обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке.— Ты враг. А с врагами у нас, знаешь, какой разговор?

— Смотри кому враг,— будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой,— сказал хозяин.

— Значит, сам?

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно,— подумал Рыбак,— не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и,

несмотря на годы, большой и плечистый — встав, за-слонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене.— Ну!

Видно, старостиha привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Вон, — он коротко кивнул на простенок, — ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин; действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиha. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что, — безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиha перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже была сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выго-ры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колулавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально взгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как по-пасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясины. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же, голодный», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сынок» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать,— холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок,— не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их бог ограбил! Приеха-

ли на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной Армии, так чтоб вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе»,— сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке,— он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверное, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиха, не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошние мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясилах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так,— говорят,— тебе их норов знаком, потерпи каких пару меся-

цев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лясин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал... Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горяшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной! Ах божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю...

Она с искренней готовностью помочь юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и впрямь его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заваришь где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди,— ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте,— и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

5

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди

с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловатотуманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверно, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, наверно, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаясь заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему: не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому на войне примаку.

Ну что ж, если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осен-

них учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой попроситься в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утешкой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитит ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повибаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчаных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело военное». И он, и тетка Гануля собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведалься, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что

ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать незначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случилось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, покрестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удерживать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе.

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда

нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется, — отсapyываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не заметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощувив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг

в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проплаывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые почти впритык следовали за первыми. Но седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал недалеко, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатою спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они, наверно, ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричали вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому

верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догнать не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздалась сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой, — Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял

точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине оцетинился голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему — они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случалось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взва-

лил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вред ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось», — подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

6

Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось,

все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу из всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, но все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то посторон-

нее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва преодолеваемая слабость, он приподнялся на руках. Сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади, — неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустил лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоился уже за десяток самых безвыходных положений, — страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, где каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спаситься, разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильнее стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдаются, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал доносить озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сбереечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдержи-

вая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицейские медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилив, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок дуло винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц сверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверно, отвезут в полицию, разделут и заруют где-нибудь на конском могильнике. Заруют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сей-

час стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаяу...

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему; а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля, и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову поднять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не проляжет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, искал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос:

— Сотников...

Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо слышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе

замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицейский все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверно, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицейский хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облежавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворотившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах,

то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма, — глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. — Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндеветшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит,— буркнул Сотников.

— Терпи,— грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво голкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, попробуй»,— подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбирать на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами; в одном месте что-то неясно зачернело на снегу, и, подойдя ближе, Рыбак увидел валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полициями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в

который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться..

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно рощица, очень уж куца рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты ку-

стов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полосу дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь с этого голого, предательски светящего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода теперь у них не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впе-

реди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

8

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и заостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они добрались до леса, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в ложине тянулись заросли мелкокося, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромя, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник.

ник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.
— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так, посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его; не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки. И раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках вырвать его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не

имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гумне перепрычемся.

«Подождать — это хорошо, — подумал Сотников, — лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дожидаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросился в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста. Струхлевшая оградка доживала свой век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это нужно? И зачем это надо?»

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь

в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определятся счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не такой уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические возможности человека ограничены, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом штабле немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя; ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, и сразу же, как только Рыбак появился, увидел его. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из де-

ревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет,— заметно обрадовался Рыбак.— А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно,— нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее...

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладал с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замаслированными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на

двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженаотоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напруг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокочен-

ными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем,— подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшее его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колулая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке

Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Дёмчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно, потянулся за новой картофелиной, под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегая, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— ...Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый

запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю сосняка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытии сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже

знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвою. Конвой этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крикнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснычок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стегнула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и скинув правую, с пистолетом руку, за ним скакал

всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло — солома, туго пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня, — и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал,

пока не забрался в болото. Деваться было некуда, и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясиину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

9

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, ва-

лялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно,— думал он,— самое нелепое, что можно себе придумать — это заболеть на войне».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отставив собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стезжке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный

полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — сваляные, нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибираться возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала; продолжала убирать, задержнула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было поосторожнее, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смолтеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полица, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Дёмка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Дёмку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступить к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он дождался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Дёмчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему,— сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо,— сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими клочьями серой ваты, измятую телогрейку.— На, все мягче будет.

«Так,— мысленно отметил Рыбак.— Это другое дело. Может, еще поубреет эта злая баба». Сотников поднялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной,— уже другим тоном, спокойнее сказала Дёмчиха.— Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет,— отмахнулся рукой Рыбак.— Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно,— начала сердиться хозяйка.— И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиток, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее,— кашляя, сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко покраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже?— допытывалась Дёмчиха, убирая со стола миски.— Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим,— шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали,— как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват.— Говорят, одного полица подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно,— улыбнулся на конце скамейки Рыбак.— Они все знают.

Дёмчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугушке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно,— согласился Рыбак и ступил к Сотникову.— Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое,— озабоченно сказал Рыбак.— Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь,— начал раздражаться Сотников.— Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягся и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Дёмчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съежился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая,— сказала Дёмчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка.— Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужасенный он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица, — он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стезжке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле.казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Дёмчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердела паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Дёмчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Дёмчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стечы

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Дёмчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицейя, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется направляясь к двери. Дёмчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости, — глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей, — был им ответ.

«Э, не надо так, — с сожалением пронеслось в голове у Рыбака. — Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опаздался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос. — Партизан так, наверно, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сенях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сенях, как Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверь, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Дёмчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон по-выклеывал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под

паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неумных потугах кашля. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Дёмчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый бас. Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицейши с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скреживаясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицейши.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Дёмчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицейши все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас. — Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка»,— сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже даже, перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицей.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот садуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу маты! — ласковой бранью приветствовал их полицей, взбираясь на чердак.

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные

под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить,— его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака и Дёмчиху. Он готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Дёмчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Дёмчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель,— так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Дёмчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось,— выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им женщину по спине.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников.— За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступить за эту несчастную Дёмчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на

подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными сунонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Дёмчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал больную грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекала и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет ему не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплеывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил голову.

— А теперь вас помогут-побанят и того, мало-мало подвезят. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицейский так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицейский разразился матом: — Такие-сякие немазанные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — уныло сказал Рыбак.

— Ах не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротой лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще выскочил полицейский, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчась, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сени.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому не понадобится, — сказал полицейский и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втокнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый, напуганный дядька в равном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Дёмчихи. Сотников с тревогой вслушался — оставят ее или нет? Минуту похоже было, там что-то искали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Дёмчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердые!..

— Живо!

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все

грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Дёмчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицейский вытворялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Дёмчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гэлечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съезжился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Дёмчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспоякойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни, — сказал он с расчетом на Рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — закивал головой Стась и опустил винтовку. — Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы перендевали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он

усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что, если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-свеглому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался. и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверно, он подстрелил несколько фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били гуда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проско-

чить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало, Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трасирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь конец, это точно. Не важно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, все ловил момент,

чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки,— сколько он незаметно ни выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытаться счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в снях, Рыбак тем не менее все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

11

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Дёмчиху. Особенно его беспокоила Дёмчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой глядяваясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на них. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых

ветвях верб. Здесь шла своя, беспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли они.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полица в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их, и, когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку, и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, — поодаль отряхивались полицаи и обреченно стояла Дёмчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Из рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немало труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Дёмчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение он полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицаи:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицаи бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая большую ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой хлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немно-

го озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась уютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное геперь гепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, гут все и кончится! — подумал он. — Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу, — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстукке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно поду-

мал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицией этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысынами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полиция своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность.

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить, — сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку.

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустил-ся на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытаются, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся, — довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим,— сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем,— согласился следователь, хотя ничего не записывал.— Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно, имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется наружу, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно поблизом у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было,— спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте ночью вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться», — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно, — после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Дёмчиху, которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами как вам заблагорассудится, — сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. — Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Дёмчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего объяснять! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся»,— уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Дёмчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ошетинился следователь.— А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников.— Недавно еще, наверное, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем,— сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась.— Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе гам, в лесу, не шибко беспокоились.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов впери в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая

рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!», после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволородный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суковные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Дёмчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытяну-

ли ремешок из брюк. Дёмчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загремел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Дёмчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Дёмчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лязгнул засов, Дёмчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся, деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас

вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свете из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что!.. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — заты-

нуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный, невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в когорых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погружившись в свои тоже, разумеется, невеселые мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак затаив дыхание слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а,— вздохнул Рыбак.— Значит, кокнут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!», и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут,— сказал Петр.— И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, погом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его дожимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полушубочек и скинешь,— с силой хлопнул его по плечу Стась.— А ничего полушубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге.— У тебя какой номер?

— Тридцать девятый,— солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг выверился полицай.— Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрячиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, по-

думав, не тот ли это полицей-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак, — подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы, — сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полулушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спальный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно, — соображая что-то, прикинул следователь. — Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не затем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору: кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно наскзать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекаладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Пегр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следовательно хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля, — терпеливо поправил Рыбак. —

Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтярня, Ульяновка. Ну и эта, как ее...

Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Дёмчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в пояс бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Дёмчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следовательно будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Дёмчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распах-

нулся.— Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся.— Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Ты, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полиция.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного бляения, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

13

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту же самую камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали...

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черти! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же

ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодезь, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканием бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести-десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло, едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицей! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек умирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицай. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы, — наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промышчал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло, — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось не по себе от непрошенных пророчеств этого человека: откуда ему знать, оставят или нет? У него шел за-

чет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для спокойных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки. Шаги замерли возле их камеры, громыкнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицаю круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солону.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю,— шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом.— Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и...

— Ничего я им не скажу,— перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не слышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более надежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет,— наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила», — подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай,— помолчав, горячо зашептал Рыбак.— Нам надо их повáдить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смиренными. Знаешь, мне предложили в полицию,— как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься,— язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело: Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал груднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

«Наверно, не в карты», — про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной, игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь, — сказал он. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудачком человеком», — подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед

смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытие, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицией обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников, долго не протянет. Странным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В смерти товарища видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там; длинный и тонкий хвост настороженно пролегал по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу.

Полицай не спешил закрыть двери, и Рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, — на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительный шанс выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд, ну и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да гот, лесиновский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался, Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу, — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Дёмчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой. Бася?.. — И Петр вновь тяжело вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины, — почему же девочку посадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты не сказала?

Бася затаилась, будто обмерла, и молчала.

— И не говори, — одобрил погода староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченное, а про других молчи. Если и бить будут. Или, это самое, тебя уже били?

Вместо ответа в углу послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирив, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это возвращали с допроса Дёмчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Дёмчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром грос аллес капут! Фарштэй?

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкзалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Дёмки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Дёмчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Дёмчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить

им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а, — озадаченно вздохнул Петр. — А Демьян в войске...

— Ну. Дёмка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои роденькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Дёмчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжала. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровкался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный.

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филиппёнок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищенных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди. нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродам этим.

— Я вот думаю все, — беспокойно заворочился староста, — ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесинский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Дёмчиха:

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь... Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назначат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул Рыбак, закругля неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но геперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На злое сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицейай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Дёмчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Навероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл

глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хриловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, вошла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, нисколько тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколько. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводки, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сажу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то

лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господ бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла... Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружались. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил,— отозвалась из темноты Дёмчиха.— У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромного, да на чердак не встачила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно, у нее котята были,— догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела,— тихонько и доверчиво шептала Бася.— Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-го. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучилась, бедная! — вздохнула Дёмчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирала что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже!.. А хозяева что, так и не заметили?

— Заметили, конечно. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, наверно, что против аптеки?— догадалась Дёмчиха.— Так там же Игналя Супрон жил...

— А тебе что?— неласково перебил ее Петр.— Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать.

Дёмчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом... Ни к чему теперь и таиться — все равно... Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через гу распроклятую овечку оба попались: меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли...

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрягал бы хорошо — не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они все ему? К тому же, наверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погода нарушила Бася.

— Под полом мне было хорошо: тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицай!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнагтели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись. И я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Демчиха.

— Так что ж... Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-ни-

будь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию, — видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимают за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была невероятной, в другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал, но

в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно недоставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Значит, что же, погибать?

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, скудным движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков: оставить его живым они не могли — могли разве что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо: пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недосягаемой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливых, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным, что давало возможность строго определить его выбор. Если что еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, — теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное

преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел боевое задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность — больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путанный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть:

с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из библии — толстая ее книга в черном тисненном переплете когда-то лежала на материнском комод, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшалокнижный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «георгиями» на широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее

маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие — ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямылся, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решил взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разногосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, взглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, ко-

нечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бесильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолеет маририста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и не-

сколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил,— упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога.— Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в мамин комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик едва заметно кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй,— сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то послушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерий-

ский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

17

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмирившей Дёмчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрерывно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь

можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Дёмчиха из-под смятого платка также тревожно-понимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загрела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу осветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицейский. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, начала подниматься Дёмчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицейай, входя в их вонючее, усталое соломою лежбище. — Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайся! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же выверился: — Гэтъ, юда паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицейав с оружием наизготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Дёмчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицейав. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шине.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицейай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого

начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицейя сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему, — такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверно, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Дёмчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Дёмчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме: черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же сбшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости,

приглашенные на чужой праздник. Полицай на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая, — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака: — Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой.

— Ведите!

«Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицай сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обна-

дежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, — теперь ему хотелось быть как

можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Дёмчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а, божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака.— Вы подсобите тому,— вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Дёмчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасти других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека сдает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревьев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился, какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устроить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнувшийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрерывной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам, — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главной целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицейские также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия

прибыла к месту назначения — дальше дороги уже не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убрали дерезой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

Двое — полицаи и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унижительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петель.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов, это их право, их звериный обычай, их

власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закованную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать-двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, честная полицейская самостоятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притаившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность

у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

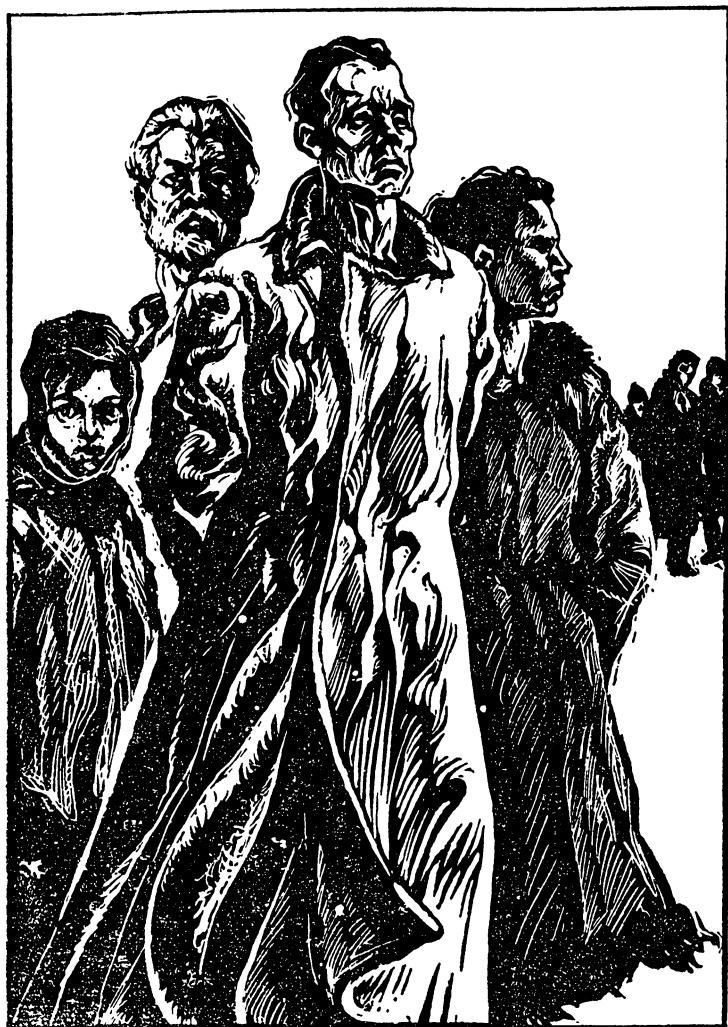
Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определяют на ящик, но к ящику подвели Дёмчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Дёмчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

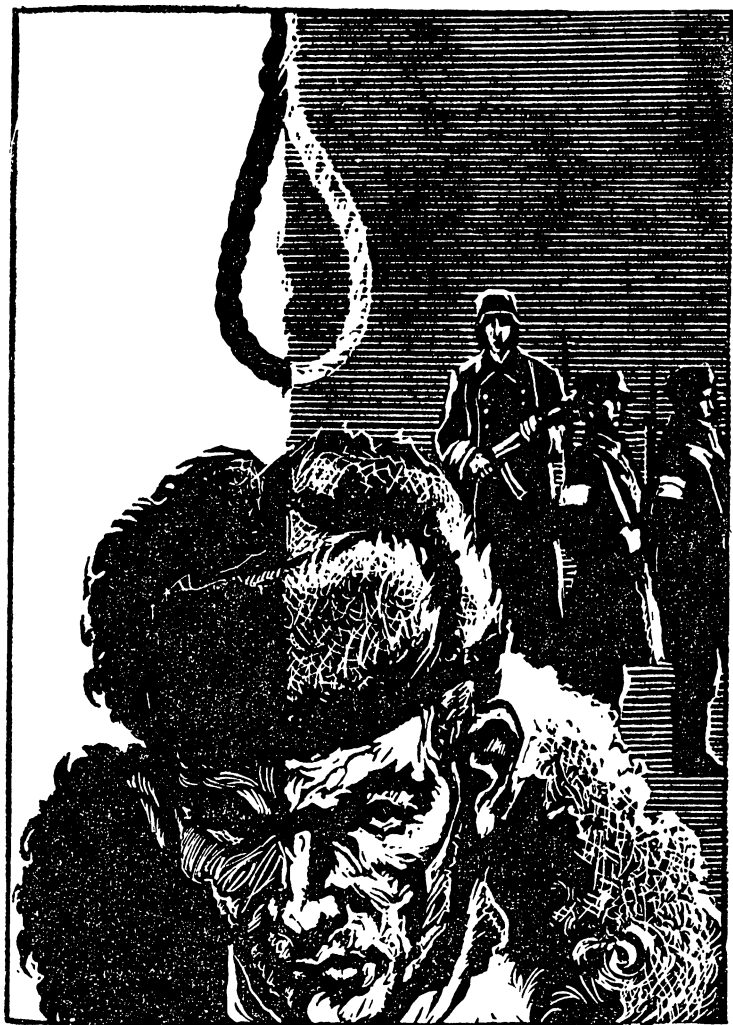
— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то командовал Будила, и полицаи, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Дёмчихе. Несколькими полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверен-



ко подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезть



на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи!», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил

подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как распрямился.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Дёмчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девочки — обычный местечковый люд в ту-

лупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонкой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава втягивал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороченностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздалась команда по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрипнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула сверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха, — дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему, чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился вниз, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

19

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Дёмчихой, болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый фанерный ящик, убирала из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного

занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицай наводил последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падала! — с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты окошел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаяев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но никто из полицаяев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношей полицаичик в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полиции привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полкой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полиции в колонне встrepенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадежила и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлаги и замуколенные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогреты сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, наверное, сказывалась привычка, на бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придерживав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, нетер-

неливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем гот честолюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы гот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицейский громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур,— сказал он, нащупывая глазами Рыбака.— Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок.

— Яволь, а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу. В тартарары! Навеки!

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолклись, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, застав в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок сверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заматались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего у него не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, сдва подавляя в себе внезапное желание завывать, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — недовольно прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

1970 г.



БОРИС ВАСИЛЬЕВ

а зори здесь тихие...



На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодок и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало де-

сятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладилась переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!..

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое как пономарь. — Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Вам виднее, — осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков!.. — распаяясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут, как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься..

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещал Васкову, что пришет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то — сомневаюсь.

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. — Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться, — загадочно улыбнулась хозяйка.

— Радоваться после войны будем,— резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросенок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отрапортовала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак,— совсем не по-уставному сказал комендант.— Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами? — бойко спросила рыжая. Васков давно уже заметил ее.

— Ягод еще нет,— сказал он.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина,— отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она-таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

— Демаскирует.

— А есть приказ,— не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись: хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал в каждом углу хрипеть да кхекать, словно, и вправду, был стариком,— вот это было совсем уж никуда негодно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдова она, — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. — Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — все это так. А внутри — беспорядок:

— Люда, Вера, Катенька, — в караул! Катя — разводящая.

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Поинка Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнет: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка дамочка какая? Вот и веди соответственно.

— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.



Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо...

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в кон-



це этого, четвертого, у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если бы про медведя узнали! Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они, не гляди что рядовые, — наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того, невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попить. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытацившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне, за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь.

Вдохнул старшина.

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер — встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс — и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом — Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправилась Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрывает, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запикивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвалсяержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомились когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она

научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съезжился; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита!.. Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрешила черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кириянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кириянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать!.. — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кириянова. — Пусть себе болтают: занято.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам — этого я не понимаю.

-- Пример покажи, — улыбалась Кириянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда

что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону.

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете,— объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим,— завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте,— сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

— Несчастная баба! — вздохнула Кирьянова.— Таковую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая,— осторожно поправила Рита.— Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь! — усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то само собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти пример

показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала — специально добивали...

— Послушай, Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька...

— А вот могла! — Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась, иногда даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичье «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебя, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка проявилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше на шаг не отходила, стали они теперь троим: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала: сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменялась: стала за разъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка вдруг пить чай без сахара стали.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте.

— Лида, Рая, — в наряд!

Никто не видал, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, отгадает...

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась: — Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам, обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону:

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась — правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света не взвидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку — со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распорядясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток, на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй: чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина

Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку; забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в га-лифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубаше с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

— Немцы в лесу!

— Так...— Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе, разыгрывают...— Откуда известно?

— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

— Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накиннул гимнастерку, второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубашке сидела на кровати, разинув рот:

— Что там, Федот Евграфыч?

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

— Команду — в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную, к телефону. Только бос связь была!..

— Сосна, Сосна!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо поломка... Сосна!.. Сосна!..

— Сосна слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!..

— Даю, не ори. Чепе у него...

В трубку что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной...

Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать...

— Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка...

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

— Тут, товарищ...

— Дай ей трубку.

Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:

— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видела.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеси с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года...

— Вольно!

— Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?

— Я знаю.

Пискавый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое я? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?

— Хенде хох.

— Точно,— махнул-таки рукой старшина.— Ну давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфович угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут.— Палец Осяниной слегка колупнул карту.— А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам,— не глядя сказала Кирьянова.

— Ночным?..— Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана,— опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу.— Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слова — петля!

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, то-

варищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте.

— Там кусты и туман,— сказала Осянина.— Мне казалось...

— Креститься надо было, если казалось,— проворчал комендант.— Тючки, говоришь, у них?

— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги неблизко,— сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так...— заволновалась Осянина.— Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит,— сказал Васков.— Мой доклад — в двадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придиричив:

— Разуться всем!..

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержат Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок — винтовки чистить заставил. Они в них, ладно, если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что

рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадетсЯ, как надо действовать?

— Знаем,— сказала рыжая.— Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно,— уточнил Федот Евграфыч.— Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я...— он оглядел свой отряд,— с переводчицей В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею,— робко сказала Гурвич.— По-ослиному: и-а, и-а!..

— Ослы здесь не водятся,— с неудовольствием заметил старшина.— Ладно, давайте крикать учиться. Как утки.

Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так селезнь утицу позывает,— пояснил он.— Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней.

Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Воль-озеро. Смотрите сюда.— Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно.— Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем.

И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не мене, чем полста, отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война...

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то, что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться.

Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война это — как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел на околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.

Вздохнул Васков.

— Готовы?

— Готовы, — сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись.

Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста,

пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, скаткой да сидором гнулась как тростинка... Сзади — Комелькова и Галя Четвертак.

4

За бросок к Воль-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в Финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход, по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил.

— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей напарнице.— Здорово очень даже побегает — верст на сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?.. — Она улыбнулась: — Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон...

— В Минске мои родители.— Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку.— Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну, что вы...

— Да...— Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли.— Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно...— Комендант сердито посопел.— Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоче. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали,— выговорил ей комендант.— Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо,— миролюбиво сказал Федот Евграфыч.— Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

— Вроде ничего...— Рита замялась.— Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова.

— Ничего не заметила, все в порядке.

— С кустов роса сбита,— торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина.— Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно сказал старшина.— Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:

— Не реготать! И не разбежаться. Все!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Браз все в кусты шмыгнули, как мыши

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть,— сказал комендант.— Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева, справа трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть пробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурки.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем?.. — пискнула Гурвич.

— А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

— Разговорчики! Делать, что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больше. Щebetать. А щebet военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно...

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногy ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет, рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуы.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то...

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по... Ну, по это самое, вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колени — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь, по вздохам да испуганном шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принаравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березку, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант крепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять, засосет!..

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясику: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашла?

— Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!..

— Я помочь...

— Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились Паника в трясику — смерть.

— Спокойно, спокойно только! До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоем...

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь?! Вперед!.. Вперед, за мной!..— повернулся, пошел, не оглядываясь.— След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыг-

ву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны и сноровка. Но обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись...

— Ну, отдохайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем — и шабаш.

— Нам бы помыться, — сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот Евграфыч. — Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растрепа ты, Галка, — сердито сказала Комелькова. — Надо было пальцы вверх загигать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загибалась, он все равно слез.

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых...

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шархнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит и

поплыть не дает. Пока ее распахнешь, чтобы вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному: ей полегче было.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его...— Подумал маленько, добавил: — Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, щелак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слуги побросали. Однако Федот Евграфыч слуги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить:

— Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел:

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура!..— закричала рыжая Женька.— Пляж, девочки!

Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки...

— Отставить!..— гаркнул комендант.— Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

— Песок!..— сердито продолжал старшина.— А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — в одно место. На

мыгье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты — и чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтобы и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова; и может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал сколь мог и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоился «гвардию» свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А там гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно, да Четвертак радостно выкрикнула:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед! — заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

— Ишь ты, купаются... — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почиркал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги су-

хими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

— Ну, так и знал! — Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому...

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудили: запасной портянкой обмотали, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались, раскраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватило. Но шаг переводил, давал отдышаться и снова:

— За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Вось-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни

внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымком. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все — и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как... — шепотом сказала звонкая Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду второе озеро поднимает. Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за многоженатика — по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад... В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть: он всегда для бойцов старший. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут уже в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по

зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную он позицию выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряди огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде стготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно,— упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было: только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.

Пока там тройка кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю грядку излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю,— улыбнулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а — в теле. Есть на что приятно поглядеть.

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирали, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. — Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вось-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Вось-озеро, сосед справа — Легонтово озеро... — Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю млад-

шего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв,— сказала Осянина.

— Вопросов нет, все ясенько,— бодро отозвалась Комелькова.

— А ясенько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентир, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

— Чтoб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина.— А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не скаманую. А то не погляжу, что женский род...— Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой.— Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень эгот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет

спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?..

— Где?.. — испуганно откликнулась она.

— Ну, леший... Показалось.

Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот, простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?.. — вздохнул Федот Евграфыч. — Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотрю.

— Как там у тебя, Осянина?

— Ничего, товарищ старшина.

— Продолжай наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть...

— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего же в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а... — Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал. — Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож,— с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — улыбнулась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут

он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получил в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул, в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась.

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять!.. — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей, без разговору!..

— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давясь, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась:

— Голова у меня... побежала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацеливаться, могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты вместо того, чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке.

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точ-

но, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь. А?.. Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?..

Рита улыбнулась. И опять посмотрела длинно, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч,— улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари — и заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

— Что?

— Тише! Слышишь?

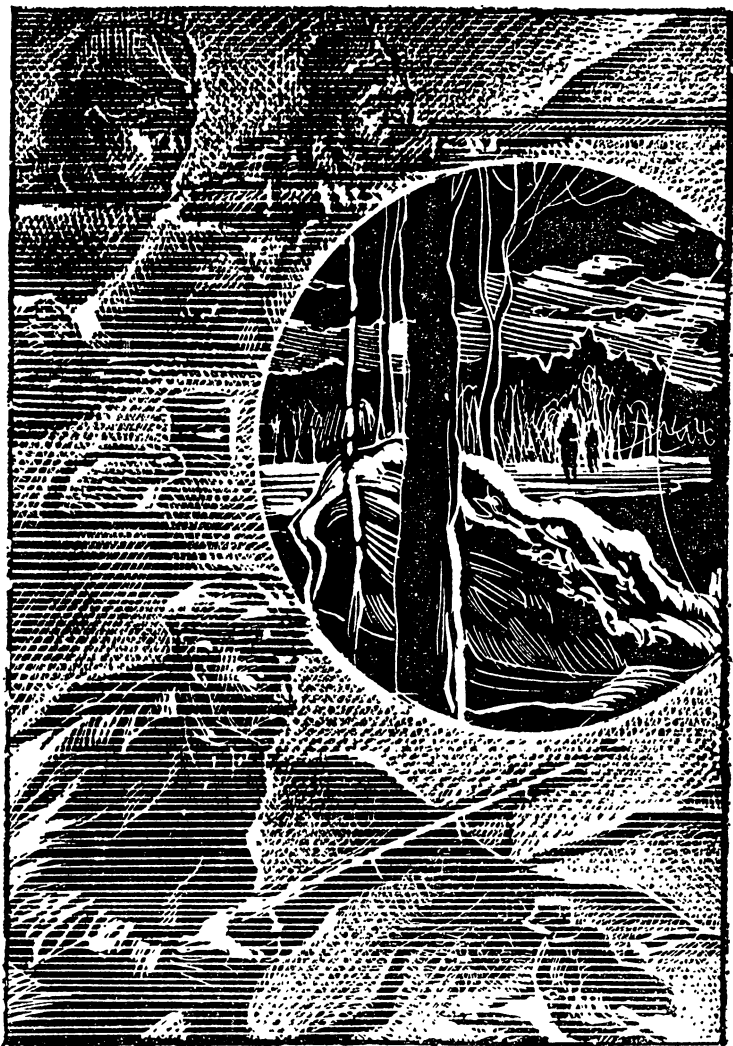
Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки!..— тихо смеялся Федот Евграфыч.— Сороки-белобоки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гость. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

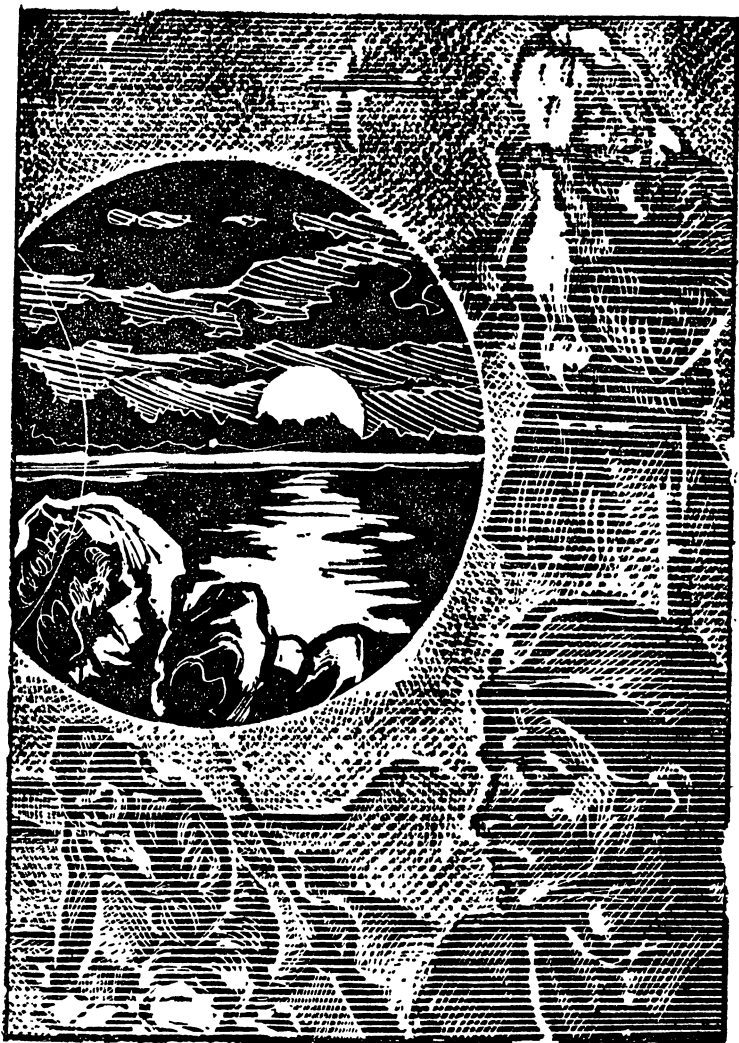
Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.



Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.

Гурвич к нему пробралась:



- Здравствуйте, товарищ старшина.
- Здорово. Как там Четвертак эта?
- Спит. Будить не стали.
- Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.

— Не высунись,— сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываются в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причину сменяет следствие, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите... — беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.

Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким, кошачьим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами наизготовку.

— Три... пять... восемь... десять... — шепотом считала Гурвич. — Двенадцать... четырнадцать... пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты.

С далеким криком отлетели сороки.

Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой

воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя, его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли, берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина,— почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу,— сказал он, не оборачиваясь.— Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне пришьешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно, годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не дегтярь — автоматов бы тройку да к ним мужиков поспоровистей. Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк гянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо — трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенек, с которого я в топку сигал. Точно на него цель, он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не позабудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затанула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем близко — можно разглядеть лицо, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал,

что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробьи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уже и рот раскрыл и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дела.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего.— Улыбка у нее не получилась: губы не слушались.— Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал,— сказал он погоды.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через грядку,— сказал Федот Евграфыч.— Надо с пути сбить. Закружить на-

до, в обход вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и — все тогда. Кончилась превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сторяча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка — мечта, а не бритва, — но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно пятеро. А потом? Потом, товарищ

старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шараться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич; Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что готовьтесь-то? На тот свет разве! Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли:

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все, засекут, сообщат, куда надо. Потому никогда не известно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

— Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумная. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению дивичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры па-

лить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать так, показываться, но не очань. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг, на себя и Комелькову взял, другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться: он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени оставалось мало, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!..

— По местам,— сказал Федот Евграфыч.— По местам, девоньки, только очень прошу, поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились: Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел:

— Погоди, перенесу.

— Ну, что вы, товарищ...

— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи:

— Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбак нес все-таки,— а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

— Ну и водичка — бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал, что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иванович, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были Осяниной с Комельковой, свалили, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли?..— шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены...

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь пошевелить, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой!..— шепнул старшина.

— Рая, Вера, идите купаться!..— звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем, плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо, как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплomu те-

лу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!.. — звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. — Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!.. — заорал он и снова ударил по стволу. — Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что, казалось ему, шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настезь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова,— изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было, немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но, чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые недоперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку.— А ну догоняй!..

Женька взвизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

— Одевайся! И хватит с огнем играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом — когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топтать.

— Ну, все теперь!..— говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями.— Теперь все, девочки,

теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит,— сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос.— Она быстрая.

— Вот давайте вышьем по маленькой за это дело,— сказал комендант и достал заветную фляжку.— Вышьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади...

7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то,— строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нужной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь

эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пяточке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет,— сказал он дочери.— А только где же у нас? У нас мать помирает.

— Сеновал найдется, наверно?

— Холодно еще,— несмело сказала Лиза.

— Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухойстой там, большие стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо,— подтвердил гость.— Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так,— сказал отец.— Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегают да пищит?

— Волк, например...

— Волк? — взъерошился отец. — Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы, — улыбнулся охотник

— А он, что виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взались мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?

— Как что будет? — улыбался охотник. — Дичи много будет.

— Мало!.. — рявкнул отец и со всего маху хватил во лосатым кулаком по гулкой столешнице. — Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить? — вздохнул лесник. — Прибытку у меня — два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?..

— Ну, нам! — Отец плеснул в стаканы, чокнулся. — Я не волк, мил человек, а заяц. — Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.

— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан, — торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребке. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему селу, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забились сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурок.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к сеновалу, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет,— улыбнулся он.

— Исхудали только,— не глядя, продолжала она.— Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза,— вздохнул гость.— К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?..— упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно,— печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто?..— тихо спросил он.

— Я,— сказала Лиза.— Может, постель поправить...

— Не надо,— перебил он.— Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно,— еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась,— может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать,— сказал он.— Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Должно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своим уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги:

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего — даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец совсем теперь озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилась его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это!..

— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку-военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну, чего ты, дурашка? Проще жить надо. Проще понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.

— После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь было достаточно бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем, как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепenea от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на острове.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурным болотом. Лиза ощутила почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всклипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила — слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями, и Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустыяк останется, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти стало труднее, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок, видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже улыбалась. Споют они, обязательно споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа

и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился и — как не бывало.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел — не только боевой, но и охотничий — и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведаёт, что он там еще напридумывал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо, как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед осматривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал — весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина

утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него на взгорбке, и к нему вели корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя: подвела немца культура — кофею захотел.

— Почему так думаешь?

— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень туже некуда; присел:

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — уходи немедля, в ту же секунду уходи. Забирай девчат и топайте напрямиком на восток, аж до канала. Там на счет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

— Нет, — сказала Рита. — А вы?

— Ты это, Осянина, брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайтесь. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен — должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

— Почему?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро...— недовольно повторил старшина.— Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали?..

— Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают — видал их. Двое — в секрете: тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтобы смеху ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, там махорку свою сушить выложил, захвати, будь другом. И вещички само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе вылазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру — ну, самое позднее к рассвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и... и ответит своих девчат

за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издаля определил. Броне и не шумели, не брякали, не шептались, а поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить от тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

— Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской — чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:

— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидорто мой не забыли случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет был тот подарок: и на нем вышито было: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ». И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась:

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какое там: только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть...

На дверях маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам

привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневым наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги — на два номера больше.

В части ее почти не знали, она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно, поэтому голос ее услышал один старшина.

— Вроде Гурвич крикнула?..

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

— Нет, — сказала Рита. — Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его,

медленно каменяя лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждачь.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле попевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она — с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не отодвинулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиком.

— Немцы?.. — жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянувшись, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расщелине, скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза: грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал, поднялся:

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел впереди, чужьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

9

Ждали немцы Соню или случайно она на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце. Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и толь-

ко одного желал: догнать. Догнать, а там разбе-ремся...

— Ты у меня не крикнешь... Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маята и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хотя старшина ничего и не сказал, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад.

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись,— еле слышно сказал Федот Евграфыч.— Тут где-то они. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

— Вот они,— сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие верхинки.

— Мимо пройдут,— не оглядываясь, продолжал Васков.— Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла,— сказала Женька.

— Значит, как утицей крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперерез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб как в воду...

Он хорошее место выбрал — ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплезина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнячке, в весенних еще кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Сою вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку, и когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтобы крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще не поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную

финку выронил, в крови она вся была, скользкая как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу с тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков. — На двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало и она, всхлипывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч в строку немцам списал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал...

И нашел то, что искал, — в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, кисет. Его, личный старшины Васкова, кисет с вышивкой поверх: «Дорогому защитнику Родины». Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

— Уйдите... — сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось, — сказал он. — Переживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток не велик, а ей все легче, меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровящую всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна бы-

ла подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их — что конопущек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой, нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздохнул старшина:

— наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит... может, боишься одна-го?

— Нет.

— С опаской иди все же. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. И Соню нашел: сбоку стояла в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послунывил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило

там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уже инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы, — а барахлишко их осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топорик (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе и в университете.

— Да, — сказал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы — внуков, и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите, — сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте, — сказал он у ямы. — Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилот-

ку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?.. — крикнула Осянина. — Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!.. — затряслась Четвертак.

— Не в цапки же играем, девоньки, — вздохнул старшина. — О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак:

— Обуйся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Опустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок; поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив. А Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим, — сказал. — После войны памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет, нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина. — Хватит! Нет у тебя мамы! И не было! Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали...

10

— Ну зачем же так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеет. Как немцы, остервенеет...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре; с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребках.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика-с-пальчика, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях,

длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкомат и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем непохожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся, быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять, куда надо, и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но... Провозились: Соню хоронили. Четвертак уговаривали, — а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны их поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я.— Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видимо, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай Федор Евграфыч ровно на восемь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хороших очереди кончилась.

Восемь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его попрытались, залегли или разбежались.

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и — все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат — Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: была в белый свет, как в копейку. Попала — не попала: это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслонов, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все, — вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер — ладони в крови стали, посеколо осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет, — сказал старшина. — Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было: унесли. Ползая по камням да кусточкам и убеждаясь, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, во весь рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была... Будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании

Обалдел Васков:

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А комелькова — в копоти пороховой, что цыган — глазами сверкает:

— Трусость!..

Вот оно что...

— Собрание — это хорошо, — свирепея, начал Федот Евграфыч. — Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напомним. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам — принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловины между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им

садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуρο:

— В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь — Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а если не подойдем — отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир, он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинелку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И, что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когдаобразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни переключивал, одно выходило: немцы о них ничего не

знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так вышло, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, ворочая мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанке, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди, — щепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови

отверстие: волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили, — определил старшина. — Свои же: в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения, вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках, и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Просто как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и... вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

— Значит, такой закон?.. Учтем.

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. Поплохому боится, изнутри — а это — хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустишки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, а глаза выскакивали. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да, возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает, — простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил, как, мол, ребята, служится?..

— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укору от девчонки сопливой терпеть.

— В куст!.. — шепнул. — И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы наизготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двсе шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы все-ррез озадачены и неожиданной встречей и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больше мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, никак нельзя, и Федот Еврафич всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза...

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте забо-

тится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккуратно в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шугануть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты на прямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— А-а-а...

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж тех, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой, с оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк сво-

бодно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем немоготу становилось. А потом опять выныривал: здарсьте, фрицы, я живой.

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Ефграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепка летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Ефграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалел.

Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из голы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зу-

бы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокрети той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, а старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясаясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям, болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры...

Осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось — даже надежд, что помощь придет...

...И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина...

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звука садились тут, в гиблом этом месте, и старшина решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще он думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку...

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грязью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «катушку» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонищей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчонки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, вырвался на опушку, откуда опять распахнулось и Волье-озеро, и Синюхина гряда, и кустарнички с соснячком, что уходили правее. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, нагладевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Поэтому и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго: стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном, охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать

все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и испуганный людьми, которых знал мало и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц, уши навести и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит»,— понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидел примятую траву, невысохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так было нужно. Значит, убежище искали; может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев, сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягодки к Синюхиной гряде направились. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок.

Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было выскочить да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый, — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу — значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, и все.

Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?..

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться, за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал — и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось, и не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюжиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в в голове спуталось, что к месту этому добрел уже со-

всем не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И крик следом:

— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрал. Кинулся к ним, тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы!..

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уже с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей поглаживать.

— Эх, девчонки вы мои, девчонки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина...

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки! Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила:

— А Галка?..

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Раздал бойцам и поднял кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости...

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света невзвидишь. А отвалит — и ни-

чего вроде, можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал — нет, пропали.

Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес — выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень, поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей, наверное, проще будет. Имечко у меня некруглое, конечно, но уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не сошались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начи-

нался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтобы вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено; патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул: выстрел — он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул: на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали, а не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уже было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков: в этом бою не отступать. Не отдавать немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков,

был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остротки и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти: скорее всего выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова прямоком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!

— Скорее!.. Рита!..

Что Рита, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силится улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только и спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

— Да не шелк! Льняное давай!..

— Нет!..

— А, леший!.. — метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул как на грех...

— Немцы... — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, — зубы стиснул. Найскось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел: кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди... туда... — с трудом сказала Рита. — Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

— На вечер, — гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной?

— Не пущу! — пугалась мать. — С ума сошел: девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ Евг... генерал...»

— Врешь ты все, папа.

Счастливое было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: выросла девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве же можно?..

— Нужен мне Лужин!..— Женька передергивала плечами и убегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то, чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо — Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет.

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет.

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно

было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал сетки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женя погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женя сразу.. умерла?

— Сразу,— сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду.— Они ушли. За взрывчаткой, видно...— Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит.— Он ткнул в грудь.— Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так.. Все понятно, война...

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли! Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людшек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.

— Да...— Васков тяжело вздохнул, помолчал.— Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся, и концы нам.— Он достал наган, зачем-то старательно

обтер его рукавом.— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— погоди! — Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо.— Помнишь, на немцев я у разезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликот зовут — Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита, понял я все.

— Спасибо тебе.— Она улыбнулась бесцветными губами.— Просьбу мою последнюю исполнишь?

— Нет,— сказал он.

— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

— Колючий...— еле слышно сказала она, закрыв глаза.— Иди, завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл, и не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он сгоронил плохо. И все время думал об этом и шептал пересохшими губами:

— Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинках, ветерок сник — и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было поставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничто не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее

на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скобоченную дверь, прыжком влетел в избу:

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайте!.. Лягайте!.. Лягайте!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал...

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли. Мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, приткий самый, уже на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лич-



но каждого убью, лично, если начальство помилует!
А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и
мысли путались. И потому он особо боялся сознание



потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались

из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутине висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что на встречу идут свои. Русские...

ЭПИЛОГ

...Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку, в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан, седой, коренастый, без руки и с ним капитан-разведчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домотканно — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал...

...Вчера не успел дописать: кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали... Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.

Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.

А зори-то здесь тихие, только сегодня и разглядел.



ЮРИЙ ГЕРШ

«ЯЗЫК»



● —————

Я возвращался из штакара к себе в дивизию в препоганом настроении. Было жарко, солнечно, а я сидел в машине, вдавившись в спинку, мрачный, хмурый, зубы сжаты. Я смотрел вперед, но дороги не видел. Меня захлестывала досада на самого себя. Жгло оскорбление, которое я только что испытал. Если б за дело — глотай и не кривись. Но хлебать, чего не заслужил!.. Опять я почувствовал под ложечкой сосущую холодящую пустоту. В горле что-то сухо перекатилось... Я крыл обидчика, но не жалел и себя. Баба! Баба! Не мог с собой справиться. Выдержки не хватило. Только распалил его. Сопляк!..

В воздухе возник нарастающий, скребущий душу свист, будто включили невидимое гигантское сверло. Впереди, метрах в двухстах, грохнуло. Взметнулся столб дыма, дрогнула земля. Взрывная волна подмяла травы бесхлебного военного поля, и далеко во все стороны, пригибая в окрестных рощах вершинки молодых дубков, лип и тополей, понеслось раскатистое эхо. Петя, шофер, тормознул так, что, если б не козырек фуражки, я врезался бы головой в ветровое стекло. Вновь заработало невидимое сверло, и опять впереди, но уже ближе, грохнуло. Мы — Петя, командир комендантского взвода лейтенант Хренов и я — выскочили из эмки,

нырнули в поросший пыльным бурьяном кювет и бухнулись на его дно.

Немец шпарил крупнокалиберными по развилке дорог. Еще, еще.

Развилку он не видел. Бил на всякий случай. Как говорил Хренов, для дезинфекции. Еще, еще. Дальше, ближе. Иногда снаряды ложились метрах в пятидесяти — сорока, и тогда над головой со злым шипом пролетали и шмякались осколки и комья земли. В одну из пауз я, было, решил, что можно подниматься, как вдруг шарахнуло совсем рядом. Снаряд разорвался так близко, что я даже не услышал его свиста, а лишь почувствовал, как бешено рвануло воздух.

Минут через десять — они казались длинным часом — обстрел прекратился. Наступила тишина. Мы напряженно ждали новых разрывов. Но вот сначала робко, потом смелее чвикнула какая-то пичужка, отозвалась другая, застрекотали, засвиристели кузнечики.

— А ну... В машину!

Отряхиваясь от пыли, срывая прицепившиеся колючки репейника и чешуйчатые метелки кермека, мы забрались в эмку. Чтобы быстрее миновать опасное место, Петя сразу дал полный газ. Эмку дернуло. Под колесами рассыпались комья земли, которыми была усеяна дорога.

— Ишь, бандюга, как распахал,— заметил Хренов.

Земля вдоль дороги была на многие десятки метров разворочена снарядами. Машину жестко подбрасывало. Вскоре мы проскочили опасную зону. Петя сбавил скорость, и я возвратился мыслями к мучившему меня разговору.

Собственно поначалу ничто не предвещало грозы. Наоборот, все шло гладко. Начальник штабкора, полковник Чернобородов — фамилия удивительно не вязалась с его реденькими светлорусыми волосами, тщательнейше расчесанными на пробор, и почти начисто лишенным растительности лицом — вызвал меня для доклада. Слушая мой отчет, он одобрительно кивал головой, изредка прерывал, деловито задавал уточняющие вопросы и неторопливо, таким же прямым почерком, как его выправка, делал пометки в своем блокноте.

Все мы в тот жаркий июль сорок третьего года жили ожиданием предстоящего наступления. Сражение на Курской дуге, не затихая, длилось уже больше десяти

дней. И хотя мы держали фронт много южнее, по берегу Северского Донца в районе Изюма, и нас сражение непосредственно не затрагивало, все мы, и солдаты и офицеры, нутром ощущали, что личная судьба каждого из нас накрепко связана с развернувшейся невиданной по накалу битвой. Хотя этого никто не говорил, но все понимали, что именно битва на Курской дуге и является тем главным боем начавшегося лета, который определит весь ход дальнейших боев. Выдержат ли наши части тот страшный удар, который обрушили на них между Белгородом и Орлом танковые полчища генерал-полковника Моделя? Выстоят или опять, как в сорок втором, их сомнут, опрокинут? Это были дни изнурительного, какого-то иссушающего ожидания. Мы знали, нет, это не должно повториться, но тревога не покидала нас. Постепенно тревогу вытеснила уверенность: наши сдюжат, сорок второму году вновь не бывать.

Из глубины обороны к фронту нашей и соседних дивизий подтягивались крупные воинские соединения — артиллерия, пехота, танки. Подвозили снаряды, мины, патроны для пулеметов и автоматов. Не требовалось большой смекалки, чтобы понять — дела на Курской настолько наладились, что Ставка решила выделить войска для проведения других масштабных операций. Каких? Точно в дивизии никто не знал. Устная солдатская почта разнесла повсюду — быть большому наступлению.

От Оскола к Северскому Донцу скрытно подтянулась прославленная армия генерала Чуйкова. После сталинградских боев она полгода находилась на переформировке, пополнилась солдатами, офицерами, вооружением и теперь уже в новом, более высоком звании — восьмой гвардейской — готовилась гнать немцев на запад.

В один прекрасный день мы узнали — нашу дивизию, в которую накануне войны я, свежееиспеченный лейтенант, попал адъютантом батальона и где ныне служил начальником штаба дивизии, передают в оперативное подчинение восьмой гвардейской армии. Нашим прямым начальником стал командир ...надцатого гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Лоцилин. Выглядел он весьма внушительно — повыше среднего роста, осанистый, несмотря на грузноватость, в коротко стриженных, еще густых волосах просесть. Крупное

лицо было бы, пожалуй, красиво, если б не набрякшие под глазами мешки и оттопыренная нижняя губа, придававшая ему выражение брезгливости. Мои отношения с Лоцилиным сложились неладно. Началось все с военной игры в штабаре. Мы, командиры дивизий и их начальники штабов, отработывали на искусно сделанном макете будущую операцию. На военном языке она называлась: «Организация взаимодействия при форсировании Сев. Донца и прорыве глубоко эшелонированной обороны».

Подводил итоги этой длившейся чуть ли не целый день игры Лоцилин. Он встал осанистый, важный. Плечи развернуты, голова слегка откинута назад — ну прямо бери снимай и на обложку «Огонька». Не спеша подошел к макету.

— Так вот... Умствований много... Теперь послушайте меня...

И не столько его вид — ну, любит порисоваться, так это еще не велик грех, — сколько вот эти его слова, и даже не сами слова, а тон, каким они были сказаны, вызвали у меня неприязнь.

Лоцилин говорил и, видно было, упивался тем, что говорил. Он не разбирал наши действия, не анализировал, где мы, умствуя, ошибались, а поучал. «Зарубите: смелость на войне города берет», «не умствовать надо, не раздумывать, а бить гадов», «когда задача — вперед, нечего назад оглядываться», «настоящему солдату танк не страшен», «потери велики, а вы все равно вперед: немец, он русского натиска не любит». Сыпались плоские поучения, которые никогда никому никакой пользы не приносили. Он то и дело ошибался, путал номера частей. Но это его не смущало. Когда он наконец кончил, вид у него был такой, будто он не на макете, а взаправду сокрушил немецкую оборону на Донце. От командира гвардейского корпуса я ожидал совсем другого и был разочарован. Когда участники игры разъезжались, я сказал своему комдиву, генерал-майору Журавленко: — Крупно нам с комкором повезло, тот полководец.

То ли кто-то услышал мои слова и передал их, то ли по какой иной причине, Лоцилин меня невзлюбил.

Я уже кончал свой доклад Чернобородову, как вдруг дверь блиндажа отворилась и вошел Лоцилин. Он мол-

ча выслушал объяснение Чернобородова, почему я здесь, и, пропустив мимо ушей мое приветствие, выгнул из кармана бриджей клетчатый носовой платок, вытер лоб и шею.

— Жарища,— сказал он.— Сил нет.

Потом коротко бросил:

— Продолжайте. А я послушаю, что у них в конторе творится. Не возражаешь? — Это он спросил у меня. Спросил с явной издевкой, как будто я мог возразить, и тяжело опустился на лавку у дощатой стены блиндажа.

Я пропустил издевку мимо ушей и спокойно ответил:

— Товарищ генерал, вы тут старший. Как прикажете.

Лоцилин в упор смотрел на меня. Может, до этого он уже был не в духе, а может быть, ему не по душе пришлось мое спокойствие — так или иначе, но я видел, как в нем поднимается раздражение. Должно быть, заметил это и Чернобородов. Чтобы снять возникшую напряженность, он, как будто ничего неприятного не произошло, ровным голосом сказал:

— Мы слушаем вас.

Я продолжал прерванный рассказ:

— На станции Кременной есть лесозавод. Он полуразрушен, обвалилась крыша, в стенах дыры, но оборудование цело. Мы бросили туда саперов. Они привели все в порядок и сейчас без передышки днем и ночью гонят десантные лодки.

— Где чертежи добыли? — спросил Чернобородов.

— А мы без чертежей. Собственно, это плоскодонки, но лодки крепкие, надежные, каждая берет от шести до восьми человек.

— Опрокидываться не будут?

— Для устойчивости к днищу вместо киля крепят неширокую доску, сантиметров около пятнадцати.

— Угу, хорошо. Сколько лодок уже построили?

— За полсотни перевалило. Вначале давали пять лодок, сейчас семь штук в сутки. Хотим сделать столько, чтобы одновременно посадить на них два полка с усилением.

По виду Лоцилина я не мог понять, доволен он моим докладом или нет. Он слушал, чуть наклонив свою крупную голову, полузакрыв глаза.

— Ты вот что, Вересков, лучше скажи,— заговорил он, вдруг поворотившись ко мне всем корпусом,— когда вы «языка» возьмете?

Ох, этот чертов «язык»... Сколько мы ни бились, что только не придумывали, пленного не было. Последний раз наши разведчики захватили живого фрица около месяца назад. Трое суток они просидели в засаде среди кустарника заболоченной поймы, огромной подковой вдававшейся в западный берег Северского Донца близ Красного Лимана, где река образует излучину. На эту засаду напоролась разведка противника. Наши, злые как черти от измотавшего душу напряжения, после короткой стычки нескольких немцев убили, а одного заграбастали и притащили в штадив. С тех пор пленных у нас не было. А сверху все время подстегивали и нажимали — давайте пленного, давайте пленного. Как говорится, когда не повезет, так из домашних щей таракана проглотить. Мы буквально лезли из кожи ради этого самого пленного. Но ничего не получалось. Дивизионных и полковых разведчиков преследовал какой-то злой рок. В пойме немцы больше не появлялись. Взять языка в другом месте не удавалось. Надо было переправиться через реку, непрерывно освещающуюся в ночные часы ракетами, прогрызть трехрядное проволочное заграждение, подняться по крутому береговому откосу до первой, а еще лучше до второй траншеи, где немцы не так уж бдительны, залечь, без шума заарканить какого-нибудь зазевавшегося фрица, и тем же путем — по откосу, сквозь дыру в проволоке и наконец через реку вернуться назад. Однажды судьба, было, улыбнулась нам, но улыбка вышла кривая — разведчики так треснули гитлеровца по башке, что тот потерял сознание. Приволокли его на КП в беспамятстве. Медсанбатовские врачи пытались его спасти, но тщетно. В другой раз поисковая группа захватила «языка» целехоньким. Но при отходе разведчиков обнаружили. Гитлеровцы открыли ураганный минометный и пулеметный огонь — пленный фриц и трое разведчиков были убиты, один пропал без вести, а двое вернулись ранеными. Словом, как мы ни бились, как ни старались изловчиться, прокол следовал за проколом.

Это все Лоцилину было известно. И все-таки он ставил вопрос так, будто взять или не взять пленного зависело только от нашего желания.

— Товарищ генерал, мы делаем все, что можем.

— Значит, не все!

Я молчал.

— Что молчишь? А?!

— Цена большая, товарищ генерал. Семь убитых, одиннадцать раненых. За месяц. Есть ли смысл еще столько же угробить, чтобы взять одного фрица?

— Есть ли смысл? Ты погляди на него, Чернобородов. Вот это здорово рассуждает. Ты что ж, без потерь воевать хочешь?

У меня перехватило горло. Я почувствовал, как кровь жарко приливает к голове. «Спокойно, спокойно», — приказал сам себе.

На войне, конечно, всякое бывает. Иной раз обстановка складывается так, что нет иного выхода, как пожертвовать батальоном и даже полком, чтобы спасти дивизию. Но сейчас, как мне казалось, главное, что требовалось знать о противнике, мы уже знали. На западном берегу Северского Донца перед нами держал оборону 93-й гренадерский полк 21-й пехотной дивизии. Мы знали численный состав его рот, примерную насыщенность артиллерией и стрелковым оружием, расположение многих огневых точек и ходов сообщения. Конечно, разведку противника — это азбучная истина — надо вести непрерывно, и пленный отнюдь бы не повредил, но нам и так было известно вполне достаточно для того, чтобы вести будущий бой не вслепую. Гораздо важнее было сохранить опытных разведчиков до начала наступления, когда обстановка начнет непрерывно меняться.

— Что уставился? Отмолчаться хочешь?

От сухости во рту, оттого, что я старался не дать своим чувствам прорваться, голос мой стал каким-то хриплым, словно бы чужим.

— А так ли уж нам нужен этот пленный, товарищ генерал? Еще раз узнаем, кто у них командует ротой, кто — батальоном? Ведь, по данным авиаразведки и агентуры, никакой передвижки войск у фрицев не обнаружено.

— А если агентура проглядила?.. Гарантию ты мне можешь дать, что такой передвижки не было?

Может быть, Лоцилин был прав. Авиаразведка и агентура могли не углядеть. Но практически возможность замены стоящих перед нами немецких войск была ничтожна.

— Нельзя исключать также того, товарищ генерал,— сказал я, уклоняясь от прямого ответа,— что в поиске и наш разведчик может попасть к немцам в плен. А мы наступление готовим.

— Теперь, Чернобородов, все ясно. «Язык» им не нужен. Черт те что! Начальник штаба называется! Организовать ничего не умеешь. Пустил разведслужбу на самотек, вот и болтаешь.

— Товарищ генерал...

— Что, «товарищ генерал»?

— Товарищ генерал, я попрошу...

— Может быть, учить меня будешь, как с тобой разговаривать? Да когда ты у матери титьку сосал, я уже хлебал солдатский борщ.

— Товарищ генерал, прошу не оскорблять.

— Оскорблять?! А где пленный? Где?.. А-а... Молчишь... Что же не отвечаешь, начальник штаба? А-а? Тебе на бандуре играть... Когда будет пленный? Ну?!

Я опустил руки по швам, застыл в стойке «смирно» и раньше, чем успел сообразить, что говорю, отчеканил:

— Через неделю, товарищ генерал.

Наступила короткая пауза. Мой ответ, внезапный и для меня самого, разрядил атмосферу.

От неожиданности Лоцилин оторопел. Он несколько раз глотнул воздух.

— Через неделю, говоришь?! — Он дышал тяжело.— Дадим ему, Чернобородов, неделю?

— Думаю, надо дать, товарищ генерал... Просит без запроса.

— Ну, ну, посмотрим, много ли твое слово стоит, начальничек штаба, посмотрим.

Лоцилин ушел. Дверь так хлопнула, что на плащпалатку, подвешенную к потолку блиндажа, с шуршанием потекли сквозь бревна струи песка.

Чернобородов, как ни в чем не бывало, постучал тупым концом карандаша по столу, затем бегом просмотрел сделанные им во время моего доклада заметки и закрыл блокнот.

— У меня все. Действуйте... Так, сегодня у нас пятнадцатое...— он посмотрел в табель-календарь.— Не в счет. К двадцать третьему июля ждем от вас пленного.

Через пять минут я выехал к себе в дивизию. Я был дьявольски зол на себя за то, что так глупо, по-дурацки

дал слово. Чем больше я размышлял, тем оно казалось менее выполнимым.

— Закурим, товарищ полковник?.. Пока вы у Черногобородова сидели, я в военторге для вас вот что раздобыл.— Хренов торжествующе поднял руку с зажатой в ней коробкой «Казбека».— Десять пачек, товарищ полковник.— Он вскрыл ногтем коробку и протянул мне.

Я взял папиросу, размял. Раньше, чем я успел сунуть ее в рот, Хренов щелкнул трофейной зажигалкой.

— Сам возьми и Петю угости.

Все закурили.

— Хороший анекдотик слышал,— хохотнул Хренов. Он видел, что я чем-то расстроен, и, чтобы меня отвлечь, стал пересказывать анекдоты, услышанные в штабе корпуса. Но я слушал невнимательно, и Хренов умолк.

«Что же предпринять? — вертелось в голове.— Что? Организовать еще один — сто первый поиск?.. Ладно, организовали. А дальше?.. Хорошо, конечно, ширью да высью, а ну как опять рылом в землю... Неужто в землю?.. Это еще посмотрим... В землю!.. А чего смотреть-то... Есть ли хоть малейшие шансы на успех?» Шансы были более чем мизерными. Но другого выхода я не видел.

На КП дивизии я остановил машину у землянки разведотдела.

— Ну-ка, позови Гудковского,— обратился я к Хренову.

Не прошло и трех минут, как капитан Гудковский, своей смуглостью, кучерявыми, антрацитово блестящими волосами и карими дерзкими глазами напоминавший цыгана, сидел в эмке, а еще через две минуты мы были в моем блиндаже.

— Вот что... Запомни это число: двадцать третье июля сорок третьего года...

— Есть. Запомнил.

— Так вот, к двадцать третьему июля мы должны взять «языка».

Гудковский едва заметно усмехнулся, переступил с ноги на ногу, но ни слова не сказал. Молчал я, молчал он. Его широкие разлетистые брови слегка шевелились. Он явно вел разговор с самим собой. В другой раз я, может быть, и пошутил, но тут мне было не до шуток.

— Чегг молчишь? Язык, что ли, проглотил?
 Гудковский, скривив губы, тяжело вздохнул:
 — Эх-хе-хе...

— Или задача не ясна? — Я удивился резкости своего тона и подумал: «Быстро, однако, я распоясался». Гудковский опять пошевелил бровями.
 — Ясна...— и с нескрываемой иронией добавил: — Яснее ясного. Что ж, наше дело телячье... Разрешите идти?

— Постой... Как так — «телячье»?.. Или мы не командиры?.. Думать надо, что говоришь.

— Ясно...— отрезал Гудковский.— Разрешите идти?

— Постой...— Я достал пачку «Казбека» и, раскрыв, подвинул Гудковскому.— Видишь, чем в штакоре разжился.

— Спасибо. Что-то не хочется.

— Бери. От нервов помогает.— Я затянулся, и это меня немного успокоило.

Гудковский тоже закурил. Он сделал глубокую затяжку и с силой выпустил дым через нос. Какое-то время мы курили молча.

— Садись.

— До войны я «Беломор» предпочитал. Ленинградский. Фабрики Урицкого. Умели, черти, делать.

— Так, значит, говоришь, наше дело телячье?

Гудковский не ответил. Сдвинул брови.

— Ты это настроение брось. Слышишь? Я не буду верить, ты не будешь верить, что у нас тогда получится?

— А если начистоту,— Гудковский как-то весь поджался и подался вперед.— Ты веришь?.. Я — нет. Ни на гран! — Он откинулся, убрал рукой волосы, упавшие на глаза, и уже спокойно с какой-то безнадежностью сказал: — Только людей зря положим. Ведь здесь у него...— Гудковский ткнул пальцем в оперативную карту, лежавшую на столе, на которой красным карандашом были обозначены наши части, синим — немецкие,— здесь у него такая сила. Утыкано — ужу не проползти. И нервничает он, день и ночь караулит. Слепой он, что ли? Не видит разве, что мы готовим? Чуть что на реке заметит — огонь. Коряжина плывет — огонь, клок сена или дощечка — огонь. Как тут к нему подобраться? Да и... Что нового, скажи,— он опять подался вперед,—

что нового мы от этого пленного узнаем? Не лучше ли нам разведчиков до наступления приберечь?

Час назад я пытался все это высказать Лощилину. И во мне всколыхнулась злость на самого себя.

— Ты что, хочешь, чтоб я сказал, что ты прав?.. Ну — прав. Прав. А дальше что?.. Пленного надо взять. Понимаешь?! Кровь носом, а взять.

— Что-что, а кровь будет.

Мы с Гудковским склонились над картой. И хотя оба знали ее наизусть, изучили до черточки, щупали ее вновь глазами, щупали, надеясь, что она что-нибудь да подскажет.

Сколько мы ни вглядывались, карта молчала.

— Давай, Гудковский, прежде чем что-либо решать, посоветуемся с самими разведчиками. Может, они что-нибудь подскажут.

Гудковский ушел, а я занялся очередными делами. Дивизионный инженер требовал машин, чтобы перебрасывать лодки от завода в Кременной в район сосредоточения на берег Северского Донца. Начальник боепитания дивизии через какого-то своего дружка добился, чтобы на фронтовом складе отпустили сверх лимита еще боекомплект для стодвадцатимиллиметровых минометов. Упустить такой случай было непростительно, и тоже срочно требовались машины. Едва удалось уладить дела с транспортом, как меня вызвал к себе командир дивизии генерал-майор Журавленко. Он предложил уплотнить график учений, которые мы проводили на небольшом озере в лесу вблизи Кременной. Учения шли ежедневно, вернее сказать, еженочно. Едва темнело и можно было не опасаться неожиданного появления «рамы», солдаты выволакивали запрятанные на опушке леса лодки и приступали к тренировке — прилаживались быстро грузить минометы, снарядные ящики, станковые пулеметы, противотанковые ружья, правили лодки к противоположному берегу так, чтобы не столкнуться друг с другом, с ходу спрыгивали в воду, выносили на берег нелегкий свой груз и атаковали воображаемого противника.

Мы задались целью пропустить через этот тренировочный полигон все боевые подразделения дивизии. Теперь кто-то неофициально сообщил Журавленко, что, очевидно, наступление на Северском Донце начнется раньше, чем намечалось, и генерал хотел ускорить под-

готовку, сократив для каждого подразделения отведенное ему учебное время

— Товарищ генерал, но ведь у нас все скомкается. Толком никого ничему не научим. И так не знаю, уложимся ли?

— А что же делать?

Все-таки мы нашли выход. Я предложил для двух полков, которые должны форсировать Северский Донец в первом эшелоне, учебного времени не сокращать, а третий полк, предназначенный во второй эшелон, обязать сосредоточить все внимание на отработке боя в глубине обороны противника. Как всегда в таких случаях, Журавленко не спешил с ответом. Расстегнув ворот своей рубашки, — одна из немногих вольностей, которые Журавленко себе позволял, была в том, что дома близких ему офицеров он принимал, сняв китель, непременно в свежестырированной, сияющей белизной рубашке — он, энергично надавливая, потер себе шею и сказал:

— Хорошо. Согласен. У меня все.

Но я не уходил. Журавленко повернул ко мне голову:

— Чего ты мнешься? Еще что-нибудь есть?

— Да.

И я рассказал, что произошло в штабе корпуса. Журавленко слушал сосредоточенно, не перебивая, подперев подбородок рукой. Я кончил. Журавленко немного помедлил и позвал ординарца, чтобы приготовил чай.

— Я не один пить буду. Слышишь?

Он встал, подошел к окну блиндажа, из которого был виден кусок закатно алевшего неба.

— Ветрит на горизонте. Ты сам-то доволен?.. Нет?.. Негоже, Ефим, начальнику штаба горячиться. Нервы, амбицию — это все в узде надо держать. Сам, что ли, задумал руководить поиском? Тебе от твоих комбатовских замашек давно пора отрешиться. Знаешь, что позволено комбату, не пристало начштаба дивизии.

Журавленко не допускал близости с подчиненными и, хотя он ко мне благоволил, но за полтора года совместной службы не более десяти раз назвал меня по имени. И то, что он сейчас сказал: «Ефим» — означало, что я его расстроил. Это меня тронуло, но оправдываться мне не хотелось.

Ординарец поставил на стол два блюдечка, жестяную банку с кусковым сахаром — Журавленко песок не уважал, — принес в фаянсовых кружках крепко заваренный чай и удалился. Генерал пил не спеша, как-то по-деревенски, с присвистом отхлебывая из блюдечка. На лбу у него выступили бисеринки пота. Я еще ждал, пока моя кружка остынет, а Журавленко крикнул ординарца, чтоб нес вторую.

— Я себе на потеху, тебе на уразумение вот что расскажу, — и Журавленко ударился в воспоминания о своей службе в бригаде Котовского. Я уже знал множество историй из молодости генерала, но о том, как комвзвода Журавленко поругался со своим комэском, как его судил товарищеский суд и какой с ним после этого произошел душевный переворот, как он научился укрощать себя и держать на короткой узде, слышал впервые.

— Вот так-то, — закончил рассказ Журавленко, — а я в те годы помоложе тебя был... Еще чаю хочешь?..

Я отказался и попросил разрешения уйти. Журавленко меня не задерживал, а когда я уже взялся за ручку двери, сказал:

— Если моя помощь понадобится, не стесняйся.

Спать я лег поздно. Долго ворочался с боку на бок, но сон не приходил. Из головы не вылазил проклятый пленный. Я накричал на Гудковского. Лоцилин — на меня. А расплачиваться — разведчикам. Конечно, будь у меня с Лоцилиным иные отношения, он жал бы другому. Но суть не изменилась бы. И чего я Лоцилина оправдываю? Да и нужны ли ему оправдания? Может, есть что-то, чего я не знаю, чего мне не говорят? Вдруг в самом деле фрицы готовят замену? И опять я думал о пленном, как его добыть. Наконец, чувствуя, что все равно не засну, поднялся и зажег лампочку, питающую ток от движка. За перегородкой вскопился Сеня, мой ординарец:

— Что-нибудь нужно, товарищ полковник? Может быть, соду приготовить?

Обычно днем в суматохе дел изжога, мучившая меня уже давно, никак о себе не напоминала, а начинала припекать ночью.

— Ничего не надо, Сеня, спи.

Развернул вновь карту. Сантиметр за сантиметром прошелся глазом по переднему краю немецкой оборо-

ны. Мелькнула мысль о том, чтобы скомбинировать поиск с отвлекающим боем. Даст ли это что-либо реальное? И какими силами проводить бой? Бросить стрелковую роту? Батальон?.. Да и какое я имею право из-за глупо сорвавшегося слова бросаться в авантюру, которая может обойтись слишком дорого?.. Выходит, я действительно болтун?.. С этим я не хотел, не мог примириться. Глаз снова ощупал карту и задержался на пойме. Только небольшой ее кусок находился в полосе дивизии. Основная ее часть лежала перед фронтом соседа слева. На полтора километра протянулись плавни. Неужели и там немец все заминировал? Может быть, есть какой-нибудь разрыв?.. Я отогнул подвернутую часть карты. Так... Болотистая лощина как бы разделяла крутой берег надвое. Узенькой ленточкой, то немного расширяясь, то истончаясь, уходила она далеко в немецкий тыл и обрывалась на опушке леса, простиравшегося чуть ли не до Славянска. Интересно, просыхает это болотце в жару или нет? Если не просыхает, то оно, возможно, не заминировано. Надо выяснить, разыскать старожилов и все узнать. Правда, всех местных жителей временно переселили из прифронтной полосы в глубинку, но найти их, конечно, можно.

План поиска созрел. И вот — новая мысль. А не послать ли, подумалось, в немецкий тыл вместо разведчиков штрафников из роты, которую не так давно подчинили дивизии? Пожалуй, действительно надо послать штрафников. Разведчиков сбережем. А для штрафников это неповторимый шанс. Могли бы разом выиграть все, что проиграли. Ухватились бы за него без всяких колебаний. Но кто разрешит? Штрафников в тыл к немцам?! Неслыханно. Я представил, как отнесся бы к этому генерал Лоцилин.

Да что Лоцилин... Не похвалит и Журавленко. Рехнулся, скажет. Чистейшая авантюра. Конечно, согласовывать с Лоцилиным я не буду. Но скрыть от Журавленко? На доверие ответить умалчиванием, действовать в обход? А не скрыть — так он наверняка зарубит мой план.

Я прикидывал так и этак. И все более — только не подвело бы болотце! — склонялся к варианту со штрафниками. Единственно, что я никак не мог решить: сообщать о задуманном Журавленко или нет.

Утром я поделился с Гудковским своими соображе-

ниями о лощинке. Он сразу загорелся, завелся, как говорят, с пол-оборота.

— Лихо, товарищ полковник. Очень даже лихо. Вообще, конечно, забрасывать разведчиков в такой глубокий тыл должны не мы, а армия. Но черт с ними. Лихо! Если выгорит, всем утрем нос.

— Трогать наших разведчиков мы не будем.

— Как так?

— Очень просто. Забросим штрафников.

— Что?!

— То, что слышишь. Только,— я предостерегающе поднял указательный палец.— Чтоб никому. Ни пол-слова. Ты и я. Больше чтоб ни одна живая душа.

— Ясно.

— Сейчас возьмешь мою эмку и жарь. Разыщешь кого из старожилов и об этой лощинке все выспросишь. Главное — просыхает или нет.

Гудковский встал.

— Еще вот что. Тот нормальный поиск готовить своим чередом.

— Для чего?

— Для страховки. Никто из разведчиков даже подозревать не должен, что поиск могут отставить. Вдруг тут не выгорит.

— Плюньте, товарищ полковник, через левое плечо. Я повернул голову налево и сказал: тьфу, тьфу.

— Теперь порядок.

Не откладывая, я послал за командиром штрафной роты. Но он куда-то уехал и вместо него появился замполит, долговязый старший лейтенант. Несколько общих вопросов о том, как разместились рота, как дисциплина, как идут боевые занятия, и я перешел к сути дела.

— Людей в роте успел изучить?

— Присматриваюсь, товарищ полковник.

— И что ж ты о них можешь сказать?

— В бою еще не были. Народ разный.

— Надежные есть?

— Воспитываем, товарищ полковник. Провожу политзанятия и внушаю.

— Ну а все-таки, есть надежные или нет?

Старший лейтенант смотрел исподлобья, что, мол, я имею в виду. Потом пожал плечами.

— Воевать будут как звери.

— В этом никто не сомневается. Я о другом. Нужны такие, чтоб на них положиться, как на самого себя.

Замполит явно не понимал, чего я добиваюсь.

— Например, такие, чтоб можно было послать в тыл немцев.

— К немцам?.. В тыл?!

— Я ж говорю, например.

— Так ведь это, товарищ полковник, исключается.

— Ну а все-таки?

Старший лейтенант посмотрел куда-то в сторону, в глухую стенку блиндажа, потом уткнулся взглядом в мои сапоги. Наконец сказал:

— В душу не влезешь. Что воевать будут как звери — это точно, товарищ полковник. Выбора у них тут нет. Либо пан, либо пропал. А там — глаза там за ними не будет.

— Значит, нет таких, на кого можно положиться?

— Нет, этого не говорю. А поручиться — не поручусь.

— Вот что, возвращайся в роту. Подумай. Посоветуйся с командиром. Попозже к вечеру я сам к вам приеду.

Часа через полтора после обеда я отправился к штрафникам. В молодом лесочке, где размещалась рота, находились только старшина и дневальный. Остальные были на занятиях — превратили крутой склон близлежащего оврага в опорный узел и учились его штурмовать.

Я разыскал командира штрафной роты. Поджарый, быстрый в движениях капитан сразу схватил суть дела, сдвинул фуражку на затылок, наморщил лоб, искоса глянул на замполита и без колебаний сказал, что может рекомендовать для засылки в тыл к немцам добрый десяток человек.

— Уж так сразу и десяток, — возразил замполит. — Тут с кондачка нельзя. Семь раз отмерить надо.

— Есть очень даже замечательные люди, — никак не прореагировав на замечание замполита, продолжал капитан. — Отчаянные до полного бесстрашия. Готовы буквально на все, лишь бы искупить свою вину. Головой могу за них поручиться.

— Голову для другого побереги, — бесстрастно заметил замполит.

Капитан метнул быстрый взгляд на своего замполита, хотел, видимо, что-то сказать, но раздумал, достал из планшетки обычную школьную тетрадь со списком роты.

— Вот сейчас посмотрим, сколько наберется.

— Мне десяток не нужен. Трое требуются.

— Пожалуйста,— палец капитана заскользил по столбику фамилий.— Вот. Петров из второго взвода... Может, скажешь, этот ненадежный?..

Замполит ничего не ответил.

— То-то. Бывший майор. Железный человек. В срок первом трижды был в окружении. И трижды прорывался к своим. Награжден орденом «Красная Звезда» и двумя медалями «За отвагу».

— За что попал в штрафники?

— Самовольно расстрелял старшину. Посчитал, что тот драпает с фронта. Обстановка была сложной. Немец жал. Тут неразбериха. Ну вот и... досадная получилась история. Или возьмите Перебреева. Может, скажешь, этот ненадежный?.. Летчик. Бывший старший лейтенант. Двадцать боевых вылетов. Три самолета сбил. Выпрыгнул с горящего самолета. Попал в плен. Бежал. Перешел линию фронта. Направили в штрафники.

— Почему?

— Не сохранил документов и личного оружия.

— Вот видишь,— сказал замполит,— какой же он ненадежный, если документы не сохранил. Может, он их сознательно уничтожил?

— Зачем зря молоть.

— По-твоему, выходит, его зря к нам прислали?

— Этого не говорю. Но ведь в приговоре как записано? Не сохранил документы. Зачем же лишнее вешать?.. Так,— капитан вернулся к списку.— Или вот, к примеру, Кострецов...

— Погоди,— сказал я.— Нет ли среди штрафников кого-либо родом из здешних мест — из-под Изюма, Славянска, словом, откуда-нибудь отсюда?

Капитан задумался.

— Есть-то есть,— отозвался замполит.— Только его никак нельзя.

— Почему?

— Биография с душком. За кормой нечисто.

— А именно?

— Урка. В лагере сидел. Ни в какого бога не верует.

— Это ты о Никонове, что ли?.. Да, парень, как говорится, оторви и брось. Я бы, пожалуй, такого не послал.

— Может, другой кто есть отсюда?

Капитан посмотрел на замполита. Тот подумал немножко и с твердостью сказал:

— Нет, другого нет.

— Пришлите-ка их ко мне. Только не всех разом. По одному.

— И Никонова тоже?

— Да. И Никонова.

Первым явился Перебреев. Высокий, плечистый, узкий в бедрах. Из-под выгоревшей пилотки выбивались коротко стриженные светло-пшеничного цвета волосы. На его лице жизнь еще не поставила своих отметин, не проложила борозд. Оно было юношески чистым. Но, взглядевшись, я заметил явное несоответствие — затаянная скорбная суровость взгляда никак не вязалась с ребяческой мягкостью рта и подбородка. Выслушав его историю, я спросил, как он относится к решению трибунала, направившего его в штрафную роту.

Тонкие, изогнутые брови летчика еле заметно дрогнули, резче обозначились скулы.

— Разрешите не отвечать, товарищ полковник.

— Почему не отвечать?

— Врать не хочу.

— Ну и не ври.

Взгляд летчика сделался неподвижным:

— Как я могу к нему относиться?.. Буду доказывать, что я не верблюд, не сволочь, не подлец, а наш, советский... Другого ничего не остается.

— Ну, а если б другое оставалось?

Глаза Перебреева сузились, и, видимо, стараясь перебороть вспыхнувшую вновь обиду, он едва слышно сказал:

— Но ведь не остается.

— А все-таки...

— Хотите напрямик? — Губы Перебреева побелели, он еле сдерживал поднимающуюся из глубины ярость. — Извольте. Разве это справедливо, товарищ полковник? Человек бежит из плена, добирается к своим, а его... И потом глупо это. Ну, убьют. Так разве там, — Перебреев движением головы указал вверх, — разве там я от

смерти прятался? Летчик я. Истребитель. Где, скажите, я нужнее: тут или там?

— Родители твои где?

— Нет у меня родителей. Мать в тридцать девятом умерла. Отца зимой сорок второго убило. Здесь недалеко. Под Лозовой.

— Что ж, никого у тебя нет?

— Есть. Братишка остался. Пятнадцать лет ему.

С бабушкой живет.

— Не женат, конечно?

— Хотел жениться. Девушка у меня была.

— Почему была?

— Когда меня сбили, сообщили ей, что погиб. А я ей больше не писал.

— Что так?

— Не захотел. К чему? Чтоб второй раз меня хорошила?

Конечно, далеко не все одобрили бы беседу, которую я вел. Но мне надо было понять человека, как говорится, заглянуть ему в душу, и иного пути для этого не видел. Перебреев мне понравился. Понравилось, что он не хитрит, а режет прямо, выкладывает все без утайки. Жизнь не раз убеждала меня, что именно таким прямым людям, которые говорят, что думают, без оглядки на то, выгодно им это или нет, можно смело доверять.

Петров, разжалованный майор, был лет на десять постарше Перебреева. Каждое его движение и то, как он подошел, и как чеканно-четко вскинул руку в приветствии, и как представился,— все выдавало в нем служаку-кадровика. Я не ошибся. Петров попал на финскую уже старшиной-сверхсрочником. Там ему, как и мне, доверили взвод и присвоили звание младшего лейтенанта. В сорок первом году, после того как он с боем вышел из окружения, его поставили командиром роты и наконец назначили комбатом. Был он невысок, но крепко сбит и широк в кости. Гимнастерка — конечно, б. у. (бывшая в употреблении) — была ему узковата, и сквозь нее прорисовывалась мощная мускулатура. Петров был не то чтоб угрюм, но как-то спокойно суров. Отвечал немногословно. По отрывистой речи видно, что он привык командовать.

— Как же ты, одиннадцать лет в армии и вдруг в штрафную угораздил?

— Правильно меня угораздило,— бесстрастно, но твердо сказал Петров, сказал, как нечто хорошо продуманное, и пояснил: — Человека убил.

— Как же так получилось?

— Долгий рассказ, товарищ полковник.

— Случайно, что ли?

— Нет, не случайно...— Петров вздохнул.— Приказ ни шагу назад, а батальон отступает.

Я ждал продолжения рассказа, но Петров будто и не собирался говорить. Взгляд у него был неподвижный. Должно быть, он видел перед собой что-то невидимое другим.

«Да,— подумал я,— тут клещи нужны, чтоб слово вытянуть».

— Ну, дальше-то что?

— Батальон, значит, отступает. Ну, я из окопа выскочил: «тэтэ» из кобуры. И в воздух. Только залечь всех заставил, а тут этот старшина. «Стой!» — кричу. А он будто и не слышит. «Стой!» — а он прет себе и прет.— Петров опять помолчал, а потом его словно прорвало.— Ну тут... Ну в спешке, я того... А старшина, он из артполка. За снарядами шел. Эх!.. Обвинили меня. Самоуправство. Поначали я на дыбы. Ведь, говорю, шел бой. Разбираться времени не было... Уже потом понял — правильно мне влепили. Не то страшно, что трибунал осудил, сам себя я казню. Не немец его, не фашист, а я убил. Свой своего.

Мы помолчали.

— У самого семья есть?

— Старики живы. И сестра. Брат погиб. Под Москвой. В сорок первом.

— Чего ж ты, тридцать лет, а до сих пор не женат?

— Да как-то так... Служба. У братана, что погиб, семья осталась — жена, трое ребятишек. Я им аттестат выправил. А жив останусь, женюсь на ней.

Долго я беседовал с Петровым. Расспрашивал о боях, в которых он участвовал, о действиях в тылу противника, о том, как выходил из окружения. Постепенно все мои сомнения, годится ли он для того, чтобы идти за «языком» в тыл к немцам, почти рассеялись.

Особо интересовал меня Никонов. То немногое, что я о нем услышал, не обнадеживало. А ведь от того, что такое этот Никонов, насколько хорошо знает местность,

пригоден ли для столь рискованного поиска, зависела чуть ли не половина успеха.

— Товарищ полковник, по вашему приказанию бывший сержант Никонов, ныне рядовой третьего взвода энской штрафной роты прибыл,— и он откозырнул с веселой лихостью. В желтых от курева крупных зубах сверкнула золотая коронка.

— Вольно,— ответил я.

— Есть вольно,— с озорным перекатом в голосе отозвался он.

— Уж больно ты весел, Никонов.

— А чего мне печалиться? Веселому завсегда легче. Забубенную головушку и девки шибче любят. Козел до соли охочий, а Генка Никонов — до девок.

Зеленые глаза Никонова смотрели с наглым бесстыдством.

— Ты, Никонов, не паясничай. У меня с тобой серьезный разговор.

— А я с вами на полном сурьезе, товарищ полковник. Просто у меня такая масть — и на полном сурьезе и с веселостью.

Я оглядел Никонова. Был он худ и жилист. Застиранные хлопчатобумажные бриджи висели на нем, будто пустые. Руки длинные. Загрубелые кисти рук, как лопаты. На тыльной их стороне — хитрым узором синь татуировки: рожа черта с высунутым языком, сердце, пробитое стрелой, и надпись — «не забуду мать родную».

Никонов перехватил мой взгляд и, показывая, протянул свои лопаты:

— Это, когда я еще пацаном был, накололи. И на грудях, и вокруг пупа, и пониже живота. Хотите глянуть? Чистая Третьяковка. Вообще-то за показ я гроши беру, гривенник, а вам, товарищ полковник, бесплатно. Хотите? — и он схватился за пряжку поясного ремня, чтобы расстегнуть.

— Отставить!

Наглое паясничанье Никонова все больше и больше меня раздражало. Что было с ним делать? Поставить по стойке «смирно», развернуть кругом, заставить помаршировать и опять поставить по стойке «смирно»? А дальше что?

— Видно, крепко тебя жизнь потрепала,— сказал я.

— Не без того.

Я достал папиросы, сунул одну в рот, протянул пачку Никонову:

— Куришь?

— С тринадцати лет.— Он взял папиросу, повертел, понюхал. Подмигнул своим кошачьим глазом. Снял пилотку и спрятал папиросу за отворот.— После подымлю. Перед тем, как дрыхнуть завалиться. Слаще.

— Возьми еще.

Никонов исподлобья, с затаенной подозрительностью поглядел на меня:

— Разрешите задать вопрос, товарищ начальник?

— Полковник...— поправил я.— Задавай.

Никонов пропустил мое замечание мимо ушей и не стал поправляться.

— На какой предмет вы меня того,— он усмехнулся едва заметно дрянной усмешечкой,— щупаете? Для чего вам Никонов-то сдался? Может, расколоть хотите?— Он подождал, не отвечу ли я, но я не ответил.— Так зря стараетесь. Чтоб Генка Никонов скурвился или сухой стал? — Он брезгливо скривил губы, глаза его холодно и злобно заблестели.— Не было того и не будет,— и, выделив голосом, он с вызовом добавил: — товарищ полковник!

«Должно быть,— подумал я,— есть у него какое-то нераскрытое дело.— Тот еще тип!»

— А зачем мне тебя раскалывать?.. А щупать... Так ты ведь не баба, чтоб тебя щупать. Пытать тебя, верно, пытаю. Хочу понять, каков ты, для чего можешь согдаться.

— Так вы скажите, какое такое дело, а я вам без булды — подхожу или нет.

— Знаешь, Никонов, где торопливость нужна?..

В глазах Никонова потух злой огонек, но холодок подозрительности остался. Я чувствовал, что ему мерещится какой-то подвох, что он не доверяет мне так же, как я не доверяю ему.

— Бери...— я кивнул на пачку папирос.

Никонов взял, смял бумажный мундштук папиросы гармошкой, зажал своими большими губами.

— Два года, даже поболее, ничего путного не курил. Дубовый лист, самосад вонючий. Аж слюня порыжела.

Он сплюнул.

Открытую пачку я положил рядом с собой на бревне.

— И давно начала тебя жизнь ломать? — спросил я Никонова, когда мы закурили. — Только давай так: не хочешь — не говори, а если уж говоришь — все как есть.

— Считайте, товарищ полковник, с двадцать девятого года. По арифметике Пупкина, с картинками, стало быть, четырнадцать лет.

— Сколько ж тебе было?

— Годов-то... Одиннадцать стукнуло.

Я не хотел тянуть Никонова за язык и не стал задавать вопросов, ждал, не расскажет ли он еще чего сам.

Никонов молча докурил папиросу, поплевал на нее и щелчком откинул окурочек.

— Садись.

Никонов прищурился, видимо, что-то взвешивал, потом сел, но не на бревно, а на землю.

— Планида, должно, такая: со скуды — беда, а с беды — пляска. Колечко за колечко цеплялось да в такую цепь составилось — руби не разрубишь, — наконец заговорил он.

Жизнь не баловала Никонова. Хлебнуть пришлось с перебором: голодное детство — сидишь в школе, а в голове одно скубет: хлеба бы, хлеба. Смерть отца, побег из дому, житье у деда, который нещадно драл, новый побег, хулиганство и мелкое воровство. За поножовщину угодил в трудколонию. Бежал. Воровал в поездках. Занесло на Кавказ, в Грозный, оттуда в Махачкалу. Здесь из-за какой-то крали чуть не закололи кинжалами. Спасаясь от расправы, ушел с рыбаками по Каспию. Понюхал, чем пахнет пустыня, скитаясь с геологами по Мангышлаку. Вернулся в родной Славянск. Хотел начать новую жизнь, но... дружки. Опять кражи и грабежи — из Славянска в Изюм, из Изюма в Харьков. Осенью сорокового «загремел в тюрьму», а оттуда в лагерь. Здесь поначалу филонил, а потом вкалывал как сатана, чтобы досрочно освободиться, чтобы отправиться на фронт и крошить гитлеровских гадов. После лагеря вроде бы все шло хорошо — попал в часть, стал сержантом.

— Уже на фронт двигались. Ну в Валуях застряли. Кореш мой денатурату раздобыл. Зверь — штука. Надрались как цуцки. Драка завязалась. Мне кто-то врезал, я кому-то врезал. Вот заместо фронта сунули в штрафники. Но Генка Никонов, он и в штрафниках не закиснет. По мне одно — лишь бы фрицев бить. А где —

в штрафниках ли или как иначе — дело десятое. Жаль только — промедление выходит.

В чем-то, пожалуй, в главном, я верил Никонову, в чем-то — нет. В его рассказе, порой залихватски ухарском, не всегда одно вязалось с другим. Без сомнения, он что-то утаивал, что-то добавлял, словом, вел со мной игру, чтобы подать себя повыгоднее. Конечно, я мог бы его без труда уличить в неувязках, но для чего?.. Его последние слова тоже не очень-то мне понравились. Ишь, все равно, где фрицев бить, в штрафниках или как иначе... Быть того не может... Уж больно он представляется: мол, глядите, какой разлюли-малина. А сам себе на уме. Хитрый черт!

Все-таки я спросил:

— Здешние места хорошо знаешь?

— Теперь понятно, для какого дела Никонов понадобился... — И, сообразив, что я недоволен его словами, поспешил добавить: — Да вы не сумлевайтесь, товарищ полковник... — Он постучал себя по груди. — Могила... А места здесь исхожены вдоль и поперек. Тут на взгорье, верст десять, Петровское... Дед мой, который меня ремнем крестил, там живет. Так от Петровского в Славянск я, чтоб не соврать, бесцетно протопал, каждая тропа, овражек каждый знаком.

Отпустив Никонова, я зашел в землянку командира роты. Он о чем-то спорил со своим замполитом. Судя по их лицам, спор был не из приятных.

— Ну вот, побеседовал, — сказал я. — Пока ничего определенного не скажу. Познакомился. Может быть, они вообще не понадобятся.

Гудковский вернулся в штадив поздно вечером. Его поездка оказалась удачной. Он установил, что последние годы приглянувшаяся мне болотистая лощинка не просыхала даже в самый беспощадный зной, — так резко поднялись подпочвенные воды.

— Смотри, вроде хорошо пока все складывается. Тьфу, тьфу, тьфу... А я людей у штрафников присмотрел.

— Ребята подходящие?

— Двое определенно подходят. Ну а третий... Ох, не лежит к нему душа. Но тут выбора нет. Он из местных. Облазил все вокруг.

— Чего ж лучше-то?

— Блатной он.

— Ну и что... Агеева помните? Разведчик был — поискать.

— С блатными всегда лотерея. А этот, понимаешь, с начиночкой. Как он там повернет? Аллах его знает.

— Пусть двое других за ним присматривают.

— В тылу у немцев-то? В лесу присматривай не присматривай, сделал два шага в сторону, за куст спрятался и поминай как звали. Вот что: завтра чуть свет опять жарь по деревьям, может, какого-нибудь парнишку разыщешь, чтоб проводником мог пойти. Ясно? Только к двенадцати — это самое позднее — быть на КП.

Тут же мы обсудили экипировку поисковой группы Гудковский предложил одеть всех в поношенное гражданское платье. Поразмыслив, мы отказались от этого. Конечно, пистолеты «ТТ» и финские ножи можно спрятать под пиджаком, но как быть с автоматами? Под рубаху автомат не подденешь. А ведь, кроме того, надо взять с собой патроны и сухой паек. Да и вообще появление гражданских лиц вблизи оборонительной полосы без соответствующих документов военной комендантуры неизбежно вызвало бы у немцев подозрение.

Нельзя было посылать группу и в нашем обмундировании. Решили одеть ребят в немецкие маскировочные прорезиненные куртки: они и удобны и прочны и не привлекут внимания в случае какой-либо непредвиденной встречи.

Вместе с Гудковским я вышел на улицу. Было начало одиннадцатого. Солнце зашло, но на западе полоска неба все еще светлела. Над головой уже проступили звезды.

— Завтра в эту пору группа уже должна начать переправу. Кстати, не забудь заехать к соседу слева, предупреди, что на стыке с ними мы проводим поиск, чтобы не вздумали открывать огонь.

— Предупрежу... Эх, ночка... Хороша. Сходить, что ли, в медсанбат? Там сестра новая появилась. Видели?.. Зря. Глаза у нее — будто в степном родничке две незабудки плавают.

— Уж не влюбился ли?

— Да нет, а чего-то хорошего хочется. Огрубели мы. Все накоротке, мол, спишется за счет войны. Надоело себя по частям списывать, хочется и приписать.

— Понятно.

— Она, говорят, на гитаре играет. Поет.— В темноте я увидел белые зубы Гудковского и понял, что он улыбается.— Пойдемте, послушаем.

— Давай, давай, иди... Только... Чтоб в четыре ноль-ноль выехать

— Будьте спокойны,— и Гудковский, небрежно козырнув, зашагал в медсанбат.

Ночка и в самом деле была хороша. Крупные звезды. Легкий ветерок. Терпкий, будоражащий запах полыни, мятлика, горчицета и каких-то совсем уж незнакомых трав... Дневная жара спала, дышалось свободно. Ишь, в роднике две незабудки плавают... Забрало его. А что, если и мне пойти послушать, как поет и играет на гитаре новая сестра?.. И вдруг я вспомнил о Журавленко, что до сих пор не доложил ему о задуманной операции. Докладывать или нет? Я представил, как после моего доклада Журавленко встанет, сумрачно пройдет по блиндажу и со спокойной непреклонностью скажет: значит, для тебя уставы не писаны? Молодец!.. Ну так вот, для меня писаны — я запрещаю. Да, Журавленко запретит. Тут никаких сомнений. Значит, докладывать ему нельзя. Мне не хотелось действовать за спиной генерала, но иного пути я не видел.

На этот раз Гудковскому не повезло, проводника среди местных жителей он не нашел. Итак, приходилось посылать Никонова.

Сеня на эмке привез ко мне командира штрафной роты. Я сказал ему, чтобы через час Петров, Перебреев и Никонов находились в разведроты.

— Понимаю, товарищ полковник. Надолго их забираете? Как мне в донесении указать?

— Укажи, что откомандированы в личное распоряжение начальника штаба дивизии полковника Верескова.

— Есть.

— И замполиту передай: пусть в своем политдонесении то же самое напишет.

— Передать передам. Но он мне своих политдонесений читать не дает. А потом, товарищ полковник, мы с ним на этот предмет уже малость поцапались, вы как

раз в землянку вошли. Уперся: мол, мы обязаны об этом деле доложить.

Осложнение возникало там, где я его совсем не ждал.

— Тогда вообще ему ничего не говори. Пускай докладывает.

Ровно в час дня Петров, Перебреев и Никонов были в расположении дивизионной разведроты. Здесь с каждым из них я опять беседовал порознь. Сказал о предстоящем задании, о его важности. Я не скрывал связанных с ним трудностей и опасностей; сказал, что вообще не имею права их посылать в тыл к немцам, но верю им, и если они согласны, то пошлю; что, разумеется, если они захватят и доставят сюда пленного, то в штрафную роту не вернуться; что никто не собирается их принуждать, что они вольны отказаться и тогда мы их отправим обратно.

Все трое согласились. Перебреев и Никонов мгновенно, Петров после недолгого раздумья. Перебреева будто сбрызнули живой водой, он сразу преобразился. Суровость исчезла, глаза заискрились. Петров оттаивал медленнее. Более сдержанный, он не выказывал своих чувств, но и у него как бы прибыло энергии, лицо посветлело. Я видел, что оба готовы сделать невозможное. Радость Никонова была иной. Его увлекала отчаянность предстоящего дела. Но он и тут не удержался от паясничанья. «Правильно ли я делаю,— мелькнуло в голове,— что посылаю его?» Но отступить было уже поздно.

После обеда мы тотчас принялись готовить группу к рейду. Петров, Перебреев и Никонов под присмотром Гудковского подгоняли обмундирование, смазывали пистолеты, автоматы, точили финские ножи, паковали сухой паек. Мы не стали намечать маршрута движения, но карту очень тщательно изучили и даже оговорили несколько возможных вариантов.

Как только солнце начало скатываться к горизонту, группа Петрова — его мы назначили старшим — двинулась в путь. Гудковский и я отправились проводить ее до берега Северского Донца. Шли сосредоточенно, молча. Время от времени я вглядывался в лица разведчиков, хотел уловить их настроение, и мне стало казаться, что Никонов как-то увял. Не из тех ли он молодцов, подумалось, что куражатся, когда им ничего не угрожает?

— Что это, Никонов, ты вроде поскущел? — спросил я его.

— Песни петь потом буду. А вообще курнуть даже охота.

Мы остановились в молодой посадке, за которой начиналась траншея к Донцу.

— Закуривайте, — сказал я. — Выгребайте до дна. Теперь курить долго не придется. До возвращения.

Через четверть часа мы спустились в траншею и зашагали дальше. Когда вышли к реке, уже совсем стемнело. Здесь в густом прибрежном ивняке ребята разделись, сложили обмундирование и, связав, положили его на небольшие специально сколоченные плотки, поверх примостили автоматы, пистолеты, ножи, патроны, продукты и прикрыли все травой и ветками. И вот в момент, когда Петров, Перебреев и Никонов уже были готовы пуститься вплавь, по ивняку, где мы укрывались, ударил немецкий пулемет. Короткая очередь прошла берег совсем рядом с нами. Мы замерли. Что это? Случайность? Или мы себя чем-то обнаружили и фрицы заподозрили неладное? Томительные секунды ожидания. Все тихо. Значит, случайность. Отлегло от сердца.

Прежде чем группа Петрова начала переправу, мы для маскировки пустили по течению несколько охапок хвороста и веток. Над рекой каждые пять—десять минут вспыхивали немецкие осветительные ракеты. Их мертвящий свет освещал спокойную гладь реки, иногда возмущаемую крохотными водоворотами, выхватывал на противоположном берегу отдельные деревья, валуны, глинистые глянцево блестящие срезы откоса. Справа и слева — то здесь, то там — строчили невидимые пулеметы. Очертания поймы, огромным черным пятном вдававшейся в немецкий берег, можно было лишь угадать по пунктиру вспыхивающих точек, образуемых осветительными ракетами.

— Ну, ребята...

Мы пожали разведчикам руки, вкладывая в пожатие всю нашу надежду и пожелание успеха, и они осторожно, без единого всплеска спустились в воду. Скоро плотки с их обмундированием и снаряжением, которые они толкали перед собой, поглотила ночная тьма. Шла давно ставшая привычной настороженная жизнь переднего края. Изредка залиvisto твякали пулеметы, щелкали отдельные винтовочные выстрелы. Где-то слева

истошно, как ишак, проревел шестиствольный миномет и дробно, одна за другой, заколотили мины. Высоко над головами пронесся снаряд, другой. Немного погодя вдали за нашими спинами громыхнули разрывы, многократно затем повторенные эхом.

— Тяжелыми садит,— шепотом заметил Гудковский.

Вверху над нами зашелестело. Теперь неслись не два снаряда, а гораздо больше. И опять вдали загромыхали разрывы и отозвалось эхо.

— По Кременной бьет,— определил Гудковский.

На реке и в районе поймы по-прежнему все было тихо. Из-за леса на крутом — немецком — берегу Северского Донца стала медленно выкатываться луна, затапливая все вокруг водянисто-молочным светом.

— Вовремя хлопцы переправились. Теперь и нам пора,— сказал Гудковский,— а то отсюда не выберешься. При луне тут все как на ладони. Прицельным будут поливать.

Мы вышли из ивняка и, пригибаясь, устремились прочь от берега. Гудковский оказался прав — нас заметили. Чесанули пулеметы. К счастью, недалеко уже была спасительная траншея. Нырнув в нее, мы присели на корточки и долго переводили дух, прислушиваясь к посвистыванию безопасных теперь для нас пуль. Как всегда в таких случаях, захотелось курить. Но курить в траншее было нельзя — огонек папиросы незамедлительно привлекал внимание немецких минометчиков, а мин они не жалели. Дежурный боец проводил нас в ближайший блиндаж. Я согнулся, отвернув плащ-палатку, которая заменяла дверь, и скользнул в землянку, вырытую впритык к траншее и перекрытую несколькими накатами бревен. За мной последовал Гудковский.

В углу против входа на ящике чадила коптилка, сделанная из гильзы снаряда. Возле ящика на доске, положенной на кирпичи, сидели два солдата, видимо, они что-то горячо обсуждали, но при нашем появлении замолчали, неловко вскочили, торопливо одергивая гимнастерки. Более молодой доложил, кто размещается в землянке.

— Садитесь, садитесь,— сказал я солдатам.— Как тут у вас, можно покурить?

— Отчего же нельзя? Мы к дыму привычные,— бойко ответил молодой и вместе с товарищем подви-

нулся в сторону, освобождая для нас с Гудковским лавку у ящика.

Мы угостили папиросами солдат и жадно закурили. Постепенно мои глаза привыкли к полумраку, и я разглядел в глубине блиндажа нечто вроде лежанки, на которой, не сняв разбитых армейских ботинок, не разбинтовав скатов, накрывшись шинелями, спали тяжелым сном еще три солдата. Пахло сыростью, соляжкой, портянками, лежалой соломой.

— Можно с вопросом обратиться? — привстал тот, что постарше.

— Пожалуйста... садись.

— Мы тут спор, значит, вели... Когда, стало быть, второй фронт откроют. Не слышать ли там, в штабах-то, чего насчет этого?

— Чудак ты человек, — вмешался тот, что помоложе... — Так тебе товарищ полковник и скажет, если военная тайна. Правильно говорю, товарищ полковник?

— Правильно-то, правильно. Только тут самим рассуждать надо. Ведь хотя они и союзники, но все-таки прежде всего о своей собственной выгоде думают. Увидят, что для них это выгодно, откроют второй фронт, увидят, что не выгодно, не откроют.

— А почему ж невыгодно? — заговорил опять тот, что постарше. — Ведь если, значит, сейчас с двух сторон поднапереть, то Гитлеру вскорости будет полный капут.

— Что ж, по-твоему, — спросил Гудковский, — мы без союзников не управимся с Гитлером?

— Управимся-то оно, может, и управимся. Только потяжеле. Сколько людей поляжет. А так бы с двух сторон — годик, и полный капут. Правильно говорю?

Гудковский, вместо того чтобы ответить, повелительно поднял руку, мол, тише.

Где-то на Донце разгорался сильный огневой бой. Где?

Мы с Гудковским поспешили из блиндажа в траншею.

Бой шел довольно далеко за левым флангом дивизии: трассирующие многоцветные струи пулеметов, огневые всплески от разрыва снарядов. Нет, к группе Петрова перестрелка не имела никакого отношения.

Минут через тридцать Гудковский и я были у себя на КП.

Назавтра в восемь утра я входил в блиндаж Журавленко. Теперь, когда группа была отправлена, тянуть с докладом было нельзя.

С каждым моим словом Журавленко все более мрачнел. А когда я кончил, он, насупившись, встал и медленно зашагал по блиндажу.

— Для очистки совести ко мне пришел?.. Почему перед отправкой не доложил?

— Знал, что вы запретите, товарищ генерал.

Журавленко опять прошелся по блиндажу.

— Не много ли берешь на себя?.. Смотри, не обломилось бы,— Журавленко смахнул со стола какую-то пылинку.— Опасное дело ты затеял, опасное и нехорошее. Что ж, ты считаешь, наши разведчики с этим не справились бы?

— Да, не справились бы.

— По-твоему, они хуже этих, из штрафной?

— Нет, не хуже. А сейчас посылать их было нельзя. Веру в успех они потеряли. Нельзя было их трогать.

— Что ж ты от меня хочешь?

— Ничего, товарищ генерал. Просто хочу, чтоб вы знали.

В дверь блиндажа постучали.

— Разрешите, товарищ генерал,— и на пороге появился подполковник Кулагин, замкомдива по политической части.— Здравия желаю, товарищ генерал... Привет! — Он поздоровался со мной.— А я как раз по поводу тебя к генералу.

— Что такое? — спросил Журавленко.

— Да вот получил сегодня из штрафной роты донесение. Вересков забрал у них трех штрафников, якобы с целью отправить в тыл немцам.

— Почему «якобы»? — сказал Журавленко.— Он их уже отправил.

— Мда-а... — растерялся Кулагин.

— Что «да»? — спросил Журавленко.

— Как что? Штрафников... Это ж подсудное дело. И один из трех бывший вор, в лагере сидел.

— Этого не знал... А вора зачем? — Журавленко посмотрел на меня.

— Он местный, из Славянска. Все ходы и выходы знает.

Журавленко помолчал взвешивая.

— Вот что, Кулагин. Ты подожди об этом наверх докладывать. Когда они должны вернуться? — спросил у меня Журавленко.

— Жду через два дня, двадцатого июля. В крайнем случае — двадцать первого.

— Значит, Кулагин, условимся так: наверх пока ничего не сообщай. Три дня подождем.

— Да ведь с меня голову снимут...

— Не снимут. Скажешь, я приказал. Взыскать с Верескова мы и потом успеем.

Было маловероятно, чтоб группа Петрова вернулась раньше чем через двое суток: первая ночь — переправа, вторая ночь — захват «языка», третья — возвращение. Еще сутки в своих расчетах я отводил на всякие непредвиденные обстоятельства. Но чем черт не шутит! Нельзя было начисто исключить и того, что ребятам баснословно повезет, что на вторую ночь, то есть к исходу первых суток, они сцапают какого-нибудь фрица и тут же вернуться. Чтоб при обратной переправе наши бойцы не приняли их за немцев и не угостили огнем, как это уже однажды приключилось, в передовых подразделениях все были строго-настрого предупреждены.

Чуда, однако, не произошло.

Ничего не принесли и вторые сутки. Значит, случилось непредвиденное. Что?.. Ответ должна была дать новая ночь. К исходу дня меня все сильнее и сильнее охватывало беспокойство. Я старался ему не поддаваться, гасил разгорающуюся тревогу. «Ну чего ты паникуешь? — говорил я себе. — Они вернуться. Должны вернуться! Понимаешь, должны!» Беспокойство отступало, но потом вспыхивало вновь, как сбитое, но не до конца погашенное пламя.

Надвинулась ночь, и я отправился на НП в полк Шамова проверить, как налажено дежурство. В этой проверке не было никакой нужды. Просто я инстинктивно стремился обмануть самого себя и выискивал убедительную причину, чтобы быть поближе к Донцу, к месту переправы.

Хотя Петя хорошо знал дорогу, но тьма была такая, что он время от времени на какие-то мгновения включал подфарники эмки, и тогда впереди по неровностям

дороги, по кустарнику вдоль обочины прыгало желтоватое пятно. Подфарники гасли, темнота вокруг густела, и у меня возникло ощущение, будто с темнотой на меня надвигается что-то неотвратимое.

На НП Шаламова я пробыл до рассвета. Трое суток истекло. Группа Петрова не вернулась. Значит, произошла катастрофа.

Утром меня вызвал к себе Журавленко. За внешней его невозмутимостью угадывалась озабоченность.

— Ну... Что будем делать?

Что я мог ответить на такой вопрос?

— Сегодня же подам рапорт в штакор.

— Так... А почему меня хочешь обойти? Или я в дивизии не хозяин?

— Товарищ генерал... Сам заварил, сам буду расхлебывать.

— Ты не философствуй. Рапорт представишь мне. Чтоб к обеду лежал у меня на столе.

— Слушаюсь, товарищ генерал. Будут еще какие-либо указания?

Журавленко строго на меня посмотрел и вместо ответа поднял телефонную трубку.

— Дайте двадцать второго... Это ты, что ли?.. Голос у тебя какой-то не такой... Хм. С квасу? Ой ли... Я к тебе по поводу донесения, ну того самого, о котором договаривались... Написал уже?.. Ты зайди-ка на минутку.

Журавленко положил трубку.

— Трудно будет расхлебывать, лешак тебя побери! Понимаешь, чем это пахнет?

Пахло, как говорится, жареным: мне предстояло расплачиваться.

Широко распахнув дверь, вошел Кулагин. Подтянутый, загорелый, молодцеватый. Поставил на стол оплетенную почерневшей, кое-где изломанной соломой закупоренную бутылку. За стеклом у горловины пенилась темная жидкость. Квас, понял я.

— Отведайте, товарищ генерал. Сила. У меня даже пробку выбило... На меду настоян, на липовом.

— Ишь ты. Отведаю. Спасибо... Значит, донесение еще не отослал... Давай-ка повременим отправлять до завтра.

— Больше ждать не могу, товарищ генерал.

— А все-таки?

— Не могу, товарищ генерал. Ну никак.

— Да и зачем собственно откладывать, товарищ генерал? — вмешался я. — Что это может дать? Только вам лишние неприятности.

— Что может дать? — тихо переспросил Журавленко и вдруг неожиданно взорвался. — Да как ты смеешь подобное говорить?! — он стукнул кулаком по столу. — Ты для чего их посылал? На смерть? Или верил, что вернутся?.. Да как же ты смеешь от этой веры так быстро отступить?! — Журавленко перевел дыхание. — Так вот что, Кулагин, подождем до завтра.

— Нет, товарищ генерал, — со спокойной решимостью ответил Кулагин, — исключено. Партийная совесть не позволяет.

— Вот оно как, — после томительной паузы вполголоса с расстановкой заговорил Журавленко. — Значит, у тебя партийная совесть есть, у меня нет? — голос Журавленко окреп, он, видимо, сдерживал себя, чтобы не закричать. — Да я уже двадцать три года коммунист! — Журавленко опять стукнул по столу кулаком. — Ишь, чем меня попрекнуть вздумал, совестью партийной!

Кулагин стоял набычившись, под бураковыми от солнца щеками играли желваки:

— За «совесть», конечно, извините. Но все равно, товарищ генерал, я не могу. Даже если прикажете.

— Я не при-ка-зы-ваю, — по слогам, будто через силу выдавил Журавленко. — Прощу.

Лицо Кулагина дернулось, он явно не хотел уступить, но и ссориться с генералом ему, очевидно, тоже не хотелось.

— А... — с тяжелым вздохом сказал он наконец. — Была не была. На преступление иду... Больше я вам не нужен?

Вслед за Кулагиным ушел к себе и я.

Да, круто все завернулось. Конечно, день, подаренный мне Журавленко, кое-что значил, но никаких иллюзий я не строил. Механически занимался тем, чем положено заниматься. Написал рапорт и подал его генералу. В круговерти дел не заметил, как наступили сумерки. В блиндаже уже было темно, но движок еще не включали. Что же стряслось с Петровым и остальными? Если их не убили, как они себя там повели? Откуда у меня эта уверенность в их преданности? Доверил-

ся первому впечатлению? Разве оно не бывает обманчивым? Кто они собственно такие?.. Я вспоминал, по кирпичикам восстанавливал свой разговор с Петровым, Перебреевым, Никоновым... Я опять видел, как упрямо сдвигаются тонкие брови Перебреева, как сжимаются и белеют его еще ребячески припухлые губы, как он весь напрягается, пытаюсь перебороть мучившую его обиду, а потом не выдерживает и выплескивает все, что накопилось на душе... Опять у меня в ушах звучало твердое «правильно меня в штрафную угораздило» Петрова. Так бесповоротно осудить себя за то, что на войне убил человека, убил не по злему умыслу, а в суматохе боя, думая, что убивает паникера, может не каждый. Одной большой силы тут мало. Нужно и не очерствелое сердце. А смог ли бы так на его месте я?.. Или стал бы искать оправдания? Считал бы себя невинно пострадавшим?..

Вошел Гудковский. Хитро, с заговорщицким видом сказал:

— Очень важная новость, товарищ полковник.

— Что такое?

— Едемте. Увидите сами.

— Да что стряслось?

— Вы должны сами посмотреть, товарищ полковник.

— Ты в игрушки со мной не играй. Говори по-человечески.

— Какие игрушки?.. Новость чрезвычайно важная. Поедемте, товарищ полковник. Убедитесь сами.

Я понимал, что делаю глупость, что надо просто приказать Гудковскому доложить, в чем дело, но что-то непонятное заставило меня поддаться ему.

Мы выехали на моей эмке.

Безлунное небо было так темно, будто его прикрыли гигантским черным маскировочным полотнищем. Оно нависало низко над головой. Кое-где в его прорезях шевелились и трепыхались крупные и мелкие звезды.

Сначала мы ехали знакомой дорогой, полем и через луговину, затем свернули в рощу. Чем дальше, тем роща становилась гуще, деревья подступали ближе, и я заметил, что никогда раньше тут не бывал.

— Куда ты меня везешь? — спросил я Гудковского.

— Уже недалеко, товарищ полковник.

Скоро мы вылезли из машины и двинулись пешком по тропинке. За ноги цеплялся кустарник, несколько раз пришлось перелезть через поваленные замшелые деревья. Я все больше злился на себя. Какой леший дернул меня потащиться сюда?

— Долго еще? — спросил я Гудковского.

— Почти пришли. Тут за поворотом, — прохрипел он прямо мне в ухо. — Только тише, а то все испортите. «Нелепость какая! Что я могу испортить?»

Через несколько шагов мы вышли к небольшой поляне. Торчавшая над лесом луна заливала ее бледно-зеленым светом.

— Видите? — шепотом спросил Гудковский.

Метрах в двадцати от нас чернела невысокая копенка. Вглядевшись, я понял, что это не копенка, а шалаш.

— Вижу. Ну и что?

— Сейчас узнаете.

Осторожно ступая, мы вплотную подобрался к шалашу. Внутри его я разглядел чью-то фигуру. Кто-то, сидя на корточках, раздувал огонь. «Странно, — подумал я, — ведь шалаш может загореться». Вдруг человек на корточках повернул голову в нашу сторону, и я узнал... Никонова. «Что он тут делает? Его надо задержать!» Я ринулся в шалаш, но Никонову удалось отпрыгнуть. Он оскалится, подмигнул своим кошачьим глазом и захохотал. В это время костер разгорелся и искрой мне обожгло руку...

Я открыл глаза. Вовсю светила висевшая над столом лампочка. Пахло паленым. Рядом со мной на койке под непогашенным окурком тлео одеяло. Вскочил. Кинул окурочек в консервную банку, заменявшую пепельницу. Обжигая ладони, загасил одеяло. В блиндаже стало чадно.

— Сеня! — крикнул я. — Сеня!

Никто не отозвался. С раздражением подумал: «Когда не надо, так тут как тут, а надо — так запропастился. Наверно, пошел котовать».

Оставив дверь в блиндаж открытой, чтоб выветрился чадный дух, вышел в темноту ночи. Дурацкий сон не выходил из головы. Ощущение было таким, будто все, что привиделось, происходило наяву: и как нехотя поддался уговорам Гудковского, и поездка на эмке, и шалаш, и Никонов. Вот ахинея! Надо ж такому при-

сниться... Я растер ладонями виски, попытался припомнить ход своих мыслей, нарушенных сном, но голова была смурной, будто в нее напихали вату.

Кто-то невдалеке осветил фонариком.

— Это ты, что ль, Сеня?

— Так точно, товарищ полковник.

— А я тут было того... Чуть пожар не приключился... Прибери-ка в блиндаже. Выпить у нас чего-нибудь найдется?

Вскоре я сидел у себя за столом и наливал водку из пол-литровой бутылки в граненый стакан. Налил до половины, помедлил и добавил еще. Выпил залпом, заел куском черного хлеба и двумя кружочками репчатого лука, посыпанных солью. Лук был злой, у меня аж захватило дыхание и прошибло слезу. Отдышавшись, маханул еще полстакана. Стало теплее и душе и телу. И вновь я вернулся мыслями к ушедшим за языком в немецкий тыл... Петров и Перебреев... Нет, таким грех не верить. Значит, Никонов... Ах, собака!.. Недаром у меня к нему душа не лежала. Видел, что крутиг, паясничает, и все-таки доверился. Как я мог? Ведь для такого все едино, что бог, что черт. То-то он замандражировал, когда к Донцу шли. За шкуру свою поганую боялся. А переправился, решил: все, смоюсь,— взял да и драпанул, а те заблудились, напоролись на немцев. Ах, собака, так его и так!.. Ах, скотина!..

Почему-то во мне начала подниматься глухая злоба и против Петрова и Перебреева, как будто и они были повинны в предательстве — теперь в предательстве Никонова я уже не сомневался. Неужели они не могли раскусить, что это за птица, и подрезать ему крылья? Это было подлое чувство, и я его подавил. Но это только так казалось, что подавил. Вскоре оно шевельнулось вновь. «Не смей!» — сказал я сам себе.

Я выпил еще.

Что же предпринять? Что?.. Видел басурманин во сне кисель, да ложки не было, лег спать с ложкой, не видал киселя... Я искал какую-либо спасительную соломинку, зацепку, но не находил ничего, за что бы ухватиться. И тут во мне что-то переключилось: мысли побежали в другую сторону. А почему собственно все пропало? Разве худое уже навалилось?.. Чего же сопли распускать? Ведь верит же Журавленко... Может, и с Никоновым все в порядке? Может, они еще завтра вер-

нутя, и не одни, а с «языком»? Мало ли что могло их задержать... Черт возьми! Может, действительно, завтра?

Я посмотрел на часы. Было начало второго.

Значит, не завтра, а сегодня... Вернитесь, ребяташки, вернитесь!.. Эх, это только Магомет мог своей верой и волей двигать горы... Ребяташки не вернулись. Все. Конец. Либо они погибли, либо их схватили.

День занимался жаркий, душный. Небо уже с утра казалось пожухшим, вылинявшим.

Еще до завтрака мне позвонил Кулагин, поинтересовался, не объявилась ли группа Петрова, поинтересовался, конечно, для формальности, и так было ясно, что не объявилась.

— Ну, Вересков, мы сделали для тебя что могли...

— Для чего ты мне это говоришь?.. Хочешь, чтоб я поблагодарил? Изволь, благодарю.

— Да ты не злись. Просто больше не могу оттягивать с донесением,— примирительно сказал Кулагин.

— О чем речь...

— Только ты не обижайся.

— Какие тут обиды? Не маленький.

— Носа, смотри, не вешай. Может, все пустяками обойдется.— Кулагин положил трубку.

«Черта с два обойдется! Как бы не так! Под кем лед трещит, а подо мной ломится!»

Тем временем дивизионные разведчики готовились проводить страховочный поиск. Что ж, не выгорело с рейдом в тыл, может, повезет тут. Лично для меня исход поиска не имел никакого значения. Но все-таки... Удалось бы добыть пленного, было бы хоть какое-то утешение.

Прежде чем заняться разведчиками, я зашел в оперативное отделение, просмотрел почту, подписал бумаги. Едва вернулся к себе, позвонил Чернобородов. Поинтересовался, нет ли у нас каких-либо новостей, не собираемся ли чем-либо их порадовать?

Голос Чернобородова звучал ровно, но мне показалось, что вопрос таит какой-то скрытый смысл. «Что он имеет в виду,— подумал я,— обещанного пленного или ему уже известна история со штрафниками?» Уклончиво ответил:

— Хвастать особо нечем. Все идет по плану.

— Вы там случайно не забыли, что завтра...— Чер-

нобородов сделал небольшую паузу, — двадцать третье июля? Понимаете, что я имею в виду?

— Спасибо за напоминание. Мы не забыли. Поиск будем проводить сегодня ночью.

— Угу... Хорошо подготовились?

— Судить будете по результату...

— Ну что ж, — сказал Чернобородов, — желаю успеха.

Пришел Гудковский. Принес план и схему поиска. Вычерчено было аккуратненько, расписано детально. Группа захвата... Группа поддержки... Пути отхода... Сигналы для взаимодействия с пехотой и артиллеристами.

Я утвердил план. А через два часа вновь звонок Чернобородова — видимо, донесение Кулагина еще не дошло до штабкора.

— Везет тебе, Вересков.

— В каком смысле?

— Поиск отставить.

— Почему?

— На носу большие дела.

Я положил трубку и усмехнулся. Судьба явно издевалась надо мной. Быть по существу правым и оказаться в дерьме. И все из-за собственной амбиции, черт бы ее побрал! Хотел утереть нос Лоцилину! Утер называется, так твою и так. Было ясно, как только наверху получат донесение Кулагина, моему делу немедленно будет дан ход. Завертятся невидимые колесики, которые нелегко остановить. И все-таки вряд ли колесики придут в движение раньше завтрашнего дня. Значит, впереди вечер и ночь. И опять в глубине души шевельнулась надежда. Вдруг вопреки всему и несмотря ни на что они вернутся? Беспочвенность надежды была очевидна. И все-таки она пробивалась и пронизывала меня наперекор тому, что подсказывал опыт. Должно быть, это бунтовала моя молодость, не желавшая примириться с тем, что мне угрожало. Не знаю почему, но надежда крепла и оживала уверенность, что все кончится благополучно. Но проходили часы, и уверенность утекала, как утекает и осыпается со стенки окопа не закрепленный досками или жердями сухой песок.

Чтобы не поддаваться мрачным мыслям, я не давал себе ни минуты передышки и находил все новые и новые дела, которых в дивизии всегда невпроворот. Бли-

же к вечеру махнул в Кременную посмотреть, как идет подготовка к форсированию водной преграды. За те дни, что я здесь не был, бойцы наладились лихо переправляться через озеро-полигон. Лодки уже не врезались друг в друга, шли ровно, сильно. При высадке стало гораздо меньше сумятицы и толчеи.

Ночь все ближе подвигалась к рассвету. Луна скрылась. Небо понемногу серело, бледнело и наконец воспаленно засветилось. Вот-вот должно было подняться солнце. Рассеялись последние сомнения, ни малейшего места для надежды не осталось — на группе Петрова можно было поставить крест. Может, из-за этой жесткой определенности, может, потому что предутренние часы принесли немного свежести, я внутренне как-то успокоился. Тревожное ожидание, не покидавшее меня все эти дни, бесследно исчезло. Странно, но я почувствовал даже какое-то облегчение и, приехав к себе на КП, лег и уснул как убитый.

Первый человек, которого я утром увидел, был незнакомый мне подполковник. Я вышел из темной прохлады землянки умыться, зажмурился от слепящего, уже высокого солнца, а когда открыл глаза, тут же его заметил. Он сидел на пенке в тени березы. На узких малиновых погонах я разглядел два перекрещенных меча и щит — эмблему военной прокуратуры.

— Вы ко мне?

— Гвардии подполковник Иванчук, — представился незнакомец. — Если вы полковник Вересков, то к вам.

— Минуточку... Приведу себя в порядок.

— Будь ласка, будь ласка. Вы не торопитесь. Я по дождю.

Войдя в землянку, подполковник с облегчением вздохнул и долго вытирал платком мокрые от пота волосы на висках, лицо и шею.

— У вас тут хорошо. Гарно. А там спасу нет. Еще только десять, а уже немоготу. Что же к вечеру будет, а?

— Может, воды хотите? Родниковая.

— Спасибо, не откажусь.

Он жадно выпил полную кружку, вытер тыльной стороной кисти рот и улыбнулся:

— Гарно... Гарно... А у нас в штаарме болотом воняет. И всегда теплая. — Глаза у него были, как пред-

рассветное небо над моим родным Полесьем в крещенские морозы.

— Хотите еще?

— Хватит, а то лопну.— Он сделал глубокий вдох, от чего у него в животе булькнуло, внимательно на меня посмотрел и сказал: — Ну что ж, начнем?

Беседа со мной, подполковник понимающе качал головой, так что можно было подумать, будто он относится ко мне с дружеским участием, и тут же задавал вопросы, которые, несмотря на его медовый голос и беспрестанное «будь ласка, будь ласка», уже сами по себе означали: мне надо готовиться к худшему.

Подполковник пробыл у меня около часа, побывал в штрафной роте, встречался с Журавленко, Кулагиным.

Около полудня я узнал, что Журавленко получил шифровку из штакаора. Лоцилин отстранял меня от должности начальника штаба дивизии.

За два года войны я хлебнул всякого. Как говорится, смерть не раз в упор заглядывала мне в глаза. В начале июля сорок первого батальону, которым я командовал, было приказано занять оборонительный рубеж по взгорку недалеко от белорусского городка Плещеницы, на сутки задержать фашистские части и прикрыть отход дивизии, прорывавшейся от Орши на восток. Нас считали обреченными. Командир дивизии, ставивший мне задачу, осунувшийся, с ввалившимися, сумрачно блестящими глазами, уже немолодой генерал, на прощанье сказал: «Помни, брат, на тебя большая надежда. Так что держись и не поминай лихом, иначе нельзя...» Но вопреки всем опасениям, мы, хотя и понесли потери, целый день сдерживали натиск гитлеровцев, а ночью отошли и через трое суток вновь влились в дивизию.

Мог я запросто погибнуть, и даже странно было, что не погиб в первые недели оборонительных боев под Москвой, когда меня назначили командиром особого диверсионного отряда, совершавшего налеты на тыловые базы немцев. Дважды отряд окружали, и дважды мы прорубались через кольцо карателей. Были и другие отчаянные ситуации, почти не оставлявшие шансов на жизнь. Но все они были связаны с боем. Я делал то, что требовала война. Пусть было страшно, но я видел

смысл, цель. Это придавало силы. И мы — хотя сердце заходило от напряжения — шутили, улыбались там, где, казалось, нет места шуткам. Сейчас все было по-другому. Моей жизни непосредственно ничего не угрожало, но я чувствовал себя беспомощным — щепкой, попавшей в водоворот. Вспоминались Петров, Перебреев... И пленного нет. И таких людей погубил. Бездарно погубил! И снова жалость к Петрову и Перебрееву сменилась приливом глухой злобы против Николаева, будто именно он толкнул меня в омут и, намертво вцепившись, тащит за собой ко дну. Но я не хотел идти ко дну. Проклятый инстинкт самосохранения вылез из каких-то щелей сознания. И я, как любой человек, неожиданно-негаданно свалившийся с моста в реку, готов был изо всех сил колотить по воде ногами и руками, лишь бы спастись. Но ужас был в том, что под мной не было воды. Теперь в моей судьбе я сам больше ничего не решал, вытянуть меня из водоворота могли лишь другие. Как поведут себя эти другие? Как они повернут дело? Ограничатся дисциплинарным взысканием — шифровка Лоцилина о моем отстранении говорила, что, скорее всего, не ограничатся, — или придадут моему делу показательный характер, чтобы оно послужило уроком для всех? Я старался ничем не выдать своего состояния. Пока официально до меня не доведут приказа об отстранении, буду вести себя как начальник штаба.

После обеда в дивизию прибыла специальная комиссия — два полковника и подполковник.

В 18.55, за пять минут до назначенного срока, я подходил к небольшому дощатому домику, построенному нашими саперами для дивизионного клуба, у выхода из балки, где размещался штадив. Духота все усиливалась. Прокалившийся за день воздух застыл, листья на деревьях пожухли. Небо, вылинявшее еще с утра, стало уже не блекло-голубым, а каким-то алюминиевым. Казалось, еще немного, и оно начнет плавиться.

Члены комиссии сидели на лавках, вкопанных у домика. Густой баритон кому-то говорил:

— Нет, вы просто герой. Такая жара, а вы в хромовых сапогах. Добровольная пытка. К чему?

— Я полагаю так: офицер при всех обстоятельствах должен блюсти свою форму. Тут никакие вольности непозволительны.

— Помилуйте, какая ж тут вольность? Те же сапоги, только из плащ-палатки. Нога дышит. Легко...— говоривший похлопал себя по матерчатому голенищу.— И все мы... Как ты, Пташкин, считаешь?

Раздался неожиданно тонкий голос, будто говорил не мужчина, а мальчик:

— Я с туза пойду... Сам командующий такие носит.

— Вот видите,— продолжал баритон.— Какая ж тут вольность?

— Вы командующего сюда не плетите. Его на другой аршин меряют. Он не просгой туз — козырной. А мы другая масть. С нас иной спрос. Требуя от себя, я тем больше права имею требовать от других. Поэтому-то и не делаю себе никаких поблажек.

Выждав, я поздоровался и представился.

Один из полковников, тот, что отстаивал законность сапог из плащ-палатки, повернулся ко мне и, молча подняв руку, кивнул головой. Стало ясно — это председатель комиссии. Остальные поглядели на меня, но не сделали ни единого приветственного жеста. Среди них был уже знакомый подполковник из штаарма и подполковник Кулагин, которого я ни утром, ни днем не видел.

«Отмежеваться хочет,— подумал я.— Ну что ж, Петр Ивановч, давай отмежевывайся».

Председатель комиссии посмотрел на часы:

— Товарищи офицеры... Время. Пора начинать.— Он встал.— Прошу...— и с неожиданной для своей комплекции легкостью двинулся к домику. Остальные — за ним.

Духота внутри домика, несмотря на раскрытые настежь окна, была еще более нестерпима, чем снаружи. Жарко пахло оструганным деревом, сухими травами, пылью, книгами, газетами и журналами, которые лежали на столах и на полках вдоль стен.

Кто-то вполголоса буркнул:

— Душегубка.

Все сняли фуражки и уселись на скамейках и табуретках вокруг пустого, покрытого некогда зеленой, а теперь выгоревшей и ставшей рыжей, плюшевой накидкой, стола. Председатель надел очки в темной роговой оправе, отчего сразу сделался похожим на профессора, достал из планшета и положил перед собой

какие-то бумаги. Перелистал их, затем снял очки и, наморщив лоб, строго оглядел собравшихся.

— Дело, которое нас тут собрало, весьма сложное и неприятное... Нарушен очень важный приказ. Нарушитель приказа — начальник штаба дивизии полковник Вересков. Мы должны прояснить все и представить свое заключение в Военный совет армии.

Председатель говорил с той спокойной уверенностью, которая всегда производит сильное впечатление и как бы гипнотизирует слушателей.

— Я полагаю,— продолжал председатель,— в начале мы заслушаем подполковника Иванчука, он сегодня с утра собирал материал, затем предоставим возможность полковнику Верескову сделать, если он сочтет нужным, пояснения или дополнения, затем зададим ему вопросы и обменяемся мнениями... Иных предложений нет?.. Подполковник Иванчук, прошу вас.

Иванчук, стоя, зачитал заготовленное строго по форме дознание, что такого-то числа такого-то месяца опросом таких-то и таких-то установлено нижеследующее. Дальше следовало без всяких отступлений и эмоций сжатое изложение событий.

— Полковник Вересков,— спросил председатель, когда Иванчук кончил,— вы имеете что-либо добавить?

Я поднялся. Да, подполковник Иванчук доложил все точно. Да, приказ я нарушил и готов нести за это нарушение ответственность. Полной мерой и без всякого снисхождения. В немногих словах объяснил причины, заставившие меня действовать именно так, сказал, что убежден, что этот рискованный шаг давал единственную возможность выполнить другой приказ, приказ о поимке пленного.

— Этот приказ выполнен? — спросил хмурый полковник, сторонник неукоснительного соблюдения формы.— Пленный взят?

— Нет.

— И все-таки вы убеждены, что действовали правильно?

— Я считал, что это самый...— я искал, но так и не нашел нужного слова,— верный путь.

— Считали или считаете?

Я молчал.

— Ясно. Все ясно,— сказал хмурый полковник и чуть отвалился от стола, показывая, что он кончил.

— Разрешите и мне задать вопросик, — вклинился своим фальцетом Пташкин, подполковник с бабьим лицом, который, видимо, очень страдал от духоты и все время обмахивался сложенной газетой. — Откуда у вас такое недоверие к дивизионным разведчикам? Что там — случайные люди, что ли?

— Рота укомплектована хорошо.

— Тогда в чем же дело?

— Я уже объяснил.

— Стало быть, выполняя один приказ, вы считаете себя вправе игнорировать и даже грубо нарушать другой?.. Правильно ли я вас уразумел?

Вообще в бою такое случается довольно часто и все не по чьей-то злой воле, а потому, что так диктуют обстоятельства. Наверно, Пташкин это сам прекрасно знал. Но он явно хотел подчеркнуть: вот, мол, какие у Верескова принципы.

— Вы меня поняли неправильно.

— Как неправильно?.. Вот... Я даже записал... «Я нарушил приказ... потому что был убежден... это единственный путь выполнить другой приказ». Сказано вполне определенно.

Было в Пташкине нечто такое, что родило его с Иванчуком. Та же вьедливость и какое-то жадное стремление при внешней вежливости поддеть, укусить. Только у Иванчука при этом глаза смотрели незамутненно, с холодной ласковостью, прямо тебе в лицо, а Пташкин говорил, отводя взгляд от того, с кем говорил.

— Товарищ полковник, — обратился я к председателю, — насколько мне известно, комиссия собралась здесь для того, чтобы разобраться в том, что произошло, и я готов ответить на все вопросы, которые могут возникнуть. Однако то, что сказал подполковник, — поворотом головы я показал на Пташкина, — отдает шельмованием. Поэтому я должен предупредить, что оскорблять себя как офицера Советской Армии не позволю. Я протестую, чтоб мне приписывались взгляды, которые противоречат уставу. Пока я являюсь начальником штаба дивизии, я требую к себе должного отношения.

— Вы напрасно расцениваете это как шельмование. Просто членам комиссии хочется, чтобы не осталось никаких недомолвок, неясностей. — Председатель по-

глядел на хмурого полковника.— У вас есть еще какие-либо вопросы?.. А у вас?

Пташкин кивнул головой.

— Не могли бы вы объяснить,— сказал он скороговоркой, чуть играя голосом, видимо, довольный, с какой ловкостью ставит вопросы,— почему прежде чем принять решение о посылке штрафников в немецкий тыл, вы предварительно не посоветовались с заместителем командира дивизии по политчасти? Случай-то из ряда вон выходящий. И еще вот что. Почему столь важный приказ вы отдали без санкции командира дивизии?

— На эти вопросы мне нечего ответить.

— Тогда у меня все,— и Пташкин принялся опять обмахиваться газетой.

Встал Кулагин.

— Позвольте тогда мне, товарищ полковник.

— Прошу.

Кулагин твердо посмотрел на меня. Рот у него был сжат. И весь он, плотный, упругий, дышал решимостью.

Грозно, очень грозно начал Кулагин. Будто не говорил, а ударял в большой колокол. Идет жестокая война — бум! — все силы народа напряжены — бум! — и без дисциплины, железной дисциплины — бум! бум! — нам врага не победить — бум! Поэтому мы не можем терпеть ни малейшей распушенности — бум! — обязаны пресекать любое нарушение приказов — бум! Мы должны взыскивать с нарушителей полной мерой, независимо от того, что за погоны этот нарушитель носит, рядового солдата или полковника,— бум! бум! бум!

Кулагин распался все более и более. Он отодвинул табуретку, чтоб не мешала, и по привычке рубил правой рукой воздух, будто он выступает не перед комиссией, а перед строем.

«Эх, Петр Иванович, для чего ты так?»

Мне стало горько. Я уже не вникал в суть его слов. Думал о том, как может человек так резко измениться. Мы с Кулагиным были не очень близки, но работалось с ним легко. Он был смел, находчив, под горячую руку мог кого и расчихвостить, но зла не таил, военную службу знал, умел потребовать, но к мелочам никогда не придирался. Полтора года мы прошагали с ним вместе по фронтовым дорогам, и всегда я встречал у

него понимание и поддержку, да и он, случилось, советовался со мной по своим политотдельским делам. И вдруг такой поворот, такая непримиримость ко мне, стремление смять, затоптать. Да, виноват. Но зачем бить так наотмашь? Для чего ему-то руку прикладывать?

Внезапно Кулагин остановился и посмотрел на меня. В глазах у него была непреклонность. «Ну чего тянешь? Вбивай последний гвоздь. Вбивай!»

— Но, товарищи, как учит нас партия и лично товарищ Сталин? — Вытянутая рука Кулагина устремилась указательным пальцем на красочный портрет Верховного Главнокомандующего, висевший на одной из стен клуба. — Мы должны пресекать, взыскивать, но беречь кадры. Кто такой полковник Вересков? Его отец, простой белорусский крестьянин, погиб на фронте в первую мировую. По комсомольской путевке Вересков с пятнадцати лет работает на стройках, вечерами учится. С восемнадцати лет член партии. Участвовал в прорыве линии Маннергейма. Был ранен. Весной сорок первого перед самой войной ему присвоили звание лейтенанта, в дни обороны Москвы он уже капитан. А еще через три месяца его, капитана, не кончавшего ни училища, ни военной академии, назначают начальником штаба дивизии.

Минуту назад я, было, потерял веру в Кулагина, а теперь Кулагин возрождает эту утраченную веру, и не только в себя, а вообще, шире. Минуту назад я чувствовал себя опустошенным: казалось, внутри все выжжено. Так нет, черт возьми, не выжжено, не опустошено! Я уже не слушал, что говорил Кулагин, — говорил он долго, — а думал о том, как еще плохо, однако, я разбираюсь в людях, ведь такой защиты я от Кулагина никак не ожидал. При всем своем добром к нему отношении я все-таки где-то в глубине души полагал, что главное для него — это личная карьера. Насколько я знал, он никогда не делал того, что могло бы хоть как-то не понравиться начальству. Ан нет. Такой защитой он ставил на карту немало.

— В данном случае, — заключил Кулагин, — нельзя перегибать палку. Если я был бы медиком, то сказал бы: тут надо ограничиться лекарствами, устроить хорошенькое промывание, а не прибегать к хирургии, ибо полковник Вересков, в этом у меня сомнений нет, мо-

жет принести и принесет еще много полезного и фронту и Родине.

Впервые за эти дни я ощутил нечто похожее на угрызения совести. «Скотина! — сказал я себе. — Сколько людей ты поставил под удар. И во имя чего?»

Кулагин сел.

Лица членов комиссии были неподвижными.

Председатель разомкнул сложенные руки и сказал:

— Ваше выступление, товарищ подполковник, меня удивляет. С одной стороны, вы призываете крепить дисциплину, взыскивать с нарушителей полной мерой, но как только дело коснулось вашего друга, вы, ничтоже сумняшеся, предлагаете его амнистировать. Как это расценивать? Мы очень хорошо помним заповедь о том, чтобы бережно относиться к кадрам. И мы не устаем их беречь. Однако бережное отношение к кадрам вовсе не означает, что мы должны покрывать ошибки. Недопустимо забывать, что именно партия и лично товарищ Сталин учат судить работников не по вчерашним заслугам, а по сегодняшним их делам.

В домике внезапно потемнело. Сильный порыв ветра захлопнул и вновь открыл окна. Задребезжали стекла. Завернулась зелено-рыжая накидка на столе, и, если б председатель не успел накрыть их рукой, улетели бы листки, лежавшие перед ним. Зашуршали газеты на дальних столах.

Опять хлопнули и задребезжали окна. Я поднялся, чтобы их затворить. Огромная дымно-черная туча закрыла все небо. В воздухе неслись листья, пучки травы и маленькие ветки. Вдали протяжно громыхнуло.

Ветер дул с такой силой, что я не мог справиться с рамой и, чтобы затворить ее, выскочил наружу. Рядом со мной оказался Иванчук.

— Будь ласка. Позвольте мне, — сказал он, перехватывая у меня раму, и легко закрыл ее.

Я никак не предполагал в нем такой силы. В верхушках дрожащих деревьев свистело. Лес все больше наполнялся гулом. Тяжелые капли упали мне на голову, руки. А едва мы с Иванчуком вбежали обратно в домик, как секущие косые струи дождя по-пулеметному дробно ударили в его стены и крышу. Теперь шумело и гудело все вокруг.

Мы сгрудились у открытой двери так, чтобы нас не

забрызгало. Дождь хлестал все сильнее и сильнее. Молодые деревья, трепеща и дрожа, выгибались на ветру. Небо часто освещалось невидимыми нам молниями, и тогда перед нами на мгновенья возникали клубящиеся вздыбленные тучи, а потом го дальше, то ближе рокотал и перекачивался гром. В гул дождя, в тревожный шелест листьев и завыванье ветра все явственнее вплетался новый звук — шум воды, текущий вниз по склонам балки.

— Хорошая гроза,— сказал кто-то.

— Давно пора, а то такая сушь. Мыслимо ли?

— Помню, я мальчонкой был, нас с отцом на Каменную грозу прихватило. Он рыбачить пошел, ну и я за ним увязался. Страху натерпелся. Мы лодку на берег вытаскивали. Перевернули и залегли. Оттащили-то лодку недалеко, а вода прибывает и прибывает. Ну, думаю, захлебнусь. Перевернули лодку, значит, обратно. Смотрю, прямо светопреобразование. Молнии, как змеи. Гром. Каменная кипит.

Председатель не успел закончить рассказ. Молния полоснула где-то совсем близко. Нестерпимо все осветилось синевато-лиловым светом, и тут же небо расколослось громовым ударом. Все инстинктивно отпрянуло. Тьма стала еще гуще, дождь захлестал еще сильнее. С небольшого навеса над крыльцом до самой земли протянулась струящаяся стена. По склонам в балку с грозным шумом неслись водяные потоки.

— Не закрыть ли дверь? А то, чего доброго, молния прямо сюда угодит,— по фальцету я угадал Пташкина.

— Не угодит,— уверенно ответил баритон председателя.— Ветер-то с другой стороны. Вот не смыло бы нашу хибару. Ишь как ревет.

В темноте домика вспыхнул и заколебался оранжевый огонек зажигалки — кто-то закурил. Мне тоже захотелось курить. Закурили и другие.

Прошло еще минут сорок, и гроза пронеслась. Сверкало и гремело где-то вдали. Сверху еще капало, но тучи поредели, и в их разрывах сквозила размытая голубизна вечернего неба. В воздухе тянуло лесной свежестью. Дышалось легко, свободно.

Под потолком домика мигнула лампочка. Мигнула, погасла и опять зажглась, вначале слабо, вполнакала, а потом засветила в полный накал — заработал движок.

— Продолжим, товарищи. Надо сегодня все закруглить. Есть тут какая-нибудь маскировка? — спросил председатель у Кулагина.

— Есть.

Кулагин подошел к одному окну, другому, распахнул рамы, опустил покрашенные в черное бумажные шторы.

Не торопясь, все стали рассаживаться. Зазуммерил полевой телефон, стоявший на столе у дальнего окна. Кулагин снял трубку:

— Да... Что?.. Плохо слышу... Кто говорит? Двадцать вгорой говорит... Что?.. Не понимаю... Связь... Связь... Двадцать третьего дать?.. Что?.. Очень важно?..— Кулагин повернулся ко мне,— тебя...

Я взял трубку:

— Двадцать третий на проводе...

После грозы слышимость была плохая, и до меня сквозь треск донеслось:

«Пе-ре-булся».

— Кто переобулся? Связь... Связь... Ничего не понимаю.

Теперь донеслось:

«Пе-ре-рнулся».

— Кто перевернулся? Что за связь, черт возьми! Телефонист, повторите.

— Какой-то Перебеев вернулся.

— Перебреев! — я чуть не задохнулся от радости.— Спросите,— прокричал я в трубку телефонисту,— один вернулся или с товарищами?!

В эту минуту треск уменьшился, и я услышал голос Гудковского:

— Никонов и Петров там. Ну, куда мы их проводили.

— Что значит «там»? Живы или нет?

— Да. Они там, на той стороне. И с тем, с кем надо. Перебреев просит помочь перебросить их всех сюда...

— Ну...

— Я выделил троих. Уже отбыли туда.

— Немедленно свяжись с самоварщиками,— так для маскировки мы называли артиллеристов.— Пусть в случае чего прикроют их отход. Позвони к Шаламову и к соседу слева. Предупреди. Пусть тоже будут наготове... Бери мою эмку и дуй к Донцу. Сам проследи за переправой. Еще вот что. Немедленно доложи двадцать первому.

Похоже было, что судьба вновь балует меня. Но нет, нельзя забегать вперед событий. Мало ли что может произойти при переправе.

— Что, вернулись? — спросил меня Кулагин.

— Не совсем.

— Как так «не совсем»?

— Пока на том берегу. В плавнях.

— А пленного... Захватили?

— Да.

— Ну, Вересков...

— Все это хорошо, — сказал председатель. — Однако время позднее. Давайте приступать к работе.

— Позвольте, — удивился Кулагин, — но ведь вы же слышали...

— Ну и что?

— Как что?.. Ведь вернулись.

— Мы обсуждаем факт нарушения приказа. Разве вам непонятно?

— Товарищ полковник, но нельзя же так формально. Изменились обстоятельства.

— Свое особое мнение вы можете доложить по инстанции. А сейчас...

— Я тоже полагаю, что изменились обстоятельства, — невозмутимо прогудел хмурый полковник, ни разу не обронивший слова с тех пор, как он задал мне несколько вопросов. — Приказ выполнен. Это, конечно, не снимает вины, но несколько ее смягчает.

Опять зазуммерил телефон. Кулагин подошел к аппарату:

— Двадцать второй слушает... Да, уже знаем... Нет, продолжает работу... Я уже это говорил, товарищ двадцать первый... Не согласились... Есть. — Кулагин повернулся к председателю. — Вас просит командир дивизии, генерал Журавленко.

Председатель, не спеша, встал, подошел к телефону.

— Какие у него позывные? — спросил он у Кулагина.

— Двадцать первый.

— Слушаю вас, товарищ двадцать первый... Но, товарищ двадцать первый... Мы имеем указание... Хорошо.

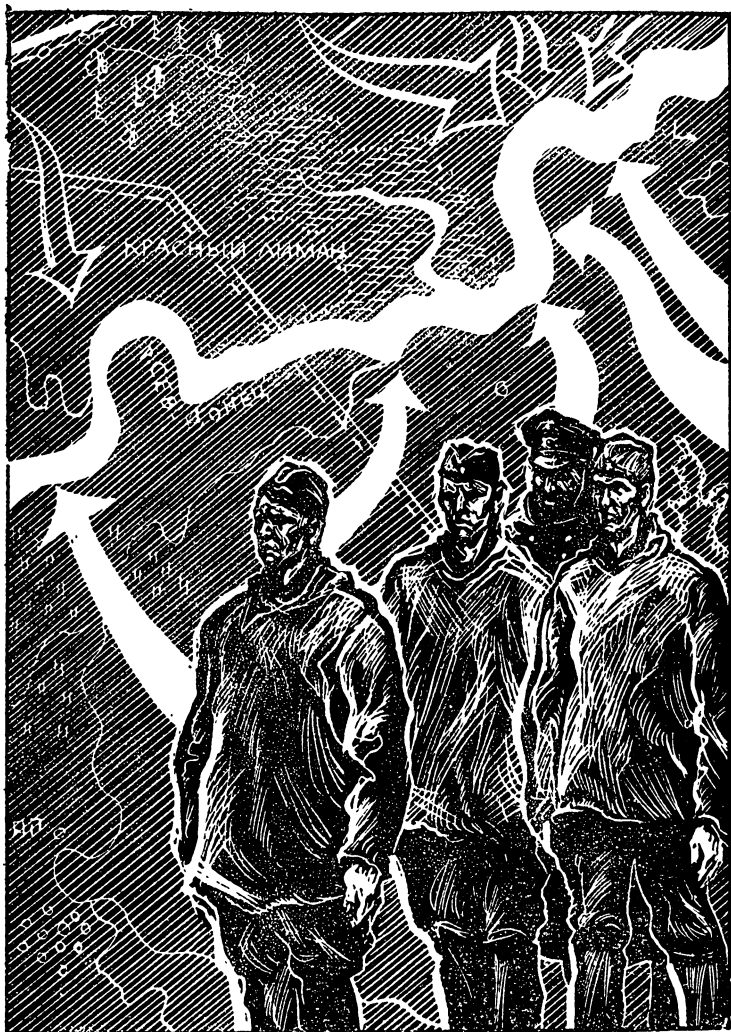
Председатель постоял, мрачно посмотрел себе под ноги и двинулся к своему месту, но не сел:

— Товарищи, — сказал он, ни на кого не глядя, — по настоянию командира дивизии генерал-майора Жу-



равленко наша комиссия прерывает свою работу. Заседание мы возобновим завтра, здесь, в двенадцать часов дня. А пока — все свободны.

Вернувшись в свою землянку, я сразу кинулся к телефону. На НП нашего левофлангового батальона разыскал Гудковского. Новостей у него не было.



Я соединился с артиллеристами и Шаламовым — проверил их готовность помочь разведчикам. Теперь оставалось только ждать. Медленно, ой, как медленно тянулись эти последние минуты. Я выходил из блиндажа, вслушивался в ночную тишину. Редко капало с деревьев. По дну балки еще журчало. Пахло теплой

влажной землей и лесной свежестью. Где-то справа раздавались орудийные выстрелы. Звук был глухой, будто за забором в соседнем дворе выбивали пыль из пуховой перины. Далеко-далеко сработал «ванюша» — немецкий шестиствольный миномет. Сейчас, издали, его надрывно-истошное завывание было похоже на мирное поскрипыванье колодезного ворота. И сразу же будто посыпался горох — заколотили мины. Рядом в кустарнике, должно быть со сна, жалобно пискнула какая-то пичуга. Ничего интересного для себя, хоть отдаленно связанного с переправой группы Петрова, я не мог уловить. Чего они мешкают? Нетерпеливо поглядывал на часы. Скорей же, скорей! Но фосфоресцирующие стрелки часов, казалось, не двигались с места. Наконец тренькнул телефон: группа Петрова вместе с пленным и помогавшими ей дивизионными разведчиками была уже на нашем берегу.

Несколько минут я сидел неподвижно. Напряжение куда-то ушло. Но в голове, как ни странно, была не радость, а пустота. Ничего, кроме усталости и тупого безразличия. Я сидел расслабившись, ворот кителя расстегнут, голова упала на плечо, глаза закрыты, ноги вытянуты, и просто отдыхал. Это было какое-то минутное полузабытье. Затем встряхнулся с силой, чтобы почувствовать каждый мускул, распрямил спину, встал. Несколько раз энергично, до хруста, согнул и разогнул руки. И постепенно, будто открылся какой-то кран, в меня начала опять вливаться жизнь. Резко крутанув ручку телефона, вызвал Журавленко. Он, конечно, ждал этого звонка. Я доложил ему об успешном окончании операции.

— В сорочке ты родился, — сказал он. — В шелковой. Знаешь, что тебе грозит?.. Теперь хоть какой-то шанс есть все уладить.

Мне ли было не знать, что надо мной нависло? Но сейчас, непонятно почему, я ничуть не беспокоился о своей дальнейшей судьбе. Меня распирала радость. Мне не терпелось увидеть группу Петрова. Чтоб до их прихода чем-то себя занять, присел к столу, развернул карту... Очнулся от шепота. Кто-то кого-то убеждал:

— Обождите хоть полчаса. Полковник уж какую ночь не спит. Сморило его.

Вскочил. В дверях — Гудковский, перед ним — Сеня.

— Давно приехали?

— Да только что.

— Остальные где?

— В нашем блиндаже.

Плеснул себе в лицо холодной воды, вытерся вафельным полотенцем и поспешил в разведотдел.

Увидев меня, Петров, Никонов, Перебреев, а вслед за ними и забившийся в угол пленный, поднялись. Петров скомандовал «сми-и-рна!» и, сделав маленький шаг вперед, вытянул руки по швам и отрапортовал:

— Товарищ полковник, посланная вами группа задание выполнила. Язык взят. Потерь нет. Докладывает, — он, видимо, по старой привычке хотел сказать майор, но спохватился и чуть тише сказал, — солдат штрафной роты Петров.

— Молодцы!

— Служим Советскому Союзу! — за троих ответил Петров.

В этот момент меня что-то кольнуло, я вспомнил про ту подлую злобу, которая еще сегодня утром поднималась во мне против них, особенно против Никонова. Что-то внутри оборвалось. Какая-то спазма сдавила горло, руки и ноги налились тяжестью.

— Вольно! Садитесь! — с усилием сказал я.

Я вглядывался в лица разведчиков. Да, нелегко дался им этот проклятый «язык». Вид у них был дьявольски измочаленный. Исхудали — кожа да кости. В воспаленных глазах усталость и лихорадочный блеск. На осунувшихся, заросших щетиной лицах резко обозначились скулы. Маскировочные куртки, в которые мы их нарядили, истрепались, к тому же после грозы они еще не полностью обсохли и сморщились.

— Надо одеть всех в сухое, — сказал я Гудковскому.

— Я уже распорядился, товарищ полковник. Сейчас мы их отправим в разведроту. Там они поспят, переоденутся, подкрепятся.

— И фрица тоже. Чтоб особый за ним был пригляд.

Почувствовав, что речь о нем, пленный что-то резко сказал:

— Ich bin Offizier. Hauptmann. Sie dürfen mich nicht erschießen!

— Что он говорит? — спросил я Гудковского.

— Мол, его нельзя расстреливать. Офицер он. Капитан.

— Я б его паразита... У, гад! — Никонов угрожающе поднял свой тяжелый кулак.

— Спокойнее, Никонов... Передай,— повернулся я к Гудковскому,— что ему ничего не угрожает... Ну, орлы, отдыхайте. Ведь мы было вас похоронили. Ан нет — воскресли, да еще такого знатного языка заграбастали. Молодцы.

В этот вечер и ночь радость больше ко мне не возвращалась. Минувшие дни оживали во мне в каком-то новом свете. Я все больше и больше ощущал себя виноватым. Черт те что! Вернулись, и с языком — так откуда же это чувство вины?

Назавтра Петров, Перебреев и Никонов рассказали мне о своем рейде.

С самого начала все у них пошло не так, как задумывали. Лишь на вторую ночь им удалось выбраться из плавней и выйти в лес. Здесь, в зарослях ольшаника, они просидели еще день. Недалеко от них слышался шум моторов, подъезжали и уезжали машины. На третьи сутки, едва стемнело, двинулись дальше. Наткнулись на ограду из колючей проволоки. Решили было снять часового, но воздержались — как только его исчезновение обнаружат, поднимется тревога, лес прочешут, и деться некуда. Свернули в сторону, пересекли проселочную дорогу, вновь углубились в лес.

— И тут,— сказал Никонов,— сдалось мне, что мы заблудились. Где находимся, хоть убей, не пойму.

Только на четвертую ночь ребята вышли в лес, верстах в одиннадцати от Славянска. Но уже совсем рассвело, и они залегли под кучей прошлогоднего хвороста. Проснулись — на земле длинные тени. Все тихо. Птицы поют. Вылезли и, крадучись, пошли. Лес поредел. Смотрят — по опушке проселок. На проселке следы автомобильных шин. А что если где-нибудь тут засадку сделать? Нашли подходящее место за кустами орешника. Вскоре машина проехала. Легковая. Потом еще легковушка. Потом крытый грузовик. Немного погодя — мотоцикл с коляской. И опять никого. Стемнело. Вдалеке показались две зажженные фары. Они быстро приближались. Сноп света скользнул по листе орешника, и вновь стало темно. Еще темней, чем раньше. Как остановить машину? Ведь в легковых развез-

жают не простые солдаты, а офицеры. Что если перегорить чем-нибудь дорогу? Срубить тоненькое деревцо и кинуть поперек? Так и сделали. А дальше все произошло, как в кино. На зорьке первым из Славянска возвращался мотоцикл с коляской. Наткнувшись на деревцо, мотоциклист затормозил, сбросил газ, слез, отгашил лесину в сторону. Пассажир в коляске между тем продолжал дремать. Петров знаками показал, что Перебреев и Никонов должны прикончить мотоциклиста, а он берет на себя офицера. Через десять секунд мотоциклист был мертв, а офицер скручен, и ему в рот засунут кляп. Еще через несколько минут убитый солдат был запрятан в чащобе орешника, следы нападения на дороге уничтожены. В глубине леса мотоцикл завалили ветками, прихватили найденные в коляске сыр, консервы, печенье, шоколад, планшет с картой и документами и вместе с пленным зашагали дальше. К пяти утра разведчики уже лежали под той самой кучей хвороста и веток, которая приютила их накануне.

Обратный путь был нелегок. Мучила усталость, жажда. Дважды едва не наскочили на немцев. Но все обошлось. Под конец здорово помогла гроза.

Этот новый день был, должно быть, по-особенному хорош. В небе после вчерашней грозы будто прибавилось голубизны. Легкие белые облака вились в вышине, как пряди пушистой шерсти. Солнце припекало, но без духоты...

Да, день был хорош. И я чувствовал себя тоже обновленным. Ночью я много размышлял. И не только о последних днях. Я давно не задумывался о своей жизни на войне, а теперь пытался окинуть ее мысленным взглядом, выстраивал свои дела и поступки в единый ряд. Пестрая получалась картина. Было чем гордиться, были причины и для недовольства. Чем больше я судил себя, тем отчетливее понимал: перемалывать в себе предстоит мне еще немало. Но в завтрашний день я смотрел уже без страха.

Утром пленный был допрошен — он оказался капитаном 21-й пехотной дивизии, той самой, что еще раньше была зафиксирована дивизионными разведчиками, — и отправлен в штакор. Тотчас после завтрака Журавленко и Кулагин уехали в штаарм. Должно быть, по поводу моего дела. Они задерживались. Видимо,

подумал я с фаталистическим спокойствием, там возникли какие-то сложности. Ну что ж, будь что будет. Я готов ко всему!

Ровно в двенадцать, как и было назначено, я переступил порог домика, где вновь собралась комиссия.

Что мне еще остается сказать?

Петров, Перебреев и Никонов были восстановлены в своих прежних званиях и награждены: Петров — орденом Боевого Красного Знамени, Перебреев и Никонов — орденами Отечественной войны I степени. В общем, все закончилось благополучно. Ну, а я, я, хотя и получил выговор, но остался в той же дивизии в той же должности начальника штаба. Только долго меня еще передергивало, когда я вспоминал подлую злобу, которая вспыхнула во мне против тех самых людей, что были отправлены мною в немецкий тыл на смертельное задание.



АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВСКИЙ

К ВОСХОДУ СОЛНЦА



**Перевод с белорусского
П. КОБЗАРЕВСКОГО**

С. Б. Токаревской, отважной разведчице, посвящаю

Каждому свое. Одни девочки в летние воскресные дни ходили в ближайший лесок, собирали там ранние грибы, рвали цветы. Другие вместе с родителями посещали парк, стадион или проводили время где-нибудь недалеко от дома. А Светлана чуть ли не каждое воскресенье бегала в военный городок. Там ей было весело, там у нее были друзья. Кто бы ни стоял часовым у проходной будки, каждый пропускал Светлану. Бывало иногда и так, что почти у самых ворот ее встречал лейтенант Бондаренко. Они шли тогда вдвоем по вымощенной камнями дорожке, обсаженной молодыми тополями, и встречавшиеся бойцы приветствовали лейтенанта с особенным уважением. Девочка и лейтенант направлялись на конный двор, где их ждал Лютый, самый лучший скакун во всем полку. Хотя этого гнедого, в белых чулочках коня и звали Лютым, он был очень спокойным, любил ласку своего хозяина и еще больше — Светланин сахар. Когда девочка подходила ближе, он вытягивал к ней голову, тихо ржал и ловил мягкими губами ее руки.

В то воскресенье, с которого начинается наш рассказ, Светлана пришла в военный городок чуть ли не с самого утра. Угостив сахаром Лютого, девочка поспешила в кабинет к своему отцу, потому что в это утро она его еще не видела. Случалось и раньше, что отец

по выходным дням уходил в штаб, но сегодня он ушел из дому почему-то очень рано, когда Светлана еще спала.

В комнатах штаба слегка попахивало конским потом. В их городской квартире тоже такой запах, как отец ни старается, как ни просушивает свою одежду. Из приемной, расположенной рядом с отцовским кабинетом, доносился стук машинки. Светлана остановилась у двери. Ей почему-то не хотелось видеть машинистку.

Девочка нерешительно постучала в дверь, словно пришла к директору своей школы. Никто не отозвался, может, оттого, что машинка стучала сильнее, чем Светлана. Тогда она приоткрыла дверь. Машинистка оглянулась, приветливо кивнула, и ее пальцы снова ловко запрыгали по клавишам. Она всегда ласково встречала девочку. А отец почему-то нахмурился, увидев ее. Нахмурился и не очень дружелюбно проговорил, показывая на дверь кабинета:

— Побудь там, Света, пока я вот... Почитай что-нибудь.

Светлана зашла в кабинет, уселась на мягкий диванчик, подогнув загорелые ноги, и чуть не заплакала от обиды. Ей так хотелось погулять сегодня с отцом, а может, и прокатиться вместе: он на своем Вихре, сером, в яблоках, а она на бондаренковом Лютом. И почему это отец работает, все что-то диктует и диктует машинистке? Могла бы она, эта машинистка, и не приходить сегодня. Никогда в выходные дни она не приходила. Нет, не зря так не хотелось Светлане видеть ее здесь. Если бы машинистка не пришла, то, наверное, можно было бы пойти с отцом на полигон.

Наконец Светлана успокоилась и принялась слушать, что диктует отец. Дверь кабинета была приоткрыта; в перерывах, когда машинка не стучала, было слышно, как отец шагает туда-сюда по приемной, как позванивают его шпоры. Но слов нельзя было разобрать: отец говорил очень тихо и машинка заглушала его голос. Скоро ли он кончит диктовать, скоро ли уйдет отсюда эта машинистка?

Медленно и скучно тянулись минуты. Конечно, во дворе было бы веселей: там подошел бы к ней Бондаренко и придумал что-нибудь интересное, веселое. Можно было бы пойти к пулеметчикам и покататься

на тачанке. Но никуда не тянуло Светлану. Даже Бондаренко не хотелось ей видеть. Она все слушала, как стучит за дверью машинка, как глухо звучит голос отца. Слушала, ждала и сама не заметила, как заснула. Может, в этом был виноват душный день, а может, ночью девочке снились страшные сны и она часто просыпалась.

Сколько времени проспала тогда Светлана, никто не знает, как не помнит этого и она сама. Ей вспоминаются только первые минуты после пробуждения. Двери кабинета и приемной были распахнуты настежь. Отец о чем-то громко кричал в телефон, машинистка, хватая какие-то бумаги, опрокинула столик с машинкой. Во дворе что-то страшно гремело, лязгало, в окнах сверкал огонь. Нельзя было понять, сон это или ужасная явь. И будто в этом непреодолимом сне перед самыми глазами мелькнуло дорогое, крайне озабоченное лицо отца, потом откуда-то, словно из густого дыма и пламени, выскочил Бондаренко. Светлана почувствовала под собою чьи-то сильные руки. Может, Бондаренко, а может, отцовские. Все закачалось, загрязлось перед нею, что-то загудело над головой. Вдруг показалось, что она куда-то едет. Раскрыла на мгновение глаза и увидела шофера со сгриженным затылком, а рядом с ним — бойца в пилотке, надетой звездочкой назад. Она прижалась к стенке кузова, сощурила глаза, чтобы вспомнить, представить, что произошло, почему так долго не проходит этот страшный сон? И опять внезапно окунулась в какую-то кипящую волну, опять все затряслось, скрылось с глаз, будто исчезло в бездне...

Потом уже на земле глаза раскрылись, вероятно, оттого, что из-за тучки выплыло летнее солнце и лучи его пронизали веки. Увидев солнце, увидев чистое, спокойное небо над собою, девочка подумала, что теперь уж, наверное, прошел этот ужасный сон. На миг ей даже показалось, что она где-то у своего дома, возле того леса за городом, куда часто бегали ее подруги, или на мураве полигона, где в свободные минуты любила отдыхать, наслаждаясь запахом молодого чабреца, кавалеристы. Вот и жаворонок поднялся над головой, затрепыхал крылышками, зазвенел. Если это полигон, то тут и речка недалеко. «Скоро придет отец, и побегим тогда вместе на речку. Напиться бы холодной воды, смочить бы голову... Болит что-то голова...»

Невдалеке кто-то застонал, и сразу же умолкла песня жаворонка. Светлана приподнялась на локте, огляделась вокруг. Перед нею колесами вверх лежал передок «газика». В первое мгновение девочке показалось, что колеса еще вертятся. В стороне, шагах в десятый, силлась встать какая-то девушка: она вытягивала руки, упиралась ими в землю.

— Подождите немножко!— сказала Светлана.— Я вам помогу!

Она вскочила на ноги, но мягкая трава будто провалилась под нею, и Светлана упала. Потом она все-таки подползла на коленках к девушке и попробовала помочь ей. И когда девушка кое-как встала и поправила на голове спутанные черные волосы, Светлана узнала в ней машинистку.

— Где это мы?— спросила девушка.

А Светлана смотрела на нее и не знала, что ответить. Ей только хотелось поскорее помочь девушке и помогать всем, если это надо. «Что с вами?»— хотела она спросить машинистку, но та опередила ее:

— Тебе не больно, Света?

Девочка схватилась рукой за голову, и глаза ее налились слезами.

А машинистка тем временем разорвала на себе кремовую блузку:

— Дай я тебя перевяжу, Светочка.

Пока перевязывала, совсем пришла в себя и поняла, что сама не ранена. Тревожно было только за Светлану. У девочки — пятно чуть повыше лба. Может, это только царапина, а может, и хуже. Нет ли еще ран?

У машинистки судорожно сжалось сердце. Но, усадив девочку к себе на колени, она сказала совсем спокойно:

— Маленькая у тебя ранка, Света, она почти и не видна. Это ты, наверное, ударилась, когда падала с машины.

Девочка обняла машинистку за шею.

— А что это случилось? Где мой папа? Где Бондаренко?

— Война, Светочка,— едва сдерживая слезы, сказала машинистка.— Началась война.

Сдвинув не очень умело сделанную, наполозавшую на глаза повязку, Светлана еще раз взглянула на передок «газика» с висящими, словно для забавы, колесами и

увидела вблизи него большую круглую яму; увидела на траве ту пилотку, что недавно поблескивала начищенной звездочкой. Больше не о чем было спрашивать.

Сначала они бежали по дороге почти одни. Изредка проходила машина или проносилась группа всадников. Встречные люди иногда и не знали, что случилось там, на границе, и смотрели на Светлану и машинистку удивленно, а то и подозрительно. Внешний вид их действительно вызывал удивление. Голова Светланы была обмотана кремовой повязкой, словно чалмой, а на плечах у машинистки болталась только половина блузки. Помнилось девушке, что взяла она с собой косынку, когда выбегала из штаба, но косынка пропала, как пропал шофер, как пропал тот боец, что сидел рядом с шофером. Горячее июньское солнце жжет нестерпимо, красивые вьющиеся волосы могут выгореть. Но бог с ними, с волосами. Только для того чтоб не ослабеть от солнцепека, девушка подняла из канавки порывевший лист газеты, свернула его корабликом и надела на голову.

С наступлением сумерек появились грузовые машины, заполненные ранеными. Много шло машин, чуть ли не одна за другой. Бойцы в повязках, а некоторые и без повязок, видимо подобранные по дороге, сидели кто где мог: вдоль бортов, на бортах, стояли, прижавшись грудью к покатой крыше кабины. Тяжелораненые лежали на соломе — кто на животе, кто на боку, кто на спине.

Светлана, с согласия машинистки, начала «голосовать»: она тоже раненая, ее должны взять на машину. Но шоферы изо всей силы нажимали на газ. Они смотрели только на дорогу, следили через боковое стекло, чисто ли небо, нет ли в нем того страшного лиха, от которого вот эти люди в кузове остались, быть может, калеками.

Наконец один шофер затормозил машину перед поднятой маленькой рукой.

— Перевязывать умеете? — спросил он, высунув запяленный чуб в выбитое боковое окно.

— Умеем, — ответила Светлана.

Чубатый недоверчиво усмехнулся и, взглянув на машинистку, приказал:

— Садитесь! Только быстро: раз-два! Вот бинты!

Бойцы, сидевшие на бортах, зашевелились, каким-то чудом освободили местечко и помогли им влезть. Машина так рванула с места, что Светлану бросило на одного бойца, однако тот ничего не сказал, только улыбнулся, преодолевая боль, и осторожно отвел перевязанное плечо.

Кое-как примостившись, Светлана стала смотреть в ту сторону, где — она узнавала это по клубам дыма — должен находиться их военный городок. Может, он еще виден, может, удастся обнаружить хоть какие-нибудь приметы?

Нет, никаких примет уже не было. Густые клубы дыма, которые еще не так давно поднимались где-то возле городка и сливались с облаками, теперь, видимо, рассеялись или уже остались далеко позади и поэтому недостижимы для глаз. По всей дороге виднелись только машины и подводы...

Девочка стала присматриваться к своим соседям. Есть ли здесь кавалеристы? Кавалеристов она могла отличить всегда если не по синим петличкам, то по специфическому запаху. Ей почему-то казалось, что тут, в кузове, обязательно должен быть кто-нибудь из их полка. Если есть, она сразу узнает его.

Один боец лежал вдоль борта у самой кабины. Петлицы его гимнастерки были залиты кровью, — нельзя было различить, какого они цвета. Голова перевязана приблизительно в том же месте, как и у Светланы. Волосы густо чернели на темени.

— Его хорошо перевязали? — спросила девочка у машинистки и незаметно показала глазами на бойца.

— Плохо, — тихо ответила машинистка, — но на такой дороге трудно поправить.

— Тетя, — вскоре опять заговорила Светлана. В ее голосе слышались нотки горечи и искреннего доверия. — А у него такая же рана, как у меня, правда?

— Нет, что ты, — догадавшись, о чем думает девочка, быстро сказала машинистка. — У тебя совсем не такая, у тебя маленькая, просто царапинка. Твоя скоро заживет, и никакого следа не останется.

— А волосы? — несмело произнесла девочка.

— Все у тебя будет хорошо, все, — успокаивала машинистка. — Ты не думай. Потом вот что, Светочка, не зови меня тетей. Меня Зиной зовут.

Девочка замолчала, все еще не сводя печальных глаз

с перевязанной головы бойца. Зина почувствовала неловкость: не сказала ли она Свете неправду? Рана у нее небольшая, но кто знает, как она будет заживать. Кожа над лбом содрана, возможно, и не будут расти волосы. Вероятно, девочка чувствует это и не верит ее словам. И, наверное, ей жаль этого бойца, что лежит у кабины, и еще больше жаль отца,— он остался там, в городке. Давно уже нет у Светланы матери, умерла, а теперь вот и с отцом неизвестно что будет...

Боец у кабины вдруг зашевелился, застонал, и Светлана испуганно отвела глаза.

— Воды-ы...— хрипло протянул он.

— Есть у кого вода? — спросила Зина.

— Давно нет,— ответил один из бойцов, опиравшихся на кабину.

— Хотя бы глоточек, Зиночка,— вдруг услышала девушка совсем рядом с собою.— Прямо ссохлось все внутри.

Зина оглянулась на этот голос.

— Откуда вы знаете мое имя? — спросила она, не разобрав еще толком, кто говорил.

— У меня же только глаза завязаны, а уши нет,— пытался пошутить боец.— Подслушал. Не обижайтесь.

Светлана тоже взглянула на этого бойца и чуть не вскрикнула от неожиданности: у него на гимнастерке были синие петлицы.

— Стучите шоферу в кабину! — громко приказала Зина, когда машина влетела на улицу какой-то небольшой деревушки.

— Не остановится,— сказал боец, который первый заговорил с нею.

— Стучите! — твердо повторила девушка.— Мы его заставим остановиться.

Несколько бойцов забарабанили по кабине.

— Что такое? — крикнул шофер, притормозив машину.

— Воды надо набрать,— сказала Зина.

К удивлению всех, шофер сразу согласился и выключил мотор.

— И мне надо воды,— проговорил он, вытягивая из-под сиденья погнутую жестянку.— Только прошу: раздва. А то немец прет за нами.

Зина с помощью Светланы собрала у бойцов фляги, быстро наполнила их у колодца, шофер залил воду в

радиатор, и машина помчалась дальше. Глотнув свежей воды, бойцы повеселели, стали смотреть на попутчиц с благодарным уважением, а сосед с завязанными глазами произнес:

— В нашем полку тоже была Зина, машинистка. Хорошая, говорят, была девушка, но погибла, наверно. Ведь первые бомбы упали на штаб.

— Вы из того полка? — Светлана потянулась к нему, но Зина придержала ее за плечи и прижала к себе.

— Не надо, Светочка, — зашептала она, — не надо, родная... Лучше не спрашивать... Не будем сейчас тревожить людей и себя...

— Светочка у нас тоже была, — неожиданно сказал боец. — Дочка командира полка.

Девочка дрожала от волнения, чуть не плакала, а Зина все крепче прижимала ее к себе.

— У вас такой тонкий слух, — грустно сказала она бойцу, чтобы хоть как-нибудь переменить тему разговора, — все слышите.

— Уши у меня хорошие, — согласился боец. — Большие. Видите? — Он обеими руками потянул себя за уши. — Потому и ловят все.

«А мой папа? — порывалась спросить Светлана. — Не слышали ли вы чего-нибудь о моем папе?»

Боец, словно почувствовав желание девочки, стал рассказывать об однополчанах, сказал бы, может, и о командире полка, но в это время машина зачихала и, замедляя ход, начала двигаться судорожно, рывками.

— Приехали!.. — объявил наконец шофер, вылезая из кабины. — Съели все горючее.

Лица у бойцов помрачнели. Зина же смутно почувствовала что-то похожее на облегчение: если бы не этот случай, то боец сообщил бы о смерти отца Светланы. Зина была уверена, что командир погиб.

— Да, это номер, — сказал боец с повязкой на глазах.

— Ну ничего, — произнес шофер, поглядывая из-под чуба на Зину. — Вы тут немного побудьте, а я сбегать вот в ту деревню, достану хоть какого-нибудь горючего. — Он снова вытащил из кабины свою погнутую жестянку. — Я быстро: раз-два!

Шофер побежал, гремя жестянкой, и бойцы, что сидели на бортах, проводили его печальными и безнадежными взглядами.

— Теперь будем загорать,— проговорил боец из кавалерийского полка.

— Тише вы! — сказала ему Зина.— Надо сделать все, чтобы не стоять тут долго.

Она проворно перескочила через борт, вышла на середину дороги и стала настойчиво останавливать грузовики. Почти все шоферы останавливались, однако горячего никто не давал.

— А что бы мы делали с тем горючим,— все же не удержался боец с повязкой на глазах,— если бы нам его и дали? Разве вы, Зина, шофер?

— Я шофер,— вдруг заявил один из бойцов, стоявших у кабины.

— Руки и ноги у тебя целы? — спросил кавалерист.

— Руки-то целы,— ответил тот,— и нога одна действует. Зина,— обратился он к девушке.— Посмотрите-ка, шофер оставил ключи или нет?

— Оставил,— ответила девушка, глянув в кабину.

— Значит, поедем.

И они, конечно, поехали бы, догнали бы где-нибудь своего чубатого шофера, если бы в это время над шоссе не появились вражеские самолеты. Все бойцы, кто хоть немного мог двигаться, начали вылезать или просто выбрасываться из машины. В кузове остались только чернявый парень с перевязанной головой да еще несколько тяжело раненных бойцов. Зина попыталась высадить и их. Ей помогала и Светлана, но двоим им было трудно спустить на землю почти неподвижных людей. Тогда поднялся из кювета и приковывал к машине боец, назвавшийся шофером. Ловким движением сильных рук он опустил задний борт. Подбежал еще один военный с подвязанной рукой, с двумя треугольниками на петлицах, и они вдвоем стали принимать на руки бойцов.

Самолеты уже ревели над самым шоссе и над той деревней, куда чубатый шофер пошел искать бензин. Военские машины вихрем проносились мимо заглохшего и словно уже никому не нужного грузовика. Шоферы гнали во всю силу, чтобы побыстрее найти место, где можно было бы замаскироваться.

Фашистские стервятники летели совсем низко и били по машинам из пулеметов. Светлана, прижимаясь к своей старшей подруге, при каждом взрыве бомбы вздрагивала, хваталась руками за голову. Ей казалось, что все самолеты висели как раз над ее головой и хоро-

шо видели ее кремовую повязку, ее праздничное платье, светлое, с малиновыми полосками.

Было очень страшно. «А вдруг ударит по голове? Голова и так болит, и на ней уже, вероятно, не будут расти волосы. А у того чернявого, который лежал у кабины, наверное, еще сильнее болит голова. Где он теперь? Там, где мы его оставили, в кювете, или, может, отполз куда? Хоть бы на дорогу не выполз. Что-то не слышно его стонов».

Светлана думала о бойцах, которых они недавно сняли с машины, и о тех, что выскочили из кузова сами и лежат теперь у дороги, живые или мертвые. «А сколько машин пошло дальше! И на них вот такие же раненые, как этот чернявый боец. Помог ли кто-нибудь им выбраться из кузова?»

Мысли о других немного успокоили девочку. Ей вдруг показалось, что скоро все кончится, что никакой осколок ее не заденет. Показалось даже, что боль начала затихать. Пройдет еще немного времени, и ранка заживет, ведь Зина очень хорошо перевязала ее. И волосы будут расти, как и раньше.

Да, да, скоро все кончится. Начнут выползать хоронившиеся в кювете и придорожном жите бойцы. Машина стоит и ожидает всех на шоссе. Те двое военных — однорукий и одноногий — помогут Зине устроить в кузове тяжелораненых, прибежит из деревни чубатый шофер, и поедут они уже без всяких помех до самого госпиталя. Кавалерист будет шутить в дороге, а Зина, возможно, позволит расспросить у него о военном го-родке.

Так казалось Светлане. А когда гул самолетов отдался и Зина сказала, что уже можно выходить на шоссе, все предстало совсем иным. Машина оставалась на своем месте, но на ней не было капота, радиатора. Она стала значительно ниже, чем была, потому что скаты были прострелены.

Боец, назвавшийся шофером, приковылял из жита на дорогу, посмотрел на грузовик и безнадежно махнул рукой.

В первые часы Зина все еще надеялась, что удастся поехать дальше: ждала шофера с горючим и хотя нетвердо, но все же верила — он что-нибудь придумает.

Если уж никак нельзя поставить на ноги эту машину, то, возможно, найдет другую.

Но не пришел шофер в тот вечер, после налета, не пришел и ночью, и на следующий день. Кто знает, что случилось: может, ранило или убило человека.

Из ходячих больных остались возле тяжелораненых только тот одорукий, с двумя треугольниками на петлицах, и шофер, раненный в ногу. Остался, правда, еще и кавалерист, но он не мог ступить без поводыря и двух шагов.

Первый день жили почти у самой дороги. Зина принесла из деревни лопату, отрыли щель, чтобы прятаться от воздушных налетов. Принесла она и немного спирту — выпросила у людей. Вдвоем со Светланой они промыли раны бойцам и наложили новые бинты всем пациентам своего маленького «госпиталя». Кавалерист, когда ему хорошо протерли глаза, узнал Светлану. Выяснилось, что у него повреждены не глаза, а надбровья и частично веки. Он крепко ушибся и порезался, когда выбегал из конюшни вместе с лошадьми, спасая их от бомбежки. Поняв, что слепым он не останется, да еще узнав Светлану, кавалерист так повеселел, что шутил даже тогда, когда никакие шутки были не ко времени. Весь «госпиталь» с радостью воспринял его быстрое выздоровление, потому что в лагере прибавлялся еще один трудоспособный и очень полезный человек.

Весь тот день урчали на дороге машины, тарактели подводы, шли и шли люди. Зина время от времени выходила на шоссе, «голосовала», упрашивала шоферов взять раненых бойцов. Мало кто останавливался, заметив ее поднятую руку, а если и останавливался, то сочувственно взглянув на нее, показывал на свой кузов и снова торопливо включал мотор.

Под вечер вышли на дорогу вчетвером: кавалерист, которого уже все в лагере звали Грицком или Грицаем, одорукий командир отделения, Зина и Светлана. Растянувшись редкой цепочкой поперек шоссе, они упорно пытались останавливать машины. Один человек в штатской одежде сам принялся стучать своему шоферу, увидев впереди такую заставу. Он стоял в кузове у самой кабины и придерживал за веревочный повод корову.

— В чем дело, товарищи? — громко спросил он. — Подъехать хотите? Так нам же недалеко, всего каких-

нибудь шесть верст. Раненые? Нет, раненых не могу. Вот девушек можно подвезти, если хотят.

Грицко и командир отделения встали на подножку машины.

— Попробуй только тронуться! — грозно предупредил Грицко шофера. — Видишь, что это? — И показал камень.

— Может, так решим, — пошел на хитрость хозяин машины, видя, что ему не улизнуть. — Я доеду вот до той деревни, разгрузюсь, а тогда и пригазую за вами.

— Пригазу-у-ешь, — недоверчиво протянул Грицко. — Нашел дурней.

— Да что вы, товарищи! — начал возмущаться хозяин. — За кого вы меня принимаете? Сказал, подвезу, — значит, подвезу. Горючего, правда, мало, но километров за десять подкину.

— Ну, поехали! — вдруг приказал Грицко. — Торговаться нет времени. Я провожу вас до деревни и вместе вернемся. Поехали!

Он взглянул на шофера, и тот включил мотор, не ожидая команды хозяина.

Щуплый, с энергичным и волевым лицом командир отделения соскочил с подножки. Он, конечно, согласился с решением Грицка, хотя в душе сомневался, что это пойдет на пользу. Уговорит хозяин кавалериста, и они двинут отсюда вместе. Зина доверяла Грицку больше, но и ее смутило его неожиданное решение.

Все трое возвращались назад с надеждой и тревогой в душе. Начинало темнеть, ночью машины идут, не включая фар, и ни одна не остановится, даже если ляжешь на дороге. А завтра?.. Кто знает, что будет завтра.

— Это Валькин отец поехал, — задумчиво и как-то глухо проговорила Светлана. — Валя со своей мамой в кабине сидела. Она хотела заговорить со мной, а мама дернула ее за руку.

— Почему же ты молчала? — удивленно спросила Зина. — Знакомые люди. Они взяли бы тебя, может, так было бы лучше.

— Я не хотела с ними ехать, — твердо сказала девочка.

Придорожный лагерь ожидал теперь своих посланцев с особенным нетерпением. Все раненые, даже те, кто чувствовал себя очень плохо, понимали, что сегодня обязательно надо найти какой-то выход. Каждый

раз, когда Зина отправлялась на шоссе, они, ожидая, считали минуты. И все верили Зине, надеялись на нее. Если сегодня Зина ничего не добьется, то что же будет дальше, что ждет их впереди? Продуктов почти нет — мало кто в тревоге успел захватить рюкзак. С водой тоже не просто. А что уж говорить о лечении, о медикаментах!

Узнав, что Грицко уехал на грузовике и скоро должен вернуться с машиной, лагерь немного повеселел, а хромой шофер стал уверять, что он доедет на этой машине хоть до самой Москвы и каждого довезет, куда надо. Попросили Машкина — так звали щуплого командира отделения — пойти на дорогу подежурить, чтобы сразу же дать всем знать, как только подъедет Грицко.

Однако прошел час, второй, а машины не было. Уже все подготовили для быстрой погрузки, шофер даже смастерил носилки для переноски лежащих больных, а от Машкина — никаких вестей. «Сбежал Грицко,— стали думать некоторые,— использовал удобный момент».

Тревожные мысли охватили и Зину, уже и она начала терять надежду. И тут прибежал в лагерь Машкин. Он сел на сноп зеленого жита рядом с Зиной и, отдышавшись, сказал:

— По-моему, это немцы!

Все, кто могли, повернули к нему головы.

— Я долго лежал в борозде,— продолжал командир отделения,— хотел убедиться. Сначала проехали мотоциклисты. В темноте не разберешь, я еще сомневался. А потом пошли бронемшины, и я увидел: техника не наша, люди не наши. Значит, нас обошли.

— Будем сидеть тут, пока тепло и за воротник не льет,— пытался пошутить шофер.

Но никто не поддержал его шутки, никто даже не взглянул в его сторону. Многим вспомнилось, что действительно около часа назад была какая-то зловещая тишина на шоссе: не слышно было гула машин, людского говора, тарыхтения колес. Вероятно, последние из наших отошли, а враги еще не пришли.

Представив себе весь ужас происходящего, Зина почувствовала, как похолодело у нее в груди. Что же делать, за что братья, какими советами поддержать раненых? Пока за спиной были свои части, пока на границе — она знала — шла героическая борьба, пока полк, в штабе которого она служила, был еще на своем месте



и тоже сражался против врага, в сердце жило неиссякаемое стремление бороться, побеждать все трудности. Она готова была изнывать без воды, голодать, стоять под пулями и под бомбами, чтобы только хоть чем-нибудь помочь фронту, помочь бойцам, которых она видела каждый день. А когда за спиной — страшно подумать! — уже ничего нет? Если враг ступил на нашу землю, занял тот чудесный военный городок, который за последние годы стал ей родным, запоганил тот маленький, обвитый плющом домик, где осталась ее мать?

Зине вдруг показалось, что уже бессмысленно бороться, что руки начинают опускаться и ей не найти слов, чтобы утешить беспомощных людей, молча лежащих перед ней. Светлане тоже передалось общее настроение. В молчаливой тревоге она прижималась к Зине.

Тяжело застонал чернявый боец, и Зина бросилась к нему. В заботах о больном будто легче, быстрее бежало время, однако на душе усиливалось чувство какой-то безысходности: не сможешь раненому бойцу, как не сможешь теперь и своему городу, своей родной матери. Не хватит силы у тебя на это, не хватит выдержки, потому что трудности перед тобой невероятные и непреодолимые.

Шепотом Зина подбадривала бойца, пытаясь хоть этим облегчить его страдания. В сущности, она ничего не могла сделать, но этот шепот давал ей некоторую возможность обдумать положение, пока все считали, что она занята. Остальные бойцы тоже как бы отвлеклись от своих тяжелых дум. Они тревожились, что стон соседа могут услышать враги, но всей душой сочувствовали товарищу. Каждый в эти минуты терпеливо ожидал, что скажет Зина, найдет ли она хоть какой-нибудь выход.

В жите что-то зашелестело. Это она услышала сразу. Взглянула на бойцов. Заметила, что и те насторожились. Машкин залег, словно приготовился стрелять, зажав в здоровой руке вынутый из кармана нож. Шофер вытащил из-за кирзового голенища ручную гранату

— Зиночка, кто это? — Светлана начала тихонько плакать.

А Зина и сама ничего не могла сказать, только ей почему-то совсем не было страшно: будь что будет, лишь бы скорее все кончилось.

Шелест послышался совсем близко, и кто-то глухим шепотом спросил:

— Где вы тут, братва?

Машкин вскочил.

— Ни дьявола не вижу, где ж вы тут? — продолжал тот же голос уже немного громче. — Попрытались, ночлежники бисовы.

— Грицко! — чуть ли не крикнул от радости Машкин и, пригнувшись, бросился ему навстречу.

Кавалерист вынул из кармана свой скомканный бинт.

— Прошу прощения, доктор,— обратился он шепотом к Зине,— приладьте мне эту повязку снова.

— Зачем же вы ее сняли? — строго спросила Зина.

— Мешала она мне, лоб Гитлеру показывала в темноте.

Зина стала перевязывать Грицка и почувствовала, что он расстроен. «А голос совсем спокойный,— подумала она,— не хочет парень показывать тревогу перед ранеными. Что ж, может, это и правильно. Так и надо поступать сильному человеку».

— Почему же ты без машины? — спросил шофер и, как показалось Зине, спросил требовательно, сурово.

Тут бы спросить, как парень добрался сюда, не попал в руки врагу, а не требовать невозможного. Но у шофера была, видимо, своя логика. В такие тонкие чувства он не вдавался, а знал одно: получил боец задание, обязан выполнить. Это, в сущности, был приказ. И не одного человека, скажем командира отделения, а вот и Зины, и Светланы, и всех тех, кто лежит здесь.

— И глаза мне завяжите, и глаза! — настойчиво зашептал Грицко, вместо того чтоб ответить шоферу.

— Зачем же это? — безучастно спросила Зина, продолжая перевязывать.

— Чтоб не видеть, что творится вокруг,— еще тише произнес Грицко.

И Зина почувствовала, что ни капельки шуток не было в этих словах, что они были сказаны только для нее одной.

Потом парень стал говорить уже для шофера и остальных бойцов:

— Пока высаживал я там из кузова эту корову, пока отбивал атаку хозяина и особенно хозяйки, появились на краю деревни немцы. Ну, думаю, беда. Хозяин испугался, услышав про немцев, а хозяйка просто ошалела: голосит на всю улицу и готова горло мне перегрызть за корову. Видя, что машины теперь уже не взять, я стал нажимать на шофера, чтоб он бросил все и пошел со мной. Он человек местный, подумал я, знает тут все вокруг. Потребуется нам такой человек. Хлопец уже вылез из кабины, а тут хозяйка как бросится на меня и зацепила руками за мой бинт. Пришлось пойти на грех: рванул ее за кудлы и подался в малинник. Пока она там голосила, я уже на загуменье был. Жито тут хорошее, мне, человеку низкорослому, и пригнаться особенно

не приходилось. Иду, а по шоссе Гитлер прет. Он, нечистая сила, туда,— я назад, навстречу ему. И радостно мне на душе, что не убегаю от него, и страшно вато.

Шофер больше не задавал Грицку вопросов. Хотя он как будто ничем не помог лагерю, хотя и теперь еще не было известно, что делать, но у каждого на душе посветлело. Грицко помог уже тем, что пришел сам.

— Напрасно, выходит, я носилки мастерил,— только и сказал шофер.

— Носилки как раз потребуются,— задумчиво проговорил Машкин.— Боюсь, что мало будет одних.

Несколько минут в лагере царил тишина, казалось, каждый обдумывал какое-то предложение. Всем было ясно, что прежде всего надо отойти от дороги, что до утра на этом месте оставаться нельзя.

— Пойти нам со Светланой в деревню,— словно размышляя вслух, сказала Зина.— Попытаться там найти людей, чтобы пустили в какой-нибудь сарай, помогли перенести раненых? Но нас же не три человека... Кто ж пустит?

— И Гитлер в деревне,— добавил Грицко.

— В деревню вряд ли можно,— усомнился и Машкин.

Его поддержали почти все бойцы.

— Значит, надо выбрать место пока что тут,— сказала Зина и как-то особенно внимательно взглянула на Грицка. Она чувствовала себя неловко перед этим бойцом. Парень был, пожалуй, даже моложе ее, низкорослый, худощавый, а выдержка у него такая, что каждый может позавидовать.

Машкин встал.

— Пошли!— сказал он шоферу, видимо не желая беспокоить очень уставшего Грицка.

Но Грицко поднялся быстрее шофера, и они втроем отправились выбирать место поудобнее.

Ночь пришла, теплая, короткая, но темная-претемная и немного влажная. Было странно, что ночь принесла и тишину, хотя не очень уютную. Даже на шоссе стало спокойно.

Зина не верила этой тишине, ей все казалось, что это обман, что в такой суровой обстановке не может быть тихо даже глубокой ночью. А Светлана словно ожидала этого покоя: она прижалась к Зине, подобрала чуть ли не к самому подбородку голые коленки и заснула.

Один боец, раненный в ноги, зашевелился, вытянул из-под себя шинель и заботливо накрыл ею девочку.

— Спасибо,— сказала Зина,— но вам же самому будет холодно.

— А я вот соломки под себя,— сказал боец и протянул руку, чтобы вырвать несколько горстей заколосившегося жита.

— Я вам помогу,— сказала Зина и, осторожно отодвинувшись от Светланы, положила ее голову на снопик. Подавшись немного в сторону, она обеими руками стала рвать упругие, но ласковые, уже повлажневшие от росы колосья жита. Некоторые стебельки перегибались в ее пальцах и отделялись от корней, большинство же оставалось в руках с корнями. От них пахло свежей землей (милый, знакомый с детства запах!), а сломанные стебли тоже пахли, и так, что хотелось вдыхать их запах, глотать, как воду при большой жажде.

— Я вам дам ножик,— предложил боец. И голос его был ласковый, сочувствующий. И он ощутил этот запах, который, наверное, вызвал и у него воспоминания обо всем лучшем, что было в детстве, в ранней юности.

Зина стала срезать стебельки ножиком. Тихий шорох этой необычной жатвы радовал душу. И жаль было зеленого жита, и хотелось срезать его побольше. Это ведь для того, чтобы устроить помягче постель не только этому бойцу, который сам позаботился о других и разговаривает так ласково, а и всем остальным. Конечно же, для этого, но было тут и что-то другое. Кому не по сердцу в тяжелую минуту хоть на миг забыть обо всем, что видишь вокруг, что терзает душу? Жатва для Зины — это чуть ли не самое светлое, что осталось в ее памяти с детских лет. Для нее это была даже и не работа, от которой болит и ноет спина, а удовольствие.

Она жала всегда вместе с матерью. Отец приходил к полудню, сносил снопы, составлял их в суслоны и шел на другую работу. Зина знала, что шел он не на свою работу, а на панскую, потому что со своей полоски нельзя было прокормиться. Знала, что пан мог обидеть отца, мог замучить его на работе, и потому всегда с тревогой и радостной надеждой ожидала вечера, когда отец снова придет на поле и опять начнет сносить снопы.

Любила Зина смотреть, как отец носил снопы. Сама она если и поднимет, бывало, сноп, то едва тянет его за собой, — колосья оббиваются о стерню. А отец одной рукой вскидывает снопы на плечи так легко, словно это какие-нибудь игрушки, обложится ими так, что и сам не виден. Шагает тогда, похожий на копну, а Зине кажется, что нет на свете человека более сильного, более неутомимого в труде.

Как только отец приходил на поле, Зине становилось весело. Она радовалась, если он хоть на минуту присаживался на сноп, закуривал или завтракал вместе с ними: ел спелые вишни с хлебом. И всегда, везде с отцом было весело, радостно. Зина часто вспоминала эти далекие дни детства, которые были наполнены ожиданием отца. Сначала она ждала его на поле, дома, с отхожих заработков, а потом — из тюрьмы, куда забирали его пилсудчики за подпольную революционную деятельность. Раз дождалась, второй раз дождалась, даже и третий раз дождалась. А когда в четвертый раз взяли, то в ожидании прошли годы, мать сгорбилась и поседела от горя, Зина за это время выросла, а отца все не было. Потом пришло по почте извещение, что арестант Иван Прудников умер в тюрьме.

Мрачным тогда стало все вокруг: немилой была своя хата, чужой и ненужной выглядела полоска, которая к тому времени уже почти совсем перестала родить. Взяли тогда дочка и мать посохи в руки, приладили за плечи котомки с пожитками и пошли по миру. Служили потом в городе у разных людей, не чурались самой черной работы. После воссоединения белорусов в едином Советском государстве Зина закончила курсы машинисток и вскоре поступила на службу в штаб кавалерийского полка.

Необыкновенная ночная жатва вызвала в душе Зины эти воспоминания. Почему бы и не вспомнить обо всем в такую тишину? Долго ли она будет продолжать, не нарушит ли ее что-нибудь уже через минуту?..

Вдруг девушке показалось, что она жнет слишком смело, что складной ножик, хотя он и не серп, режет как-то гулко, со скрежетом. И Зина испугалась этого скрежета: а вдруг услышат на дороге и начнут стрелять?

— Хватит вам уже, — тихо сказал тот боец, что дал ножик.

И тогда девушка поняла, что действительно пора кончать жатву. Вытерла нож, отдала его бойцу, а сама стала подбирать сорванные и сжатые стебельки. Какой получился бы сноп, если все это связать?

Боец положил под себя немного жита, а из остального сделал нечто похожее на постель для Зины.

— Лягте отдохните, пока хлопцы придут,— сочувственно сказал он.— Вот мой рюкзачок. Возьмите его под голову.

Когда Зина опять примостилась возле Светланы, боец долго вздыхал, а потом стал торопливо и взволнованно говорить, будто боясь, что девушка скоро заснет и не услышит его слов.

— Там у меня в рюкзаке вязанка мягкая... Из шелка, наверно, из одного или, может, немного шерсти примешано. Я собирался уже ехать домой, так купил для матери. Возьмите, коли ласка, эту кофту, наденьте.

— Ну что вы!— запротестовала Зина.— Это ж подарок, вы его обязательно отвезите своей матери.

— Вам же холодно,— с мягкой настойчивостью продолжал боец.— Роса выпала, а к рассвету совсем похолодает. Вы замерзнете в своей одежде. А одна ли такая ночь впереди?

— Ничего, не замерзну.— Зина тесней прижалась к Светлане.— Вот мы вдвоем вашей шинелью прикроемся, а там я что-нибудь достану в деревне: мир не без добрых людей.

— Я вас очень прошу,— чуть ли не с обидой проговорил боец.— Домой мне теперь уж не попасть, хотя и билет в кармане и документы, что отслужил свой срок, не до того сейчас. Мне хочется сделать вам этот подарок все равно как своей матери.

Зина ничего не ответила. Ей казалось, что все бойцы слышат эту, возможно, излишне интимную беседу, а для чего это нужно — к одному относиться лучше, чем ко всем остальным? Теперь надо любить и уважать всех одинаково, быть для всех сердечным товарищем, сестрой. Но, прислушавшись, Зина поняла, что бойцы, в том числе и тяжело раненные, спят. Тихая летняя ночь, наполненная запахом созревающего жита, пригасила в их сердцах волнения и тревоги, уняла даже боль в ра-
нах.

— А вам далеко надо было ехать? — спросила Зина,

убедившись, что никто их не слушает.— Вы откуда родом?

— Не так уж далеко, если ехать,— живо ответил боец, обрадованный тем, что беседа возобновилась.— А если идти, то вряд ли хватит ног. Из нашего Полесья я, из деревни Заболотье. Может, слышали про такую?

— Не слыхала, но рада, что вы оттуда,— сказала Зина.— В таких случаях бойцы зовут друг друга земляками. Я из-под Бреста.

— Конечно, земляки! — чуть не вскрикнул боец.— С одной республики, значит, и земляки.

Он помолчал с минуту, а потом очень сердечно, по-дружески попросил:

— Так возьмите мою вязанку, землячка.

Вернулись бойцы из своей первой разведки. Грицко сказал Зине, что недалеко за житом нашли кустарничек. Растет там можжевельник, молодая ольха, крушина. Есть местами мох. Сбоку от дороги — пригорок, а за ним — болотце, оно тянется до противоположной опушки кустарника. К восходу солнца надо туда перебраться.

Стали обдумывать, кого нести на носилках, кому помочь двигаться своим ходом, а кто может хоть сколько-нибудь поползти.

Последним несли чернявого бойца, раненного в голову. На середине пути он вдруг поднялся на носилках, закричал, замахал руками. Светлана испугалась его крика и чуть не бросила кончик носилок, за который держалась, идя рядом с Грицком. Держалась она, чтобы помочь Грицку, а он принимал ее помощь только для того, чтобы девочка не потерялась в темноте. Чернявый вдруг замолк, свесил с носилок забинтованную голову и стал часто, с отчаянием вздыхать.

— Куда вы меня несете, братки? — вдруг жалобно спросил он.

Зина, шедшая с Машкиным впереди, замедлила шаг, оглянулась. Она впервые услышала голос этого бойца и обрадовалась: может быть, ему стало легче? Она попыталась заговорить с раненым, но Грицко опередил ее.

— В госпиталь едем,— спокойно сказал он,— в госпиталь, браток.

— Не надо меня никуда нести,— попросил боец,— не надо мучиться. Все равно уж...

И опять притих. Зина ожидала, что он скажет еще что-нибудь, но боец начал стонать, и еще сильнее, чем раньше.

— Наверное, не поправляются люди, если их ранило в голову? — робко проговорила Светлана.

Грицко ответил:

— Самая тяжелая рана — это в живот, а в голову ничего. Голова у человека крепкая.

— Если и выживет, — продолжала Светлана, — те может калеккой остаться: сумасшедшим станет или еще что...

— Кто?

— Да раненый же.

— Ничего плохого с ним не будет, — уверенно сказал Грицко. — Случалось, мы на скачках сколько раз летали вниз головой, и черт нас не брал: целыми оставались, и мозги варили.

— То на скачках, — не соглашалась девочка.

— А что на скачках? — начинал уже спорить Грицко. — Ты еще не знаешь, что иногда получается на скачках. Там бывает хуже, чем на фронте. Однажды наш командир взвода Бондаренко так грохнулся вместе с конем, что думали — конец. А полежал немного в санчасти — и встал. Коня больше лечили, чем его.

— Лютого? — несмело спросила девочка.

— Нет, тогда у него был другой конь. Лютый — ого! Лютый не спотыкнется. У него ноги как у черта. Хату перескочит, и не почувешь, сидя на нем. Ты небось часто вспоминаешь Лютого, а?

Светлана промолчала. Грицко почувствовал, как возле его пальцев дрогнула рука девочки.

— Почему ты молчишь?

Девочка вздохнула и призналась, что Зина просит не спрашивать про военный городок.

— Это она боится, — сказал Грицко. — А чего тут бояться? Я вот тоже все не мог с тобой поговорить, хотя чувствую, что ты ждешь этого. Городка уже нет. Понятно? А люди есть. Людей наших не так легко уничтожить. Твой отец, например, жив и здоров. Сам видел, как он летел на коне между казармами и отдавал приказание. Видел, пока не резануло мне по глазам. Ты за отца не бойся, человек он смелый, отважный. Помнишь Чапаева?

— А Бондаренко как? — тихо спросила девочка. — Не видели ли вы Бондаренко?

— Как же не видел, — охотно начал Грицко. — Вместе были Ты только хорошо держись, а то тут уж неровно под ногами: жито кончилось. Берись за мою руку, если хочешь. Вместе мы были с командиром взвода, и обоих нас одним махом оглушило. И обоим нам повезло, надо сказать. Мне хлопцы помогли выбраться, а Бондаренко — Лютый. Когда загорелись конюшни, — это мне потом бойцы рассказывали, — Лютый сорвался с привязи и давай носиться по городку, искать своего хозяина. Бойцы словили его, подвели к раненому Бондаренко. Лютый увидел лежащего командира, тихо заржал и опустился перед ним на колени. Помогли командиру сесть, и Лютый встал, раздул ноздри, вытянулся и вихрем помчал к выходу, хотя там и рвались бомбы и все было затянуто дымом. Вынес командира из огня, а там наша санитарная машина подобрала его. Машина пошла по шоссе, а Лютый изо всей силы пустился за нею. Так понесся, только и видели его. Так что ты не бойся и за Бондаренко.

Светлана шла молча, стараясь не спотыкаться и не толкать носилок. Лица ее не было видно, и Грицко не мог определить, поверила она его словам или нет. Ему очень хотелось, чтобы она поверила, хотя и трудно говорить девочке неправду. Жаль ее было еще и потому, что она так внимательно слушает и вся дрожит от волнения.

— Где же теперь Лютый? — словно невзначай проговорила Светлана.

— Лютый? — Грицко будто не сразу расслышал вопрос. — Этот конь не пропадет. Вернулся, наверное, в часть, воюет теперь. Таких коней мало.

Подошли к болотцу. Зина и Светлана разулись. Отдохнули минуту и пошли дальше. Шлепал Грицко мокрыми сапогами по болоту и все думал: хорошо ли он поступил, что рассказал Светлане нечто похожее на сказку, или нехорошо?

Сам он был уверен, что и командир полка и Бондаренко погибли.

Больше месяца жили бойцы недалеко от дороги. Сначала в том кустарничке, куда перебрались в первую

ночь, а потом нашли более удобное место. По дороге ползла, двигалась фашистская свора. Двигалась она до того самоуверенно, что почти не оглядывалась по сторонам. Днем из-за пригорка, что отделял кустарничек от дороги, можно было видеть клубы пыли. В лесок долетал лязг гусениц и гул моторов. А по ночам почти всегда было тихо, и казалось, что вокруг все спокойно. Покой этот настораживал и волновал больше, чем недалекие выстрелы, чем взрывы бомб. Люди, оторванные от всего мира и как бы лишенные слуха, зрения, пугались этой тишины. Одолевали тяжелые думы, приходили в голову страшные догадки. Если всюду так тихо, то, может, нет и сопротивления врагу и все наши бойцы лежат вот так в разных местах, кто раненый, а кто убитый, может, вся наша техника замерла на дорогах, как та машина, на которой они недавно ехали? Где же теперь фронт, куда забрался враг?

В эти обманчиво-тихие ночи, а иногда и днем Зина и Светлана выходили из лагеря. Зина повязывала тогда черный платок (подарок одной бабушки из соседнего села), чтобы выглядеть старше, чтоб Светлану могли посчитать ее дочкой. Ходили они в ближайшие деревни, иногда навещали и более далекие. Для одних людей они были просто беженцы, а перед другими не таились. Только они могли добыть для раненых хоть немного еды, только они могли найти таких людей, к которым потом можно было навеститься Грицку, Машкину или шоферу. От этих же людей часто удавалось получать и вести с фронта. Если это были приятные вести, то не надо было в тот день раненым лучшего лекарства.

В тревоге и непрерывном напряжении проходили дни. Бойцы, что держались на ногах или надеялись окрепнуть, беспокоились о тех, чьи раны не заживали. Тревога и боль за тех, кто рядом, сливались с тревогой и болью за родные хаты, за отцов и матерей, за всю Родину. Положение в лагере все ухудшалось. Мало того, что каждый день и каждый час надо было думать о том, как добыть продукты и самые необходимые медикаменты, так вскоре пришлось и хоронить товарищей.

Когда умер чернявый боец, раненный в голову, Светлана так затосковала, что за нее становилось страшно. Сначала девочка плакала, потом стала жа-

ловаться на боль в голове. Ей не только было бесконечно жаль бойца, за которым она ухаживала больше, чем за другими, — у нее пропала надежда на то, что заживет ее собственная рана и не останется уродливого следа. Сколько горя принесло это Зине; сколько часов отрывал от сна Грицко, чтобы успокоить девочку и хоть немного отвлечь ее от тяжелых переживаний.

Чем дальше, тем все больше и больше лагерь принимал обжитой вид. Уютнее становились низкие, хорошо замаскированные шалашики, мягче — постели для раненых. В земле была сделана такая печурка, что на малом огне можно было вскипятить воду, кое-что сварить. Был даже выкопан свой колодец. Но когда недалеко от шалашиков появилась первая могилка, некоторым стало казаться, что все шалашики похожи на нее. Потом шалашиков становилось все меньше, а могил — больше. Эти могилы трудно было обойти тем, кто нес службу караульную или отправлялся за грибами или ягодами. Откуда бы люди ни возвращались, какая-то сила вела их сначала к могилам и только потом к шалашам. Еще тяжелей было неподвижным больным, тем, которые еще не знали, вылезут они из шалаша сами или, может, их вынесут оттуда. Если вынесут, то уж известно куда. Эти люди не видели могил, но как бы чувствовали их рядом с собой, могилы снились им по ночам, и в бреду им мерещились слабые голоса друзей, которые еще совсем недавно лежали рядом с ними.

Страх смерти витал над лагерем, однако жизнь брала свое. Как ни тяжело было иногда перед восходом солнца, а первый летний луч веселил даже тех, кто мало смотрел на свет, рассеивал мучительные сновидения, прогонял головную боль у Светланы.

Могучий организм белоруса, Зининого земляка, упорно преодолевал тяжкий недуг. Грицко соорудил ему костыли, но они пока лежали, дожидаясь своей поры.

— Ты, Михал, очень уж не залеживайся, — часто говорил Грицко бойцу. — Не думай о том, кто где лежал, сколько лежал, а вспоминай, как ты на вечеринках отплясывал гопака. Ты плясал гопака?

— Еще как, — усмехнулся Михал.

Во всякой жизни, даже самой трудной, бывают свои просветы, свои счастливые минуты. Весь лагерь испы-

тал истинную радость, когда Михал наконец, крепко обхватив руками Грицковы костыли, встал и хоть с большим трудом, но сделал несколько шажков по траве.

— Лявониху! — восторженно скомандовал Грицко и полез в карман своих кавалерийских брюк за расческой. Он заиграл на расческе что-то бойкое, задорное и стал притопывать своими короткими, чуть выгнутыми ногами.

Михал тряхнул головой, повел плечами и упал, но смеялся и лежа, чувствуя, что будет танцевать если не сегодня, то завтра. Смеялись и все остальные.

Шофер уже давно перестал скакать на одной ноге. Машкин снял с шеи повязку — рука его уже сама могла опускаться и подниматься. Поправились еще несколько человек. В жизни лагеря уже не было тех тяжелых часов, когда Грицко, Машкин и шофер шли куда-нибудь за продуктами, а со слабыми, беспомощными бойцами оставались только Зина и Светлана. И если бы в те часы наткнулся на лагерь какой-нибудь фашист, то справиться с ним было бы трудно — ни сил для этого не было, ни оружия. А теперь, хотя несколько бойцов и уходили в разведку или на поиски пищи и оружия, в лагере все равно не было страшно: хлопцы уже сами могли, если что, постоять за себя. Появилась твердая надежда. А это было как раз то, чего иногда здесь не хватало. Приближался конец госпитальной жизни, предстоял поход, возможно, тяжелый, изнурительный, но неизбежный. Все были охвачены думами о том, что предстоит решительная, самоотверженная борьба. Подготовка велась и днем и ночью — забот было много. Следовало накопить хоть небольшой запас продуктов, хотя бы на первый переход, а главное — как можно лучше вооружиться. Этим был занят каждый боец; и всем было радостно от мысли, что маленький лесной госпиталь, несмотря на бесчисленные испытания и муки, превратился постепенно в боевую единицу.

Перед самым выходом Зина со Светланой отправились на рассвете в далекую разведку. Им надо было выполнить сложную задачу уже совсем военного характера. Необходимо было выведать, где стоят немцы, где их нет, какими дорожками и тропами нужно пробираться, чтобы не наткнуться на врага.

Вся группа ожидала в этот день девушек с большой тревогой. От этой разведки зависело очень многое. И когда стало смеркаться, Грицко уже ни одной минуты не мог спокойно усидеть на месте. Он то и дело прислушивался, поднимался, вытягивался на носках и поверх кустов всматривался вдаль. Особенно тревожились все из-за Светланы: она еще не совсем поправилась после ранения, разве ей посильны такие большие переходы?

— Не надо было пускать девочку, — как бы размышляя вслух, проговорил Грицко.

— А она — главная разведчица, если хочешь знать, — возразил Машкин. — Без нее Зина всего не выведает, да и попасться может скорей. Подросток проберется везде.

— А если утомится, то хоть на руках носи, — не соглашался Грицко.

Шофер блеснул своей редкозубой улыбкой.

— Надо было тебе самому пойти, — сказал он Грицку. — Снял бы свое галифе, как раз бы за малого сошел.

— Не болтай! — огрызнулся Грицко.

Машкин недовольно взглянул на обоих и приказал:

— Через час чтоб все было готово к выходу. И давайте без лишних разговоров!

Шофер сел на пенек и начал молча завязывать походный мешок, а Грицко с минуту еще вглядывался поверх кустарника, а потом словно ужаленный подскочил, на ходу перемахнул через высокий куст можжевельника и помчался в ту сторону, куда только что смотрел. Вскоре он вернулся с Зиной и Светланой. Разведка прошла хорошо, не было даже очень сложных помех, только усталость сковала ноги.

— Отдохните, — сказал им Машкин. — Часок можете отдохнуть. А как совсем стемнеет, в дорогу. — Он тайком глянул на Светлану, потом на носилки.

— Мы пойдем, — уверенно сказала Светлана, и Машкину стало неловко.

— Отдыхайте, — повторил он и отошел к шалашику, где лежали собранные боеприпасы.

Грицко принес девушкам полкотелка ячневового супа. В этот день он был дежурным по лагерю и сам варил этот суп, сам потом поддерживал в печурке тепло, чтобы еда не остыла. Все занялись чисткой и смазкой оружия, а Грицко неожиданно для всех вытащил откуда-то

большие, какими овец стригут, ножницы, зазвенел ими, постучал о расческу и, подойдя к пеньку, объявил:

— Пока наши разведчицы съедят суп, остригу всех не хуже, чем в городской цирюльне.

Первым подошел и сел на пенек шофер. Грицко загреб расческой его жесткую рыжеватую чуприну и легко, только разок взмахнув ножницами, снял ее. Через несколько минут шофер уже напоминал стриженного ягненка, но был очень доволен, потирал ладонями голову и ухмылялся. Вслед за ним сел на пенек Михал, потом узбек, недавно выздоровевший, подставил свою иссиня-черную голову, за ним — остальные бойцы. Последним подстригался Машкин.

— А меня кто? — спросил Грицко. Он запустил толстые пальцы в волосы, оттянул на лоб прядь и отрезал.

— Давай я, — предложил Михал. — Ты сам еще ухо себе отрежешь.

Он остриг Грицка, отер о солдатские штаны ножницы, отдал их хозяину и тут же стал собирать горстями волосы, лежавшие вокруг пня.

— Чтоб не болели ни у кого головы, — не то шутя, не то серьезно пояснил он, став на колени у пня, — надо все это сгрести и закопать. А то увидит какая-нибудь птица и затащит все богатство в свое гнездо...

— Это ты от своей бабки слышал? — стряхивая с ушей остатки волос, спросил Грицко. Голова его после стрижки стала круглой, как арбуз, лоб — выше, а рот — шире.

— И от бабки, — подтвердил Михал, — и от деда.

Этот парень вообще мало с кем спорил. По характеру он был тихим и покладистым. Если не нравились ему чьи-либо слова, он только молча качал головой, а в спор не вступал. Пока он лежал, беспомощно подогнув ноги, все думали, что это малорослый хлопец, а теперь он выпрямился, вошел в силу. Ростом он был, считай, на две головы выше Грицка — статный, ловкий в движениях. За какую бы работу ни брался, она горела в его руках. Даже эти волосы собирал так аккуратно и ловко, что Зина невольно придержала у губ ложку с супом и посмотрела на его руки.

Перед самым отходом Машкин построил отряд. Команда его прозвучала нетвердо, шаги, когда он прошелся перед строем, оглядывая каждого бойца, были неуверенными. Мало еще командовал, потому что сов-

сем недавно окончил полковую школу. Но среди раненых он один имел командирское звание, и как-то само собой получилось, что все признали его старшим.

С востока, словно нарочно, чтобы глянуть бойцам в лицо и потом освещать дорогу, выплыла почти полная луна. Забелели вершинки можжевельника, у хлопцев заблестели стволы винтовок и карабинов, рукоятки гранат на поясах. А шалашики — те шалашики, в которых, казалось всем, прожита самая важная часть жизни, — выглядели под луной одиноко и сиротливо. Входы в них были открыты, оттуда виднелось свежее сено и, вероятно, пахло привлекательно, призывно. «Переночуйте еще хоть ночку», — словно манили шалаши.

Зина, стоя в сторонке, держала за руку Светлану и с грустью смотрела на свой низенький, уютный шалашик. Не придется больше в нем ночевать, и никогда уже не увидишь его, как не увидишь, быть может, своей родной хаты, своей родной семьи. Но эти мысли только мелькнули у девушки и тут же исчезли. Ей подумалось о том, что если бы даже и через десять лет пришлось побывать в этих местах, то все равно в первую очередь потянуло бы к шалашикам.

— Простимся, друзья, со своим лагерем, — сказал Машкин по-воински суховаато, будто не чувствовал в этот миг того, что чувствовали Зина и все ее товарищи. — Простимся и с теми, кто остался тут навсегда.

До этого бойцы смотрели на шалашики, на все то близкое, домашнее, что появилось за это время в лагере, а теперь перед взором каждого предстали могилы, хотя их и не было видно отсюда.

— Шагом марш! — скомандовал Машкин и сам пошел впереди.

Бойцы строем подошли к кладбищу. На некоторых могилах уже стала пробиваться трава, на ней блестели скупые капли росы, а остальные насыпи еще желтели глубинным песком. Бойцы сняли пилотки, застыли в скорбном строю.

Машкин чувствовал, надо что-то сказать, но не находил слов. Он понимал и то, что не следует тут долго стоять, потому что только расслабишь бойцов.

Прошла минута, вторая. Тишина и покой в лесочке, тишина и полная неподвижность в строю. Еще через минуту кто-то из бойцов шевельнулся, под ногой у него треснул сучок. Это подстегнуло Машкина, он хотел

было подать команду, но не решился. А Зина готова была подойти к нему и попросить, чтобы не спешил. Ей хотелось еще хоть полминуты побыть тут. Каждого, кто здесь лежит, она лечила, за каждым ухаживала. Сколько прошло трудных, мучительных дней, сколько бессонных ночей! Щедрые слезы Светланы проливались над головами этих бойцов.

— Пошли, — вдруг совсем тихо и совсем не по-военному произнес Машкин.

Бойцы повернулись и двинулись в путь. Зина со Светланой вышли вперед. Машкин надел пилотку, пропустил мимо себя молчаливую цепочку и печально подумал: «Малая у меня команда, очень малая. Многие остались тут».

Шли бойцы долго и прошли, казалось, немало, а линии фронта все еще не чувствовалось, и никто не знал, где она была, эта линия. Шли на восток, чаще всего ночами, а днем отдыхали во ржи или в лесу. Продвигались не очень быстро, и получалось, видимо, так, что фронт двигался быстрее.

В этом походе Зине со Светланой было труднее, чем всем остальным. После ночных маршей по лесам, по болотам (только иногда дорога проходила через житные поля) девушкам надо было днем разведывать путь для следующей ночи. Они выручали группу и в самом главном — в добывании пищи. Молодая картошка-скороспелка уже кое-где попадалась на поле, но не всегда было легко ее напечь, да и не протянешь долго на одной, еще водянистой картошке. Зина как-то инстинктивно угадывала, к кому надо зайти, чтобы разузнать дорогу, у кого попросить чего-нибудь из продуктов или одежды. Жители деревень почти всегда приветливо встречали ее и помогали чем могли. У Светланы были теперь собственный серый платок и даже свитка.

Однажды — это было уже через месяц с лишним после выхода группы — бойцы остановились на зеленом пригорке среди болота и решили дня два отдохнуть, осмотреться. На следующий день, под вечер, Зина и Светлана пошли в ближайшую деревню менять на продукты кое-какие солдатские вещи. Разведчицы один раз уже ходили туда и знали, что немцев нет, поэтому шли без особой предосторожности. Какие у них были вещи? Ясно, не ценности, а то последнее, что могли бой-

цы еще как-то наскрести у себя: несколько пар портянок, несколько полотенец. С пустыми руками труднее было ходить среди белого дня, тем более что путь группы лежал теперь через западные области Белоруссии. Люди тут были всякие, уж лучше предлагать что-либо в обмен, чем выпрашивать.

Неподалеку от той деревни, куда шли Зина и Светлана, стоял хутор, хорошо огороженный где высоким частоколом, а где пилеными плашками. Вчера девушки прошли около этого хутора не останавливаясь, а сегодня остановились, увидев на калитке какое-то объявление. Не успели они прочитать и первой строчки, как со двора вышел пожилой, вислогубый человек и, сняв кепку, поздоровался с Зиной:

— Добрый вечер, пани.

— Я не пани,— резко ответила девушка.

— Так это я...— человек кротко засмеялся, и его вислогубость сразу исчезла.— У нас, знаете, так было недавно, а может, оно так и всегда будет?.. Это я, знаете, по старой привычке.

— Так уже не будет! — решительно проговорила Зина и в тот же миг подумала, что напрасно вступила с ним в спор. Кто знает, что это за человек? Ей не надо было выдавать себя.

Но человек не продолжал спор и даже не обиделся на девушку за ее тон.

— Все от бога, все от бога, пани,— вяло проговорил он.— Может, так оно будет, а может, иначе — святой бог один ведает. А мы поживем — увидим. Я не про это хочу у вас спросить. Может, вы случайно продаете что-либо или меняете? Вчера, я видел, вы тоже проходили тут с узелком.

— Ничего у нас нет,— недоверчиво отозвалась Зина и шагнула в сторону от калитки.

— Ну, коль нет, так нет,— сразу согласился человек.— Я только спросить решил. Чем вам в деревню нести, так не лучше ли тут оставить. У меня, слава богу, есть хлеб и к хлебу. Могу дать плетенку луку или связку сушеных грибов. А в деревне сегодня неспокойно, считаю своим долгом вам сказать. С утра пришло туда много немцев.

Зина смотрела человеку в лицо и не знала, что ответить. Лицо его было некрасивое, обросшее черно-седой щетиной, однако в нем не видно было скрытой хитро-

сти или чего-либо угрожающего. Человек просто хотел выменять что-нибудь, и только. Вероятно, не впервые перехватывал он здесь беженцев.

На калитке, за бронзовой от загара шейей хозяина, белело объявление. Зина перевела на него глаза, но человек приблизился к калитке и закрыл объявление спиной. «Неужели он это умышленно? — подумала Зина. — Что же там написано?» И вдруг человек отошел от калитки, будто говоря: «Читай себе, если хочешь». Зина попыталась прочесть, не подходя близко, но уже было темно и не сразу разберешь не очень четко написанные слова.

— Ну как, договоримся? — спросил человек и показал рукой на Зинин узелочек.

— Есть у меня две пары портянок, — как бы для того только, чтобы отвязаться, сказала Зина, — хотите, могу вам их отдать за хлеб.

— А мне как раз нужны портянки! — с удовлетворением проговорил человек. — Давайте зайдём в хату. В хозяйстве, знаете, все нужно. Зайдем, посидим, отдохнете. Скажу старухе, молока вам по кружке нальет, как раз корову подоила. Малая небось извелась от жажды. Это дочка ваша?

Зина молча кивнула головой.

В хате было почти совсем темно. И действительно, пахло свежим молоком, хотя хозяйка, еще очень молодая дебелая женщина, видимо, уже давно уладилась с парным молоком, а теперь только полоскала горячей водой подою. За столом сидели и облизывались, как сытые котята, двое маленьких детей: мальчик и девочка лет трех и четырех. У обоих в руках были жестяные кружки, уже, видимо, пустые. Дети уставились на незнакомых круглыми глазками, их грязные лица застыли в ожидании.

— Брысь на печь! — прикрикнул на них отец, подойдя к столу. Дети испуганно побросали на стол кружки, один за другим шмыгнули из-за стола к печке.

Хозяин вышел в сени. Слышно было, как он там загремел тяжелым засовом, потом, вернувшись, плотно прикрыл за собою дверь хаты и запер ее на внутренний замок. Положив длинный ключ в карман, опустил у стола.

— Садитесь! — бросил он девушкам и, взглянув на дверь, добавил: — Это я так. Ходят тут всякие...

Зина, не подавая виду, что у нее возникло подозрение, села на лавку возле умывальника и за руку притянула к себе Светлану. Девочка встревоженно посмотрела Зине в глаза, но, увидев, что они спокойны, села на лавку уверенно и свободно, как дома. Она взяла из рук Зины узелочек и положила к себе на колени.

— Давайте посмотрим, что у вас там,— начал хозяин, и на лице его уже не появилось никакой улыбки.— Поглядим и поговорим заодно. Тут нам никто не помешает. Коль правду сказать, никакие ваши портянки мне не нужны, своих женка наткет. Мне, главное, надо узнать, откуда вы пришли и кто вас сюда прислал. Скажете правду, пойдете с богом своей дорогой, а не скажете, придется поговорить с вами иначе, а потом сдать обеих немецким властям.

— Мы издалека идем,— сдерживая волнение, сказала Зина.— Из-под самой польской границы.

— Неправда,— ледяным голосом, но будто без злости сказал человек.— Вчера целый день следил за вами. Не издалека вы приходили и недалеко ушли. Сегодня опять тут. Думаете, все дурные, а только вы двое разумные. Или говорите все, или...— Он свирепо взглянул на хозяйку, и та торопливо отошла к печи, к детям.

— Нам больше не о чем разговаривать,— спокойно сказала Зина и встала.— Вы вот будьте человеком, откройте нам двери, и мы уйдем...

— Не-ет, голубка,— вкрадчиво засмеялся хозяин и заслонил собой дверь.— Этого не будет, не на такого напали. Если бы я даже и выпустил тебя из хаты или ты сама вырвалась, все равно далеко не ушла бы. За каждым углом и под окнами у меня поставлены свои люди. Поглядим же, что у вас там в узелке.

Он приблизился к Светлане, но вдруг выгнулся и схватил Зину за руки.

— Вожжи! — крикнул он хозяйке.

Зина с силой вырвала руки, бросилась к окну и выдала раму.

— Светланка! — едва только успела произнести она, как что-то жесткое и обжигающее сдавило ей шею.

— Я когда-то шальных коней ловил,— цедил хозяин сквозь зубы, затягивая веревку на шее девушки,— на диких зверей ходил...

Зина упала на пол. Дети на печи заплакали, хозяйка сжалась в углу.

— Вяжи ей ноги! — крикнул хозяин жене и отбросил от себя длинный конец вожжей.

— Миканор, — жалостливо произнесла женщина, однако подошла и начала вожжами скручивать Зинины ноги.

Другим концом вожжей человек связывал девушке руки и резкими ударами под ложечку поворачивал ее так, чтоб она лежала боком. В этот момент Светлана схватила подоюник, изо всей силы ударила им хозяина по голове, а сама шмыгнула в окно.

— Держи эту! — закричал человек жене и бросился за Светланой.

На дворе уже сгустились сумерки, но Миканор что-то увидел, схватил на бегу полено, бросил его в кусты, и ему показалось, во что-то попал. Подбежал к тому месту — никого... Начал шарить по кустам, около заборов: «Не могла же девчонка далеко уйти!» Но всюду было тихо — ни звука. Человек решил не терять времени на поиски, а скорее бежать в деревню. Если, на его счастье, там в самом деле остановились немцы, он доложит им, что словил большевистскую разведчицу, а если нет немцев — приведет в хату хоть свояка, которого немцы недавно поставили старостой, и еще когонибудь.

Пока хозяин бежал, жена его стерегла в избе Зину. Дети испуганно всхлипывали, забившись в уголок на печи, мальчик время от времени звал: «Мама, иди сюда». Но мать не решалась отойти от жертвы мужа, стояла у выбитого окна, держа в руках конец веревки. Из окна тянуло свежим воздухом, и это помогло Зине передохнуть, прийти в сознание, когда хозяйка совсем расслабила веревку на ее шее. В хате было сумрачно, но Зина заметила, что хозяина поблизости нет. Она тихо позвала Светлану.

— Это вы свою девочку зовете? — ласково спросила хозяйка.

— Где она? — Зина попыталась шевельнуться, встать с пола, но ощутила острую боль в голове, в боку; нестерпимо ныли ноги и руки.

— Девочка убежала, — быстро и с облегчением проговорила хозяйка. — Выскочила вот сюда. Может, вам воды подать?

Женщина опустилась на колени и наклонилась над

Зиной. Совсем близко над собою Зина увидела ее встревоженное, доброе лицо, черные, блестящие глаза.

— Развяжите меня,— попросила девушка. Она сказала это, все еще не веря, что именно так сказала, что ее услышали и что ее снова не начнут бить и душить.

— Милая, не могу я этого,— оглянувшись на окно, тихо заговорила женщина.— Вернется он, прибудет и меня и вас. Это же он за вашей девочкой побежал. Вы еще и подняться не успеете, как он уже может вернуться. Я вот только сама вас попрошу: скажите вы ему что-нибудь, чтоб отцепился. Может, пленных тут поблизости видели, может, каких-нибудь коммунистов... Пришли позавчера, сказали, вот и записка на калитке висит, что, если кто подскажет, где укрываются пленные или коммунисты, тому немцы дадут делянку хорошей земли и еще деньгами приплатят. Из-за этого мой так и старается и злобится. Кому же не хочется иметь лишний загончик земли. А вы ему скажите, он вас и отпустит. И девочку вашу отпустит, если только догнал он ее.

Зина настороженно смотрела на женщину и в первую минуту не могла понять, как принимать эти слова. Неужели это тоже лисья хитрость? И хозяин начинал с таких же слов.

Однако глаза женщины, казалось, не хитрили, в них светились жалость, сочувствие, хотя испуг и растерянность заслоняли все это. Мальчик все громче и настойчивее звал мать. Он, видимо, подполз к самому краю печи, потому что плач его слышался все явственнее и все больше бередил душу.

— Иду, сыночек, иду-у,— откликнулась женщина, и Зина увидела, как блеснули в темных глазах хозяйки крупные капли слез.

— Поймите меня,— торопливо зашептала Зина,— поймите! Вы женщина с добрым сердцем, у вас дети... Я не могу сказать ему ничего, ни одного слова. Пусть даже погибну, но не скажу!

Зина чуть приподняла голову, чтобы лучше видеть лицо этой женщины. Девушка готова была обнять ее, прижать к себе, но связаны руки и даже пошевелиться трудно...

Хозяин прибежал почти через полчаса. Сунул взломанную голову в выбитое окно, опершись руками о

подоконник, влез в хату и сразу побежал в сени отпирать дверь. Вошли двое плечистых мужчин с ружьями. В хате было совсем тихо, не слышно было ни стоана, ни плача детей. Хозяин окликнул жену, но она не отозвалась. Тогда он зажег спичку и увидел у своих ног только спутанные вожжи...

Когда через некоторое время вместе со Светланой прибежала на хутор вся группа бойцов, в хате уже не было ни хозяина, ни тех плечистых мужчин. На полу валялись те же вожжи, только они были теперь мокрые, а местами в крови. Рядом с вожжами лежала хозяйка и тихо стонала. Возле нее сидели заплаканные и испуганные до полусмерти дети.

С первого дня войны не было у хлопцев ни одной беззаботной ночи, а эта выдалась самая тревожная, самая опасная. Все понимали: хуторянин со своими дружками убежал из хаты неспроста, он может навести сюда немцев или какую-нибудь полицейскую погань. Возможно, он даже и теперь притаился где-нибудь в засаде и ждет удобного случая, чтобы нашкодить. Но надо искать Зину. Что известно бойцам о Зине? Только то, что на бегу рассказала им Светлана. И еще удалось услышать два-три слова от избитой хозяйки. Она сказала, что развязала Зине руки и ноги, помогла ей вылезти в окно, а больше ничего не знает и не помнит. Может, хозяин со своими подручными захватил девушку возле хутора и потащил в деревню? Может, девушка, вконец обессиленная, свалилась где-нибудь в кустах?

Да, так могло быть, но все равно, что бы ни случилось, бойцы должны найти, должны спасти своего товарища.

Близился тихий летний рассвет. На траве и на густых ольховых кустах лежала крупная роса, в далеком березняке уже раза два цвинькнула какая-то ранняя птичка. Машкин дал команду осмотреть все вокруг хутора, а потом собраться на поляне за кустами. Светлану он оставил при себе. Она так устала, так переволновалась, что еле держалась на ногах. Вскоре все вернулись на полянку и каждый доложил, что ничего не найдено. Посоветовались сообща, а потом был отдан приказ основной группе идти фронтом по обеим сторонам дороги до того места, где была временная стоянка. Идти и

осматривать каждый куст, каждую прогалинку. Грицку же и Михалу надо было пробраться в деревню и вывести, что там происходит.

Шли медленно, старательно присматриваясь, прислушиваясь. Светлане вначале казалось, что будто бы под каждым кустом она видит Зину — в черном платке, в Михаловой кофточке, с обрывками веревки на руках и на ногах. Сердце подсказывало девочке, что Зина должна быть где-то здесь, что не далась она в руки врагу. Если у нее осталось хоть немного сил, она убежала от хуторянина, и если потом даже подкосились ноги, то хоть как-нибудь ползком, а все же добирается она к своим.

Однако бойцы прошли и осмотрели у дороги все кусты, миновали березнячок, стали уже приближаться к своей стоянке, а Зины нигде не было. Оставалась еще надежда на временный лагерь. Может, девушка как-нибудь опередила их и явилась туда раньше?

На рассвете пришли на место своей стоянки. Пригорок, заросший молодыми дубками, крушиной и ольшаником, уже кипел проворными хлопотливыми птицами, их свист и пиликанье разносились отсюда по всему болоту. Высохшие сплетения прошлогодних шалашей, в которых жили косари, желтели среди свежей зелени. Теперь они были наспех покрыты сверху почернелым сеном, которое бойцы собрали на прокосах. Немного тут было прокосов, да и те уже заросли отавой. Видимо, не пришлось тут людям по-настоящему размахнуться косой, помешала война. В шалашах тоже лежало сено, сухое, даже еще пахучее. Так хотелось прилечь на это сено и хоть немного поспать, хоть до того часа, когда взойдет солнце и слижет росу,— она радует глаз, но слишком мочит и утяжеляет обувь. Но разве можно сейчас думать о сне, об отдыхе? Машкин с шофером осмотрели шалаша, неутомимый в поисках узбек и еще три бойца обежали окрестный кустарник и вернулись мокрые, словно окунулись в речку. Машкин пошел на риск и негромко, но отчетливо позвал Зину. Никто не отозвался.

Тень растерянности мелькнула на лице командира. Он чувствовал, что надо немедленно принимать решение, и не знал, что сказать, какой отдать приказ. Оставаться здесь и ждать возвращения товарищей из деревни опасно — немцы, наверное, уже знают про их стоян-

ку. Отходить же отсюда без Зины и двух лучших бойцов тоже нельзя.

Почти все заметили растерянность Машкина и опустили глаза. В эту минуту никто не мог ничего подсказать. Как всегда в трудных случаях, бойцы сгрудились, придвинулись друг к другу, и от этого им стало немного легче. Чтобы как-то прервать тягостное молчание, шофер начал осматривать свой карабин, подсумок с обоймами, гранаты. Словно следуя его примеру, словно ощутив такую же необходимость, и остальные бойцы начали осматривать свое оружие. И в эту же минуту Машкин отдал приказ: занять оборону на склоне холма, быстро окопаться и ждать возвращения Грицка и Михала.

У Светланы задрожали ресницы, но она ничего не сказала, ни о чем не спросила, только крепче затянула под подбородком узелок своего серого платка и на все пуговицы застегнула поношенную мальчишескую свитку — подарок одной приветливой колхозницы.

Машкин тихо сказал ей:

— Не бойся, Света, ты будешь со мной.

Взбежать на склон, выбрать удобное место, окопаться — все это было нетрудно. А вот лежать неподвижно, несмотря на отчаянную усталость, да еще перед восходом солнца, да еще в тепле — это настоящая мука. Тут может задремать даже сам генерал, не говоря уже о рядовом бойце. И все же надо выдерживать.

Лежать долго не пришлось. Не успели еще бойцы хорошо всмотреться в лесок, что синел перед холмом, как из-за недалеких кустов вынырнули и скачками бросились по болоту два вооруженных человека. По коротким ногам и широким плечам бойцы сразу узнали Грицка, а то, что второй был Михал, подразумевалось само собой. Машкин дал сигнал сбора. Грицко и Михал сообщили, что на рассвете в деревню пришло много немцев с танками и бронемашинами, у околиц выставлены посты, поэтому пробраться в деревню не удалось. Говорили они только с одним пастушком-подростком, который шел куда-то с котомкой и кнутом, хотя стада с ним не было. Пастушок сказал, что встретил хуторянина в деревне, но никакой чужой женщины не видел.

— Надо идти, — шепотом, чтоб не услышала Свет-

лана, сказал один из бойцов,— а то всем будет тут конец.

Грицко глянул на этого бойца так, что тот готов был сквозь землю провалиться. Светлана все же поняла, что он прошептал, посмотрела на Машкина, и под сердцем у нее похолодело. В серых, прищуренных глазах командира снова мелькнула растерянность. На его месте каждому было бы нелегко принять решение, а Машкину тем более. Не было еще у него умения быстро и самостоятельно оценивать обстановку.

— Я не уйду отсюда...— приглушенно сказала Светлана и заплакала.— Я останусь искать Зину.

— И я останусь,— подхватил ее слова Грицко.— Не плачь, Светлана, никто без Зины не уйдет.

Было решено обыскать на рассвете весь лес и в случае вражеской облавы огня не открывать, а как можно лучше маскироваться и маневрировать. Каждый боец получил определенный участок. Условились о сигналах связи и сбора.

Грицку пришлось идти самым крайним на левом фланге, далеко от дороги. С ним отправилась и Светлана. Не прошли они и сотни шагов, как вдруг девочка остановилась и схватила Грицка за локоть.

— Вот, глядите! — прошептала она, показывая дрожащей рукой влево от себя.

Грицко приставил ко лбу ладонь, стал шарить глазами по кустам лозняка, росшего по краям болота. Более высокие кусты до середины были еще окутаны синевато-мутным предрассветным туманом, а маленькие утопали в тумане совсем.

— Ничего не вижу,— тихо, с сожалением проговорил Грицко.

Светлана молчала. Наверное, и она теперь ничего не видела. Глаза девочки заволокло слезами. Грицко лег, стал смотреть вверх травы.

— А что ты там видела, Света? — мягко спросил он.

Девочка напряженно смотрела в то место, которое минуту назад так обрадовало ее, и готова была рыдаться от отчаяния оттого, что теперь там ничего, кроме кустов, не видно.

— Мне показалось, что там Зинин черный платок. Грицко поднялся, молча взял Светлану за руку.

— Пойдем,— ласково сказал он.— Так со многими бывает. Мне вот тоже казалось, что вижу Зину, когда шел сюда из деревни.

Сделали еще несколько шагов, и опять Светлана остановилась, опять рука ее задрожала. На этот раз Грицко услышал, что из-за кустов, на которые показывала девочка, донесся слабый, протяжный голос. Кто-то звал Светлану. Грицко подал знак бойцам и кинулся к лозняку.

Зина лежала под кустом в болотной тине, изможденная, с мучительной болью в голове и во всем теле. Напрягая последние силы, девушка пыталась прийти в лагерь до рассвета, но сама не заметила, как сбилась с дороги. Когда стало светать, она поняла, что идет не в ту сторону, но уже иссякали последние силы, ноги подкашивались, перед глазами всплывали желтые круги. Неожиданно попав в трясины, Зина уже не могла выбраться оттуда.

На стоянку бойцы перенесли Зину на руках, а там шофер сразу же вспомнил свои прежние обязанности. Он разыскал две сухие жердины и за несколько минут смастерил носилки.

Вышли из временного лагеря перед самым восходом солнца. Первые ласковые лучи брызнули бойцам в глаза, как только они перешли болото.

Несколько дней Зина не могла передвигаться сама, ее несли бойцы на носилках. После той страшной ночи у девушки нестерпимо ныли руки и ноги, голова раскалывалась от боли. Все эти дни бойцы сами ходили в разведку, а в наиболее опасные места, куда самим идти не следовало, посылали Светлану. Девочка будто повзрослела за это время. Когда она поняла, что очень нужна группе, что по-настоящему помогает бойцам, смелость и энергия засветились в ее голубых глазах. Она, казалось, не чувствовала ни усталости, ни страха. Зине было радостно смотреть на нее. В погожие дни Светлана иногда развязывала свой платок, и ее волосы золотом отливали на солнце.

Теперь Светлана не стеснялась снимать с головы платок. Ранка ее зажила, и хотя на том месте, где была сильно оцарапана кожа, волосы не росли, это уже не очень тревожило девочку. А после того как Грицко

поработал над Светланиными волосами своими ножницами, прическа ее стала совсем красивой.

— Пусть бы и вас Грицко подстриг,— сказала она тогда Зине, смотрясь в маленький осколок зеркала. Она подняла его в деревне из кучи мусора. Он так ярко блестел на солнце, что она не могла не поднять его.

У Зины волосы были гораздо темнее, чем у Светланы, и, пожалуй, не такие красивые, но она не хотела обрезать их. Все равно ей редко приходится ходить без платка, да и теперь ли заботиться об этом. Зина тяжело переживала, что выбыла из строя в такое суровое время и доставляет лишние хлопоты товарищам в сложном походе. И за Светлану болело сердце. Очень уж она много ходит сейчас, много рискует. На днях даже принесла кувшин кислого молока.

— И с кувшином тебе отдали? — спросила Зина.

— Нет, кувшин надо отнести,— ответила девочка.— Я сказала бабушке, что моя мама, это значит вы,— улыбнулась Светлана,— осталась неподалеку на дороге, что она захворала и не может идти.

«Если случится что-нибудь с девочкой, тогда погибнем. И теперь уже бойцы неизвестно на кого похожи: почерневшие от трудных переходов и от голода, оборванные, некоторые почти босые. Да и с такой разведкой далеко не уйдешь.

Хотя почти целыми сутками бойцы идут, хотя на отдых отводятся считанные минуты, продвигаемся мы очень медленно. Ведь надо на ходу производить разведку, определять маршрут. Надо, наконец, и есть что-нибудь и пить чистую воду. После того как однажды наиболее терпеливые и выносливые корчились от болей в животе, напившись болотной воды, Машкин запретил брать воду из луж и канав...»

Одним словом, Зина чувствовала, что, если так плестись все время, их могут настигнуть осенние холода, и тогда пропали все их планы. По глазам, по отдельным осторожным репликам она замечала, что и некоторые бойцы этого боятся, только скрывают свои мысли и от товарищей и от самих себя. Поэтому самое важное сейчас — поправиться, встать на ноги. Тогда и за Светланой можно будет лучше присматривать, и за бойцами, а разведку вести так, чтобы двигаться быстро и с меньшими помехами. После тяжелого испытания, которое пришлось пережить на том злосчастном

хуторе, все казалось уже не страшным, росла уверенность, что больше уже никакому злыдню не удастся ее перехитрить.

И вот наступил день, когда Зина после болезни пошла в разведку. Радостным был этот день. Бойцы ждали ее в густом кустарнике. Теперь никакие беды: даже исполосованное сухими ветками голое плечо, разбитые и ободранные так, что смотреть на них страшно, ноги уже не так угнетали. Все наладится, если Зина взялась за дело, все пойдет хорошо.

Не видно было прежней бодрости только на лице Михала. Он сидел чуть в стороне от группы и молча плел из коры можжевельника лапти. Не очень прочные получались лапти из этой коры, их едва хватало на один хороший переход, но зато всюду в Белоруссии много такого материала, и добывать его нетрудно. Кору можжевельника можно драть все лето. Отчего был невесел Михал, никто не знал, однако товарищи заметили, что уже со вчерашнего дня он поглядывал все больше под ноги, отводил от бойцов хмурое лицо.

Когда вернулась Зина, парень немного повеселел, стал прислушиваться, о чем докладывает она Машкину. Но вскоре опять задумался.

— Хотите, я вам сплету лапотки? — предложил он Зине, когда группа уже собралась идти дальше.

Он умышленно не взглянул на Зинину обувь: ему казалось, что девушка может смутиться, покраснеть.

— Спасибо, — ответила Зина. И в самом деле немного смутилась, взглянув на свои ноги. — У меня туфли еще крепкие, ничего что подвязаны веревочкой. Я же сколько дней не ходила.

— Сплету про запас, — объявил Михал. — Вот только остановимся.

В дороге он все время держался около Зины, все пытался что-то сказать, чем-то поделиться с нею. Наконец неловко закряхтел, словно что-то застряло у него в горле, и нерешительно спросил:

— Около той деревни, вы ее сегодня называли, около Заболотья мы недалеко будем проходить?

Зина замедлила шаг, с любопытством посмотрела на парня.

— Совсем близко, — ответила она. — А что?

— Да так, — смущенно произнес Михал.

Несколько минут Зина шла молча, не задавала вопросов, только украдкой сочувственно поглядывала на парня.

Наконец, когда они немного отстали от группы, Зина сказала:

— Ваша деревня будет приблизительно в километре от нас.

— Откуда вы знаете, что моя? — удивленный неожиданностью, спросил Михал.

— Чувствую, — ответила Зина. — Да и помню наш разговор в первые дни знакомства.

— Да, это моя деревня, — взволнованно заговорил Михал. — Мое Заболотье! Двое суток уже об этом думаю, ощущаю запах наших лесов, наших болот, но не говорю хлопцам, боюсь, не подумали б чего плохого...

— Немцев в Заболотье нет, — еще сама не зная, для чего она это делает, сообщила Зина.

Михал насторожился, его живые черные глаза взволнованно заблестели.

— Ну и что, если нет? — возбужденно спросил он. — Ну и что? Неужели вы думаете?..

Зина взяла его руку и успокаивающе пожала.

— Я ничего плохого не думаю, — тихо сказала она и невольно прислушалась к своим словам: так ли это в самом деле или нет?

— Мать у меня все время перед глазами, — продолжал Михал. — Кажется, если б можно было хоть на один миг увидеть ее или хоть узнать, жива она или нет... Но я уже решил: не пойду. Пусть хоть что, а не пойду, не задержу хлопцев.

— Проведать надо было бы, — рассудительно проговорила Зина. — Хотите, я скажу Машкину? Он решит.

— Не надо, — отказался Михал. — Пошли вперед, вам же дорогу показывать.

Долго боец шел молча, потупив глаза. На узкой лесной дорожке уже стало сумрачно, и тишина воцарилась такая, что, казалось, самый осторожный шаг слышен издали. В такие часы вся группа больше напрягала слух, чем зрение. Михалу хотелось верить, что скоро, как только они поравняются с его деревней, он услышит хоть какие-нибудь звуки, знакомые с детства, забываемые. Может, кому из соседей понадобится набрать в колодце ведро воды на ночь. Заскрипит жу-

равль, и Михал сразу скажет, чей это журавль. А может, мать как раз выйдет по воду, тогда Михал узнает скрип своего журавля...

Чем ближе подходили к деревне, тем сильнее волновался Михал, тем больше напрягал слух. Однако от деревни не доносилось ничего, словно ее тут и не было. Мрачная тишина вокруг и молчание Михала стали нагонять тоску и на Зину. Сочувственно взглянув на бойца, она опять предложила:

— Давайте я все-таки скажу Машкину. Остановимся тут хоть на час.

— Не надо, я вас прошу,— ответил Михал.— Не хочу я, чтобы хоть одну минуту хлопцы тревожились из-за меня. Хватает тревоги и без этого. А главное, не хочу, чтоб вы тревожились.

— Я не буду тревожиться,— чуть слышно сказала Зина, и в голосе ее прозвучала теперь такая сердечность, что Михал сразу почувствовал ее.

— Я очень хочу, чтобы вы во всем верили мне,— благодарно сказал он.— Мне тогда будет легче.

Зина, только для того чтобы изменить разговор, спросила:

— У вас только одна мать и осталась дома?

— Еще сестра была. Моложе меня.

— А больше никого? — Тут у Зины вырвался смешок, но это не обидело Михала. Ему стало даже радостно, что за все время знакомства она впервые так заговорила с ним.

— Больше никого,— искренне признался Михал.— Совсем никого.

Зина улыбнулась:

— А вот эта кофточка, которая на мне, все-таки не для матери покупалась. Правда? Она же слишком веселая для старой женщины.

— Ей-богу, для матери,— уверял боец.— Это у меня такой вкус неважнецкий.

— Ну, ничего,— оборвала Зина неловкий спор.— Это я просто так, чтобы разогнать вашу печаль. Окончится война, тогда все будет просто и ясно. Найдем и матерей своих, и знакомых, и любимых. Всех найдем.

— А в войну?..

Михал долго ждал ответа, но девушка молчала. Он тоже шел молча, и глубокое раздумье снова начинало овладевать им. Залаяла за лесом собака, и боец остано-

вился, начал старательно прислушиваться. Ему показалось, что это их Шарик подал голос, и сердце взволнованно, сладостно затрепетало.

— Чего ты? — спросил Грицко, чуть не наступив товарищу на пятки.

— Ничего, — ответил Михал и твердым шагом пошел дальше.

Прошло еще две недели напряженного, почти непрерывного похода. Бойцы стали замечать, что, чем дальше, тем все больше и больше попадает на дороге немцев. Самолеты ревели над лесом и днем и ночью. Часто прямо над своими головами бойцы могли видеть воздушные бои. Идти так, как раньше, было уже нельзя: разведку надо было производить осторожно и точно, совершать глубокие обходы, каждую ночь пробиваться сквозь густые леса, месить непролазные болота, переплывать реки. Часто случалось так, что разведывательного опыта Зины и Светланы было уже недостаточно, приходилось брать местных проводников.

На всю жизнь останутся в памяти бойцов эти простые, честные люди — проводники. Сколько выдержки, мужества и самоотверженности проявляли они во время похода. Идет себе человек впереди, и шаг его тверд, глаза светятся решимостью. Он знает, что в любую минуту может наткнуться на врага, что первая пуля попадет в него, но он идет, идет без колебания. Предложи ему вернуться — не вернется, пока не доведет до надлежащего места. А что это были за люди? Обычные белорусские колхозники, чаще всего старики или женщины.

Все бойцы чувствовали, что фронт уже недалеко. Об этом говорили и проводники. Прибавлялось волнения, но радостно было, что фронт приостановился, что заветная цель, ради которой было столько пережито, была уже не за горами. Теперь надо было использовать каждый хоть сколько-нибудь удобный момент, чтобы как можно ближе подойти к фронтовой линии, найти самое слабое место и прорваться. Прорваться, где бы эта линия ни проходила: в лесу, на болоте или даже на сплошном озерном плесе. Всякие преграды на пути готова была преодолеть группа и ко всякой возможности прорыва готовила себя. Можно будет

пробраться тихо — пробираться, ползти, плыть, бежать; понадобится взяться за оружие — пробиваться с боем.

Наступила наконец та ночь, которая должна была решить все. Это была еще летняя ночь, хотя роса на траве и вода в болоте были уже холодноватыми, хотя на плесе лесного лужка или озера можно было заметить при свете луны сизый осиновый листок или желтый березовый. Бойцы пробирались заболоченными кустарниками. Тихо было всюду, хотя несколько часов тому назад где-то слева шел бой, видно очень жестокий: слышались частые разрывы снарядов, залпы немецких орудий, долетало с ветром твердое стрекотание пулеметов. Теперь только ракеты вспыхивали над лесом, и черт знает кому был нужен этот их холодный трепещущий свет.

По всем сведениям, которые имела группа, за этими непролазными кустами должна начинаться так называемая нейтральная полоса, если можно представить такую вообще, а там, дальше, за глубоким яром, — позиции наших войск. Если бы кустарник тянулся до самого яра, то более удобного места для перехода нельзя было бы себе представить, но перед яром есть одна прогалина, и обойти ее невозможно: с левой стороны — немецкие укрепления, а с правой — большое озеро. Поискать чего-нибудь лучшего уже не было времени, да и смысла в этом никакого; ведь тут, на узком промежутке, не замечено вражеской заставы, а если свернуть правей, на другую сторону озера, то там, возможно, немец на немце сидит.

До конца кустарников добрались перед рассветом. Это и хорошо, потому что в такую пору оккупанты любят спать, но это и плохо: если сейчас произойдет хоть небольшая задержка, мрак поредеет, и немцы заметят их на прогалине.

Дорожа каждой минутой, каждым мигом, бойцы, насквозь промокшие, истерзанные, вылезли из кустов лозняка, передохнули, осмотрелись и цепочкой, на расстоянии шагов трех друг от друга, поползли по щедрой предрассветной росе. Зина и Светлана ползли посредине.

Каждое даже крохотное движение вперед болью и надеждой отзывалось в сердце. Приближалась цель, приближалась и самая страшная за все время пути

опасность. А рассвет не медлил, быстро подплывал с востока, подбеливал и рассеивал туман, придавал снежный цвет росе. Что бы ему хоть немного по-дождать!

Полевой клевер, пырей, переспелый щавель на прогалине были густые, спорые, но невысокие. Светлана судорожно хваталась руками то за кустик щавеля, то за клевер, прятала в зелень лицо и с тоской убеждалась, что все эти растения не могут скрыть не только ее всю, но даже одну голову. Впервые ползла она на таком голом месте. Где бы ей ни приходилось раньше ползти, всюду были хоть какие-нибудь кочки, деревца, хоть какое-нибудь прикрытие, а тут — ничего. Светла не казалось, что если сейчас гроыхнет где-нибудь сбоку или сзади, то обязательно попадет ей в голову. После первого ранения у девочки сейчас вновь появилось это ощущение.

Невдалеке взвилась ракета, прочертила высокую дугу над прогалиной и упала, уже мало что осветив. Машкин даже услышал треск ракетницы. Этот звук не только насторожил его еще больше, леденящим ужасом отозвался внутри. Если отсюда так хорошо слышен этот слабый выстрел, значит, фашист совсем близко, значит, одно из двух: или их сведения были неточны, или в ночь сюда подошла новая застава. Хорошо, если фашист, дремля, пустил эту ракету. А если он следит за прогалиной?

— Быстрей вперед! — подал Машкин команду своей цепочке.

Хотя до яра было еще далеко, Машкину казалось, что он уже видит его. Мелькнула даже мысль, что не стоит ползти, а лучше подняться и одним рывком достичь яра. То ли потому, что так угрожающе нависла опасность, то ли из-за крайнего душевного напряжения, но в эти минуты Машкин не чувствовал ни растерянности, ни страха. Он стремился все замечать, правильно оценивать и чувствовал, что способен отдавать такие приказы, которые обязательно спасут группу.

Еще один ракетный выстрел. Машкин повернул голову, посмотрел на синеватое уже небо. Прямо над его головой, словно злосчастная звезда, повисла ракета. Он еще больше напрягся, чтобы ползти быстрей, — казалось, что, если хоть немного помедлить, ракета упадет ему на плечи. Это уж, конечно, последняя ракета:

дремлет немец перед рассветом и пускает. А как только раскроет глаза, так и поймет, лихо его возьми, что ракеты теперь уже мало помогают, что, хорошо присмотревшись, можно увидеть прогалину и без ракет.

Эти мысли оборвал еще один выстрел, но более гулкий, чем из ракетницы. Вслед за ним раздался второй и третий. Машкину даже послышалось, что позади кто-то вскрикнул.

— За мной! — подал он команду, вскочил и, согнувшись, побежал в сторону яра.

Он не видел, а чувствовал, что за ним побежали все. Еще секунда, еще. Не чуешь под собой ног, не слышишь, как шумит резковатый ветерок у влажных от росы ушей. Первая пулеметная очередь. Ее тоже будто бы не слышно, только сам собою ускоряется бег, глаза ищут яр впереди. После второй, очень длинной очереди Машкин глянул вправо от себя и сначала ощутил, а потом уже увидел, что бегут не все.

— Ложись! — скомандовал он, поняв, что рывок не удался.

Бойцы попадали и уже без команды, а просто по примеру командира начали выбирать более удобные места для обороны. К их счастью, место здесь было немного ниже того, где они были минуту назад. Как только глянули на поле, увидели невдалеке Зину и Светлану. Они лежали неподвижно на самом высоком месте прогалины. Михал и Грицко без всякой команды поползли туда. Немецкий пулемет бил теперь короткими очередями, но прицельно, то по одному бойцу, то по другому. На тот пригорок пули теперь не летели, видимо, немцы решили, что эти жертвы уже никуда не денутся. Но как только бойцы стали подползать, огонь по пригорку возобновился. Ответные винтовочные залпы, видимо, насторожили врага, скоро пришло подкрепление — стреляло уже несколько пулеметов.

Когда Грицко и Михал подползли ближе к пригорку, они сразу заметили, что девушки не могут шевельнуться, потому что пригорок взят на прицел. Во время короткого промежутка между пулеметными очередями Грицко услышал приглушенный плач Светланы, и сердце у него зануло.

— Что у вас? — крикнул он Зине.

— Светлана ранена в ноги, — ответила Зина.

— А вы?

— Я нет... Надо спасти Светлану.

— Ползите вниз! — как только мог сурово приказал Грицко. Он стал осторожно, чуть ли не вдавливаясь в землю, подползать к Светлане, а Зина лежала и не шевелилась.

— Я вам сейчас помогу, — встревоженно сказал ей Михал.

Он подумал, что Зина тоже ранена, но скрывает это. Однако, когда он, сплевывая крупинки земли, попадавшие в рот от взрывов пуль, приблизился к девушке, она вдруг резко двинулась в сторону и заслонила собою Светлану, которую в это время Грицко стал тянуть за собой.

Зина ползла, не отрывая глаз от окровавленных ног девочки. Она слышала, как при каждом усилии Грицка Светлана глухо, жалобно всхлипывала, видела, как смешивались с сорной травой ее светлые, отросшие за эти недели волосы (платок где-то потерялся в пути). А больше как будто ничего не видела и не слышала. Так она проползла еще немного, а потом чем дальше, тем слабее и медленнее стали ее движения.

Михал бросился к ней на помощь...

В яру Машкин протер мокрым и, казалось, горьким от порохового дыма рукавом глаза, глубоко вздохнул и позвал к себе бойцов. Каждому, кто подбегал, он приказывал сейчас же двигаться дальше, потому что фашисты откроют огонь из минометов.

Машкин заметил, что с ним не все, но он понимал, что, если нет, к примеру, Михала и Грицка, значит, не могли они явиться. Что-то нехорошее случилось и с девочками. Идя, пригнувшись, по заплесневелому от сырости яру, командир посмотрел в лицо шоферу, узбеку, еще трем бойцам, которые вышли из боя невредимыми.

Михала и Грицка он увидел немного в стороне. Грицко торопливо скручивал из лозы жгуты и перевязывал ими Светлане ноги выше колен, а Михал стоял, наклонившись над Зиной. На кого все они теперь похожи? Мокрые грязные лохмотья свисают с плеч, с рукавов; от можжевеловых лаптей Михала не осталось и следа. У Грицка даже поясной ремень был в нескольких местах исцарапан осколками разрывных пуль.

С глубокой тревогой и болью подходил к ним Машкин. Потом молча опустился возле Зины на колени, испуганно взглянув Михалу в глаза. Боец плакал...

Выходили они из яра перед самым восходом солнца. Грицко нес Светлану. Михал держал на руках Зину. Правая рука ее беспомощно свисала и покачивалась, все тело изрешетили пули. За Михалом и Грицком шли Машкин, шофер и остальные бойцы. Они шли тесным строем, чтобы, если понадобится, заслонить своими спинами тех, кто был впереди.

Еще минута, и должен засиять первый солнечный луч, еще минута, и должны показаться наши позиции.



БОРИС РАХМАНИН

часы без стрелок

И СКАЗКА, И БЫЛЬ



● —————

П роходными дворами — что вдвое, если не втрое сокращало путь — шли они по оцепеневшему от холода блокадному Ленинграду. Как бы рождаясь в воздухе над самыми их головами, кружился и устилал асфальт неуверенный влажный снег.

Выбрались из города и зашагали по лесопарку. Васюков на ходу лепил снежки, откусывал от них, словно от яблока, а огрызками швырял в Карпова.

Пришли они еще засветло.

— Половина шестого сейчас, — сказал Карпов.

Васюков взглянул на часы.

— На три минуты больше, — засмеялся он, — ошибся...

— Нет, это у тебя спешат, — не согласился Карпов. — Давай за...

Он только протянул Васюкову пачку трофейных сигарет, собираясь угостить его, как вдруг что-то ослепительно сверкнуло, он зажмурился, когда же раскрыл глаза, увидел себя хоть и на том самом месте, но вокруг по-весеннему зеленели молодые листья, а со всех сторон бежали к нему странные люди в яркой штатской одежде.

— Получилось! — кричали они радостно. — Удалось!

— Ура-а-а!.. Алексей! Леша!..

— Удалось!

Окружили его, стали обнимать, мять. Какой-то пожилой дядя с испариной на огромном лбу растолкал всех.

— Так вот ты какой! А я уж лицо твое забывать стал... Не узнаешь, что ли? Не узнаешь?

— Бульон... Бульон несите! — требовала у кого-то молодая женщина в белом халате. — Бульон!..

«На Любу похожа», — растерянно подумал Карпов.

— Люба?!

— Я не Люба, я Таня... Ну-ка, глотните...

— Эх, Леша, Леша, — твердил свое пожилой с испариной на лбу, — неужели не узнаешь? Да это же я, Ва...

...Сверкнуло что-то, ослепило.

...Рядом на заснеженной дороге стоял Васюков.

— Свои есть, — как ни в чем не бывало, произнес он, доставая точно такую же пачку с сигаретами, но тут же обеспокоенно спросил: — Ты что?

— Да вроде заснул на ходу... Даже сон видел.

— Потерпи, — засмеялся Васюков, — уж нынче-то выплещешься.

Впереди показалась похожая на дачную уборную будка, поперек шоссе лежал на кольях шлагбаум — березовый ствол.

Из будки, постукивая сапогом об сапог, вышел постовой.

— В дом отдыха нам, — сказал Васюков, протягивая документы.

— В леске, левее...

— Знаем, бывали уже. Все на месте?

— Старшина другой.

— А Люба?

Постовой, бросив на них острый взгляд, полистал документы.

— С фронта?

— Мы из Ленинграда сейчас, браток, — гордо сообщил Васюков, — награды получали, — отогнув ватник, он показал постовому Красную Звезду. — Лешка, покажи и ты...

Но Карпов неглубокой снежной целиной уже шагал к лесу.

— Заскучал? Не терпится? — догоняя, дразнил его Васюков.

...Они увидели большой бревенчатый дом, на простенке висела квадратная, под стеклом вывеска: «Детский сад-дача». От крыльца до ближайшего дерева тянулась обындевеля веревка, на ней — озябшими воробьями — деревянные прищелки.

Карпов и Васюков шли вокруг дома и заглядывали в окна.

В одном из них они увидели просторную комнату с низким потолком, под которым висели модели планеров. Дверца черной, похожей на шахматную ладью голландской печи была распахнута, в ней густо плескалось желтое пламя. На нескольких кроватях сидели и полулежали солдаты. Один из них что-то рассказывал. Внезапно все остальные одновременно откинулись назад, рты их раскрылись, забелели зубы.

— Гха-ха-ха-гаа!..— донесся сквозь стекло взрыв хохота.

— Анекдотами балуются,— сделал вывод Васюков.

В другом окне щелкал костяшками канцелярских счетов незнакомый старшина. Левый его рукав — пустой — был заправлен под ремень.

У следующего окна Карпов и Васюков задержались. Это была кухня. Рядом с плитой на березовом чурбаке сидела скуластая большеглазая девушка в ватных брюках, гимнастерке и сапогах. Мыла в чугунке картошку. Тщательно отмыв картофелину, она поднимала ее над другим чугунком и разжимала пальцы. Картофелина шлепалась в воду, и лицо девушки освещалось детской улыбкой.

Васюков поправил ушанку и постучал пальцем в стекло.

— Люба! Помощники не нужны?

Брови девушки дрогнули. Она вскочила с чурбака и через минуту уже была во дворе.

— Ну,— сказал Васюков,— вот... Снова к тебе.

— Почему же ко мне? — поглядела она на Карпова.— Просто... В дом отдыха...

— Кто в дом отдыха, а кто к тебе,— не унимался Васюков.— Поцелуемся?

— Пусти! Пусти, говорят!

Упираясь ему в грудь руками, она яростно вырвалась.

Карпов молчал.

Из дому в накинутой на плечи шинели вышел старшина.

— Эй, новичок! Здесь вам не передовая!..

Люба убежала.

— Ладно, старшина, не скрипи скелетом,— примирительно сказал Васюков,—сам ты новичок... Просто она хочет, чтоб ее Карпов обнял...

...Вошли в дом. Старшина вынул из ящика толстую тетрадь и стал вносить в нее данные новых постояльцев.

На стене размеренно, по-солдатски, тикали ходики: ать-два! Ать-два!

И еще двое часов висели рядом. Но стрелки на них не двигались.

— Я когда тиканье слышу,— тихо произнес Карпов,— взрыва жду. Привычка у меня такая. К минам... Без пяти шесть. Точно идут.

Старшина коротко посмотрел на него, но промолчал.

— Лешка без часов время чувствует,— не без гордости объяснил Васюков,— он сам себе часы, хотя и без стрелок. Слышь, старшина, а эти ходики чего стоят?

Ответа пришлось ждать долго.

— Я их остановил, когда жена и старший сын погибли...

В дверь постучали. Вошла Люба. Взглянула на Васюкова и отвернулась.

— Сан Саныч, я ведь картошку уже заложила.

— Сколько?

— Девять шук, стандартных...

— Добавь еще две. Новички небось картошку любят.

— Правильно, — подтвердил Васюков,— любим.

— А жиры? — спросила Люба.

— И жиры любим!

— Я, кажется, не с тобой говорю! — сердито посмотрела она на Васюкова. — Не с вами, то есть...

— Жиры? — старшина достал из-под скатерти ключ и отпер стальной сейф.

Сначала он вынул оттуда аптечные весы, а затем голубовато-розовый брусочек сала. Плоский, сверкающий кристаллами соли, с желтой пупырчатой кожицей...

Перочинным ножиком старшина срезал с брусочка почти прозрачный ломтик, поддел лезвием и положил

на чашечку весов. В другую чашечку он бросил никелированную гирику.

Весы затрепетали, точно пойманная бабочка.

— Никелированная гирику всегда кажется легче черной,— сказал старшина, словно самому себе.

Васюков не удержался, провел языком по губам. Да и у Карлова судорожно задергалось горло.

— Ровно на одну понюшку,— засмеялся Васюков.

— Вы бы это сало, того,— тихо добавил Карпов,— чтоб трети ходики не остановились...

— Гха-ха-ха-гаа!..— загремело за стеной.

Не ответив, только нахмурившись, Сан Саныч поддел ломтик лезвием и осторожно протянул девушке.

— Неси,— сказал он, запирая сало в сейф,— ножик не забудь отдать. Да, а что у нас завтра на десерт?

Люба задумалась.

— Рюмочка сгущенного молока еще есть...

— Гм... А сможешь ты его развести так, чтобы вода была белая?

— Смогу.

— Чтоб, если еще капля, то она уже белой не будет... Сможешь?

— Смогу.

— А потом вылей воду в красивую тарелку и на мороз выставь.

— Зачем? — изумилась она и даже на новых постояльцев посмотрела.

— Чтоб не прокисло,— предположил Васюков.

— Да нет,— улыбнулся Карпов,— мороженое получится!

Старшина сумрачно кивнул.

— Вот именно.

Люба пожала плечами и, устремив взгляд на кончик лезвия с наколотым на него ломтиком сала, ушла.

— Гха-ха-ха-гаа!..— захохотали в соседней комнате.

— Сидите! Сидите! — разрешил Васюков, хотя никто и не собирался при их появлении вставать.

Отдыхающие — их было девять человек — только что отсмеялись над очередным анекдотом. Глядя не в

лица вновь прибывших, а на их орден, они охотно пожалы протянутые им руки и потеснились, уступая место.

Устроившись, таинственно снизив голос, Васюков сказал:

— Задумалось земное население, как Гитлера казнить. Француз карапуз считает, что в клетку нужно посадить гада. Пусть, мол, желающие подходят и в глаза плюют. Англичанин — тонкий, звонкий и прозрачный — свое гнет, на необитаемый остров советует его сослать. В пещеру... А наш брат-акробат, русский богатырь...

Отдыхающие переглянулись, придвинулись ближе. Сосед Карпова, лысый, но с пышными прокуренными усами, снимавший в этот момент гимнастерку, так и застыл с задранными руками и выглядывавшей из-под подола головой. Другой сосед, веснушчатый, у него даже на губах веснушки темнели, нетерпеливо спросил:

— Ну, ну? Какое же решение принял наш товарищ?

— А русский богатырь, Иван-слесаревич, — закончил Васюков, — железный стержень докрасна раскалил и холодным концом Гитлеру... — Васюков сделал соответствующий жест.

— Почему же холодным? — разочарованно спросил лысый усач.

— Чтоб никто вытащить не мог!

Одобрительный хохот вполне удовлетворил самолюбие Васюкова. Вынув сигареты, он разломил их пополам и угостил новых товарищей. А они долго еще смеялись. Тощие, с изможденными костистыми лицами, с зелеными кругами у глаз, с узловатыми, тонкими, будто руки, шеями, они смеялись истово, всласть. По довоенной норме.

— Это мы сами придумали, — не счел нужным скрывать Васюков, — с Лешкой...

— Правда? — удивился лысый усач. — Так отошлите в газету!

— Не поместят, — авторитетно сказал веснушчатый, — вы неприличное место избрали для стержня.

— Фашистам можно, — возразил усач, — разве они люди? Зима только началась, реки еще льдом не схватились, а им невтерпеж. Лежишь, бывает, в секрете не-

подалеку — я сам снайпер, — только и слышишь: кха да кха... Всей дивизией кашляют. Завоеватели...

— Невыдержанный народ, — поддержал усача Карпов, — «языка» мы с Пашей брали, к землянке их подползли, ждем. Хорошая такая землянка, будто клумба. Скоро, думаю, сами в ней жить будем, выдворим гостей... Тут, кстати, как раз один и выходит.

— Разобрало его! — со смехом вставил Васюков. — Так хоть отошел бы немного. Нет, прямо на пороге устроился. Ну, мы ему даже штаны надеть не дали!

— Сигареты-то эти его, — задумчиво закончил Карпов.

— И то польза, — заметил усач, — вы, разведчики, нет-нет да трофей и притащите, а я... Убить убью, а вижу их только издали. Недавно срезал одного. Офицер... Шапка с него скатилась, а волос красивый, вьющий. У меня-то, как замечаете, прическу моль съела, хоть и не старый, — он посмотрел на орден Карпова, потрогал его даже и добавил: — Вот только наградами нас не обижают, завтра тоже в город собираюсь за таким же...

С наслаждением втягивая дым, бережно, с толком расходуя его, солдаты некоторое время помолчали.

— Им хуже, — сказал Карпов, — мы у себя. Дома стены помогают. Природа, иначе говоря. Помню, замучились мы однажды в разведке, исчезались. А Васюков скумекал. Давай, говорит, разденемся, на муравейник рубашки бросим...

— Через пяток минут ни одной не осталось! — гордо подтвердил Васюков.

Опять помолчали.

— А я фашистских захватчиков мало еще уничтожил, — признался веснушчатый, — сильно курок держую... Волнуюсь... Между тем у меня к ним счет особый, они мою однокурсницу Зину в неволю угнали.

— Ты так на курок жми, — посоветовал снайпер, — будто манишь кого-то пальчиком. Иди, мол, ко мне, иди... А за что же тебя домом отдыха поощрили?

Веснушчатый густо покраснел. Даже веснушек не стало видно.

— Да так... Боевые листки выпускаю. Регулярно...

— Не переживай, — успокоил его Карпов, — наверстаешь.

Ужинать отправились уже все вместе. Каждый приглашал новичков сесть рядом с собой.

Люба подавала картофельное пюре, затем принесла большой чайник кипятку.

— Я картофельное пюре как пробую,— улыбаясь, сказал Карпов, плеснув в свою тарелку горячей воды,— я его на ноготь капаю, и если капелька с ногтя не стекает, значит, пюре густое.

— А я на него дую,— захохотал Васюков,— и если пузыри не летят, значит...

Люба принесла маленькую кастрюльку. Все потянули носами.

— Да, запахок есть,— смутилась Люба,— но зато субпродукты очень богаты витаминами. Сейчас... Тарелки чистые принесу...

— Клеем пахнет,— определил Васюков,— нет, сургучом...— он на миг задумался.— Не беда, есть выход!— наклонился к уху Карпова, что-то прошептал и громко добавил:— А я тут Любе помогу... Или ты против?

Карпов пожал плечами, поднялся.

В воздухе все еще кружился снег, такой же редкий, медлительный, но стал суше, не таял, прикоснувшись к щекам, а покалывал их.

Карпов протянул руку к обындевелым прищепкам и...

...Сверкнуло бесшумное ослепительное пламя. Такое же, как тогда, на шоссе.

Карпов не успел еще глаза открыть, как в уши ворвался гомон многих голосов.

— Удалось! Вот он!..

— Алексей! Леша!... Теперь с нами! Навсегда!..

«Как навсегда? — подумал он.— Такой долгий сон будет?»

— Извини, Леша, аппаратура еще барахлит. Мы ее на тебе первом пробуем! Ты у нас в штате уже! Как испытатель!

Его мяли, тискали в объятиях. Целовали.

— Да открой ты глаза, чудак!

— Не бойтесь!

Он с трудом заставил себя открыть глаза.

Те же взволнованные, радостные лица. У пожилого по-прежнему испарина на лбу. Молодая женщина — похожая на Любу, Таня, кажется, наливала из термоса в чашку золотистый бульон.

Карпов стоял на том же месте, рядом с домом, но все вокруг удивительным образом изменилось. Вместо зимы весна. За дощатым заборчиком воспитательницы едва сдерживали краснощеких любопытных детей. Какие-то машины стояли, змеились в траве кабели.

Ощувив вдруг непривычный страх, Карпов так и напрягнулся весь, готовый, если понадобится...

— Не бойся, Леша,— обнимая его, повторял пожилой,— не бойся!..

— Мы свои! — сказала Таня.

— Советские! — выкрикнул еще кто-то.— Не бойтесь!

— А я и не боюсь! — отрезал он, хоть с трудом сдерживал бьющую все тело дрожь.— Только... Почему? Почему весна?

Они переглянулись.

— В том-то и дело! — вскричал пожилой.— В будущем ты, Леша! С нами! Теперь с нами будешь! А меня... Неужели не узнаешь? Васюков я!

Васюков?! Да, да... Словно отец Васюкова стоял перед Карповым. Но как же это? Но...

— Какое такое будущее? — едва выговорил он.

Тот, что называл себя Васюковым, и плакал и смеялся.

— Сам увидишь, Леша. Поживешь — оценишь. Для этого и работали...

Ко рту Карпова поднесли бульон.

— Ну-ка, глотните,— улыбалась Таня.

Он сделал один глоток, дру...

...Беззвучно лопнуло ослепительное пламя.

...Покалывая щеки, кружился снег. Зима. Война...

Карпов еще чувствовал во рту вкус бульона.

— Куриный, что ли? — подумал он вслух. Посмотрел на протянутую к обындевелым прищепкам руку, вспомнил, зачем Васюков послал его во двор. Снял несколько прищепок и вернулся в столовую.

— И хотя большинство людей,— говорила Люба,— предпочитает менее богатые витаминами, но более усвояемые... Что это ты придумал? — недоуменно посмотрела она на Алексея.— Прищепки зачем?

— А вот зачем! — воскликнул, внося чистые тарелки, Васюков. Взял одну из прищепок и ловко прищепил себе ею нос.— Фот... Деперь и жушпродукты ешть можно!

Солдаты со смехом последовали его примеру. Даже Люба не выдержала, прыснула в ладонь.

— Ну и расфетчик! — восхищались отдыхающие.— Ну и колофа!

«Неужели это был сон? — думал Карпов.— Неужели сон?»

Он посмотрел на свою тарелку, на порцию водянистого пюре, на черный ошметок субпродукта. Пахло сургучом, клеем. А в памяти на языке жили головокружительный аромат и вкус бульона. Да, конечно же, куриный...

Он потянулся к прищепке.

— Что, Алексей? Пез брищетки не итет? Ешь тафай! Нешего!

...С черным ящиком патефона в единственной руке в комнату вошел Сан Саныч.

— Анекдоты не надоели? Объявляю вечер отдыха!

Вскочив с коек, солдаты стали торопливо застегиваться, оправлять гимнастерки, со значением прокашливаться.

— Любовь Ивановна — оглянулся на дверь Сан Саныч.— Можно входить!

Люба вошла и стеснительно потупилась. Старшина поставил пластинку.

— «Амурские волны»,— произнес он,— вальс...

— Как говорится, разрешите? — подлетел к Любе Васюков.

Они медленно закружились. Остальные отдыхающие, оживленно переговариваясь, улыбаясь, стояли в полной готовности, даже руки уже протянув. Только старшина, уставившись в черный круг пластинки, не обращал, казалось, никакого внимания на происходящее.

— Ну, хватит! — не выдержал наконец веснушчатый.— Дамы меняют кавалеров!

Но и ему удалось потанцевать с Любой совсем недолго.

— Отлипни, друг! Ишь, какой приткий после картошки!

Еще кто-то закружил Любу в танце и еще кто-то. И снова завладел ею Васюков.

— Сан Саныч, переверни пластинку,— потребовал он,— там фокстрот есть!..

Бледное лицо Любы зарумянилось, глаза блестили. Она попыталась найти взглядом Карпова и не заметила даже, как сменил кто-то Васюкова. Как снова сменил Васюков кого-то... И снова...

— Отдохни, артист! Вспотеешь!

Карпов придержал Васюкова за плечо.

— Может, и ты передохнешь? — проговорил он с хрипотцой.

— Ничего, сейчас второе дыхание придет. Поскучай!..

Карпов, сколько сил было, сжал ему плечо.

— Хватит!

— Ребята! Ребята! — бросив очередного кавалера, подбежала к ним Любовь Ивановна.— Вы что? Леша, я же не для удовольствия танцую, я... Культмассовая работа, пойми. Ну, хочешь, давай с тобой, ну!..

— Моя очередь еще не подошла,— выдернул он рукав,— кто последний? Я за вами!..

Она побледнела.

— Тогда... Тогда... Паша, пошли?

Васюков радостно согласился. Они закружились, а Карпов, ни на кого не глядя, прошел в коридор, схватил ушанку и выскочил во двор.

Ждал он довольно долго. Озяб.

Из дома слышалась шипящая музыка патефона, потом донеслась общая живая песня:

«Мой костер в тума-ааа-не светит, искры гаснут на лету, нас с тобой никто-оооо-о не встретит, мы простимся на-ааа мосту...»

Но вот посреди смутно голубеющей заснеженной поляны возникла чья-то фигура.

— Кис... Кс... Кисанька, кс...

Он узнал голос Любы.

— Миууу...— послышался откуда-то тихий доверчивый ответ.

Алексей не увидел кошки, но понял, что она уже здесь, потому что Люба опустилась на корточки и стала ласково приговаривать.

Покашляв, чтобы не напугать их, он подошел ближе.

Кошка неторопливо лакала из плоской крышки от котелка, оторвалась на миг и взглянула на него круглыми электрическими глазами.

— Она к нам из Ленинграда прибежала,— произнесла Люба,— чувствует, что здесь ее не съедят. А в дом не идет, боится.

— Люба, объясни хоть ты... Почему это мне сны на ходу снятся?

— Какие еще сны?

— Ну... Про будущее.— Он тоже присел на корточки, заглянул ей в лицо.— Ты плачешь? Обиделась? Понимаешь, я ведь и в самом деле не могу танцевать. Курить научился, а танцевать...

— Боюсь я за тебя, Леша. Я вчера по шоссе шла и руку чью-то увидела. Оторванную... А у нее вся ладонь в мозолях.

— Хм... Наш брат, значит, работяга...

Она вытерла рукавом ватника слезы.

— Ты... Ты вот тоже... Смелый... Тебя тоже каждый день могут...

— Это верно, могут,— с некоторой важностью согласился Алексей, покосился на Любу и добавил: — Нас нынче, когда поощряли, генерал спрашивает: женатые есть? Тогда Васюков, конечно, в своем репертуаре, есть, говорит и на меня показывает. А генерал, видно, когда-то толстый был, так китель на нем от смеха прямо скобочился...

— Не поверил, значит,— поднимаясь, смущенно произнесла Люба.

Карпов остался сидеть на корточках.

— Я, Люба, смотрел сейчас, как ты танцуешь... Со всеми... И понял... Ты ведь совсем одна...

— А ты? — спросила она, вглядываясь в небо.

— И я... Знаешь что, Люба? Давай поженимся.

— Как это? — удивилась она.

«Объясни ей,— подумал он,— будто не понимает. Маленькая...»

Вокруг стояла мирная, звенящая от легкого морозца тишина. Только едва слышно перекатывался вдали оружейный гром, небо слабо вспыхивало, пульсировало,

так, словно вдоль горизонта протянулась горная цепь, состоящая из одних действующих вулканов.

Карпов поднялся.

— Как, спрашиваешь? — быстрым движением он крепко схватил ее за локти, притянул к себе. — Двери не запирай, я... Я приду... Поняла?

Она, как видно, поняла, потому что изо всех сил стала вырываться. Вырвалась и побежала к дому.

— Ты что? — крикнул он с досадой. — Сама же говоришь, что убить могут!.. Приду! Жди!..

Вздыхнул, снова сел на корточки и погладил кошку.

— Вот возьму и съем тебя, — задумчиво погрозил он, — чего уставилась? Не веришь?

Утром после завтрака старшина построил отдыхающих во дворе. Все вокруг за ночь ровно занесло снегом. Глазом не определишь, глубоким ли. Карпов шагнул, как в омут, а на поверку вышло, что в самый раз. Разведчикам слишком глубокий снег не на пользу, в сапоги набивается.

— Ну, что, товарищи? — спросил Сан Саныч. — Тепло было спать?

— Благодары! Как в варежке!

— Мы с Карповым за этот месяц первый раз без сапог спали, — сказал Васюков.

— А теперь погрейтесь работой...

Принялись пилить и колоть дрова, складывать поленницу.

Вышла во двор с пустым ведром Люба. Прошла мимо и даже не посмотрела.

— Здорово, Любовь Ивановна! — заорал Васюков. — Умойся снегом, белей будешь!

Она не откликнулась.

— Люба... — догнал ее Алексей. — Брось... Ну, чего ты? Ведь не пришел же... Я пошутил...

Набрав в ведро снега, она ушла. С досады Алексей замахнулся топором на здоровенную колоду, но так и не ударил.

— Карпов! Васюков! — высоко подняв единственную руку, старшина размахивал какой-то бумажкой. — Телефограмма!.. А как же рацион? — подойдя ближе, спросил он сумрачно. — Все в котле.

— Пюре наши вон тому товарищу отдайте, с веснушками,— распорядился Васюков, затягивая ватник ремнем,— кислую капусту — снайперу. Ему витамины нужны. Для волос.

— А субпродукты кошке,— сказал Карпов.

— Подождите-ка минуточку...

Старшина торопливо пошел к сараю и вернулся с разрисованной цветами тарелкой. На доньшке ее таяли осколки мутно-белого льда.

Карпов и Васюков взяли по одному осколку, положили в рот и даже зажмурились.

— Крем-брюле! — причмокнул Васюков.

Старшина сумрачно улыбнулся.

Они уже порядочно отошли от дома, когда услышали позади слабый крик:

— Леша-а-аа!..

Прямо по снежной целине наперерез им бежала Люба. Но, как только они оглянулись, остановилась и, опустив голову, стала ждать.

— Главное, нас двое тут, а она только тебя зовет,— обиделся Васюков.

«Да уж не тебя, Паша, не тебя,— радостно думал Алексей, торопясь к Любе,— не обессудь, друг...»

— Здравствуй, Любовь Ивановна! — запыхавшись, проговорил он, хотя не так давно ее видел.

— Здравствуй,— ответила она чуть слышно.

— Отзывают,— развел Карпов руками,— полдня мы с Пашей не догуляли. До свидания.

— До свидания,— не поднимая глаз, произнесла она.

— До свидания,— еще раз повторил Карпов. Потоптался, кашлянул и пошел обратно. Когда выбрался на тропинку, оглянулся.

Она стояла посреди поляны, простоволосая, в мужском ватнике. Ему стало ее до слез жаль.

— Я мигом! — пообещал он.— И соскучиться не успеешь.

— Леша!.. Вчера вечером... Ты вправду пошутил? Или всерьез?

— Скажи, что пошутил,— быстро подсказал Васюков.

— Всерьез! — крикнул Карпов.

Стараясь попасть в свои же следы, Люба медленно пошла в лес, но снова остановилась.

— Леша! Ты осторожней там! Ты... Я ждать буду! Вернись! — и побежала, уже не оглядываясь.

Васюков покачал головой.

— Наобещал девчонке... А если убьют тебя?

— Не убьют,— сказал Карпов,— нельзя меня теперь убивать.

— Да ведь на мост пошлют!.. А оттуда уже Магомедов не вернулся, и Воробьев с Гаркушей...

— А мы вернемся И мост грохнем!..

Долго, но без единого слова шли они по скрипучему белому шоссе. Карпов задумчиво улыбался, а Васюков вздыхал.

Вечером того же дня они лежали в снегу посреди редкого, сбегающего к еще не замерзшей реке леса. Казалось, что их трое. Между Карповым и Васюковым маленьким сугробом возвышался рюкзак со взрывчаткой.

Уже зажглись огни в блиндажах и караульных будках, иногда долетала оттуда речь. А один раз донеслась веселая музыка и песня. И Карпову невольно вспомнилось, как вчера в это же время стоял он в ожидании Любы во дворе и вот так же вслушивался в песню. Только в другую. «...Нас с тобой никто-о-ооо не встретит, мы простимся на-а-аа мосту...»

Следя за извивами поземки, Карпов и Васюков старательно шевелили пальцами рук и ног. Чтобы не замерзнуть.

— Ты вот что мне скажи,— прислушался Васюков к возникшему над лесом и тут же растаявшему прерывистому гудению,— почему самолет летает?

— Как так почему? — прислушался и Карпов.— Согласно приказания.

— Да я не о том,— снисходительно хмыкнул Васюков,— железа в нем будь здоров, а летает.

— Подъемная сила, брат...

— Ясно, что сила. Ты мне скажи, почему он летает.

Не дождавшись ответа, Васюков удовлетворенно засмеялся.

— То-то! После войны в Академию наук подамся. Учиться. А то другим на слово верить — скучота.

Вот на глобусе, к примеру, получается, что земля круглая...

— А разве нет?

— На глобусе круглая, это верно. А на глаз? Ты погляди...

Карпов и без того глядел на заснеженный, сбегаящий к реке лес.

— То-то! — остался доволен Васюков. — Сам хочу до всего докопаться... Это батя мой к огороду был привязанный. Когда на матери моей женился, говорят, вместе с прочим приданным трое розвальней навоза пожелал. А я, Карпов, в свои восемнадцать лет побывал во многих точках. В Гагре — разнорабочим, курорт строил; в Нарьян-Маре — то же самое... В Москве даже был. Проездом. И что ты думаешь? Холмы, горы — они, конечно, кое-где имеются, без них нельзя. Но, вообще, ровно. На глаз если...

Мгла становилась все непрогляднее.

— Вроде ровно двенадцать, — предположил Карпов, — а ну глянь.

— Без двух, — отогнув рукав, сказал Васюков.

— Отстают у тебя.

— Пора ужинать. — Из внутреннего теплого кармана Васюков достал небольшой сухарик и разломил его пополам. Алексей стал отказываться, но тот настоял. — На Кавказе я шашлычок пробовал, — сказал он, неторопливо хрустя сухарем, — до чего же, Леша, штука вкусная! Запах какой! Пирожное из мяса! А с голландского сыра корочку я всегда ножницами срезал. Некультурно, конечно, но удобно... Ты только подумай, Леша, корочку от сыра мы выбрасывали! Вот жили!.. Слышь, Леша, — спросил он после некоторого молчанья, — а как ты в нее... в Любу... ну, влюбился?..

— Да как? Еще до войны...

— Будто это давно было.

— Мы в одном доме жили — сейчас его уже нет, — но я Любу как-то не замечал. А однажды грузовик ей пальто забрызгал. Новое пальто. Смотрю, чуть не плачет. Подошел и предлагаю: давай я тебя снегом отряхну. Согласилась. Стал я ее снегом посыпать и перчаткой по спине хлопать, а пониже стесняюсь. Тут автобус подошел, села она и уехала. А я пешком пошел, — Карпов помолчал, углубившись в воспоминания. — Погляди, кажется, пора.

— Пора,— подтвердил Васюков, выпростав из рукава запястье.

— У меня план есть,— еле двигая озябшими губами, сказал Карпов,— только быстро, скоро начнет светать... Давай часового приручим и в снег. Они подумают, мы «языка» уводим, и за нами. А мы наоборот, к мосту.

— Единогласно,— согласился Васюков,— только, чур, я первый поползу, может, здесь мины.

Но Карпов не пустил, первым пополз он. Метров двадцать прополз, остановился.

— Так и кажется, что тикают они под снегом,— отдуваясь, прошептал он подползавшему сзади Васюкову.

Сменяя друг друга, ежесекундно ожидая взрыва, они медленно ползли, волоча за собой рюкзак, и скоро согрелись, даже жарко стало.

Добрались до первой будки. Внутри горел свет. На фоне маленького оконца время от времени появлялся разгуливавший вокруг будки часовой. То и дело хлопая себя по груди, хватаясь за горло, он натужно кашлял и всякий раз после этого со злостью что-то бормотал, очевидно, бранился. Карпов и Васюков лежали рядом и всматривались в него. Часовой, совсем как Васюков недавно, выпростав из рукава запястье, взглянул на часы и сразу же стал колотить кулаком в оконце.

Длинно позевывая, из будки вышел другой немец. Они перебросились несколькими хриплыми сердитыми словами, потом первый часовой ушел в будку, а новый походил, походил и вдруг тихо, ехидно засмеялся.

Карпов толкнул Васюкова локтем. Тот плавно поднялся, огромный, заслонив собой полнеба, вырос над немцем, обнял его...

— Готово,— прошептал он, тяжело, со свистом дыша.

Они прислушались к доносившемуся из будки похрапыванию, потом вошли. Немец, удобно устроившись на длинном и плоском ящике, отвалив голову к стенке, спал. Большеносое лицо его показалось совсем молодым. Сверстник, должно быть. Дрова в чугунной печурке прогорели, но в будке было тепло. На другом ящике, побольше, возле недописанного письма, прислоненное к лампе, стояло фото пожилой, очень похожей на спя-



щего солдата женщины. Мать, видно. Поблескивала вспоротая ножом банка консервов. Коричневое мясо, белый жирок... Из банки торчал темный лавровый листик.

Карпов и Васюков слотнули слюну, но взять початые консервы побрезговали.

— Небось отпуск п-приснился,— машинально понизив голос, сказал Васюков,— пироги м-мамашины...



— Ты тоже похрапеть не дурак,— также шепотом откликнулся Карпов.

Они смотрели на спящего врага, ожидая, что тот проснется и тогда они прикончат его.

— Ну... Твоя очередь,— сказал Васюков,— давай...

— Разбудим сперва,— предложил Карпов. Потряс немца за плечо, но тот спал крепко.

Тогда Алексей взял со стола автоматическую ручку, осмотрел ее и наискосок по убористым немецким литерам разборчиво написал: «Ладно, гад. Живи!»

Они вышли из будки, подняли труп и, не спеша, чуть пригнувшись, двинулись в темноту. Поземка уже не лизала снег, она скручивала, вязала его в узлы... Следы, которые оставались за разведчиками, тут же заполнялись доверху и исчезали.

Внезапно позади, там, где оставалась будка, ночь ярко озарилась, в черное небо выползла ракета, сухо защелкали выстрелы.

— Годится! — сказал Васюков.

Но выстрелы слышались все ближе, да и впереди раскатывались уже щедрые очереди. Донесся и лай собак.

— Кажется, поняли,— забеспокоился Васюков,— окружают...

Тяжело дыша, Алексей прислушался.

— Да... Черт, а как же мост? Бросай Адольфа...

Они легли перед трупом, как перед бруствером, и в тот же миг из сизой метельной мглы, приближаясь, выбежали темные силуэты. Смешался с чужой речью заливи́стый и тоже как бы чужой лай.

Обогнав хозяев, собаки рвались вперед, давась от нетерпения. Сейчас, сейчас...

Несколькими хладнокровными очередями Карпов и Васюков погасили их безудержную тупую ярость, взяли повыше...

Немцы залегли. Деловито о чем-то покричали друг другу, стали подползать. Снова все разом поднялись, побежали.

— Патроны кончились! — крикнул Васюков.

— Смени диск!

Вскочив на ноги, Карпов почти в упор резанул по набегающим со всех сторон силуэтам.

— Вот вам! Полу...

...Белый, сливающийся с голубым и фиолетовым свет ударил ему в глаза. Он зажмурился, но вместо взрыва услышал радостные, почти знакомые голоса и едва успел снять с курка палец.

— Леша! Это мы, Леша!

— Теперь все! Теперь ты уже здесь твердо!

— Отладили!..

Опять его обнимали, хлопали по плечам.

Карпов раскрыл глаза и увидел радостные, взволнованные лица, слезы, улыбки. Все так же поблескивала на огромном лбу того, кто называл себя Васюковым, испарина, дымилась чашка с бульоном в руках у Тани.

— Сон?.. Снова?.. Да вы что?! — сначала тихо, а потом крича выговорил Карпов. — Вы что? Вы в своем уме? Нашли время! Меня мост ждет! Немцы нас окружили! Васюков там один! Пустите!.. — он напрягся, вырвался из их объятий, из тесного кольца, сжал автомат. — А ну!.. А ну сделайте, чтобы... чтобы проснулся я!..

Они с удивлением отхлынули. Только тот, что называл себя Васюковым, смело остался стоять на месте. Да еще молодая женщина. Таня... Она смотрела на него с каким-то грустным пониманием. Фарфоровая чашка из-под бульона, пустая, но не разбившаяся, лежала на траве у ее ног.

— Леша, — мягко проговорил старый Васюков, — да пойми же, чудак... Ты в будущем! Мы тебя в наше время перенесли, мы... Это не сон!

— Не сон? Будущее? Но... Зачем?..

Васюков часто, будто соринка ему в глаз попала, заморгал, беспомощно оглянулся на своих спутников.

— Я, Леша, жизнь положил на это... И не только я!.. А ты, зачем, спрашиваешь? Думаешь, это легко было сделать? Думаешь, легко помнить? Каждую минуту тех лет помнить... Легко, думаешь? А ты... Пойми ты, война давно кончилась! Давно!..

— Кончилась? — едва слышно переспросил Карпов. — Значит... Война... Уже?..

— Надо было вам сразу это сказать, — произнесла Таня, — извините...

— Давно! Давно кончилась! — вскричали нестройным хором и остальные.

— Еще в сорок пятом!..

— Девятого мая!..

Они снова обступили его вплотную, гладили его, ловили каждый взгляд, каждое слово.

— Девятого, — повторил Карпов, — мая?.. — и не смог сдержаться, слезы так и полились из глаз, и он их даже не вытирал. — Ведь знал же... Знал, что победим... А вот... Все равно.

Кто-то вытирал ему платком мокрые щеки, у кого-то у самого уже глаза стали влажными.

— Победили, Леша! — обнимая его, кричал Васюков. — Победили! Насладись мигом этим! Мы, Леша, завидуем тебе сейчас! Завидуем! Ну, а теперь домой! Едем!

Оживленно, с облегчением переговариваясь, все двинулись к автобусу и тут же остановились.

— Леша, ты что?

— Не могу, — виновато развел он руками, — там Васюков... Мост...

— Опять за свое? — опешил Васюков. — Неужели еще не понял?

— Не могу.

— Ладно! — сердито засмеялся старый Васюков. — Возвращайся! Ну-ка, как ты это сделаешь?

Несколько минут стояло молчание.

— Ну, что же ты? — тихо спросил старый Васюков.

Карпов тоскливо огляделся по сторонам, напрягся, переступил с ноги на ногу, даже зубами закрипел...

Все невольно расступились.

— Только вы тогда и меня с собой захватите, — добродушно пошутила Таня, — вам необходима помощь врача...

Затянулись окопы... Застроено все. Вот какой-то странный самолет без крыльев неподвижно висит в воздухе...

Как ни быстро мчался автобус, Карпов на многое успел обратить внимание. Успевал он схватить и по одному, самому крупному слову с попутных и встречных машин: ХЛЕБ... МОЛОКО... МЕБЕЛЬ... ЦВЕТЫ...

Он всматривался во все это и невольно для самого себя, нерешительно, удивленно улыбался.

«Ну и ну! — думал он. — Неужели наяву? Откуда все это? Цветы, хлеб...»

— Привыкаешь, Леша? — взволнованно спрашивал Васюков. — Нравится тебе, да?

Карпов опять сдвинул брови.

— Пока ничего... А там видно будет, — покосился на соседку в белом халате, — вы, Таня, на одну мою знакомую похожи...

— Да? А вот мама говорит, что больше на отца...

Автобус трянуло. Выплыв из-за поворота, перед глазами пассажиров возник как бы незнакомый, невиданный, карнавальной яркости город. Над старыми сизыми домами высились новенькие — белые, желтые, розовые кристаллы. Они просвечивали друг сквозь дружку, цвета их сливались, рождая новые сочетания и оттенки. У Карпова шея заболела голову задирасть.

— Вот видишь, Леша, — сиял, любуясь им, Васюков, — нравится ведь, а? А ты упирался! Васюков, мол, там один-одинешенек. А Васюков вот он, хоть старый, но живой!

— Вы-то... Ты-то живой, — бросил Карпов, — хоть и старый, а каково тебе там?.. Молодому?..

Васюков хотел было возразить, но почему-то этого не сделал.

— Ты гляди давай! — с преувеличенным оживлением показал он в окно. — Гляди!

Недавно над городом прошел небольшой дождь, тюльпаны на клумбах стояли, полные воды. И хотя солнце выглянуло снова, люди на улицах недоверчиво держали в руках раскрытые разноцветные зонтики. А может, они делали это нарочно, от хорошего настроения, чтобы порадовать богатством красок себя и друг друга.

Вдоль канала бегал с палкой в зубах золотой бульдог.

Разгуливали по площадям голуби.

Шли пожилые люди с березовыми букетами под мышкой. В баньку...

Соседи Карпова по автобусу то и дело оглядывались на него. Ну, как, мол, узнаешь? Помнишь?

Вот промчались велосипедисты с туго надутыми мышцами неутомимых загорелых ног.

— У меня до войны тоже велосипед был.

Вот стришет на балконе ноготки своему младенцу мать. Сверкнули маленькие ножницы...

Вот возник в проеме между домами Исаакий. С блистающей, похожей на богатырский шлем крышей, с шевелящейся, словно муравейник, высокой круглой террасой.

А вот Нева. Свежестью и чуть-чуть нефтью дохнул серый простор реки.

— «Аврора!» «Аврора!» — закричали пассажиры. — Товарищ водитель, помедленнее! «Аврора»!..

Они смотрели сейчас на город жадными, изумленными глазами Карпова и видели значительно больше, чем обычно, как бы прозрев, как бы сквозь удивительно чистое, протертое до блеска, до голубизны стекло, еще недавно буднично запыленное. Они увидели дрожащий воздух над трубами корабля, ржавчину у ватерлинии, лампочку в черноте одного из иллюминаторов... Мимо броневых бортов неподвижного крейсера сновали речные трамвайчики с полосатыми тентами. Вдоль парапета к мосткам «Авроры» вытянулась длинная очередь: старики, дети, солдаты...

— Хорошо! — произнес вдруг Карпов. — Хорошо живете! Здорово!

В автобусе оживились еще больше, заговорили все разом, подтверждая высказанное Карповым мнение.

— Только бы войны не было, — произнес кто-то.

— Вот-вот, — поддержали его со вздохом.

— Какой еще войны? — удивился Алексей. — Ведь кончилась она!..

Автобус остановился. В самом центре пестрой от цветов площади стоял старинный небольшой дом. Навстречу приехавшим торопились люди. Какая-то женщина, пожилая, но красивая, в нарядном полосатом платье, и несколько парней в козырьках без кепок, нацеливших на Карпова объективы стрекочущих аппаратов, оказались впереди.

Женщина счастливо, хотя и сквозь слезы, улыбалась.

— Гражданка, — сердились на нее парни, — вы мешаете телепередаче! Отойдите!

— Но я должна! — попыталась она пробиться к автобусу. — Я должна... Это же... Паша, Таня!.. Скажите им!..

— Ну, вот, — почему-то засмеялся Васюков, — так я и знал! То стеснялась, пряталась... А сейчас...

— Товарищ Карпов, — поднеся к лицу Алексея микрофон, официальным голосом спросил один из парней, — как вы себя чувствуете?

— Нормально... — буркнул Карпов.

— Нормально! — повторил парень со вкусом и, повернувшись к объективам, произнес: — Не правда ли,

точно так же отвечают на этот вопрос наши героини-космонавты? Павел Егорович, вопрос к вам,— повернулся он к Васюкову,— как долго пробудет в нашем времени товарищ Карпов?

— Не для того ведь мы...— насутился Васюков.— Он же...

— Я здесь задерживаться не собираюсь,— решительно вставил Алексей.— Мне нужно туда.

— Нет! — прервал его чей-то возглас.— Нет! Он не вернется! Пустите!..

Это была женщина в полосатом платье.

— Лешенька — пробилась она к нему.— Леша! Родной! Ты не вернешься, ты с нами будешь!

Карпов растерянно отстранился.

— Успокойся,— почти просил ее Васюков,— ты же обещала..

— Мама, он в шоке сейчас, нельзя,— убеждала ее и Таня,— позже...

Женщина осталась за толстой стеклянной дверью.

— Всего меня обслюнила,— с удивлением сказал Алексей, сдавая в гардероб рукавицы, ватник и автомат.— Кто это?

Он очнулся в постели в залитой солнцем комнате. Все расплывалось у него перед глазами, теряло очертания. Он поморгал, взгляделся.

Рядом в низком плетеном кресле сидела та самая пожилая женщина. Одета она была иначе, но все так же нарядно, и прическа другая, пожалуй, еще пышней и замысловатей. И снова этот наряд и эта прическа как-то не шли к ее взволнованному, тронутому паутиной морщин лицу.

— Ты мое имя говорил... во сне...— произнесла она непослушными прыгающими губами.— Имя... не забыл, значит...

— Имя? А кто вы? Я вас знаю?..

— Вот видишь... Имя помнишь, а не узнаешь... Я ведь как думала... Я думала, Паша быстро изобретет все это, ну, за год хотя бы... Тогда... Тогда, конечно, ты бы сразу узнал, а он... Я его торопила. Чего, говорю, копаешься? Нарочно, говорю, тянешь, чтобы я старая стала. Ревнуешь... Я, конечно, шутила. Он ведь ночей не спал. Все считает, считает... Все минуты тех

лет сосчитать нужно было. Сидит, бывало, молчит, а губы шевелятся. Долго же он считал!..

Голова Карпова упала на подушку, косо накренился, вздыбился черно-белый пол. Люба?.. Так вот оно что!..

— Чуть встретимся, все о тебе,— доносился едва слышно, точно из прошлого, знакомый молодой голос,— каждую минуту тех лет переберем, вспомним... Поэтому и получилось.

— Вы... вы тоже здесь... работаете? — с усилием открыл глаза Карпов.

Она сидела в низком плетеном кресле. То рядом, а то далеко-далеко...

— Я поварихой здесь. Только мы своего мало готовим, больше разогреваем. В кафе получим, а здесь разогреваем. Раньше-то я на фабрике-кухне работала, когда он учился, а Таня маленькая была, а потом сюда... Все вроде к тебе поближе.

Пропуская сквозняк, отворилась позади дверь.

— Мама... Нельзя больше... Извини...

— Да, да, Танечка, я сейчас... Доскажу только. Я, Леша, все помню, все-все... Я еще догнала тебя тогда, помнишь? Вернись, просила. Вот ты... и вернулся... А я старая...

— Ну, что вы!..— приподнялся он на локтях.— Тетя Люба!.. Вы не волнуйтесь...

— Как ты сказал? Как? — она отняла от мокрого лица ладонь.— Тетя Люба?..— и, смеясь и плача, пошла к дверям, помедлила и вышла.

— Она вас ждала, ждала...— смущенно произнесла Таня.— А вы... Запоздай вы сюда еще на пару лет, так и я бы тетей стала... Эх вы!..— она махнула рукой и выбежала.

Карпов поднялся. Стоял на полу худющий, растерянный. Чесал затылок.

На двух стульях в изголовье была сложена одежда. Его, солдатская, и светлый штатский костюм. Рядом с кирзовыми сапогами поблескивали новые башмаки.

В тихий коридор Алексей вышел в солдатской форме. Вышел и не знал, куда идти. Двери, двери... За одной из них он услышал знакомые голоса. Васюков... И она... Люба.

.....

 Васюков чертил что-то мелом на черной жестяной обивке духовой печи. Всю ее исписал цифрами, стал чиркать мелом на полу, на линолеуме, у себя под ногами. Взял тряпицу со стола, стер и стал чиркать заново.

А она чистила картошку. Брала ее из целлофанового мешка, чистила и опускала в эмалированную миску. И грустно чему-то улыбалась.

— Не получится,— бормотал Васюков,— ну, конечно, не получится... Рано.

— Любишь ты в пищеблоке считать, а это не решается, Таня увидит, задаст нам...

Отбросив мелок, похлопав ладонью о ладонь, Васюков заходил по цифрам на полу.

— Ведь имели же мы право на это! Имели!..— воскликнул он.— Нужен нам Карпов, вот так нужен! Он прошлое наше, наша молодость... Да, да!

— Знаешь,— сказала Любовь Ивановна,— пусть он меня тетей Любой называет, ничего... Хоть бабушкой! Я думаю, в армию его не призовут, хоть и восемнадцать ему. Он же воевал! Учтут. Значит, пойдет учиться. С его характером, я думаю, ему лучше на заочный пойти или на вечерний...

Васюков посмотрел на нее, отвел взгляд и подобрал с пола мелок.

— Вот я и говорю,— задумчиво произнес он,— нужен нам Алексей. Каждому по-своему... Но что же выходит? Что мы сделали это для себя. А о том, как сам он к этому... Не подумали. Нет, не то! — насутился Васюков.— Не могли мы об этом тогда думать, не до рассуждений было. Ничего не сделав еще, не вырвав его оттуда, из огня! — он снова присел на корточках, застучал мелом по линолеуму.

— Я ему велосипед куплю с полочки,— сказала Любовь Ивановна,— он меня до войны катал как-то... Мне жестко было на раме, а терпела. Паша, ты что?— спросила она.— Ты что это считаешь?

— Да так,— махнул он рукой,— на всякий случай... Но все равно не получается... Кто мог знать, что он обратно захочет?.. Нет, вру... Я знал, ждал этого...— положил мелок, отнял у нее нож и стал чистить картошку.— Вот ты всему институту готовишь,— улыбнул-

ся он, — а мне кажется, что одному мне. Люба, а ведь у нас уговор был... Верну Лешку, и мы с тобой... Забыла?

— Толсто ты, Паша, чистишь... В блокаду за такие очистки тебе бы... — она поднялась, прошла по цифрам, враждебно всмотрелась в них. — Если он здесь останется... Тогда ладно...

Васюков горько засмеялся.

— Останется... — произнес он. — Не могу я еще назад. Годы нужны... Есть, правда, другой ход, не назад, так... Но...

— Можно, я сотру? — она взяла тряпку и принялась торопливо, старательно уничтожать его расчеты.

— Сотри, — разрешил он, когда цифры уже исчезли, — сотри...

Дверь распахнулась.

— Карпова нет! — вбежала Таня. — Ушел!.. В форме...

— Ушел? — растерялся Васюков. — Туда?.. Но ведь...

Любовь Ивановна осталась одна. Кожура выбегала из-под ее ножа тонкая, кружевная.

— Леша картошку любит, — странно, словно в беспамятстве, улыбнулась она, — пюре... Он его на ноготь капает... И если капелька не стекает, значит... пюре густое...

На троллейбусах и трамваях, пешком Карпов пересек город... На него оглядывались. Изредка узнавали:

— Это тот... Который по телевизору...

Несколько минут Алексей ехал в жаркой и тесной электричке среди вооруженных гитарами туристов, и наконец вот он — тот самый овраг за тем самым косогором, ничейная земля. А вот и лес. За прошедшие годы он стал выше, кряжистее. За прошедшие годы... Странно сознавать, что прошли годы. Не за день ли вымахали до облаков эти сосны?

Карпов шел размашистым бесшумным шагом разведчика. А в лесу то и дело слышалось ауканье, позванивали гитары. Вот мелькнули впереди развешан-

ные на ветвях платья и рубахи, донеслись голоса, звякнуло стекло...

Где-то здесь стояла караульная будка. А может, не стояла? Может, не убрали они с Васюковым часового, может, не ждали, покуда проснется второй немец, чтобы прикончить и его?

А вот и река. Мост должен быть где-то здесь. Да вот же он!

Карпов замер, пораженный открывшейся ему картиной.

Высокие фермы моста, повторяя формой радугу, могли бы соперничать с ней и цветом. Мост светился, сиял, сверкал...

Внизу, под обрывом, на песчаной полоске пляжа шумно плескалась детвора.

Сбежав к парапету, Карпов похлопал по розовому шлифованному камню и с облегчением вздохнул.

Сторонясь машин, навстречу ему торопливо шли Васюков и Таня.

— Нашли все-таки,— усмехнулся Алексей,— а где же... Любовь Ивановна?

— Осталась,— неопределенно ответил Васюков.

— Строго ты с ней... Слушай, Павел Егорович, это что же, новый мост, что ли? Говорили же, деревянный...

— Новый,— кивнул Васюков, пристально в него глядяваясь,— после войны построили.

Карпов обрадовался.

— После войны? Новый? Здорово! Значит, все в порядке? Старый взорвали?

— Взрыв я слышал... Может, ты его и взорвал...

— Взрыв? И в стороне могло ахнуть... Да и не взрывал я, даже не дошел до него... Нас же окружили!..

Васюков опустил глаза. Таня молчала.

— Каждый час дорог,— нахмурился Алексей,— сколько они снарядов по тому мосту пере...— он запнулся.— Что это?

Он только сейчас заметил стоявший справа от моста, почти у самого парапета, невысокий гранитный обелиск. На плоской плите подножия лежали цветы, а сверху несколько разноцветных пасхальных яиц.

«Алексей Петрович Карпов. 1924—1942».

Губы у него внезапно пересохла, в горле запершило.

— Значит... Значит, погиб я? Но я же... Когда? Я же жив!.. Живу!..

— Живешь, Леша! — сквозь слезы выговорил Васюков. — Живешь! Для того и работали столько лет, чтоб... вернуть тебя... Смерть обмануть. Теперь живи, Леша! Живи!..

— Вот оно что-о-ооо... — протянул Алексей. Отстранив Васюкова, выждав, когда машин стало меньше, он ступил на мост и шагами стал мерить его в ширину. Потом лег на асфальтовый настил у самого края и заглянул вниз. Он глядел вниз, в перламутровую зябь реки, и плакал. Потом плюнул и, плача, считал, пока плевков не ударился о воду. Поднялся, подобрал на усеянном мальчишками пляже какую-то корягу и бросил ее в волны.

Когда он вернулся навверх, к Тане и Васюкову, слезы уже высохли.

Снова проносились мимо автобуса чугунные узоры парковых оград, пруды с похожими на вопросительные знаки лебедями, улицы, дворцы...

— Знаете, Алексей, — дрожащим голосом произнесла Таня, — бывало и так: бойца уже не ждут, извещение получили, а он вдруг возвращается. После войны...

— После войны? Хорошо звучит... — Карпов задумался. — После войны, говорите?

— Да, после войны.

Алексей обернулся к Васюкову.

— Эй, Паша... Павел Егорович!.. Ты что, как с похорон? — спросил он, неожиданно повеселев. — Второй день пошел, как я у тебя в гостях, а все постимся. По такому бы случаю...

— Да вы что! — испугалась Таня. — Я вижу, мужчины во все времена одинаковы. У вас же астения... — но посмотрела на Васюкова и сдалась. — Ладно уж... Только под моим наблюдением. И давайте позвоним маме.

Ресторан располагался в саду. Зеленели живые старые деревья, где-то в листве пробовал голос соловей.

За длинным, гнущимся как бы до самого горизонта столом праздновали свадьбу. Не слишком молодой жених был уже навеселе, он повесил пиджак на спинку своего трона и всякий раз, прокричав вместе со всеми «Горько!», тянулся к невесте с новым поцелуем. А она — ей тоже было уже давно за тридцать, — деловито подставляя ему щеку, не забывала и про собравшихся.

— Нинок! — звенел ее энергичный голос. — Поухаживай за гостем с Антарктиды. Он не закусывает. Товарищи целинники! Что же вы прячетесь там, за букетами? Веселее! Ой, ребята, я такая счастливая!..

Гости тоже успели отведать из бутылок, кто пел, кто делился с соседом удивительными случаями из жизни.

— А я в Берлине Зинку свою встретил, — рассказывал пожилой веснушчатый мужчина, — вот она, Зинка моя, напротив сидит. И знаете, самым чудесным образом встретил. Расписывался на рейхстаге, гляжу, кто же это мимо меня движется. Зинка, плачу, как же ты похудела! Выходит, говорю, Зинаида, что я тебя из неволи освободил самым чудесным образом!

— Я выбрала себе квартиру на самом верхнем этаже, — делилась в это время со своей соседкой толстая Зинаида, — по крайней мере, наверху никто плясать не будет. Сейчас ведь все пляшут, почему не поплясать! Ко мне, например, снизу часто приходят, перестаньте, мол, плясать... А я им...

Васюков, как только они втроем уселись за круглый столик возле куста сирени, потянулся к салфеткам и стал на них что-то писать, высчитывать. Зачеркивал, начинал снова.

Подошел старый официант. Васюков даже головы от своих вычислений не поднял.

— Нам бы, — произнесла Таня, — чего-нибудь тонко-тертого.

Официант, проницательным взглядом окинув Алексея, заулыбался.

— Аааа... Это же про вас по телевизору? Ясно! Для вас и погуще что-нибудь найдем. Уж где-где, а в ресторане!.. Огурчики как раз завезли, редис... Икорки вам

подкину, рыбки... Гм...— он лукаво прищурился, увидев изумление Карпова, и продолжал: — Что еще? Да, птичка нынче отменная, сам Федор Терентьевич соус «шофруа» сочинил, невозможно оторваться. Из супов рекомендую «пити». Он у нас сегодня по всем грузинским правилам, с алычой, каждая порция в отдельном горшочке. Впрочем, и соляночка хороша, собственно-ручно тарелочку съел, так что весьма советую...

— Павел Егорович! — схватилась за голову Таня.— Это же...

Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом.

— Да, да, Таня... Конечно.

— Да вы не сомневайтесь,— по-своему понял ее беспокойство официант,— накушается!.. Я же вам еще вторые не назвал. Эскалопчик думаю вам порекомендовать. Он для употребления очень удобен, на косточке, берешь по-домашнему, рукой. Ну, а в отношении напитков, сами понимаете, хоть всю палитру Кавказа, Крыма, Молдавии, стран народной демократии, а также же капстран!

— Павел Егорович! — в отчаянии воскликнула Таня.

— Да, да...— поднял он глаза.— Выбирай, Алеша, мы, можно сказать, рождение твое празднуем...

Через несколько минут круглый столик был весь уставлен едой. Она казалась и вкусней, и обильней, и красивее оттого, что пробу с нее снимал знающий цену сухарю блокадный солдат.

Подсел к столику полюбоваться знатным едоком официант. Улыбалась Таня. Даже Васюков отрывался иной раз от своих расчетов.

— Наваристо! — похвалил Карпов.— Калорийно! Но... Вот если бы вы субпродукты попробовали!..

— А мы их пробовали,— весело огрызнулся официант,— и по сей день вкус помним. Ты корочкой, корочкой тарелку вытри,— посоветовал он. Оглянулся на взрыв хохота за свадебным столом и, понизив голос, сказал: — Эти-то, видите, как милуются! Молодцы! Я до войны тоже девушку имел. Ходить к ней ходил, а жениться... Отдежурю, бывало, в такой же забега-ловке и на острова. Но уже в качестве клиента. А она об этом узнает, примчится в парк и зовет: Сеня-а-аа!.. Найдет под кустом и на извозчике домой везет. А в сорок втором...— официант вздохнул.— Эх, если бы...

— Извините, можно спросить?

Это была невеста.

— Я вас узнала. Вас по телевизору показывали...— Позади нее, подмигивая, делая знаки, стояли еще несколько человек. Остальные гости продолжали пировать, даже не заметив их отсутствия.— Понимаете,— сказала невеста,— мы с Витей... Вот он, который с добрым и умным лицом... Мы с ним только месяц назад нашли друг друга. А разминулись в сорок втором. Нам с ним по восемь тогда исполнилось. Меня в тыл увезли, а он переживал, плакал... Так не будете ли вы любезны... Если вернетесь... передать ему, что... что я...

Карпов посмотрел на Васюкова, на Таню...

— Передам, конечно...— он помедлил и повернулся к официанту.— И старухе твоей, отец... То же самое...

— Что? — с удивлением подался к нему официант.

— Заверни съестного чего-нибудь, напиши адрес. Как знать, получит она посылочку и выживет. Рядом еще сидеть будет.

Официант недоуменно посмотрел на пустой стул рядом, поднялся.

— Но... Ведь это... Но ведь она уже...

— А мне можно? — перебив официанта, шагнула вперед одна из подруг невесты.— Я бы только... Вот!.. Кусок пирога... Ребенку!..

— И я... Прошу...— выкрикнул еще кто-то.— Там, в сорок втором, на Лиговке...

Остальные гости за свадебным столом, ни о чем не подозревая, весело пировали, а эти заговорили вдруг все разом, задвигали стульями, стали лихорадочно заворачивать в салфетки еду. В мгновение ока край бесконечного стола, только что ломившийся от обилия закусок, опустел.

— Хоть яблоко! — просил Карпова седой мужчина в пенсне.— Моей матери... Яблоко...

— Нет! — крикнул вдруг, перекрывая общий гомон, Васюков.— Это невозможно! — и, когда они пристыженно умолкли, задыхаясь, объяснил: — Это невозможно, что вы... Время отталкивает... Продукты, вещи — все равно. Мы уже пытались. А Карпов.., Он.., Он не вернется.

— Не вернусь? — удивился Алексей. — А мост?.. С мостом как же?..

Собрав со стола исписанные салфетки, Васюков скомкал их и отбросил в сторону.

— Пути назад нет, — глухо произнес он, — когда-нибудь... Через много лет... А пока...

— Выберусь, — произнес Карпов, — вы не волнуйтесь, — обратился он к обступившим стол людям, — я выберусь! А ты, отец, готовь посылку... Не оттолкнет, не бойся.

Официант горько вздохнул.

— Она ведь на Пискаревском...

— Ничего, — брови Карпова сошлись в одну линию, лоб прорезала морщина, — это ничего... У меня вот тоже могила есть, даже с камушком, а я живой!.. — он порывисто поднялся, постоял молча и вдруг бросился из-за стола.

Роняя на пути стулья, Васюков побежал за ним.

Таня словно застыла за уставленным тарелками круглым столиком.

Посерьезневшие гости вернулись на свои места, потянулись к бокалам...

Стал собирать посуду официант.

Запыхавшись, подошла Любовь Ивановна.

— А где же все? Я думала, праздник, пир... — присела рядом с Таней, чужой вилкой отведала из чужой тарелки и слабо улыбнулась. — Я бы лучше сготовила. Я бы... Для него... Скажи, Таня, ведь не получится у Паши, правда? И потом... Мы же договорились с Пашей... — и засмеялась. — Что это я?.. Он и без того возвращать Лешу не хочет, правда?

— Да, — прошептала Таня, — да, и Павел Егорович этого не хочет, и ты, и я... Но... У каждого свой мост в жизни... А ты, мама... Тебя взять... И меня растила, и... Если бы не ты, разве Павел Егорович выучился бы?.. Ты ведь...

— А я не для него, — прервала ее Любовь Ивановна, — я не для Паши это...

— Знаю, — грустно кивнула Таня. — Раньше я сама так же думала, как ты... Только бы сюда его... Лешу... перенести... Только спасти бы. Но, когда я его увидела, я поняла... Он не сможет. Он же... Что вы тогда о нем подумаете там, в прошлом?

— Не тебе судить! — резко оборвала ее мать. — Ты-то дышишь, и он хочет дышать! И он жить хочет! — почти крикнула она. — Вот если бы ты там очутилась... Ты что, хочешь, чтоб он в могилу... в могилу... влез?.. — задохнувшись, она схватилась за ворот платья. Закашлялась...

— Мама! — бросилась к ней Таня.

Сзади неслышно подошел старый официант.

— Вот... Профессор тут писал что-то на салфетках, считал. Вы ему передайте. Может, поможет это парню... туда... обратно...

Васюков едва успел прыгнуть в автобус. Пробился к Карпову.

— Ты куда, Леша?

— Туда... В сорок второй...

Ближе к окраине автобус стал обгонять идущих только в одну сторону людей. Их становилось все больше, больше. И вот вытянулись они в длиннейшую многокилометровую процессию.

— Родственники, — ответил Васюков на невысказанный вопрос Карпова. — Почти полмиллиона лежит на Пискаревском, а это родственники...

Они вышли из автобуса и влились в бесконечную молчаливую человеческую реку, вместе с ней достигли высоких ворот кладбища.

Оно состояло из огромных, поросших нежной зеленой травкой четырехугольных клумб. По краям лежали цветы и венки с лентами, пестрели разноцветные пасхальные яйца, шоколадные, в яркой обертке конфеты.

Где-то здесь, в одной из этих могил, были и родители Карпова.

По широким аллеям мимо взятых в гранитные рамки зеленых прямоугольников целыми семьями, с детьми неторопливо шли люди. Свои, русские, и из других краев тоже.

Многие встречали знакомых, сдержанно здоровались. Читали надписи на лентах.

— Вот, — показал кто-то подбородком, — от нашего коллектива венки.

Сосали валидол.

Вдыхали.

— Воздух здесь хороший,— сказал еще кто-то,— как в поле.

Прошел мимо Карпова плечистый военный в фуражке с зеленым околышем, с погонами на плечах. Новая форма? А погоны-то для его плеч малы. Рядом с военным — однорукий седоголовый старикан. Все что-то посматривал, посматривал... Тронув Васюкова за рукав, кивнул на Карпова.

— Не узнает. Говорю, не узнает меня.

Алексей пригляделся.

— Сан Саныч!

...Обтекая их, завинчивалась водоворотом толпа. Невольно прислушивалась, присматривалась.

Молча стоял рядом Васюков.

— Видишь, Леша, сколько ходиков пришлось остановить,— показал Сан Саныч на могилы.— Скажи, а ты по-прежнему чувствуешь время без часов?

Карпов неуверенно кивнул.

— А у нас часы есть в городе,— сумрачно улыбнулся Сан Саныч,— новые... Так они без стрелок... Я часто к ним хожу. Там скамейка есть каменная, сяду и слушаю. Даром, что без стрелок, а тикают. Да, что же я вас не познакомлю?.. Это мой второй сын. Помнишь ходики? Как видишь, выжил он. Степа, ты как выжил?

— Благодаря салу, папа.

— Кто тебе его принес?

— Усатый солдат, папа.

Выцветшими печальными глазами Сан Саныч вглядывался куда-то в прошлое.

— Благодаря этому салу,— произнес он,— у меня есть сын, а у нашей страны защитник. Может, ты, Алексей, думаешь, что все уже спокойно у нас? Как они свою бомбу называют, сынок?

— Ядерное устройство, папа.

— А что это за устройство такое?

— По своему тротиловому эквиваленту, папа, оно превышает все заряды прошлой войны, но ты не беспокойся, папа, мы им такой намордник делаем...

Сан Саныч качал головой, всматривался в прошлое.

— Знаю, сынок,— проговорил он,— ты-то, если что... в тылу не окажешься...

— Дело не в этом,— смутился, покосившись на Карпова, Степан.

— Я же...— начал было Алексей.—Я...

— Скажите,— обратилась к нему в этот момент какая-то очкастая женщина,— вы ведь тот самый солдат? Карпухин?.. У меня... просьба... Не могли бы вы передать... если вернетесь... маме моей... Она вот здесь лежит... что я... Ну, что я кандидат наук, замужем...

— И мне, мне передайте,— тут же потребовала другая женщина,— мне!.. Скажите мне, чтобы... Что у меня ошибка в коэффициенте! Ах, боже мой, дайте же досказать!

— Дети у меня здоровые, послушные,— продолжала свое первая женщина,— обязательно передайте, она так мечтала...

— Передайте ему, что он был прав,— пробился вперед дочерна загорелый здоровяк,— нефть! Месторождение!..

— Почему она не писала? Узнайте!..

— В шкафчике от часового механизма... Кусочки сахара!..

Не ожидая, покуда закончит предыдущий, каждый твердил свое самое важное, основное.

— Скажите им, что не зря! Не зря!..

— Пусть не выходит двадцать третьего на улицу! Она погибнет! Скажите ей!

— Четвертого января!.. Артобстрел!..

— Восьмого мая!..

— Четырнадцатого!..

Отчаянные эти просьбы слились в один протяжный, мучительный крик. Карпов не успевал запоминать адреса, имена, он зажмурился, шагнул, как слепой, прямо на говоривших. Они расступились и, внезапно все разом умолкнув, смотрели, как он уходит, и только внутреннее, спрятанное рыданье еще сотрясало их плечи.

На минуту выйдя из берегов, горе снова вошло в них и снова стало сдержанным, незаметным. Все так же медлительно потекла мимо зеленых могил живая человеческая река.

Кто-то тронул Карпова за рукав.

— Пожалуйста... Я хотел задавать фам один фопрос.

Это был высокого роста пожилой человек в военном, но не нашем мундире.

— Товарищ,— вмешался подоспевший Васюков,— с него хватит! Я прошу вас... Он из блокады. Шок...

— Я из Германия,— непонимающе произнес тот,— из Лейпциг... Немец...

— Немец! — с ненавистью переспросил опешивший Алексей.— Что ж ты делаешь на нашем кладбище, немец?

— Я считал, я позволил себе... Это... Это полезно...

— Что-ooo?.. Ах ты!..— схватив его за обшлага форменного кителя, Карпов с силой притянул его к себе.— Ах ты!..

— Леша! Алексей!..— пытался помешать ему Васюков.— Что ты? Это же!..

Подбежал Степан, подошел растерянный Сан Саныч... Карпову растолковали, объяснили истинное положение вещей.

— Я, Курт Вебер, есть коммунист! — говорил немец.— Как это сказать? Больше!.. Больше двадцать лет! Отшен давно. Вы понимаете?

— Понимаю,— хрипло дыша, произнес Карпов,— русский язык учишь?

Немец утвердительно заулыбался.

— Есть один секрет... Как это? Тайна! Вы вчера телевизор, да? А я смотреть и...— он вынул из внутреннего кармана завернутую в целлофан ветхую бумажку.— Это есть вы?

Сквозь прозрачную обертку Карпов увидел мелкие немецкие литеры, а поверх них размашистые русские слова: «Нет, не могу. Живи!»

— Талисман! — произнес Вебер.— Я отшен хотел узнать, что тут есть написано. И отсюда стал учить русского языка. Как это сказать? Любопытнечтво! Кто писал? Вы?

— Ну, я писал,— хмуро, без удивления ответил Карпов,— только... Я вроде другое что-то написал. Паша, ведь другое?

— Нет, все верно,— подтвердил побледневший Васюков.— Именно это...

Немец провел ладонью по лицу.

— Вы?.. Это есть вы?..

— В будке у моста дело было,— все еще угрюмо сказал Карпов,— спал ты...

— Зачем же вы меня не... Я стрелял город, на них,— Вебер показал на кладбище,— просто так, без прицел... Просто на Ленинград... Почему же вы...

— Ладно,— оборвал его Карпов,— сам грамотный,— он повернулся и зашагал к чугунным воротам, но тут же остановился.— Слушай, а интересно... Где можно было в ту ночь к мосту пробраться? Паша, переведи ему.

Но немец понял.

— Сейчас думать,— произнес он,— сейчас...— присел на корточки и автоматическим карандашом набросал на асфальте план.— Вот река... Идите право... Там есть только один зольдат, но сразу знайте это... Сразу! А тут... Как это? Дерево висят...— он уже не казался чисто выбритым, лицо его осунулось и посерело.— Дерево,— повторил он,— сейчас думать... Сейчас,— лоб его избороздили морщины.

— Степан,— задумчиво проговорил Сан Саныч,— вот и твой черед пришел. Подсоби...

И Степан, опустившись на корточки, взяв у Вебера автоматический карандаш и машинально осмотрев этот карандаш, тут же добавил к плану пару извилистых линий.

— Вот это бы деревцо свалить, раз оно возле воды и... А?

Немец одобрительно закивал.

— О, карашо! Отлично! Глафное,— повернулся он к Карпову,— как только будете меня видеть, стреляйте!

Карпов молчал.

— Хоть пообещай ему,— попросил Сан Саныч.— Знаешь, как совесть людей ест?

Карпов и на это промолчал, медленно-медленно, словно каждую минуту мог вернуться к могилам, пошел к воротам. Он даже не заметил шедших ему навстречу Любовь Ивановну и Таню.

— Догони его,— подтолкнула она дочь.— Ты же врач, присмотри... Ну!..

— Пойдем вместе, мама.

— Я плохо... выгляжу...

...В большом городе время идет быстро. В одном конце улицы вечер, а в другом уже ночь. Белая, призрачно-голубая ночь стояла над чистыми ленинградскими улицами. На высокой башне новенького дворца полной луной светился странный циферблат. Карпов не сразу догадался, почему странный. И вдруг понял — часы показывали время без стрелок. Но тиканья их Карпов, как ни старался, не услышал. Он даже огляделся невольно. Вот и каменная скамейка, о которой говорил Сан Саныч. А где же он сам? Почему оставил он эти заветные часы без присмотра?

Рядом с Карповым, настороженно поглядывая на него, шла Таня.

Невдалеке, весело переговариваясь, держась за руки, пробежали два подростка, мальчик и девочка. Оба они были в зеленых брюках и куртках с нашивками на рукавах, в пилотках, но девочке брюки были тесны, словно она только что вышла в них из воды. Взявшись за невысокий чугунный заборчик, юнец стал ловко перепрыгивать через него. Спутница его, восхищенно захлопав в ладоши, принялась считать: раз, два, три... пять... семь...

— Чего распрыгался, салажонок? — крикнул вдруг Алексей.

Таня испуганно дернула его за рукав.

— Зачем вы? Пусть...

— Война ведь, а он...

— Какая война?

— В роте у нас был такой же, — хмуро отвернулся Карпов, — начнет его, бывало, почтальон толстым письмом по носу бить — ого!..

Девочка все считала: пятнадцать... двадцать два...

— Вот от такой же, наверно, письма были. Мелким почерком. Так он последнего и недочитал.

— Вы не устали? — спросила Таня. — Сколько часов бродим...

— Это я-то? Хотите, на руках вас понесу?

От неожиданности она споткнулась.

— Скорее, я вас должна... Все-таки я врач.

Карпов хмыкнул.

— А что? — рассердилась она. — Из любого огня... Был бы случай, убедились бы...

Вышли к Неве. По пустынному, чуть дымящемуся зеркалу ее медленно, беззвучно плыла пустая лодка.

— Будто невидимка в лодке, правда? — спросила Таня.

Стараясь отвлечь его, приободрить, она глазами, рукой, улыбкой стала показывать ему тишину. Сорвала с тополя крохотный листок.

— Такой клейкий! Как почтовая марка!

А он не мог, не решался в эту тишину поверить. Обманчивыми казались ему и тишина, и беспечная голубая ночь, и колеблющее легкие занавеси сонное дыхание людей.

— Спят,— с отчаянием проговорил он,— война, а они спят!

— Опять вы за свое,— удивилась она шепотом,— какая война?

— Спят... Как же так? Так все на свете проспать можно.— Сознание Алексея сопротивлялось тишине, требовало каких-то немедленных действий. Нельзя спать, опасно...— Не спите! — вырвалось у него.— Эй, люди! Война!..

— Тише! — вскрикнула и Таня.— Вы их разбудите!

— Война! — повторил Алексей.— Вставайте, делайте что-нибудь.

Из окон уже стали высовываться заспанные физиономии. На балконах появились полуодетые, прямо из постелей фигуры.

— Это правда? — спросила завернутая в одеяло женщина.— Неужели война?..

— Нет, нет! Спите! — умоляюще замахала руками Таня.— Спите!

— Фу-ууу... А я-то, дура, чуть не поверила. Слава богу!

— Пижон в расрочку! — возмутился на уставленном цветами балконе лысый усач.— Ишь чего выдумал... Вобла!

— Сам ты сурок! — в сердцах выпалил Алексей.— Гляди, бомбу не проспиди! — плюнув даже сгоряча, он свернул за угол.

— Набросились,— укорила людей Таня,— телевизор надо смотреть! Это же блокадный солдат, из про-

шлого... У него же психологическая несовместимость...

— И вы оттуда? — заинтересовалась женщина.

Таня сквозь слезы засмеялась.

— Нет... Я здешняя.

— А кто вы ему?

— Врач.

— Тогда все ясно, — крикнул вдогонку ей усач, — хватили, видно, чистого медицинского!.. Не спите! Не спите! — передразнил он. — А если я только со смены? Чего же мне не спать?

Таня остановилась.

— Некоторые люди и с открытыми глазами спят.

Она ушла.

— Крепко, — пробасил кто-то.

— А что? — подал голос другой. — Разобраться, так... Не проспять бы чего и впрямь.

— Пусть только попробуют, — хмуро ответили ему с соседнего балкона, — на противопожарный случай и у нас есть. Видали на параде?

— Не в этой кишке главная сила.

— А в чем?

— Думай, голова, шляпу куплю.

— Да что там, — неожиданно взял слово усач, — мы вот монтаж нынче с напарником вели на самой верхогуре. Глядим, шарик летит воздушный, голубой... Пусть бы себе летел. Ведь красиво! А напарник, даже не подумав, хватя его. Шарик и лопнул.

— Ты к чему?

— К тому самому... В добротe сила... В душе...

— На напарника валишь, — сказала женщина, — а зачем сам солдата обругал?

На балконах одобрительно рассмеялись.

Кто-то, позевывая, вернулся в комнаты досыпать. Кто-то задумчиво закурил...

Почти в начале проспекта на одном из домов висела табличка: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Возле этой таблички Таня и догнала Алексея.

— Мы здесь живем, — сказала она, — окна темные, мамы еще нет... Давай... Давайте поднимемся и пождем ее.

Открыв старый скрипучий шкаф, она достала картонную коробку, а из нее трехпалую солдатскую рукавицу. Натянула ее на руку, прижала к лицу.

— Чья это? — спросил Карпов.

— Отцовская... Отец маме ее подарил. На память... Хочешь есть?

— Не очень.

Она отправилась на кухню и принесла оттуда черствый, но горячий ломоть.

— Больше ничего нет,— растерянно произнесла она,— я его над конфоркой подержала.

С наслаждением вонзил он зубы в хрустящую, царапающую небо корочку, напомнившую ему оставшийся во вчерашнем дне скудный военный мир.

— Мало я им еще высказал, суркам этим. Еще бы разок туда попасть, на ту улицу, я бы им... — и осекся, даже потупился под долгим ее взглядом.

— Не спите, не спите. — вспоминая, произнесла Таня.— Я понимаю, Леша, о чем вы... ты... Но они ведь не только что родились. Они вместе с тобой там были... И... после тебя... Десятки лет... Это же они все вокруг сделали... А ты одним махом... Я понимаю, здесь весна, мир... Но... Знаешь, что я решила? Мы пойдем туда, назад, вместе!.. Да, да! Хорошо, что я тоже не замужем, как мама... Это бы помешало...

Он услышал только то, что хотел слышать.

— Не замужем?.. А он... Павел Егорович?.. Разве он не женат?..

— Как же он может быть женат, если она не замужем? — Таня грустно засмеялась.

— Но как же... — Карпов посмотрел на нее в упор.— Кто же... Чья это рукавица?

— Твоя...

Он отшатнулся.

— Значит?..

— Да. Я ведь... Татьяна Алексеевна!.. — она все еще тихо смеялась.

— Но, ей-богу! — вскричал он растерянно.— Не было!.. И рукавицу я не дарил! Я их в гардероб сдал вчера, можешь проверить. Я не дарил...

Она рассказывала, а он недоверчиво, удивленно слушал. Потом молчали. Долго-долго молчали. Она са-

ма не заметила, как положила руки на стол, голову на руки...

«Сколько же это времени сейчас? — подумал Алексей и вдруг почти со страхом ощутил, что лишился своего умения обходиться без часов.— Сколько же сейчас времени? Неужели?..»

Откуда-то из глубины памяти тихо-тихо, но все громче, оглушительно громко всплыло монотонное тиканье часов. Ходики... Те самые, на стене у Сан Саныча. «Ать-два! Ать-два!..»

А это какие?

Уже не одни, не двое, а добрый десяток часов, два десятка, четыре звучали в его сознании. Тысячи, сотни тысяч живых часов...

Карпов ощутил, как стремительно, безвозвратно течет время. Почему же он медлит? Чего ждет? Он должен!.. Скорей!.. Иначе будет поздно!..

Карпов вскочил на ноги. Взглянул на Таню... Спит... Пусть спит. Пусть она спокойно спит...

Пустынными были в этот ранний утренний час улицы. Только солнце одиноко стояло в небе, над крышами домов.

Карпов побежал. Одна улица, другая... Карпов долго бежал, потом шел. Все медленнее, медленнее.

Устал?..

Остановился. Задумался.

И увидел часы... Те самые часы без стрелок на высокой башне новенького дворца.

И услышал время... Почудилось, или в самом деле услышал? Оно звучало так громко, так взволнованно... А может, это стучала в висках кровь?

На гранитной скамье, аккуратно подложив газету, сидел однорукий седоголовый старикан.

Взгляды их встретились.

— Прощай, Сан Саныч,— сказал Карпов.

Старик задумчиво улыбался.

— Почему же прощай, Леша? До свиданья! Ведь мы скоро увидимся... Там, в сорок втором...

И, словно запруду снесло где-то, ручьями, реками потекли из подъездов, дворов, переулков люди. У всех у них был подчеркнуто будничным, деловым вид. Маленькие обшарпанные чемоданчики, в которых обычно

носят инструменты; портфели, скрипичные футляры, длинные трубки чертежей — чего только не было у них в руках или под мышкой.

Да и сам город преобразился. Побежали, опережая друг друга, автобусы и троллейбусы, мощно задышали заводы, березами выросли из земли и ударили в небо фонтаны...

И с ворчаньем прополз мимо, смывая вчерашний мусор, неторопливый поливальщик.

— Вези меня, друг, направо, — вскочив на подножку, приказал Карпов, — опаздываю!..

— Чего, чего? — вытаращил глаза щекастый паренек-шофер. — А ну, брысь отсюда!

Карпов торопливо объяснил ему, что так, мол, и так. Ты, мол, и родился, может быть, потому, что сейчас меня подвезешь: я ведь родителей твоих спасу...

Паренек поморгал белыми поросычьими ресницами, вдумался.

— Да ведь я приезжий, — хохотнул он, — родители мои в Тюмени тогда жили. Так что спасать их тебе не придется! Всего наилучшего! — он прибавил скорость, но почти тут же остановился. — Садись! Ну! Быстрей!..

Карпов, не долго думая, забрался в кабину, и поливальщик во всю силу мотора помчался по улицам, продолжая щедро поливать их водой. Он напоминал теперь торпедный катер.

— Галка-то моя — питерская, — открылся шофер, — коренная! Теща по воду в блокаду к Неве ходила. Рассказывала, что снаряды прорубей наделали. Хорошо, говорит, было — долбить не нужно...

— Вот видишь, — крикнул ему в ответ Карпов, — того и гляди, накроет твою тещу снарядом, и не родится у нее дочка, а дочка не выйдет за тебя замуж. И все потому, что ты меня не подвез...

— Так везу же!

Карпов говорил, а думал о своем.

— Пришел бы ты домой, — говорил он, — а жены как не бывало. Будто померещилась она тебе, приснилась...

— Так везу же! — сердился шофер. — Везу.

Площадь перед институтом была заполнена людьми. Некоторые показались Карпову знакомыми. Напри-

мер, мальчик и девочка, что встретились ему с Таней в сквере. Или вот этот лысый усач... Он на балконе стоял ночью, возмущался. А это кто? Степан! Сын Сан Саныча... Увидел Алексея и вытянулся перед ним, как перед генералом.

— Вы слишком здоровый,— крикнул Степану мальчик,— на вас много энергии потребуется, а я маленький, худощавый...

Карпова обступили. По жаркому человеческому коридору молча шел он к институтской двери.

— Я ни одного субботника не пропустил! — пробивался за ним мальчик.— Так лед колот, даже лом обратно вытаскивать было трудно...

— Это правда,— подтвердила девочка,— я видела!

— Есть уже порох в пороховницах,— засмеялся лысый усач,— еще хлебнете, успеете, вот я-то,— обратился он к Карпову,— уж точно бы пригодился! Я снайпер, приклад у меня от зарубок шершавым был. Возьми!

— Меня! Меня возьмите! — послышалось отовсюду.— Меня!

— Товарищ Карпов,— пробился вперед Степан.— Папа этого не сказал, но я понял... Я и сам... Я рядовым пойду... С вами...

На короткое мгновение Карпов представил всех их в военной форме. В масках, касках... С автоматами...

Нет, нет! Пусть здесь в оба глядят... Пусть ходят в ковбойках, пиджаках, шляпах... Пусть живут!..

— Леша!..

У входа в лабораторию стояла Любовь Ивановна.

— А я тебя здесь... Вот, жду тебя... — она через силу улыбалась.— Пообещал мне Паша, так чего ж еще, кажется?... Раз он пообещал... Мне... А все боюсь. Официант меня напугал. Я, говорит, в клиентах разбираюсь, вернется он, парень этот... А ты не вернешься, правда? Правда, Леша?

Карпов нахмурился, прошел мимо.

— Леша!.. Прощай!..

Он медленно, с трудом оглянулся.

— Нет... Люба... До свиданья...

Васюков был один. Осторожно вертел на пульте пуговицы настройки. Что-то сухо щелкнуло, участились удары метронома, потом стали редкими, тягучими...

— Ну, Павел Егорович,— произнес Карпов,— чем обрадуешь?

Васюков повернул к нему усталое, еще больше постаревшее за ночь лицо.

— Не получается... Не могу я еще назад.

Карпов усмехнулся.

— А ты меня вперед пошли. Вперед можешь? А уж оттуда, из будущего... С пересадкой.

Васюков ахнул, поднялся, схватил его за плечи.

— Ты... Ты догадался? Но... А если... там ничего нет? Нет будущего?.. Вдруг пусто там?.. Пепел...

— Пепел? — высвободился Алексей.— Брехня! — ткнул Васюкова в живот.— Разглядел я вас, нынешних. Народ вы хоть и пузатый, но плечистый. Не дадитесь!

— Леша, но зачем сейчас?.. Останься!.. Дождись, покуда я обратный канал выдумаю... Ведь я тебя тогда точно в тот же день верну, или нет, лучше раньше на день... Да, да,— задумался на миг Васюков,— на день раньше... А пока поживи... Спасибо за смелость твою, за совесть... Но поживи! Мы еще...

— Нет! — резко прервал его Алексей.— Не могу ждать... Не хочу... А что если... если привыкну? А мне нужно взорвать мост! Людей спасти!.. — он стиснул Васюкову локоть и укоризненно улыбнулся.— Эх, ты... На войне всякое случается, что ж ты меня заранее... Я еще сто лет проживу!..

— Успела!..

В распахнувшейся двери стояла Таня.

— Успела все-таки! — бросилась к Алексею, обняла.— Ты говорил, что я похожа на маму... Но я ведь и на тебя похожа... Хочу быть похожей... И мы... Вместе...

Низкий гудящий звон поплыл по лаборатории. Таня стояла посреди нее, обнимая пустой воздух. Карпов исчез.

Он увидел себя на просторном, пестром от цветов лугу. По правую сторону цвели сады, по левую сверкал и светился крышами город, а в центре на луговой траве стояло великое множество людей. Молодые, старые... Глубокое волнение, самозабвенную радость можно бы-

ло прочитать на их лицах. Правда, какой-то четырех или пяти лет несмышленищ, хотя и с любопытством всматривался в Карпова, не забывал в то же время лизать маленьким розовым языком мороженое.

Карпов попытался шагнуть вперед, но что-то удерживало, не позволяло. Словно мягкая стеклянная стена была перед ним.

Но вот от людей отделился рослый вихрастый парень в солдатской, точно у Карпова, гимнастерке с петлицами на отложном воротнике. В руках он тоже держал узел маскхалата и автомат. Карпову даже показалось, что он его когда-то уже видел, знает... Брови, глаза, нос...

Парень подошел совсем близко. Стеклянная стена ему не помешала.

— Ты кто? — спросил Алексей.

— Алексей.

— Тетка... Уж не родственник ли?

— Праправнук...

Карпов изумленно свистнул. И тут же у него больно екнуло сердце.

— Значит... Васюкова, Любы, Тани... Уже...

— Нет... — тихо закончил праправнук.

— Но земля-то цела? — крикнул Карпов. — Цела?..
Есть будущее?

— Все зависит от того... будет ли взорван... мост...

Карпов понимающе кивнул.

— А что это за форма на тебе? Вроде...

Оглянувшись на людей, словно набираясь от них решимости, парень произнес:

— Позволь мне... я...

— И ты со мной хочешь? — воскликнул Карпов.

— Нет, не с тобой, а... вместо тебя...

— Чудак, — засмеялся Карпов. — И не проси. Это я сам должен... Ну... Будь, тетка, здоров!..

И уже издали, из безмерной дали будущего времени донесся ответ:

— Будь бессмертен!

Косо летел крупный ленивый снег, в нескольких шагах впереди с автоматом за спиной шел Васюков.

— Живой? — не удержался Карпов.

Тот удивленно оглянулся.

— Пока живой... — отогнул рукав возле запястья.— Двадцать минут пятого. Как думаешь, Леша, за час доберемся?

Алексей счастливо засмеялся.

— На три минуты твои никелированные спешат!

И Васюков, не споря, перевел назад стрелку.

«Молодец Павел Егорович,— подумал Алексей,— на день раньше меня вернул. А что если уже сегодня к мосту пойти? Нет, в прошлый раз еле-еле душа в теле осталась, покуда минное поле переползли, едва на пикеты не нарвались, а потом еще и окружили нас... Если пойти сегодня, все, конечно, будет иначе, но легче ли? Скорее наоборот. Можно запросто погибнуть, и мост останется невзорванным. Придется потерпеть, зато завтра каждый шаг будет мне наперед известен, ведь я его уже прожил один раз, это завтра...»

— Завтра пойдем взрывать мост,— подумал он вслух.

— Только ордена получили,— возразил Васюков,— майор это учтет, что он, не человек? Опять же, на отдыхе мы будем, как же...

— Позвонит Сан Санычу и передаст. Ничего...

— Какому еще Сан Санычу?

...Карпов шагал по городу, всматриваясь в него новыми глазами. В необычной задумчивости стоял над снарядами воронками посреди мостовой, у развалин домов с сохранившимися кусочками квартир... Чья-то висящая над пропастью постель... Клетка с заснеженным комочком птицы... Рама от сгоревшей картины... В черном проеме мертвого окна круглое бледное лицо полной луны...

На месте памятников возвышались холмы. Брезентом были прикрыты поленницы трупов... Мертвая рука грозила из невысокого сугроба... Ведро с застывшей водой стояло у подъезда. Где же хозяин?

Снова воронка... Ветер чье-то письмо по снегу гонит... Зенитки... Вот медленно тянет какой-то старик салазки, а на них в огненно-красном одеяле... Кто?

Очереди у запертых магазинов. Стоят молча, с закрытыми глазами...

Нешумные, идущие не в ногу группы солдат...

Редкие прохожие...

Почти каждому Карпов говорил:

— Привет вам, папаша!

— Граждане, вам привет!

Они поворачивали головы, смотрели на него, но от кого именно привет, не спрашивали.

В темных колодцах дворов медленной каруселью кружился снег. Какая-то женщина в грязной потертой шубе катала вдоль стены коляску с ребенком. Закутанное в пестрые тряпки так, что только маленькие круглые очки были видны, дитя протянуло ручонку ладошкой вверх и ловило снежинки.

— Римма, спрячь руку,— сказала женщина.

Васюков прошел мимо, виновато ссутулился и остановился, зная, что остановится и Карпов.

— Ты что это в коляске сидишь? — спросил Алексей.— Заболела?

— Типун тебе на язык! — воскликнула женщина.— Шатаются тут по закоулкам, а немцы...

— Нет, я не болею,— сказала девочка,— я ходить разучилась, а разговаривать еще могу...

— Пустое,— вздохнула женщина,— пустое...

— Это вы зря,— рассердился Карпов,— у нее еще муж будет и двое детишек, здоровых и послушных. Она еще в кандидаты наук выйдет!..

Женщина недоверчиво улыбнулась.

— Римма, спрячь ручку в рукав, простудишься.

— Нет, мне нравится, что они тают. Значит, я теплая...

...В ледяном парадном в темном углу под лестницей стоял мальчик лет восьми и громко всхлипывал.

— Чего, пацан, реवेशь? — спросил Карпов.— Васюков, подожди минуточку!..

— Машу куда-то увезли,— сквозь слезы ответил мальчик,— мы с ней вчера в победу играли, а сегодня... Прихожу, а ее нет. Увезли... А я... Я ее люблю!

Карпов растерянно кашлянул.

— Так отыщи ее,— выговорил он,— всю жизнь ищи. А найдешь, женись на ней. Понял?

Мальчик не ответил. Бросил на него быстрый взгляд и отвернулся.

...Догнав Васюкова, Алексей молча зашагал вслед за ним по узкой свежей тропе.

— Невский скоро,— оглянулся на него Васюков,— ветреней стало. Ты что?

Карпов с изумлением оглядывался по сторонам. Узнал улицу, на которой мирной белой ночью там, в будущем, кричал о войне и разбудил спящих. Да, да... Те же дома, подъезды... Окна и балконы... Только выглядело сейчас все иначе, мрачно, мертво. Подъезды без дверей, окна черные, слепые. Неужели в этих безмолвных каменных громадах, за холодными стенами живут люди, живые люди? Неужели раздаются там человеческие голоса или, по крайней мере, рыдания? Трудно было в это поверить.

Волна какой-то мучительной, самого Карпова удивившей любви прилила к его сердцу. Он почувствовал себя намного старше самого старого жителя этого города, этой улицы, всезнающим, всемогущим.

— Люди-и-и! — закричал он, и крик его, ударяясь о стены, полетел по продутому ветрами Ленинграду.— Люди, живите! Не умирайте! Будет тепло и весело! Будут хлеб, молоко, свет!.. Только потерпите, не умирайте! Я знаю!..

Показалось Карпову, а может, нет, но дома как бы встрепенулись, разбуженные его криком. Снег на мгновение замер в своем полете, остановился, прислушиваясь, ветер. И тут же все снова потекло по своим руслам, время двинулось дальше.

Он увидел перед собой серое плосковатое лицо Васюкова, его широко раскрытые любопытные глаза.

— А откуда?.. Откуда ты знаешь?

И Карпов не стал скрывать.

— Я ведь, Паша, одним глазком того... В будущее заглянул!

Васюков раскатисто рассмеялся.

— В будущее?! Хорошо, я не против, ври дальше. Какое оно хоть, будущее?

— Весна там, мир... На улицах книги продают. На стоянках такси очередь длиннее, чем на трамвайных остановках...

— Погоди! А люди какие?

— У тех, кто здесь молодой, там уже седина и лысина...

— И вся разница?

— Ну, почему вся? У них...

— Нет, нет! Не рассказывай! — перебил его Васюков.— Когда все наперед знаешь, жить неинтересно.

Однако любознательность его тут же взяла верх,

Улыбаясь, хмурясь, озадаченно почесывая затылок, он вновь подступил с вопросами:

— Леша, ну, хорошо, раз ты в будущем был, ответь: узнали там, почему яблоки на землю падают?

— Яблоки? — рассеянно переспросил Карпов. — Паданцы, что ли? Это у заготовителей спросить нужно. Взгреть их за это нужно.

Глаза у Васюкова горели, он и не верил Алексею и верил, хотел верить.

— Леша, а Леша, — не унимался он, — а узнали там, чем люди сны видят? Ведь глаза у спящих закрыты!..

— Запишешься, Паша, в академию, сам узнаешь.

— Сам? — Васюков задумался. — Запишусь, если жив останусь. Вот только зрение у меня больно хорошее, — он лукаво засмеялся, — а без очков могут ведь не принять!

...Они вышли на белую, не тронутую колесами дорогу. Впереди появились березовый шлагбаум и постовой возле него.

Показали документы и пошли к дому отдыха.

У Карпова было такое чувство, будто он видит недавний, еще раз повторившийся сон. И вспомнился вопрос Васюкова. Чем люди сны глядят?.. Ах, Васюков, Васюков! Не ты ли, Паша, все это и устроил? Так о чем же ты спрашиваешь?

...В первом окне с разинутыми в хохоте ртами полулежали на кроватях солдаты. Как будто так и остались они в этой позе еще с того, первого раза.

— Гха-ха-ха-гаа!.. — задрожали стекла.

— Свежими анекдотами балуются, — сделал вывод Васюков.

Во втором окне передвигал единственной рукой косячки канцелярских счетов старшина...

В третьем окне на березовом чурбаке сидела Люба. Мыла картошку. Вот она подняла картофелину над чунгом, разжала пальцы... И улыбнулась.

У Карпова защипало в глазах. Он хотел отступить от окна, но Васюков, лихо сбив набок ушанку, уже стучал в стекло.

Она повернула голову и увидела их. Всплеснула руками, поднялась и выбежала во двор. Медленно пошла.

Васюков хотел ее обнять, но она вырвалась. А тут и Сан Саныч появился, начал стыдить Пашку...

Все, как в прошлый раз. И чуточку вроде не так...

...В канцелярию Карпов вошел первым. Взглянул на ходики... «Ать-два! Ать-два!..» Идут! Облегченно вздохнув, Карпов взял из-под скатерти ключ и отпер сейф. Вынул из него плоский брусочек сала, сунул в карман, затем, замкнув сейф, выбросил ключ через форточку в снег.

Вошел Сан Саныч.

«Вот и увиделись»,— улыбаясь, подумал Алексей.

— Здравствуй, Сан Саныч.

Старшина почему-то не удивился. Коротко посмотрел, вынул тетрадь и стал заносить в нее данные новых постояльцев. И вдруг снова коротко, пронзительно посмотрел. И сумрачно усмехнулся.

Да уж не знает ли он про все?

Вошла Люба.

— Две картошки нужно в котел добавить,— радостно покосилась она на Карпова.

— Обязательно!— сказал Сан Саныч.— И жиры тоже...— пошарил под скатертью.— И жиры,— пробормотал он,— и десерт... Что у нас завтра на десерт?

— Есть еще рюмочка сгущенного молока.

— Ты, Люба, разведи его пожиже, вылей в красивую тарелку и... Черт, где это ключ подевался?

— Гха-ха-ха-гаа!— раздалось за стеной.

Чтобы не помешать, Карпов замер у порога.

— Наступила очередь русского,— удобно развалясь на койке, рассказывал Васюков.

Сосед его, веснушчатый паренек — у него даже на губах веснушки темнели,— заинтересованно округлил глаза.

— Ну, ну.. Какое же решение принял наш товарищ?

— А русский богатырь, Иван-слесаревич, железный стержень докрасна раскалил и холодным концом Гитлеру...

— Почему же холодным? — разочарованно спросил усатый снайпер, сняв наконец гимнастерку.

— Чтоб никто вытащить не смог! — закончил Васюков и с удовольствием поддержал дружный смех отдыхающих.

— А как же,— кивал лысой головой усач,— чуть зазеваешься, вытащат...

Шагнув от дверей, Карпов молча достал сигареты, разломил их пополам и угостил отдыхающих.

Снайпер вздохнул.

— Душа у нашего народа крепкая, вытащат, снова раскалим.

— С войной, пока она из яйца не вылупилась, кончать нужно,— сказал еще кто-то,— профилактика нужна.

— Какая такая профилактика?

— Брали мы тут горочку одну на днях,— задумчиво вступил в разговор третий отдыхающий,— командир «ложись» кричит, мы в землю носом. Кричит «вперед», поднимаемся, бежим. А у нас один пожилой боец имеется, Лукошкин Сергей Филиппович... Да что там, совсем уже, можно сказать, старый... Трудно ему за молодыми угнаться: ломота, задышка, вот и отстает. Что же он придумал? Командир «ложись» кричит, а он еще шагов десять пробегает. Командир «вперед» командует, а старый-то впереди всех оказывается. Вот тебе и профилактика!

— Так это война,— после недолгой паузы возразил веснушчатый,— мы же о мирном периоде...

— А какая разница? — выкрикнул Алексей.

И снова заходили они по комнате, обжигая окурками губы, бережно втягивая дым. Карпов смотрел на них и думал, что, может, именно их пробудил он белой ночью от спокойного сна...

Карпов даже попытался представить их в пижамах, в клетчатых ковбойках, в пиджаках и шляпах... Видение мелькнуло и растаяло.

Зря, видно, почудилось ему той белой ночью, что они не знают, как отвести от себя новую беду.

Ночью Алексей долго не мог заснуть. Слышалось трудное сонное дыхание солдат, кто-то похрапывал.

— Срезал! — радостно крикнул во сне снайпер.

— Зина,— проговорил веснушчатый.

А Васюков чмокал, жевал. Еда приснилась.

Снайпер вдруг поднялся, попил воды из кружки.

— Хороший сон видел,— сказал он, догадавшись, что сосед не спит.

— Слышь, усатый,— привстал Карпов,— ты, кажется, в город завтра собираешься, за орденом? Сверточек по пути не занесешь?

— Для тебя всегда пожалуйста! А куда?

— На Фонтанку, Сыну Сан Саныча. Степе. Только молчок!

...Все спали. Алексей поднялся, обул сапоги и вышел в коридор.

Прислушался. Тихо.

Нажал на дверь рядом с кухней. Не заперта. Он вошел...

Утром во время заготовки дров Карпов отложил в сторону топор, надел ватник, затянулся ремнем. И тут же появился машущий телефонограммой Сан Саныч...

Они уже отошли довольно далеко от дома, когда услышали позади слабый крик:

— Леша-а-а!..

— Она! — воскликнул Васюков.— Говорил я, давай простимся, а ты... Волновать, видите ли, не хотел... Ее или себя?..

Карпов вздохнул и медленно пошел к Любе.

— Вот,— сказал он смущенно,— отзывают... Ты извини...

— Я тебя не пущу,— прошептала она, припав лицом к его ватнику,— как же это?.. Ведь мы...

— Я быстро,— пообещал он,— на, на память...— и снял трехпалую рукавицу.— Уходи...

Вытирая этой рукавицей слезы, она пошла обратно. И снова остановилась.

— Пожалуйста!.. Вернись!..

... На фоне квадратного маленького окна он узнал большеносый силуэт Вебера. Немец натужно кашлял.

— Погоди,— шепнул Алексей напрягшемуся для прыжка Васюкову.— Сейчас второй выйдет.

...Когда второй солдат, уже коченеющий, лежал в снегу, они вошли в будку.

Вебер спал, откинув к стене голову, но даже во сне кашель, мешаясь с храпом, разрывал ему горло.

— Простыл Адольф, испекся,— заключил Васюков,— подлечить бы его, компресс поставить,— он потряс немца за плечо, но тот, пробормотав что-то, не проснулся.

«Нет, не могу. Живи!» — написал Карпов автоматической ручкой поперек письма.

— Везучий, — вздохнул Васюков.

...Стреляли уже совсем близко. Как бы натужась, раздвинула выюжную тьму бесцветная ракета.

Васюков упал в снег и положил автомат на труп часового. Но Карпов не остановился.

— За мной, Паша! — крикнул он. — Есть выход! Курт говорил, правой надо брать...

— Какой Курт? — заторопился за ним Васюков.

— Курт Вебер...

...Впереди сквозь яростные облака выюги зачернела полоса еще не замерзшей реки. А вот и заснеженные деревья на берегу.

...Приказав Васюкову постеречь, Карпов торопливо достал из рюкзака плитку тола и заложил под стоящую у самой воды пышную ель. Поднес зажигалку к растрепанному кончику бикфорда, зажег, отбежал и упал в снег. Короткий взрыв, от которого белая ель стала черной, вызвал вокруг целую канонаду, в свинцовое предутреннее небо снова взлетели ракеты.

Наконец с протяжным костяным треском ель повалилась в реку.

— Взрывчатку! — шепотом потребовал Карпов, хоть кричать теперь можно было во все горло. — Нет, нет! Я сам... Береги здоровье для академии...

Отстранив Васюкова, он вошел в черную воду и укрепил среди колючих, источающих смолистый аромат ветвей рюкзак и часовой механизм взрывателя.

— Течение здесь подходящее, — деловито произнес он, — я измерял...

— Когда? — недоуменно спросил с берега Васюков.

— Завтра! Ну, через десяток минут под мостом будет. Отходи! Слышишь, отходи! — он налег на дерево плечом, поплыл, держась за него, в черной ледяной воде. Берег с замершим на нем Васюковым стал удаляться. — Отходи! — крикнул Карпов.

«Неужели я его все-таки взорву, мост этот? — думал он, загребая одной рукой. — Мост... Мост... — и в памяти его зазвучала внезапно песня. — «...Нас с тобой никто-о-о не встретит...»

Мокрый, в ставшей коробом одежде выбрался он на берег.

— Шесть минут,— считал он,— семь... Восемь...

Пышная ель скрылась за поворотом.

— Девять... Десять!

Алексей напрягся.

Взрыв!

— Ура-а-а! — закричал он. — Как в аптеке! — но бросился в снег и пополз от дерева к дереву на обрыв. Надо удостовериться... Увидеть...

И Карпов увидел. Висевший между крутыми берегами мост как бы надломился от непомерной тяжести. Он походил сейчас на букву М. Карпов даже разглядел рухнувшие в воду автомашины со снарядами. Но что это?..

Ему показалось вдруг, что сквозь исковерканные бревна взорванного моста проступили, засветились радугой смутные очертания другого великолепного моста. Вот же он!.. Вот!..

Высокие сверкающие стальные фермы, могучая колоннада розовых гранитных быков...

Улыбаясь во весь рот, Карпов пополз обратно. Поднялся и двинулся по четко голубевшим в снегу чьим-то следам. Наверно, Васюков прошел...

— Ну, все! — бормотал Карпов с ликующей улыбкой. — Теперь живите! Учитесь теперь! Пожалуйста! Теперь ходите по обеим сторонам улицы... Сколько влезет!..

Автоматная очередь взбила снег у самых его ног.

— Рус! Нидер мит дем ваффен! Стафайс!..

Из-за дерева уставил на него автомат молодой боленосый немец.

— Курт! — вырвалось у Карпова. — Курт! Вебер! Вот так встреча!.. Слушай, что я тебе...

— Цурюк! — ошеломленно воскликнул немец. — Вер ист да?

— Курт! — смеясь, шел к нему Карпов. — Да ведь...

Немец судорожно повел автоматом, очередь приплась Карпову по груди. На белом маскхалате сразу проступили обильные пятна.

— Не... На... — вместе с последним дыханием вырвались у Карпова из губ несвязные звуки. — Что... ты...

Запрокинув голову, он плавно, точно поддерживаемый метелью, упал в снег.

— Вер ист да?..— пятаь назад, в ужасе бормотал немец.— Майн гот... Вас хабе их ангештель? Вас хабе их...

Увязая в снегу, он долго неуклюже бежал под резко посветлевшим пустынным небом.

— Не нужно, Леша! — навзрыд плакал над Карповым ослушавшийся его приказа, вернувшийся, но опоздавший Васюков.— Не умирай, Леша!..— он дул Алексею в рот, в отчаянии пробовал закрыть ладонью кровавые отверстия на маскхалате.— Леша, не умирай! Я хотел тебя спросить, слышишь? Про разумные вещества... Разумные существа есть, я знаю, это люди. А разумные вещества будут? Не умирай, Лешенька, родной! Что я Любе скажу? Не умирай!..

Где-то рядом высоким хором заливались автоматы, лаяли приближающиеся псы, но Васюков неотступно всматривался в безмолвного друга и просил:

— Леша, не умирай! Ведь ты не умер, нет? Леша, если ты не умер, дай знать... Открой глаза! Открой!..

И хотя Карпов уже был мертв, веки его дрогнули и тихо раскрылись.

...Стучали часы...

● СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ. ХАТЫНСКАЯ ПОВЕСТЬ | 13 |
| ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ. ИВАН | 213 |
| ВАСИЛЬ БЫКОВ. СОТНИКОВ | 279 |
| БОРИС ВАСИЛЬЕВ. А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... . . | 435 |
| ЮРИЙ ГЕРШ. «ЯЗЫК» | 545 |
| АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВСКИЙ. К ВОСХОДУ СОЛНЦА | 605 |
| БОРИС РАХМАНИН. ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК . . . | 657 |

ПОВЕСТИ О ВОЙНЕ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1975, 720 стр. с илл.

Редактор приложений Е. Усыскина

Оформление «Библиотеки» А. Гаранина

Редактор И. Юшкова

Художественный редактор А. Гаранин

Технический редактор В. Новикова

Корректор М. Федотова



А 09272. Сдано в набор 28/XI-74 г. Подписано в печать 20/III-75 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. печ. № 1. Печ. л. 22,5. Усл. печ. л. 37,80.
Уч.-изд. л. 37,49. Зак. 4038. Тираж 220.000 экз.

Цена 1 руб. 43 коп.



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся
СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1975 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

Й. Авижюс — Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского.

А. Адамович. В. Богомолов. В. Быков. Б. Васильев. Ю. Герш. А. Кулаковский. Б. Рахманин — Повести о войне.

Ю. Балтушис — Проданные годы. Роман. Книга вторая. Перевод с литовского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга первая.

В. Козаченко — «Молния». Повести. Перевод с украинского.

В. Кожевников — Особое подразделение. Повести и рассказы.

Я. Кросс — Окна в плитняковой стене. Повести. Перевод с эстонского.

П. Куусберг — Одна ночь. Шоссе свободы. Романы. Рассказы. Перевод с эстонского.

В. Лам — Кукла и комедиант. Роман. Повести. Перевод с латышского.

К. Лордкипанидзе — Клинок без ржавчины. Повести и рассказы. Перевод с грузинского.

А. Нурпеисов — Крушение. Роман. Книга третья трилогии «Кровь и пот». Перевод с казахского.

Ш. Рашидов — Победители. Сильнее бури. Романы. Перевод с узбекского.

А. Чаковский — Блокада. Роман. Книги 1—5. В трех томах.

ПОВЕСТИ О ВОЙНЕ

